



КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ

Орган
творческого
объединения
писателей
Коломны

Литературный ежегодник

ИЗДАЕТСЯ В КОЛОМЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

ВЫХОДИТ С 1997 ГОДА

2006

ВЫПУСК
ДЕСЯТЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВАЯ
КОЛОНКА

СОВРЕМЕННАЯ
ПРОЗА

Николай НЕКРАСОВ

ШКОЛЬНИК 5

Николай СКАТОВ

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЛЮБИМ НЕКРАСОВА? 7

Виктор МЕЛЬНИКОВ

ГРЕШНЫЕ ДЕНЬГИ. Маленькая повесть 19

Виктория НЕЧАЕВА

ФЕДРА A LA RUSS. Рассказ 43

Сергей МАЛИЦКИЙ

ТАЙНЫ ЖИЗНИ. Рассказы 55

Руслан БРЕДИХИН

ЧЕЛОВЕК С ПОРТФЕЛЕМ. Рассказ 63

Николай АНТОНОВ

В ОЖИДАНИИ ЧУДА. Новеллы 69

Нина СОЛОВЬЁВА

КРАШЕНАЯ ПТИЦА. Сказка 77

ПОЭЗИЯ	ИЗ КОЛОМЕНСКОЙ ТЕТРАДИ	91
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	Карел ЧАПЕК ДВА РАССКАЗА	113
	Макс ГАЛЛО ЧАСЫ ИМПЕРАТОРА. Рассказ	125
НАШЕ НАСЛЕДИЕ	Анатолий КУЗОВКИН «ВЕНЧАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ ИВАН...»	139
	Иван СОКОЛОВ-МИКИТОВ АВА. Рассказ	147
ГОСТИНАЯ	Константин КОЛЕДИН СТУЧИ, МОЁ СЕРДЦЕ.....	165
	Валерий МИХАЙЛОВ ГДЕ-ТО БРЕЗЖИТ СЛОВО...	171
	Валентина ЕРОФЕЕВА НА ЗАКАТЕ — ТЛЕЮТ ОБЛАКА	177
БЕСЕДЫ О ЛИТЕРАТУРЕ	Сергей КАЗНАЧЕЕВ ОГНЕННЫЙ КРЕСТ. Гражданские мотивы в современной русской поэзии	183
	Олег ДОРОГАНЬ ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РЕАЛИЗМА. Размышления после прочитанного	201
ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО	Станислав КУНЯЕВ ДУША ХРАНИТ	219
	Николай РУБЦОВ ОТЧИЗНА И ВОЛЯ.....	229
	Олег КОЧЕТКОВ «ТАК НЕСТЕРПИМО ЖАЛЬ»	243

ВОСХОЖДЕНИЕ
К ДОСТОЕВСКОМУ

Галина ПОНОМАРЁВА
НАРОДНАЯ ПРАВДА В ДУХОВНОЙ СУДЬБЕ
ДОСТОЕВСКОГО 253

Татьяна КОНДРАТОВА
ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ДАРОВОГО 273

Вера ТОРЖКОВА
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ
К 500-летию рода Достоевских,
185-летию со дня рождения
и 125-летию со дня смерти
Ф.М. Достоевского 287

ПУШКИНИСТ

**Александр САХАРОВ,
Надежда СУХОВА**
ГЕНИЙ ЗЛА... ИЛИ БЛАГА?
А.С. Пушкин и А.А. Аракчеев 305

Александр СУСЛОВ
НАДПИСЬ НА КАМНЕ 319

Валерий ЯРХО
ПОКАЗАНИЯ ТАЙНОГО СВИДЕТЕЛЯ 341

СЛОВО О МУЗЫКЕ

Наталья КОЧЕТКОВА
В ОБЕРТОНАХ ВРЕМЕНИ
П.И. Чайковский —
И.И. Лажечников: «Опричник» 349

Ирина ГРИШАНОВИЧ
СЕРЕБРЯНЫЙ ТЕНОР КОЛОМНЫ 361

РОДИМАЯ
СТОРОНА

Вероника УШАКОВА
КРЕМЛЁВСКИЕ СТЕНЫ 375

Валерий ЯРХО
«НОВЫЙ РУССКИЙ» СТАРОГО ВРЕМЕНИ 383

Алексей ВУЛЬФОВ
ВСПОМИНАЯ КОЛОМНУ 389

Коломенскому альманаху — 10 лет!

ПЕРВАЯ ВЕХА

«Коломенскому альманаху» — десять лет. Это наш первый юбилей, первая веха, дающая право оглянуться на пройденный путь. Десятилетие, в сущности, небольшой срок, особенно перед лицом многовековой коломенской истории. Но эти годы пришлось на переломное время, когда страна стала другой и народ её изменился. Как мы жили в эпоху надлома? Парадоксально, но именно в самое трудное с экономической, да и с психологической точки зрения время культурные силы Коломны консолидировались. И на свет появилось литературно-художественное издание, которому трудно подобрать аналог в истории не только нашего города, но и всего Подмосковья.

За время издания на наших страницах опубликовано девяносто прозаических произведений (среди них — два романа и десять повестей). Увидели свет сочинения более ста поэтов. Литературно-краеведческие публикации открыли целые пласты коломенской истории. Летопись земли коломенской воссоздаётся на наших страницах и изобразительными средствами — в каждом выпуске блестящие фотоработы, живопись и графика — и современная, и отделившая от нас веками.

В сочетании времён — наша главная особенность. Мы осознанно стремились и стремимся к изучению прошлого. Так лучше понимаешь логику истории, свои собственные истоки. К тому же соседство с классикой обязывает к более строгому отбору материала. Прекрасные, прошедшие через сито времени вещи устанавливают высокую планку для современных материалов.

Не нам определять, кто из нынешних литераторов войдёт в самую сердцевину «коломенского текста», а кому суждено остаться лишь незначительной заметкой на полях. Мы и не стремились к «выставлению оценок». Здесь лучший судья — время. Но мы хотели, выражаясь языком археологов, дать точную стратиграфию культурного процесса, своеобразный разрез, на котором чётко видно, как сменяются культурные традиции и стили, как растёт и развивается душа города.

Поздравляем всех авторов «Коломенского альманаха» и благодарим их за самоотверженную и бескорыстную работу в нашем, увы, безгонорарном издании. Мы признательны нашим меценатам, особенно администрации города, чьей помощью альманах поддерживался все эти десять лет.

У нас появилось множество постоянных и вдумчивых читателей — самое главное наше приобретение. Крепкое братство друзей «Коломенского альманаха» входит вместе с нами в следующую декаду!

Редколлегия



Николай Алексеевич НЕКРАСОВ
(1821–1877)

ШКОЛЬНИК

— Ну, пошёл же, ради Бога! —
Небо, ельник и песок —
Невесёлая дорога...
Эй! садись ко мне, дружок!

Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь.

Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идёшь...
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.

Знаю: старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что проезжая купчиха
Подарила на чаёк.

Или, может, ты дворовый
Из отпущенных?.. Ну, что ж!
Случай тоже уж не новый —
Не робей, не пропадёшь!

Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете —
Кто-нибудь свезёт в Москву,
Будешь в университете —
Сон свершится наяву!

Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь...
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!

Не бездарна та природа,
Не погиб ещё тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай, —

Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

ПЕРВАЯ КОЛОНКА

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЛЮБИМ НЕКРАСОВА?

Не любим мы Некрасова. Да, по-видимому, мы сейчас и должны его не любить.

Некрасов: сразу наползает с полдюжины фраз-формул — «Поэтом можешь ты не быть...», «Сейте разумное, доброе, вечное...», «Вынесет всё — и широкую, ясную / Грудью дорогу проложит себе...». Конечно, сама эта способность дать общенациональные афоризмы — признак великого поэта. И всё равно: ныне даже они могут, наверное, только раздражать. Тем более что ныне для нас Некрасов, пожалуй, только такими остекленелыми формулами и исчерпывается. Потому же и из них уже ничего не черпается. Как и из всего облика со всех сторон гладко обструганного поэта, «революционера-демократа».

Но, увы, кажется, мы, ещё не отдавая себе страшного отчёта, может быть, интуитивно не любим его за то, что мы в нём не знаем и что узнать чуть ли уже и не способны. А всё же мы обречены узнавать и разгадывать это. Потому что без этого мы будем обречены вообще. Недаром великий разгадчик русских душ Фёдор Достоевский писал о загадочности двух русских поэтов: казалось, такого ясного и открытого — Пушкина и такого декларативного и простого — Некрасова. Впрочем, не по тому ли самому он, Фёдор Достоевский, приблизился и к разгадкам роли их в русской жизни — providческой и мессианской. И Пушкина. И Некрасова: «Лично мы сходились мало и редко... было между нами несколько мгновений, в которые раз навсегда обрисовался передо мною этот загадочный человек самой существен-

ной и самой затаённой стороной своего духа. Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то никогда не заживающая рана его и была началом и источником всей страстной, страдающей поэзии его потом на всю жизнь».

Кажется, подходя к Некрасову, мы начинаем не с того конца. Дело не в том, что он писал о народных страданиях, пусть даже как угодно ярко и выразительно. Этого было много и до него, и вокруг него, и после него. Поэт не «отражал» страданий народа. Он сам всем организмом нашей истории и жизни нашей рождён был как особый и в своём роде единственный орган страдания. Некрасов-поэт, так сказать, излил самоё страдание. Некрасов — один во всей русской литературе, пожалуй, во всём русском искусстве, а тем и в русской жизни, так пострадавший: за всех. Единственный, кто, по словам Бальмонта, постоянно напоминает нам, что вот пока мы все здесь дышим, есть люди, которые задыхаются. Но потому, что задыхался сам. В этом всё дело. Некрасов был именно призван к страданию. И когда судьба, испытывая до конца, послала долгое и мучительное умирание, то у него, умирающего, крик прерывался стихами и — снова — стихи переходили в крик, окончательно подтверждая истинность и, так сказать, страшную натуральность его «страстной страдальческой поэзии».

Лишь на первый взгляд может показаться странным, что Чехова часто, как бы определяя главное в нём, называют автором «Каштанки» — рассказа о какой-то дворняге.

Лишь на первый взгляд может показаться странным, что, пожалуй, «главную» свою картину страдания Некрасов написал о страдании лошади, избиваемой лошади-калеки: по спине, по бокам, по лопаткам, а наконец, и по глазам, «по плачущим, кротким глазам».

Из-под страшного морока этой, казалось бы, всего лишь уличной сцены долго не выпутаются русская литература и русская жизнь.

Наваждение во сне Раскольникова у Достоевского — это несколько страниц прозы, расцветившей, раскрасившей и, так сказать, расцарапавшей до крови несколько строк этого некрасовского стихотворения. Герой увидит себя во сне переживающим избиение («по глазам, по самым глазам») и убийство лошади Миколкой и после этого уже не во сне, а только как во сне пойдёт сам убивать — человека. Из принципа — разъяснит ему следователь. «Этого же кто не видал. Это русизм», — скажет об этой же некрасовской сцене избиения («по глазам, по кротким глазам») Достоевский устами Ивана Карамазова. А через много лет, снова доказывая, что это «русизм», такой чуткий к страданию молодой Маяковский напишет «Хорошее отношение к лошадям»:

Подошёл
И вижу
Глаза лошадиные...
.....
Подошёл и вижу —
За каплицей каплица
По морде катится,
Прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.

И вдруг почти сразу, может быть, и поэтому же этаким Миколкой завопит в революционной одержимости: «Клячу истории загоним!» («Левый марш»). Из принципа? И — загоняли. И — забивали. Да, русская литература в самых больших своих проявлениях засвидетельствовала, какой силы сгусток страдания заключила одна лишь уличная сцена Некрасова.

А эти «глаза лошадиные»?

«Никогда, — писал русский философ Владимир Соловьёв, — не увидишь на лице человеческого того выражения глубокой безысходной тоски, которая иногда без всякого видимого повода глядит на нас через какую-нибудь зоологическую физиономию». Так это без повода.

Почему же поэт, представив, может быть, самую страшную из своих картин страдания, может быть, самую страстную свою *человеческую* жалость излил на лошадь, на *животное*?

«Это начало, — писал тот же Владимир Соловьёв, — имеет глубокий корень в нашей природе, именно в виде чувства жалости общего человеку с другими живыми существами. Если чувство стыда выделяет человека из прочей природы и противопоставляет его другим животным, то чувство жалости, напротив, связывает его со всем миром живущих».

Сейчас этот глубокий корень в нашей природе если не прогнил, то повреждён. Мы встаём к миру всё в то же двоякое отношение, но уже обратное.

Так чувство жалости сейчас всё меньше связывает нас со всем миром. Его отсутствие как раз и удалило нас от всего мира других живущих. Чувство же стыда, наоборот, ныне уже почти не выделяет человека из *прочей природы*. Его отсутствие, иначе говоря, бесстыдство, как раз и опустило человека до *прочей природы*, до других животных. Естественно, что любовь к поэзии Некрасова — с его чувством стыда и чувством жалости — была бы сейчас состоянием самым неестественным.

Скажем, разнообразнейшие публичные виды сегодняшнего политического срама чуть ли не есть лишь другая сторона откровеннейшего и наглядного бесстыдства физической жизни. Не вправе ли мы говорить, в частности, и об особом типе переживаемой нами сексуально-политической революции?

Кстати сказать, видимо, не случайно не осенённой даже дуновением какой-то идеи и цели, кроме задачи хоть кое-как выжить и через очень длительный период, может быть, подтянуться к так называемым передовым (в сфере производства) странам или, как полагают экономисты, хотя бы собственного 1985 года и к богатствам того времени.

Не потому ли сама смена символики, обычно столь насыщенная и героическая в переломные эпохи, воспринимается сейчас так вяло и равнодушно. Кстати сказать, нынешний, довольно красивенький флаг России в качестве государственного имеет у нас гораздо меньший исторический стаж, чем красный. И если последний значим уже той

кровью — и жертв, и защитников, — которую он впитал, то первый ныне не трогает ничем и за ним, в сущности, ровным счётом ничего не стоит. Хотя сейчас возвращение именно к этому, изначально-то коммерческому флагу — не случайно.

Всё это знак того, что в числе многих вакуумов, дыр и прорех образовался, может быть, самый страшный — идеологический. Во всяком случае, не видно идеологий, отчётливо выговоренных, сформулированных и — главное — объединяющих национально, а не разъединяющих националистически: последние сами в себе уже несут обречённость. Недаром разгул политического национализма никак не сопровождается и никогда не сопроводится расцветом национальной культуры.

Сейчас страшна даже не физическая бедность сама по себе. Давно у нас выношено: «Бедность не порок». Но нищета (поясняет один из героев нашей классики), нищета — порок. Бедность не обязательно выморочна. Нищета неизменно сопровождается духовным одичанием. Не потому ли страна в сфере образования за короткий срок скатилась с места в первой тройке стран мира в бог знает какой десяток?

Думаю, что наше неприятие Некрасова может определяться не только его устарелостью, но и его злободневностью, иногда до жути. Скажем, поэма «Современники» — и о наших современниках. Подчас кажется, что только подставляй нынешние имена и сегодняшние факты. Не то поэт стремительно и неожиданно догнал будущее, не то мы столь же стремительно и внезапно оказались в прошлом. Как будто пробивая какие-то исторические этажи, кувырком пролетаем вниз.

Так что не обернётся ли иллюзорный «научный» социализм при содействии отнюдь не научного «дикого» капитализма реальным первобытным коммунизмом? Ну прямо какая-то безумная машина времени, да и только! Прогресс наоборот. Впрочем, полюбуйтесь: вот некоторые фрагменты и голоса некрасовской поэмы:

Кто не знает? Пророки событий,
 Пролагатели новых путей,
 Провозвестники важных открытий —
 Побиваются грудой камней.
 Двинув раньше вперёд спекуляцию,
 Чем прогресс узаконит её,
 Потеряете вы репутацию
 И погубите дело своё.
 Подождите!
 Прогресс подвигается,
 И движенью не видно конца.
 Что сегодня постыдным считается
 Удостоится завтра венца...

Вот это завтра наступило *сегодня*, и стало ясно, что ведь это *сегодня* — всего лишь *вчера*.

Я заснул...
 Мне снились планы
 О походах на карманы
 Благодушных россиян,

И, ощутив мой карман,
Я проснулся...

Шумно... В уши
Словно бьют колокола,
Гомерические куши,
Миллионные дела,
Баснословные оклады,
Недовыручка, делёж,
Рельсы, шпалы, банки, вклады —
Ничего не разберёшь!..

Вот и мы так — проснулись. И — «ничего не разберёшь». А когда экономический хаос в сочетании с финансовой неразберихой накладывается, по словам того же Некрасова, на «государственных нерях», то тем более «ничего не разберёшь». К тому же если в пору «застоев» большинство просто прикрепляется к определённому месту, а в эпоху революций некоторые находят своё место, то именно в период, подобный нашему, многие почти всегда оказываются не на своих местах.

Слыл умником и в ус себе не дул,
Поклонники в нём видели мессию;
Попал на министерский стул
И — наглупил на всю Россию!

В общем:

Полно! Мы с тобой — не детки.
Нынче — царство подставных,
Настоящие-то редки,
Да и спроса нет на них.

«Ничего не разберёшь» и потому, что смута есть время бесконечных перевоплощений, перевёртываний, а точнее — мимикрии и мистификаций. Это и ренегаты-партократы, оборачивающиеся ожесточёнными демократами. И монументальные бюрократы, вдруг разворачивающиеся суетливыми расхристанными охлократами. И демократы-ренегаты, быстро-быстро превращающиеся в непреклонных бюрократов. Неподдельные же герои времени и триумфаторы — плутократы. Они покрывают всё, и сводят к себе, и давят собой или превращают в себя всё и всех: и партократов, и бюрократов, и демократов. Особо отметил поэт «ренегатов из семьи профессоров»:

Под опалой в оны годы
Находился демократ,
Друг народа и свободы.
А теперь он — плутократ!
Спекуляторские штуки
Ловко двигает вперёд
При содействии науки
Этот старый патриот.

Или ещё:

Он *машинным* красноречьем
Плутократию дивит;
Никаким противоречьем
Не смущаясь, говорит
В интересах господина.
Заплати да тему дай,
Говорильная машина
Загудит: поднимет лай,
Будет плакать и смеяться,
Цифры, факты извращать,
На Бутовского ссылаться,
Марксом тону задавать.

Соответственно промываются мозги и вымываются сердца. Что же, ведь, по словам нашего поэта, «не у нас — во всей Европе / Прессой правит капитал». И уже только потом «правит» сама пресса.

Тотальная и часто лживая и бесстыдная пропаганда «коммунизма» сменилась столь же тотальной и, может быть, ещё более бесстыдной и лживой пропагандой капитализма. «Более» — потому, что совершают это действие часто одни и те же «агитаторы, горланы-главари». Идеалы же формирует какой-нибудь телевизионный зазывала, как-то удивительно соединивший в себе ухватки трактирного полового с манерами дамского парикмахера. Вообще, для всякой теле-, радио- и газетной агитации и пропаганды дело у нас неизменно — и сейчас тоже — облегчается, тем более что мы во многом остаёмся при одном и том же принципе: цель оправдывает средства.

И — всё во имя... Было: всё (!) во имя коммунизма. То есть во имя его было дозволено всё: произвол, беззакония, репрессии, подавление, коллективизация...

Стало: всё (!) во имя капитализма. То есть во имя его стало позволено всё: произвол, беззаконие, обман, грабёж, деколлективизация (?)..

Мы оправданье найдём!
Нынче твердит и бородка:
«Американский приём»,
«Великорусская смётка!»

Грош у новейших господ
Выше стыда и закона;
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона.

Бредит Америкой Русь,
К ней тяготeya сердечно...
Шуйско-Ивановский гусь —
Американец?.. Конечно!

Что ни попало — тащат,
«Наш идеал, говорят,
Заатлантический брат:
Бог его — тоже ведь доллар!..»

Правда! но разница в том:
Бог его — доллар, добытый трудом,
А не украденный доллар!

Станут ли неумелые созидатели социализма умелыми строителями капитализма? Впечатление такое, что из жизни вместе с символами труда — серпом и молотом — вылетел и сам труд. А может ли вызвать у нашего зрителя что-нибудь, кроме тупого равнодушия или пока ещё оцепенелого бешенства, неизвестно к кому обращённая реклама, по которой жизнь наша человеческая состоит из двух половин: деланье денег и пребывание в удовольствиях. В очередной раз телега поставлена впереди лошади. И — поехали. Раз нет производства, то все силы брошены на растащивку ещё оставшегося, на бесконечные пределы собственности и многократно усилившееся овладение «привилегиями». Потому же деньги, и только деньги, сами по себе, безотносительно к труду и производству, стали страстным ожиданием и окончательным вождением, кумиром, целью — всем.

Горе! Горе! хищник смелый
Ворвался в толпу!
Где же Руси неумелой
Выдержать борьбу?
.....
Плутократ, как караульный,
Станет на часах,
И пойдёт грабёж огульный
И — случится крррах!

Сейчас ясен уже и смысл призывов к личной инициативе: высокопарный лозунг: «каждый — кузнец своего счастья» скрывает всего лишь у кого пугливый, а у кого злорадный визг: «спасайся кто может». И, в общем, чудовищный приговор: «кто не может — не спасётся» уже, судя по всему, вынесен.

Конечно, будут и спасшиеся:

Денежки — добрый товар, —
Вы поселяйтесь на жительство,
Где не достанет правительство,
И поживайте как — царrrr!

Вам ничего не напоминает этот мотив, названный в поэме Некрасовым «Еврейской мелодией»? Впрочем, в сути своей соревнующейся с «русской незыблемой честью», но уже с поистине революционным размахом.

О Господи! удвой желудок мой!
Утрой гортань! учетвери мой разум!
Дай ножницы такие изобрести,
Чтоб целый мир остричь вплотную разом —
Вот русская незыблемая честь!..

Конечно, я позволил себе лишь самым поверхностным образом указать на внешние аналогии, прямые совпадения и т.п. У Некрасова даже

«Современники» — это глубокая трагическая поэма о судьбе ограбленного народа и его страданиях. То есть о том, чем нам сейчас Некрасов и не интересен и, так сказать, не люб. Как, пожалуй, чуждо и большинство народных прозаиков и поэтов. На авансцене ныне в основном демократическая литература. Особенно — публицистика. Я не стану, как это сейчас принято, сопровождать слово *демократия* кавычками или ироническим курсивом: наряду с корыстным, демагогическим, прямо шутовским, она родила немало умного, честного и дельного. Сложнее с народностью. Позвольте, но разве демократия и народ не одно и то же? Разве демократизм чужд народности? Здесь Некрасов тоже наводит на размышления. Именно Некрасов.

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России —
Там вековая тишина.

Под «глубиной России» мы, наверное, часто склонны понимать то, что называют «российской глубинкой». А ведь посмотреть на эту глубинку — да вроде уже только рукой махнуть: выморочность и вымирание. Но глубина *России* — это и глубина характера. А вот что там?

Общее место в истории нашей *передовой* мысли — представление об «отсталости» её особенно близко стоящих к корню народной жизни писателей, будь то Крылов или Гоголь, Достоевский или Толстой. Да и Пушкину от передовой критики доставалось постоянно. Прямо рок какой-то: как великий — так отсталый. Все резко вперёд бегут, а он всё отстаёт, не поспевает. Кстати, традиция унаследована. И ныне немало наговорено об отсталости, реакционности, чуть ли даже не о фашизме (Господи, прости!) автора «Матрёнина двора», «Привычного дела», «Последнего срока». Шукшин как-то успел вывернуться. (Смерть спасла?) От коммунизма все отставали, теперь за капитализмом никак не угонятся.

Но Некрасов-то уж, казалось бы, передовой, демократический, революционный. Любопытны, однако, отношения великого народного поэта и даже выдающихся демократических публицистов его журнала: Добролюбова, Чернышевского, не говоря уже о прочих.

Некрасов энергично «использовал» их опыт в своём журнале, восхищался (не всегда) многими их личными и общественными достоинствами, а позднее и преклонился перед ними, написал о них ряд стихотворений. Но на его, так сказать, народное творчество они ничтожеско не повлияли. Да и в целом тоже. Что и понимали прекрасно: «Я не имел ровно никакого влияния на его образ мыслей. Имел ли какое-нибудь Добролюбов? Как мог иметь он, когда не имел я?» (Чернышевский).

Это понятно, ибо (если воспользоваться известной формулой) «страшно далеки они от народа». В отличие, например, от тех же декабристов, прошедших вместе с народом сквозь Отечественную войну, а не наблюдавших за ним из потёмков петербургских подворий. Не потому ли, когда демократическая критика и литература преисполнились, глядя на народ, «исторического оптимизма», Некрасов обратился к нему с мучительным вопросом; неужели же ты «духовно(!)

навеки почил»? Но позднее, в пору, когда демократия объединилась в нападках на народ, завершившихся мучительным выкриком Чернышевского: «Нация рабов», — Некрасов уверенно и спокойно заявил: «Вынесет всё». Ничего другого и не мог сказать поэт, в котором к тому времени народ сказался поэмой «Мороз, Красный нос» и «Коробейниками». Народ, который, конечно, ничуть не сказался в справедливо знаменитом романе «Что делать?».

Так что же народ? Не всё ли ещё — в вековой тишине? Не потому ли столь часто от его имени могут говорить столь многие, столь уверенно и столь разное, даже противоположное. И не потому ли наше общее положение столь гадательно. В общем, по Гоголю: «Русь, дай ответ! — Не даёт ответа». Конечно, выборы, выборы... Да и столь часто сами эти выборы дезавуируются, отменяются и передвигаются на карте политических игр.

Остаётся гадать: будем ли мы выброшены в обречённую на гниль и вымирание историческую канаву или окажемся вовлечёнными в безумную историческую гонку остального цивилизованного мира с его бессмысленной расточительностью (у нас — тоже, но иная и ещё более бессмысленная), с его чудовищными контрастами (у нас тоже, но — другие) и уничтожаемой культурой: мы как-то всё ещё до конца не осознали, что цивилизация и культура ныне могут быть вещами несовместными. И, кстати, не потому ли освобождаем себя уже даже от остатков общественной и государственной заботы о культуре и ответственности за неё.

А ведь перед страной сейчас в силу многих исторических причин открывается, может быть, уникальная возможность выбора сбалансированной жизни: воздерживаясь, но не голодая; делясь, но не разоряясь; не угрожая, но защищаясь. Мы же, видимо, полагаем, что разрешать противоречия нашей жизни можно только впадая в другие, и более тяжкие.

Обнажилось и ещё одно: агрессия вовне направленного национализма довольно быстро оканчивается внутринациональной распрей. Думаю, что до тех пор, пока Россия удерживается от первого, она может спастись и от второго и сохраниться как объединяющее начало. Тотальный централизм не более чудовищен, чем тотальная децентрализация. Всепоглощающее частное не менее страшно, чем всеуничтожающее общее. И здесь важен — баланс.

Спасёмся ли мы в этот решающий трагический час, зависит не только от солидарности на почве экономических интересов (дело, конечно, важное), правовых установлений (ныне, впрочем, уже почти не существующих из-за изобилия и взаимоотменяемости), политических партнёрств (самих по себе достаточно ничтожных, но и от них никуда не уйдёшь).

Всё решит другое: откроются ли источники нравственной жизни — подлинные, вековые, окончательные. То есть явятся ли они не как догмат, принцип и правило, а как последняя и сейчас *единственная* возможность *человеческого выживания*.

В одном — редчайшем по откровенности — письме обычно скрытый Некрасов написал Льву Толстому: «Хорошо ли, искренно ли, сердечно ли (а не умозрительно только, не головою) убеждены Вы, что цель и смысл жизни — любовь? (в широком смысле). Без неё нет ключа ни к собственному существованию, ни к существованию других, и ею

только объясняется, что самоубийства не сделались ежедневным явлением. (А у нас сейчас уже — особенно молодёжью — делаются. — *Н.С.*). По мере того как живёшь — умнеешь, светлеешь и охлаждаешься, мысль о бесцельности жизни начинает томить, тут делаешь посылку к другим — и они, вероятно (т.е. люди в настоящем смысле), чувствуют то же. Жаль становится их — и вот является любовь. Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению — странного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому (или другим) нужны Вы — и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука <...>. Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придёте в отчаяние».

Здесь очень личный исток знаменитой народности Некрасова. Кажется, Достоевский единственный ощутил этот истинный исток скорбного народного начала его поэзии, когда сказал, что скорбь Некрасова о народе была лишь исходом его скорби по себе самом. Но и больше. Кажется, мы, так намаившиеся под гнётом общего, давившего личное, кинулись сейчас в такое утверждение индивидуального и частного, которое оказалось новым неподъёмным гнётом.

Народ и жизнь его несёт в себе массу, как теперь говорят, моделей, свойств и возможностей. Некрасов нашёл ту, которая утверждает человека в другом человеке, личное — в коллективном, разрешает частное в общем. И (пусть, так сказать, в идеале) доказал это, ибо истинное искусство и есть, может быть, самое абсолютное доказательство самых разнообразных истин. Вот почему для Некрасова слова: «цель и смысл жизни — любовь» — не фраза.

Ещё — и в последний раз — Владимир Соловьёв: «Любовь есть самоотрицание существа, утверждение им другого и между тем этим самоотрицанием осуществляется его высшее самоутверждение». И так, как сказал поэт: «круговая порука».

Вот почему Некрасов является в своём роде единственным у нас поэтом любви, если угодно, в данном случае именно христианской.

Конечно, сейчас такой Некрасов нам чужд и любим нами — потерявшими «круговую поруку» — быть не может. Менее всего я хотел бы быть понят в том смысле, что вот-де обратимся мы к Некрасову и — просветимся, и — спасёмся.

Но, кажется, отношение к поэзии Некрасова может быть одним из знаков того, обретём ли мы себя друг в друге, найдём ли человеческую «круговую поруку», или мы будем рассматривать себя «как единицу». И — придём в отчаяние. И — сойдём с ума. И — окончим самоубийством.

*Николай СКАТОВ,
член-корреспондент Российской академии наук*



СОВРЕМЕННАЯ
ПРОЗА





Фото Геннадия Гахова



Виктор МЕЛЬНИКОВ

ГРЕШНЫЕ ДЕНЬГИ

Подобно тому, как неодинаковы у людей лица, так неодинаковы их мысли и убеждения.

Маймонид
(1135–1204)

...тревожный свет проблесковых милицейских огней, пара машин, стоящих у железнодорожных путей, мрачные лица следователей, служебная собака, пытающаяся взять след под дождём... Всё это будет. Григорий Земцев ещё не знает об этом. У него пока ещё есть выбор.

Многое можно купить на грешные деньги, вот только сам грех искупить ими невозможно...

Прочно стоит на земле Григорий Земцев. Растит двух сыновей. Крепко знает свое железнодорожное дело. Открыто смотрит на мир из привычной несуетной повседневности. Но не устоял перед искушением — и покатила его жизнь под откос, как товарняк, груженный больной совестью, оставляя позади покой, счастье, надежду на прощение. Ненужная и постылая жизнь...

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

1

Вдоль железнодорожного состава бежит шалый ветерок, бежит, как приبلудная псина. Подныривает под каждое колесо, что-то вынюхивает, ищет... А за ним не спеша, грузно ступает осмотрщик вагонов Григорий Земцев. Он по-деревенски крепко сбит: в осанистой фигуре чувствуется мужская мощь. Широкое скуластое лицо, крепкие большие руки, покатые плечи, так и выпирающие из рабочей куртки...

Поверх обычной спецовки надета жёлтая сигнальная жилетка с нашитыми отражающими полосами, так что его фигуру видно издалека. Смотровой молоток с длинной рукояткой в громадных руках кажется прутиком. Он то и дело взлетает, ударяется о вагонные гайки, будто бьёт по одной клавише пианино: та-та-а, та-та-а-а... Убедившись в исправности, Григорий не спеша переходит к другому, гружённому лесом вагону.

От него щекочуще-сладко веет крепким запахом смолы. Заметив неизвестно каким образом уцелевшую еловую ветку, Земцев делает шаг к автосцепке и обламывает пушистый хвостик. Запах леса на-

поминает родное село. Давно уже не был на родине. «Надо хоть в этом году побывать у матери, — думает он. — Взять жену, сыновей... Детям, правда, не очень там нравится. На море — вот это да... А где в Александровке море? Слава Богу, хоть речушка есть».

И вдруг...

Из-под вагона, как чёрт из коробочки, прямо перед Григорием выскакивает маленький сухонький мужчина. Земцев хочет обложить его, мол, куда ты прёшь, каналья! Но мужчина легко, как пружина, выпрямляется, отряхивает руки и оборачивается лицом к Григорию. Тот от удивления даже роняет молоток.

— Лёвка?! Лёвка Бруштейн! — радостно орёт Земцев.

Лев совершенно не соответствует своему имени. Он худой и тощий, слабый в плечах, с очень нежным цветом лица и без всякой растительности на голове. Лысина гладкая и белая, словно у ребёнка.

Григорий распаивает объятия, налетает на него и принимается мять земляка в своих ручищах.

— Вот это встреча! А я думаю: кого леший тут носит? Чуть не огрел понапрасну.

— Пусти, Гришка, шмок! Раздавишь! — хрипит Лёвка, пытаясь вырваться из чугунных объятий. Наконец это ему удаётся, он ошалело отскакивает на шаг и, переведя дух, толкает Григория в его многопудовое плечо. — Глазам не верю! Надо же, где встретились! Лехаим!²

Григорий хохочет: ну и ну, лысиной обзавелся, а «р» выговаривать так и не научился. В детстве Лёвушку дразнили: «А скажи “кукуруза”!» Он надувал щёки и, как ни старался, как ни силился, всё равно вылетало предательское «г». Так Кукугузой и звали его все долгие десять школьных лет.

Лёва, заметив на друге железнодорожную жилетку, спрашивает:

— Ты что, здесь работаешь?

Земцев снова смеётся над картавостью друга, картинно уперев руки в бока.

— Работаю... А вот ты чего бродишь по путям? Да ещё под самое колесо лезешь! Тоже мне, Анна Каренина! — Он нагибается и поднимает обронённый молоток.

— Так у меня тоже, можно сказать, тут рабочее место! Вон мой вагон стоит! — И Лёвка машет рукой в сторону соседнего пути.

Там, укреплённый «башмаками», дремлет вагон фельдъегерско-почтовой связи.

— Ходил вот к диспетчеру, — солидно поясняет Бруштейн. — Хотел узнать, когда нас начнут формировать.

— Ну и узнал?

— Часа через четыре, не раньше.

— Да, куковать тебе до самого вечера...

Лёвка, как в детстве, тянет Григория за рукав:

— Слушай, а пошли ко мне, посидим! Выпьем за встречу...

— Так запрещено же в ваш вагон заходить.

— Да кто мне может запретить, чужак-человек? Покажи мне того смельчака! Я тут самый главный! Прошу знакомиться: Бруштейн Лев Палыч — старший фельдъегерь. — И подмигивает: — Пошли! У меня коньяк имеется.

¹ Болван (*идиши*).

² Привет (*идиши*).

Против такого аргумента Земцеву не устоять.

— Ну, уговорил, Лев Палыч. Действительно, не расставаться же нам здесь, на путях.

Лев по-хозяйски идёт первым. Он то и дело оборачивается, машет руками, что-то говорит. Весь он подвижный, говорливый и жизнерадостный. До Земцева долетают обрывки фраз, но он всё равно согласно кивает головой. Наконец доходят до вагона. Бруштейн влезает на подножку, отпирает «спецалкой» тяжёлую дверь, ступает в тамбур и протягивает Григорию руку:

— Ну, милости прошу к нашему шалашу!

Григорий легко подтягивает своё могучее тело на поручнях и входит в вагон. Стыдливо прислоняет у стены свой молоточек, ахает:

— Вот это да!.. — Его серые глаза расширяются, а лицо, наоборот, будто застывает. — Душ!.. Вот это по-человечески! Туалет! Нормально!.. — Проходит дальше. — А постель какая! Слушай, ну и королевская у тебя жизнь!

Лёвка цветёт.

Земцев стесняется своей рабочей одежды и не решается заходить внутрь.

Но фельдьегерь подталкивает его в глубь купе.

— Да ты не дрейфь, проходи! А я пока на стол чего-нибудь соображу.

Лев открывает низкий холодильник и извлекает из него закуску: не разрезанную ещё колбасу, сыр, золотистую копчёную скумбрию, шпроты, фрукты... И только потом выставляет на стол обещанную бутылку. Она мерцает и переливается янтарём. Это не просто коньяк — это торжество жизни.

Земцев восхищается, подвигаясь ближе к столу:

— Не слабо живёшь!

Бруштейн разливает по стаканам, и скоро купе наполняется терпким, пряным, чуть сладковатым ароматом.

— Ну, за встречу! — Лев звякает о стакан друга.

Григорий любитесь тёмно-медовым цветом коньяка в недорогом штампованном, но всё же — хрустале, нюхает и маленькими глоточками, наслаждаясь, выпивает. Бархатистая жидкость обжигает рот.

Земцев ошарашенно причмокивает:

— Царский напиток! Откуда он у тебя?

— Армяне презентуют. — Бруштейн, не морщась, посасывает ломтик лимона. — Мы им товар нелегально перевозим, ну ещё кое-что по мелочи... — А не боишься?

— Да у нас всё схвачено, — с уверенностью отвечает Лёвка. — Делится с милицией, таможней...

— Ну, тогда другое дело...

— А иначе нельзя. Сразу же прищучат.

Григорий вытаскивает из кармана пачку сигарет.

— Дома давно был?

— Почти после каждого маршрута заезжаю, — степенно отвечает Лев. — Отовариваю мамех³ продуктами — и назад, в город! Ей без меня никак нельзя!

И столько в этом ответе заложено доброй силы, что Григорию хочется обнять своего друга. Он хлопает Лёву по плечу.

³ Мама (*иди*).

— Длинная у тебя поездка?

— До Владика и назад. Дней двадцать уходит.

— Не слабо, — с уважением замечает Григорий. — Молодец.

Лев отмахивается:

— Да какой там молодец! Несерьёзно всё это. Бежать надо с этой задолбанной России. И чем быстрее, тем лучше.

Григорий перестаёт жевать.

— И куда же ты надумал? — спрашивает он.

Бруштейн притворно удивляется:

— Как куда? Конечно же, в Израиль! У нас там с маманей кой-какие родственники всё-таки остались... Хочется хоть чуть-чуть по-человечески пожить. Помнишь, как раньше в нашем доме всегда хорошо было...

— Да...

Земцев в истоме закрывает глаза, и в памяти вспыхивает совершенно живая картина Лёвкиного дома...

Подчёркнутая чистота, все вещи — строго на своих местах. И в то же время уютно. На стене в диковинном резном футляре тикают часы, под потолком — старинная медная четырёхрожковая люстра, пианино с узорчатыми подсвечниками, библиотека... На полках — толстые тома в золочёном тиснении. Авторы Гришке неизвестны: Шолом-Алейхем, Перец, Давид Бергельсон, Исаак Башевис Зингер... Их ряд продолжают переведённые на идиш романы русских классиков. На стенах — настоящие, писанные маслом картины в кудрявых золочёных рамах.

А в старом кожаном кресле у окна — хозяйка дома, Лёвкина буббе⁴ —

Юдифь Исаковна...

2

Бруштейны появились в Александровке в конце сороковых годов. После «дела врачей» пошёл слух, что всех евреев будут выселять на Дальний Восток, и Лёвкин отец со всей семьёй пошёл за лучшее «нырнуть» в глубинку. После столичной клиники — простой фельдшерский пункт. Слава Богу, что ещё не ветеринарный. А ведь предлагали.

Здесь сразу смекнули, что к чему. Бруштейн слыл отличным диагностом, быстро и точно определял болезнь, лечил сам или направлял к врачу, который был нужен. Народ повалил толпой, не только из Александровки, а и со всей окрестности. Доходило до того, что городские врачи присылали больных к фельдшеру Бруштейну на консультацию.

К тому времени Сталин уже преставился, гонения затихли, и Павла Соломоновича стали перетягивать в город. «Кадры решают всё». Но он почему-то отказывался. Сердце, что ли, прикипело к здешним местам, да и сельчане его трепетно любили, хотя обычно приезжих, тем более евреев, не очень-то жаловали. Местная элита — та за версту шапку ломала, только что земных поклонов не клала. А тут построили сельскую больничку, и стал Бруштейн в ней главврачом.

Но недолго довелось ему поработать в этой должности. Как-то уехал в область «выбивать» для своей больнички медикаменты, да так на-

⁴ Бабушка (*идиш*).

кричался, что сердце разорвалось прямо в кабинете бездушного чиновника. Медикаменты, кстати, потом для села выделили, да кому от этого легче?

Когда в Александровке узнали о смерти врача, люди переживали это как личное горе. Хоронили всем селом, от народа черно было. Вот тогда-то, увидев огромную толпу, Гришка впервые по-настоящему уважал врачову семью, и они с Лёвкой подружились. Хотя вообще-то у него и раньше были основания уважать Бруштейнов. Павел Соломонович ему жизнь спас, когда Гришка подхватил двустороннее воспаление лёгких и уже готовился Богу душу отдать.

После смерти отца Лёвушку многие жалели, но кое-кто и задирать начал, и Гришка сразу кинулся защищать щуплого одноклассника. Тем более что и сам недавно потерял отца: тот разбился, сорвавшись с водонапорной башни, которую чинил...

В общем, безотцовщина сблизила их, и ребята потянулись друг к другу. Земцев стал Бруштейна провожать после уроков домой, сначала — чтобы отвадить задиристую шпану, а потом ходить вместе стало уже привычкой. И — не самое главное, но, честно признаться, приятное: Лёвина мать почти всегда оставляла Гришку обедать.

И сейчас, когда за коньяком заговорили о доме, Григорий сразу вспомнил душистый, отдающий пряностями еврейский уют. Вспомнил и буббе, Юдифь Исаковну, которая была мастерица готовить. Всплыла перед глазами таинственная «гефилте фиш» — фаршированная рыба, как-то по-особенному сваренная с овощами. Рыбина в огромном блюде золотилась от луковой шелухи, которую специально клали для цвета, а ушица, когда застывала с картошкой и овощами, превращалась в красивое желе, от которого Гришка сходил с ума. Обычно такую трапезу устраивали по субботам. Взрослые произносили над рыбой благословение, якобы для того, чтобы её душа вознеслась на небеса. Гришка только улыбался таким причудам: пусть летит, лишь бы рыбы на столе меньше не стало... Вспомнилась и курица с чесноком, и густо присыпанные корицей ромбики сдобного земелаха, и крендельки, и манелах.

Только не пришлось ему по душе гоменташ — треугольные пирожки, начинённые маком и мёдом. Пекут их на весёлый праздник Пурим и дарят друг другу. К пирожкам Гришка претензий бы не имел, но уж больно история их страшная. Лёва рассказал однажды по большому секрету, что очень давно евреи уничтожили в Персидской империи семьдесят пять тысяч персов. И не в сражении каком-то, а местных безоружных жителей. Чтобы предотвратить резню евреев, которую надумал совершить персидский генерал Аман. Казнь над ним была кровавая: отрезав Аману уши, его повесили, а потом и его десятерых детей. И вот в память об этом удачном погроме с тех пор и проводится праздник Пурим — день любви и радости. Самое главное кушанье в этот день — «уши Амана» (на идиш — «гоменташ»). Плоть бывшего врага горами поедается взрослыми и детишками.

У Гришки после Лёвиного рассказа пирожки чуть обратно не выскочили, и он не только перестал есть их, но даже боялся к ним прикасаться. В каждом пирожке ему теперь мерещилось живое ухо. В праздник Пурим Гришка в дом к Лёве не ходил...

Уютная Юдифь Исаковна, седая, с очками в золотой оправе, в тёплом вишнёвого цвета халате, с вечным пуховым платком на плечах, никогда не отправляла Гришку домой, не сунув ему на дорогу бутерброд, или

пирожок, или кулёк с конфетами. Пирожки Гришка выбрасывал собакам (не распрашивать же старушку, по какому поводу их напекли?), а конфеты честно приносил домой и делил с братьями.

То ли Земцев вообще Бруштейнам нравился, то ли они считали его силу и деревенский авторитет необходимыми, чтобы оберегать Лёвушку от шпаны, но дружба их поощрялась. В общем, прикормили паренька...

3

Бруштейн, не выдержав, хвастается перед другом, показывая пистолет:

— Ответственность на мне здесь большая. Знаешь, какие деньжищи мы, бывает, перевозим? Ты не поверишь!

— И чего вас, евреев, всё время к деньгам тянет? — хмыкает Григорий, совсем не удивившись и не проявив интереса к Лёвкиному оружию. — Мёдом они, что ли, мазаны?

Бруштейн, не обидевшись, подмигивает:

— Хочешь анекдот? Рабинович приносит на базар варёные яйца. Его спрашивают: «Слушайте, Рабинович! Вы покупаете яйца по рублю десяток, варите их и продаёте опять по рублю за десяток. Скажите честно: что вы с этого имеете?» — «Как?! А навар?!»

То ли от скорченной физиономии с вылупленными глазами, то ли от этого нарочито-картавого «наваг» Земцев громко хохочет.

Лев с некоторой грустью спрашивает:

— Смешно? Здесь, в России, нельзя серьёзно заниматься бизнесом. Чуть нос высунешь — на тебя или аркан накинута, или вообще на тот свет отправят. Нет, рвать отсюда надо, и чем быстрее, тем лучше, — снова повторяет он.

Чувствуя, что от выпитого захмелело в голове и особенной теплотой загло внутри, Григорий удивляется всерьёз:

— Неужели у тебя душа не прикипела к нашей земле? Я сегодня еловую веточку увидел, и так всколыхнулось у меня внутри... Прямо хоть всё бросай и беги туда, в Александровку. Не понимаю я тебя...

Лёва снисходительно улыбается:

— Наивный чукотский мальчик... Ты должен знать, мотек⁵, что рыба ищет где глубже, а человек должен сидеть на самом дне, как царь, и поедать эту рыбу. Вот она, философия, и другой быть не может.

Григорий вскрикивает:

— Ну а сердце должно быть? Или у вас его нет?

— Это у кого — «у вас»? — пытается уточнить Бруштейн.

— У евреев! — почти с вызовом отвечает Григорий. — Выходит, сколько вас ни корми, а вы всё равно на Израиль смотрите!

— Ты что, Гришань, антисемитом, что ли, стал под старость лет? Что-то раньше я такое за тобой не замечал.

— Вот ты как раз и есть сионист! — запальчиво кричит Григорий. — И ещё дурак вдобавок.

— Ты меня извини, может, это тебя оскорбит, но там моя родина. — И он показывает пальцем в окно. — Там. А не здесь.

⁵ Голубчик (*идиш*).

Григорий чувствует уже не радость, а какую-то всё нарастающую неприязнь к Лёве. Ему кажется, будто его окунули в какую-то липкую грязь, от которой теперь не отмыться, не оттереться. Григорий набычась молчит. И после долгой паузы произносит:

— Да, разочаровал ты меня... И когда уезжаешь?

— Осенью. Сначала сам, а потом и мамех заберу... — И, чтобы перейти на другую тему, спрашивает: — Слушай, ну а ты-то как? Я, конечно, кое-что о тебе знаю. Но лучше сам расскажи.

Григорий делает длительную паузу и начинает медленно выуживать из консервной банки тонкотелые шпроты, ровненько накладывая их на ломоть хлеба. Соорудив бутерброд, охотничьим ножом разрезает его на две части. Половину протягивает Лёвке, другую берёт себе. Неторопливо прожевав свой кусок, вытирает о газету замасленные пальцы. Чувствуется, что ему не очень хочется продолжать разговор.

— Ну что ж... Мы, товарищ Бруштейн, тоже, знаете ли, поездили по стране в вагонах с белоснежными занавесочками, — всё-таки вытягивает он из себя.

— Проводником, что ли? — уточняет Лёва, откинувшись к стене.

— Да нет, бери выше. Подавалой я никогда не был. Осмотрщиком я ездил. И не на простых поездах, а на ракетных...

— Да ну?!

«Ага, задело, — удовлетворённо хмыкает Григорий. — Ишь, как пружиной подкинуло».

— Выходит, правду болтали насчёт них... Значит, действительно были такие?

— Неужели я тебе врать буду? Я на том поезде накатал столько — до самого космоса хватит. А то и побольше.

Земцев переходит на таинственный шёпот:

— Скитались мы на этом поезде-призраке — ни дать ни взять — «летучие голландцы». На больших станциях не останавливались, только на глухих полустанках. Вокзалы проскакивали на рассвете, когда людей мало...

Лёва, как в детстве, подперев ладонями свою лысую голову, слушает, затаив дыхание. Но за стаканами тоже следит, пустыми их не держит.

Григория уже не остановить:

— Кто только за нами не шпионил! Американцы посылали специальные спутники, чтобы нас обнаружить. А поди определи: ракетный комплекс идёт или скорый «Пермь—Москва»?

— И откуда тебе всё это было известно? — недоверчиво спрашивает Бруштейн.

Григорий обижается:

— Ну ты, Кукугуза, даёшь! Конечно, мне никто не докладывал. Но жили-то мы с офицерами в одном вагоне. Обедали в одном ресторане. Кое-что до уха доходило...

— И всё-таки я не пойму, — размышляет Лев, — как можно пускать ракеты на полном ходу поезда? Тут когда чай наливаешь — он весь расплещется, а это ракету надо нацелить...

— Я сам диву давался, — соглашается с ним Григорий. — Моё дело, конечно, было простое — следить за колёсными парами. И вот, когда я их простукивал, по звуку определял, что вагон весил более ста тонн. Ты представляешь, что это такое? В одних только колёсах уже была тайна. А ты говоришь — чай!

Лёва вздыхает и разливает оставшийся коньяк.

— А ушёл почему? Ведь платили небось прилично? — пытается уточнить Бруштейн.

Григорий отмахивается:

— «Ушёл!» С такой работы разве уходят? Поменяли на другого. Но не обидели... Дали квартиру, а потом, через год, ещё и трудовым орденом отметили...

— Да ну?

— Факт.

— Так за это надо обязательно выпить! — Фельдъегерь встаёт, подходит к холодильнику и извлекает оттуда вторую бутылку коньяка.

Вдруг через окно оба слышат сердитый голос по громкоговорящей связи:

— Земцев, отзовись! Как у тебя на пятом пути? Воздух получил?

Григорий спохватывается:

— Это меня напарник ищет. Побегу я.

— Так ты это... возвращайся! — кричит ему в спину Лев. — Орден-то так и не обмыли...

Земцев выходит из вагона. Со стороны «горки», неторопливо и зловеще завоёвывая небо, наползает чёрная туча. Григорий добегают до хвостового вагона, дёргает за концевой кран, из которого шумно вырывается воздух. Докладывает по связи, установленной на столбе:

— На пятом пути полный порядок! В хвосте воздух есть.

— Понятно... — отзывается усталый голос.

Земцев заходит в помещение вагонников. Своей радостью ни с кем не делится. Ну, встретил земляка: кому это интересно? Но когда выходит из здания, ощущение радости пропадает. Даже наоборот: такая вдруг тоска накатывает, такое предчувствие чего-то нехорошего, что впору хоть и не возвращаться к почтовому вагону... Но неудобно: Лёвка ждёт, да и коньяк...

4

За второй бутылкой о закуске как-то забыли. Уплетаются только кусочки лимона. Хмель с новой силой ударяет в голову, и пошло: потекли воспоминания о школьных дурачествах, о приключениях, о детских мечтах...

— А помнишь наш обряд — посвящение в пацаны?

— Как не помнить! Ведь это я придумал.

— А ты помнишь, как мы пьяному конюху «снегурки» на сапоги намотали? Он часа два вставал на ноги. Встанет и падает...

Григорий смеётся и машет головой. Потом вдруг грустнеет:

— Эх, Лёва!.. И всё-таки твоя родина — это Александровка. С кем ты в Израиле будешь вот так вспоминать о своём детстве? Ни с кем. Нет, зря ты это затеял. Родина — это где ты родился, где твоя речка течёт. А ты режешь всё по живому... Подумай, пока не поздно. Потом локти будешь кусать, а то и помрёшь в тоске. Ты подумай...

Бруштейн отмахивается от него:

— Не надо драматизировать. Давай-ка я тебе лучше кое-что покажу. Так сказать, для компенсации за разглашение твоей военной тайны. Только никому ни-ни... Молчок. Тебе как другу.

Слегка пошатываясь, он встаёт, достаёт из кармана ключ и подходит к сейфу.

— Показываю один раз. Как в цирке.

Лёва открывает дверцу и отходит в сторону, любуясь произведённым эффектом. Григорий не верит глазам. Утробщище сейфа забито деньгами. И не российскими рублями, а долларами. Всё упаковано в целлофан. Такого количества денег Земцев за целую жизнь не видал. Он привстаёт с места, облокачивается о стол, но Бруштейн решительно захлопывает дверцу перед самым его носом. «Сеанс» закончен. Но блеск денежных купюр уже ослепил Земцева. Он проник внутрь и где-то в глубине души затаился, замер.

— Ах, едрить твою!.. — стонет он. Серые глаза его бегают, в них появляется огонь.

Голос Льва доносится словно издалека:

— Чуешь, какое богатство? Одному человеку, наверно, до самой смерти хватит. И детям ещё достанется, и внукам... Всё-таки двести тысяч...

Земцев вдруг чувствует, как купе плывёт перед глазами. И он почти кричит, надрывно, с отчаянием:

— Двести тысяч?! Слушай, Лёвка, а ведь это шанс! Давай разыграем ограбление, а деньги поделим! И покатишь ты в свой Израиль богатеньким дядей...

Лев улыбается.

— Нет, Гриша... Ведь меня сразу вычислят, это ясно. Значит, надо бежать, прятаться, а что это за жизнь — в прятки?

— Ну и что ты будешь делать там без денег? Посуду в ресторанах мыть? — усмехнувшись, спрашивает своего друга Григорий.

— Родственники помогут... В крайнем случае, в армию пойду. Там, говорят, хорошие деньги платят.

Григорий сурово спрашивает:

— Да ты хоть знаешь, за что они такие деньги платят?

— Понятное дело — за войну с арабами, — мнётся с ответом Лев. — Буду им уши отрезать... — И он весело смеётся.

Григорий вскакивает, задевая коленом о стол. От удара вилка подпрыгивает на тарелке и падает на пол.

— Медведь! — недовольно бурчит Бруштейн. — Не иначе дама какая-то придёт... — И наклоняется, чтобы поднять вилку.

И в это время Земцев замечает на полке нож: красивый, длинный, обоюдоострый, с наборной ручкой из цветного пластика. Он протягивает к нему руку и осторожно дотрагивается пальцами до холодного лезвия. Григорий обеими руками охватывает рукоять тяжёлого ножа и прижимает его к груди. Ещё есть время подумать. Потом этой секунды не будет. Но ни сердце, ни разум ему больше не подвластны. Он нагибается над другом и сильным ударом вбивает нож в спину Бруштейна. Под рукоятью что-то трещит и ломается. Земляк даже не вскрикивает.

5

В купе тихо. Так тихо, что кажется — уши лопнут. Григорий отскакивает к двери, запирает её на защёлку. Его охватывает ужас. В горле заст-

ревает крик, останавливается дыхание. Тело слабеет, будто его самого убили.

Земцев оглядывается. Замечает в углу набитый походный рюкзак. Вытряхивает его: на пол падают, раскатываясь, консервные банки. В сейфе ещё покачиваются ключи. Бруштейн лежит под столом мёртвый, а связка покачивается, как живая. Григорий быстро подходит к сейфу, открывает его и торопясь, одну за другой перекладывает пачки денег.

Стараясь не суетиться, Земцев вытаскивает из кобуры мёртвого Лёвки пистолет и суёт в свой карман. С ним увереннее. Потом берёт полотенце и хладнокровно протирает все предметы, которых касался. Свой стакан и пустую бутылку кладёт в рюкзак, вслед за ними кидает туда пепельницу с окурками. Осталась ручка ножа. Он наклоняется под стол и, насколько это возможно, стараясь не глядеть, проделывает самую тяжёлую процедуру.

«Ну вот тебе, Лёвка, и весь Израиль!».

Пятится к двери. Ещё раз, напоследок, осматривает купе, надевает рюкзак, берёт свой смотровой молоток, открывает дверь.

Выглядывает. Никого...

Протирает полотенцем поручень, закрывает дверь и прыгает вниз, в промозглую темень.

6

В подъезд он входит кошачьим шагом, озираясь и оглядываясь. Быстро открывает дверь своим ключом и, не разуваясь, проходит в комнату. Жена удивлённо смотрит на него: лицо у мужа какое-то ошалелое. Земцев скидывает с плеча рюкзак, расшнуровывает его и, приподняв за дно, вываливает на диван тяжёлые пачки денег. Одна из них падает на пол и больно бьёт по ноге Василине. Григорий откидывает рюкзак к двери и выдыхает:

— Ну, что скажешь?

Чувствуя, что в дом пришла беда, Василина бессильно опускается на краешек дивана.

— Откуда они у тебя?

— На дороге нашёл, — пытается отшутиться Григорий. Но потом вдруг мрачнеет и всё как на духу выкладывает.

Василина крестится, и руки её бессильно падают на колени. Её большие синие глаза тускнеют, будто покрываются серой плёнкой.

Женщина всхлипывает:

— Ты хоть представляешь, что ты наделал! Ты о нас хоть подумал? Что же теперь будет?!

Григорий обрывает её:

— Да чего ты, как над покойником, голосишь! Сейчас по всей России воровской час идёт. Полстраны так живёт!

— Ну и пусть живут, как хотят, — стонет Василина. — Ты ведь человека убил! И не просто человека, а друга. Как только у тебя рука поднялась?

Брови Григория дёргаются, и он стискивает челюсти.

— Бог милостив.

— Господи, да что ты мелешь!.. А это что? — среди денег Василина замечает окурки.

— Подобрал от греха подальше, — бормочет Григорий. — Выбрось это. И рюкзак тоже. Я за собой всё подтёр. Ни одна собака не пронюхает.

— Прямо как настоящий уголовник. Всё продумал, всё просчитал... И меня соучастницей сделал, — мечется по комнате жена.

Григорий сурово спрашивает:

— Чего ты несёшь? Какой соучастницей?

— Да ведь не побегу же я на тебя доносить! Значит, с тобой заодно...

— Не бойся. Всё будет нормально, — коротким шепотком успокаивает он её.

Василина поднимает с пола пачку денег и нюхает.

— И правду говорят, что деньги не пахнут, — с усилием произносит она.

Григорий с новой силой взрывается:

— Ты это что?.. На кровь намекаешь? Ты это брось... Думаешь, мне легко?

Он близко подходит к Василине.

— Зато всё теперь у тебя будет. И шуба тоже. Помнишь, как мечтала? И из вонючего магазина уйдёшь. Королевой жить будешь!

Но женщина не радуется. Внутри неё всё протестует.

— Не будет нам счастья от этих денег. Вот увидишь... На крови они... — с горечью отвечает она. — Может, выбросить их, пока не поздно?

— Ладно! Всё! Закрыли тему! И не трави мне больше душу. «Выбросить»! — передразнивает он жену.

— Тогда хоть не трать их сейчас, — отзывается Василина и глубоко, обречённо вздыхает. — Они наверняка переписаны. При первой же покупке попадёшься. Забудь пока про них. Там видно будет... А сейчас спрячь их. Скоро сыновья вернутся. Их в это дело хоть не втягивай...

Григорий понимающе кивает. Отодвигает диван, отдирает под ним половую доску и укладывает туда банкноты.

Ночью он не спит. Строит планы, прикидывает, как удачнее распорядиться богатством. И только об одном боится думать Григорий — о Бруштейне. Боится запускать его в свои мысли. Не будет тогда ему покоя...

Он поднимается и тихо, чтобы не разбудить жену, выходит на балкон. На улице моросит мелкий дождь. К подъезду то и дело подъезжают легковушки. Возвращаются домой припозднившиеся соседи. Вот через двор медленно проезжает патрульный милицейский «газик». Земцеву кажется, что едут за ним. Он съёживается и стоит до тех пор, пока машина не пропадает из виду.

Потом лежит в постели и слушает, как гремит сердце. Словно колокол в груди бьёт. Он только сейчас по-настоящему осознаёт происшедшее. Его давит страх. «А может, Василина права? Вынести деньги из дома и выбросить их на станции... А если поймают?» Вопросы звучат пусто и бессмысленно. Куда деньги ни день, а друга уже не вернёшь... Жена что-то бормочет во сне... А в ухо Григорию кто-то нашёптывает: «Не трусь! Всё обойдётся... Не глупи... Скоро ты будешь самым богатым человеком».

7

Капает мелкий дождь. Проблесковые огни милицейских машин отбрасывают на рельсы тревожные отсветы. Майор Маслов, поёживаясь

в летнем плаще, вслед за постовым идёт к почтовому вагону. Не торопясь поднимается в тамбур, степенно входит в купе. В ярком свете сразу видна его крупная фигура в сером штатском плаще и чёрной шляпе, седеющие усы, властное лицо с чёткими морщинами у пронзительных ярко-синих глаз.

Майор окидывает взглядом купе. Мебель и вещи осыпаны дактилоскопическим порошком. На полу, вцепившись левой рукой в ножку стола, скрючилось безжизненное тело.

В кухоньке молодой лейтенант, позёвывая, записывает показания коллеги убитого — Николая Кукушкина, который, собственно, и обнаружил труп.

Маслов без воодушевления приказывает:

— Докладывайте.

— Ну вот, видите ли, Глеб Викентьевич, убийство произошло часа за три — три с половиной до времени обнаружения. Отпечатков нет. Те, что есть, принадлежат Бруштейну или Кукушкину. Согласно показаниям младшего фельдъегеря, пропали одна бутылка коньяка и один стакан. Нет и пепельницы с окурками. Деньги унесли, по-видимому, в чёрном рюкзаке Кукушкина, он в нём продукты затарил на поездку. Ещё пистолет вытащили из кобуры погибшего.

— Под «любителя» работали, — замечает следователь прокуратуры, мешковатый, лысеющий человек, одетый в помятый костюм. Он хитро глядит на Маслова: — Профессионал никогда, мол, пистолета не заберёт. А я уверен, что и пистолет, и бутылка с пепельницей сейчас в одном пруду лежат. Это всё для дураков, так — глаза отвести.

Маслов соглашается:

— Похоже на то... Ну что, давайте сюда этого вашего почтовика.

Кукушкин оказывается долговым мужчиной лет тридцати, бело-брысым, с простым и открытым лицом.

— Вас как звать-то? — устало спрашивает майор.

— Петрович. Мм... в смысле — Николай.

Майор усмехается:

— Ну ладно, присаживайтесь, Николай Петрович. Скажите: как вышло, что ваш напарник один в вагоне остался? Насколько я знаю, по вашей инструкции это не положено.

— Так это... Пока по маршруту едешь — скука смертная. Ну я и отпросился у него в парикмахерскую сходить да в кино. Вы правы: это не положено, но как только мы узнали, что париться тут часов пять-шесть, сами понимаете...

— Ну да... А никакого свидания тут у него не могло быть? Может, это он сам вас выпроводил? Этот ваш блудуарчик, прошу прощения, располагает к некоторой изнеженности нравов.

— Да нет... Какие свидания! Палыч — правильный мужик был, крепень. У начальства на первом счету. Ну, и опять же — для Оксанки себя блюл.

Майор как бы между прочим спрашивает:

— Кто такая Оксана?

— Её женщина. Она с нами в поездки ездит. Кухарит, убирает. Ну, в общем, она ему как жена.

Майор усмехается:

— Боевая подруга, что ли?

Кукушкин обижается:

— Ну зачем вы так? Я же говорю: она как жена ему была. Осенью свадьбу собирались сыграть.

— Да, жалко парня, — произносит следователь прокуратуры.

— Да вот и я говорю! — расстраивается Кукушкин. — Не такой был человек Палыч, чтобы с первым встречным коньяки распивать. Чтобы постороннего в купе пустить — да Боже упаси! Кремень был, говорю, вы уж мне поверьте. И если он кого пустил, то из своих.

— Понятно, понятно... Ладно, выйдите.

Когда за Кукушкиным закрывается дверь, Маслов неторопливо делится своей догадкой.

— А вы знаете, здесь некоторая нестыковочка получается. Вот напарник говорил про свадьбу. А я точно знаю, что Бруштейн готовил документы для выезда в Израиль. Так сказать, на исконную свою землю. Так что никакой свадьбы в природе не должно было быть. Ехать он собирался один. А вот что касается денег, — продолжал рассуждать следователь, — вы обратили внимание на слова Кукушкина: «И если он кого пустил, то из своих...»

— И кто, по вашему мнению, эти «свои»?

— Наверное, те, с которыми он хотел поделить деньги. Видно, не с пустыми руками он намеревался прибыть на землю Обетованную. Здесь был делёж денег. Вполне возможно, готовилось инсценированное ограбление. Спектакль этакий. Но Бруштейн, видимо, перегнул палку. Оно и понятно — его доля должна быть большей. Напарников это не устроило. Нет человека — нет проблем.

В тамбуре слышатся шаги. Все поворачиваются к двери. В руке лейтенанта внезапно оказывается пистолет. Это получается так ловко, будто оружие само прыгает ему в ладонь.

Лейтенант первым выскакивает в коридор. Тяжёлая металлическая дверь открывается, и на пороге появляется женщина. Лейтенант прячет пистолет в кобуру и подходит ближе к гостье.

Незнакомка выглядит несколько экзотично. На ней синие джинсы и розовая кофточка, обтягивающая упругие груди. Пышная, каштановолосая, с модной чёлкой по самые брови. На плече — небольшой цветастый рюкзачок, в руках спущенный зонтик. Лейтенант решает, что ей лет тридцать пять — сорок; из-под выпуклого широкого лба на него смотрят открытые пытливые глаза. Она взволнованна и растерянна.

— Что здесь случилось? — напряжённо спрашивает женщина. От неё пахнет хоть и не французской «Шанелью № 5», но тоже очень тонкими и приятными духами.

— Вы Оксана? — из-за спины лейтенанта спрашивает следователь прокуратуры.

— Да-а...

— Скажите, вы сегодня встречались с Бруштейном?

— Не-ет... то есть да-а... Погодите, а где Лёва?!

Женщина пытается проникнуть в купе. Потом смотрит в упор на Кукушкина:

— Что случилось?

— Убили его, — отвечает Николай и отводит глаза.

— Лёва! — кричит женщина и, с исполинской силой отпихнув лейтенанта в сторону, молнией пролетает мимо трёх мужчин. Открывшаяся картина её мгновенно парализует. Ноги Оксаны подкашиваются, и если бы не подоспевший следователь прокуратуры, она рухнула бы на пол.

— Нежные чувства у дамочки на месте, — кричит следователь, перетаскивая её в другое купе. — Видать, действительно была любовь... А ну-ка, почтовая душа, принеси воды!

Следователь принимает из рук фельдъегеря кружку и, набрав в рот воды, прыскает на лицо женщины. Это не помогает. Тогда он несильно бьёт её по пухлым щекам. Женщина открывает глаза.

— Встать можете? — спрашивает он.

Оксана отрицательно машет головой.

— Лейтенант! — даёт распоряжение майор. — Ты остаёшься здесь, пока не приедут медики. Вагон не опечатывай. Дождись сменной бригады. Никого не впускай. А вам, Кукушкин, придётся пройти с нами. Наш с вами разговор ещё не окончен, сами понимаете.

— Только это... Можно, я консервы свои заберу?

— Забирайте.

8

... Григорий здорово изменился с тех пор. Очень изменился. Другими стали его глаза. Быстрый, даже суетливый взгляд сделался каким-то напряжённым и тяжёлым — как будто постоянно что-то припоминал или старался забыть...

Однажды ночью, в темноте, к Григорию приходит Лёвушка, весёлый, в форменной одежде железнодорожника, с треугольной булочкой в руке. Подмигивает Земцеву, откусывает кусок гомоташа и садится на постель.

— Лёва... Ты же это... мёртвый.

— А я и есть мёртвый, — бодро отвечает ночной гость. — Вот что я хочу тебе сказать: думкоп⁶ ты, что связался с этими деньгами. Жена твоя права: банкноты на учёте, и тебя схватят тут же. Ну и какой прок от таких денег?

— Что-нибудь придумаю... — отвечает Земцев. — Деньги свободу дают.

— Неправ ты, Гриша... Свободу! Не будет у тебя никакой свободы. Деньги хороши, когда ты им господин, а не наоборот. Они вообще вещь сомнительная. Есть в них что-то изначально нехорошее. Кружат они голову.

Григорий сердится:

— Ерунду ты несёшь! Деньги уверенность в жизни дают.

Бруштейн качает головой, смеётся.

Григорий, не выдержав, гневно кричит:

— Зачем ты пришёл? Уходи!

Лёвушка вздыхает и поднимается.

— Как прикажешь... — И направляется в коридор, но около самой двери останавливается, оглядывается вполоборота и говорит: — Ты не думай, что эти деньги тебе даром достанутся. За них тебе в своей жизни придётся заплатить и, может быть, по повышенной цене. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Бац!.. И мышки нет!

— Ты что, мне угрожаешь?

— Просто уведомляю, как говорили у нас на почте. И совет мой тебе: береги уши. Мало ли чего...

⁶ Дурак (*идиш*).

— Слушай, погоди! Стой!..

Но в прихожей уже никого нет.

— Вот грач-порхач!

В этот вечер Григорий впервые с пронзительной ясностью сознаёт, что он убил Лёву и вместе с ним — весь тот уютный и добрый мир, который знал с детства. А взамен этого получил страх, который будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Но жить надо...

Земцев ещё долго сидит на постели, обхватив голову — то ли думает о чём-то, то ли просто боится заснуть...

Василина по ночам больше не жмётся к мужу, как бывало раньше. Лежит с ним в постели будто чужая. Словно состарилось сердце. Отдаётся ему покорно, как рабыня. Моясь под душем, она подолгу намыливает своё нежное тело, принюхиваясь к нему, и ей кажется, что её кожа пахнет не мужниным потом, а чужой кровью...

9

Время всё подкидывает скорби и хлопоты. Через два года приходит из Александровки весть, от которой у Земцева всё внутри обрывается. Умерла мать. Григорий снимает со сберкнижки все деньги, какие были, и на следующий же день едет с Василиной в Александровку.

Дом Земцевых добротный, с высоким крыльцом и резными наличниками на окнах. Два старших брата — Тимофей и Харитон — уже здесь, хотя живут они на Урале. Выходят к нему во двор.

— Вот так, Гриша, нет у нас больше маманьки, — говорит старший и обнимает Григория. — Проходи в дом, она дожидается тебя...

Под тяжёлым шагом Григория скрипят половицы в старом доме... Гроб стоит посреди комнаты на столе. Около него — сухонькие старушки. Многих из них Григорий не узнаёт. Зашептались, увидав его. Отступают, освобождая ему путь. Наконец он подходит и, обняв гроб, склоняется над матерью. Она маленькая, как подросток. Натруженные руки с синими прожилками лежат, успокоившись, на белой простыне. Взрослый сын плачет, не стыдясь слёз...

Обступают с обеих сторон братья. Григорий выпрямляется и по очереди приклоняется головой к их плечам. Напротив стоит Василина — голова её в чёрном платке. И хотя жена почти рядом, но Григорию кажется, что она далеко от него. И веет от неё холодом... Он боится взглянуть ей в глаза. Не жена, а совесть его...

Хоронят мать на следующий день к вечеру. Дорога под синим небом. Солнце спускается к кладбищу. Гроб плывёт на сыновних плечах. За ними — горстка стариков и старух. Кого-то из них понесут в следующий раз...

10

После поминок братья уединяются от народа на кухне. Курят, разговаривают. Старший, Тимофей, спрашивает:

— Что с домом делать будем? Нам с Харитоном он вроде бы не нужен. У Харитошки — биржа, у меня — торговое дело. Может, ты возьмёшь? Ведь дом ещё крепкий, ладный... Жалко продавать.

— А чего тут думать? — поддерживает круглый, лоснящийся от водки и еды Харитон. — Мне-то некогда с деревней заниматься. Акции, валюта... Всё серьёзно.

Тимофей вздыхает:

— А у меня магазин... Куда от него? Ну, а тебе-то чего терять? Твои колёса да молоток, что ли? Может, правда, переберёшься? Фермером станешь!

Григорий пытается отговориться:

— Да какой из меня фермер! Я давно уже городской. Железнодорожник до мозга костей.

Харитон не унимается:

— Не говори ерунды! Кости у тебя крестьянские!

— Верно он говорит, — поддерживает брата Тимофей. — Наша фамилия русская, очень древняя, крестьянская... Земцами раньше называли людей, имевших собственную пашню.

Григорий наливает водки всем троим. Первым поднимает свой стакан.

— А что? Может, и правда остаться? — рассуждает он вслух. — При живой мамане надо было так поступить. Может, дольше бы прожила... — Он вытирает с лица слезу. — Непутёвые мы, видать, сыновья, коли мамку одну оставили...

Харитон перебивает его:

— Да ладно тебе. Судьбу не обманешь. А мать наша скоро с отцом свидится.

Григорий вздыхает:

— Ну кто знал, что так получится! Я её к себе звал, а она ни в какую! Не поеду в город, и всё! Не увозить же силком!

— Ладно, давайте её помянем. — И Григорий выпивает первым весь стакан, без остатка. Закусив, обращается к Харитону: — Слушай... Ты вот валютой занимаешься. А можешь ты доллары на рубли поменять? Я их недавно по дешёвке купил... Но они, понимаешь... замаранные.

— Замаранные, говоришь? Отмоем. А много ли?

Григорий оглядывается в коридор:

— Мало не покажется... Двести тысяч.

— Ну ты жук... — с уважением говорит Тимофей. — Тоже, оказывается, не промах.

— Обменяю! — соглашается Харитон. — Но десять процентов мои.

— Да Бога побойся! — вступается Тимофей. — Родной брат всё-таки.

Глаза Харитошки бегают, готовые уже сейчас проглотить эти двести тысяч.

— Да я и так как родному брату... Но ты же слышал, что деньги-то «горячие»? А здесь одному не повернуть. Придётся подключать людей. Значит, лишняя оплата. Ну ладно, пять процентов как родному. И ни цента меньше. Идёт?

— По рукам... — отвечает Григорий и опускает голову — то ли от выпитой водки, то ли от стыда.

Потом встаёт и выходит во двор. Вечер уже опускает свои тени. С крыльца видно, как за лесом горит золотой закат. Чистый и яркий. Гри-

горя кто-то тонюсенько трогает за локоть. Он оборачивается и видит Софью Львовну. Острая боль пронзает его, как заноза под ногтем.

— Здравствуй, Гришенька... — Глаза старушки смотрят с неизбывной печалью.

Сердце Земцева заходится: как она сдала, осунулась, постарела... Безысходность во взгляде, поношенное тёмное платье и тёмная повязка на седых волосах.

— Софья Львовна!..

— Сколько лет, сколько зим... — цепким взглядом смотрит она на него. — Ты слышал?.. Про Лёвушку?..

Григорий кивает головой и не знает, что сказать в ответ.

— А ты с ним не встречался? — допытывается она. — Ведь он тоже работал на железной дороге.

Григорий отвечает глуховато:

— Нет, не доводилось. Страна большая. Пути не пересекались...

Она разочарованно произносит:

— А я думала, может, ты чего знаешь... Как-то ты странно на меня за столом смотрел. Ты правда ничего не знаешь? — Она смотрит ему в глаза и, не получив ответа, спускается по ступенькам.

— Может, вас, Софья Львовна, проводить? — спохватывается Григорий.

Старая учительница оборачивается и смотрит на него.

— Да нет, сама дойду... Я вот что сказать тебе хотела... Ты знаешь, я на Лёвушкин памятник разрежала вашу фотографию. Помнишь, вы перед армией снялись?

Григорий кивает головой.

— Он на ней как живой... Не сердисься?

— Да чего тут сердиться? — успокаивает её Григорий. — Хорошо, что пригодилась. Вы лучше скажите: может, вам какая помощь нужна?

Женщина вздыхает:

— Ничего мне теперь не надо. За моим гробом сыночек мой не пойдёт...

11

Уже год живёт Григорий Земцев в родном селе. Денег у него, как у дурака стекляшек, и он их тратит не жалея. Отрастил для солидности бороду, ходит в чёрном кожаном жилете, из нагрудного кармана свисает золотая цепь от больших круглых часов.

Отцовский участок земли удлинил до ста гектаров. Огромное поле, простирающееся до горизонта, принадлежит теперь ему. Рядом со старым приземистым родовым домом Григорий выстроил новый, двухэтажный — из финского лакового кирпича. Под стать ему коровник и птичник. И какой только живности у него нет! Коровы, свиньи, гуси, утки, кролики, козы, бараны, индюки... Помидоры в теплице двадцати восьми сортов, а розы перед крыльцом — десяти. Такой роскоши село ещё не видело.

Конечно, одному Григорию такое хозяйство не потянуть, и потому во дворе трудятся гастарбайтеры. Живут они в отцовском доме. Это не земляки, а пришлые люди — хохлы с далёкой Украины. Беспаспортный народ. Кто они такие, откуда — может, и звать их не совсем так? Григо-

рию на это наплевать. Зато им платить можно меньше. Живут они не выходя с земцевского двора, ни с кем не общаются и всё, что творится у их хозяина, дальше забора не выносят. За ними следит бригадир Николай, которому Григорий платит больше.

Круглолицый бригадир — весёлый и шептливый, он всегда над всеми подшучивает. Говорит прибаутками, запасёнными на все случаи жизни. Когда Григорий спросил его в первый день: согласен ли он быть над всеми старшим, тот, улыбаясь, ответил: «Служить бы рад, прислуживаться тоже». И непонятно было: серьёзно он ответил или пошутил. И когда он Григорию рассказал однажды, что воевал наёмником у чеченцев, Земцев снова не понял, шутит он или говорит всерьёз.

Но работу Николай выполняет честно и добросовестно. Колоть свиной Григорий доверяет только ему. Мужики заваливают поросёя, держат его за все четыре ноги, а Николай ласково, с весело-торжественным лицом разговаривает с ним, чешет ему за ухом, и никто не замечает, как он втыкает нож в самое сердце поросёнка. Тот даже не успевает испугаться и выпускает дух с блаженной улыбкой на морде.

Сыновей своих Григорий забрал из местного института и отправил переучиваться аж в дождливый Оксфорд. Чтоб всё у него было не хуже других. Самое главное — держать марку.

Василина на приволье расцвела. За работой стала забываться беда. С раннего утра и до позднего вечера крутится по хозяйству. А по воскресеньям покрывает голову белым платком и уходит в сельскую церковь. Возвращается после обеда.

— Смотри попу чего-нибудь не ляпни! — сурово предупреждает её Григорий. — Этот мигом донесёт куда следует. Знаю я их, этих сексотов!

— Да ни с кем я не разговариваю! — успокаивает Григория жена. — Твой грех замаливаю да за детей, которых ты отослал на чужбину, молюсь. Чего мне больше надо? Ты бы сам лучше исповедался...

— Ты меня не агитируй! Сам с собой разберусь!

Но слово, заброшенное женой, прорастает словно зёрнышко. Однажды в будний день он всё же приходит в церковь.

Впрочем, что это за церковь? Так, развалины одни. Григорий помнит, как они ещё ребятишками бегали сюда «в войнушку» играть. Родители ругали их, боялись: не дай Бог пришибёт кого в руинах. Уж больно страшно смотрелся храм — безглавый, с выбитыми окнами, красными облупленными стенами, с которых не только вся штукатурка обвалилась, но и сам кирпич уже начал крошиться.

Сейчас постройка изменилась. Хотя высокая часть так и стояла обшарпанная, без главы, но в низком пристрое вставили рамы, храм был уже кое-как оштукатурен и побелён. Над воротами — слегка покосившийся деревянный крест.

У порога кудрявый черноволосый священник в потёртом, испачканном побелкой подряснике за что-то энергично распекает стайку мальчишек и девчонок, которые стоят рядом, опустив носы. Увидев незнакомца, батюшка осеняет мальцов широким крестом и молвит:

— Ну ладно, голуби, а теперь по домам.

Ребятишки разбегаются в стороны, а священник любезно обращает к Земцеву взор своих быстрых тёмно-карих глаз:

— Я вас слушаю.

— Здравствуйте, отец Серафим. Решил навестить вас. Слышал, что восстанавливаетесь. Я Григорий Земцев. Может, чем помочь вам?

— Не вы ли Василины Земцовой супруг?

— Он самый.

— Ну тогда вы должны быть в курсе наших дел. Главный храм отгородили, ютимся пока в трапезной. Холодно, пристрой надо делать для АОГВ. А денег нет... и взять неоткуда. Приход — одни старики.

Настоятель открывает дверь, и сердце Григория шемит от горестной нищеты. Сыро, стены в разводах, впереди — убогий фанерный иконостас, бумажные образа...

— Кирпич я вам привезу, — обещает Земцев. — Ну, и потом, если что надо — не стесняйтесь... Чем могу, всегда помогу.

Лицо у священника светлеет.

— Храни вас Господь.

С тех пор Земцев постоянно помогает храму. И завязывается у них с батюшкой что-то вроде дружбы. Симпатичен Земцеву отец Серафим: почти того же возраста, что и Григорий, с юмором, энергичный, всегда в окружении своих и чужих ребятшек, с неунывающей матушкой, которая и на клиросе поёт, и хозяйство ведёт; с несгибаемыми деревенскими старушками... Иногда отец Серафим приглашает Григория на службу, но Григорий отнекивается.

— Да какой из меня верующий? всю жизнь промотался без царя в голове, а теперь — православного из себя строить? Неудобно как-то. Я до сих пор путаюсь: креститься то ли справа налево, то ли наоборот. Зачем людей смешить?

Однажды настоятель говорит:

— Вы, Григорий, напрасно отказываетесь. Я же чувствую, что на душе у вас беспокойно.

Земцев колеблется, лихорадочно обдумывая ответ, но потом неожиданно для себя пытается издалека завести разговор.

— А вот скажите: предположим, на душе у человека страшный грех. Преступление он совершил. И мучается человек от этого, а в тюрьму садиться — нож острый. И жить ему с этим тошно, и себя, и семью погубить боится. Вот придёт к вам такой человек, что вы ему скажете?

Они сидят на лавке в пустом храме, вечерние лучи догорают на лампадках перед образами, на побитых подсвечниках... Отец Серафим глубоко вздыхает:

— Ну что на это сказать? Бог милостив. Первый человек, который в рай вошёл, был разбойник. Рядом с Иисусом ведь ещё двоих распяли, и вот один из них понял, что рядом — Господь, и успел покаяться — в самые страшные, самые мучительные минуты жизни — успел. Но он ведь не только раскаялся: он своими муками вину искупил, вот что. А если человек сделал зло другому — как он может быть прощён, не искупив зла? Предположим, украл человек деньги, а потом раскаялся. Что пользы в его покаянии, если деньги при нём? Сначала верни, что украл, а потом кайся. Или убил человек ближнего своего... Потом пожалел об этом, ох как пожалел... Что толку в этом сожалении, коли жизнь не вернёшь? Тут надо искупить вину не формальным покаянием, а страданиями своими. Какой смысл делать добрые дела, даже на церковь жертвовать, если не искуплено главное? Благодать не купишь... Я бы посоветовал такому человеку признаться властям. Добровольное признание учтут и много не дадут. Нынче законы либеральные... Зато совесть будет чиста. Поняли вы меня?

Понять-то Григорий понимает, но духу ему не хватает идти с повинной. А тут ещё судьба наваливается: погибает его брат Харитон. Вернее, не погибает, а убивают его...

Хоронят брата в закрытом гробу. Наёмный убийца выпустил ему пять пуль в затылок, так что голову почти разнесло. «Зарвался Харитошка... — с горечью говорит Тимофей. — А ведь я его предупреждал...». Григорий молчит. Он чувствует, что и сам отчасти виноват в гибели брата. И его поганые деньги тоже подтолкнули Харитона к могиле.

12

Богат Григорий, а беспокойно на сердце. С того кровавого дня ему кажется, что не деньги он тогда спрятал под полом, а себя там схоронил. Ходит по земле, руки-ноги на месте, а вот внутри всё пусто, словно змея какая ползучая всё выела подчистую. И обжигает душу эта пустота. Не забывает он и разговор с матерью Лёвы. Рад бы зайти к ней, но ноги подламываются у её калитки. А Василина всё шпыняет, напоминает:

— Наведался бы к Софье Львовне. Может, в чём нуждается? Помог бы. Неужели совесть не терзает?

— Не могу её порог переступить, — признаётся Григорий. — Что я ей скажу? Как в глаза глядеть буду? Всего внутри жжёт... Может, ты сходишь? — пытается он упросить жену.

Василина с трудом удерживает себя, чтобы не закричать.

— В церковь деньги подсовываешь, а к матери Лёвы меня отправляешь? Наверное, думаешь, что Бога перехитрил? Нет, Гриша, это тебе так только кажется. Не всё в этом мире деньгами измеряется... Ступай ты сам к ней. Всё что-нибудь зачтётся потом... А то, неровён час, умрёт старушка.

Григорий долго молчит. Потом вдруг хватается жену за плечи и, притянув к себе, вполголоса спрашивает:

— Я давно хочу задать тебе вопрос: почему ты так со мной разговариваешь? Ненавидишь? Презираешь? Тогда зачем со мной живёшь, если ты такая чистая?

Она смотрит ему в глаза:

— Куда же я от тебя... Хоть и невенчанное мы, но Господь соединил нас когда-то. Я же знаю — не злодей ты, и душа у тебя горит-выгорает... Не могу я тебя оставить в такой беде одного. Свой крест надо нести...

13

Дом, в котором живёт Софья Львовна, стоит посреди села, рядом со школой. Во дворе тихо. К крыльцу ведёт тропинка, обсаженная акацией. За ней — огород с обнажённой землёй. Собаки нет, и Григорий проходит дальше в дом. Дверь открыта. На ручке болтается зацепленный замок с ключом. В сенцах — знакомый синий сундук. Над ним висит крашеное коромысло. Тоже синее. В доме всё по-прежнему: пианино, книги... В комнате полумрачно. Окна зашторены. Софья Львовна лежит на диване. Увидев Григория, встаёт.

— Гриша! — радуется она. — Проходи... А я прикорнула чуток. — Голос вежливый, добрый.

— Вот, решил вас навесить... — Вид у Григория жалкий. Он протягивает ей букет роз на длинных стеблях.

Старушка берёт, неловко благодарит. Но вдруг неожиданно признаётся:

— Цветы мне, Гришенька, ни к чему... Вот если бы ты мне на хлебушек дал... — Видно, как тяжело произнести ей эти слова. — Я почтальоншу ждала. Пенсию сегодня должны принести. А она не пришла... Что теперь делать буду? Денег совсем нет... Соседи не заходят. Отвернулись от меня, когда узнали, что мы с Лёвушкой надумали уехать в Израиль. Что за люди? Они всегда нас не любили.

Григорий тянется за кошельком, но потом, передумав, отдёргивает руку.

— Я сейчас! — И выбегает из дома.

Скоро он возвращается с полной сумкой продуктов. С того дня так и повелось. Один раз в неделю он приходит к Софье Львовне. Приносит свежую провизию: молоко, яйца, курятину или свинину. Сидят они вместе часа два, пьют чай, разговаривают о погоде, о видах на урожай, о ценах и о многом-многом ещё, о чём можно поговорить в угасающем русском селе с угасающей одинокой женщиной.

— Был бы Лёвушка жив, сейчас бы жили уже в Израиле, — вздыхает старушка. — Может, его за это и убили?..

Она никогда не плачет, только иногда спрашивает:

— Скажи мне, Гриша, неужели до сих пор земля носит этого убийцу? Ведь не должно же так быть: Лёвушка мой в могиле, а он живёт себе преспокойненько.

Земцев молчит. Но всегда после таких вопросов поспешно прощается и идёт на кладбище. Красивый высокий памятник врача, вырезанный из розового гранита, виден издалека. А рядом — могила сына. Григорий падает перед ней на колени, стонет, ударяя кулаками по могиле.

— Лёвка, Лёвка! Ну зачем мы тогда с тобой встретились?! Зачем ты показал эти проклятые деньги?

Над кладбищем висит тишина. И Григорию кажется, что даже ветер здесь замолкает, когда он разговаривает со своим другом. На неровно обрезанной фотографии торчит плечо Григория в белой рубашке. Земцеву на миг становится легче. Он поднимается с колен, отряхивает с брюк прошлогоднюю сухую траву и, сгорбившись, уходит с кладбища. За спиной хрипло каркают, как старики, чёрные вороны. Его утрюмая тень сутуло тащится следом. И только подходя ближе к дому, он выпрямляется и в свой двор входит твёрдым хозяйским шагом.

14

И ещё одно страшное несчастье сваливается на Григория. Погибает от взрыва в лондонском метро их сын Ванюшка. Погибает случайно. Четверых англичан ранило, а русскому мальчику осколок гранаты угодил в самое сердце. Будто снайпер его направил.

Ванюшу привозят в село в оцинкованном гробу. На Григория и Василину смотреть страшно: потухшие глаза, в лице ни кровинки. Сын — и тот краше. Василину еле отрывают от гроба.

На поминках Григорий скрипит зубами и плачет. Василина не может сидеть за столом и лежит в постели. Сельчане ругают международный терроризм, и только Григорий с Василиной догадываются, за какие грехи Бог прибрал их сына. На третий день Василина так ему и говорит:

— Это кара была небесная. Вначале брата у тебя отняли, а теперь и сына нашего. Чтобы больше ты прочувствовал. Я же тебя предупреждала: не будет нам житья. Давай уедем в город... Брось своё богатство. Ради оставшегося сына... Если ты этого не сделаешь, я сама уйду от тебя. Хочется хоть немного пожить в чистоте...

Григорий сидит за столом, низко опустив голову, сжав руки в кулаки. С левой стороны виска белеет пучок волос, будто мыльная пена зацепилась. Василина замечает седину, но ничего не говорит.

Григорью трудно принять это решение.

— Хорошо, — обещает он. — Вот соберу урожай, и пусть будет твою. Не по-крестьянски землю оставлять на сносях. Как раз и сороковины пройдут.

Василина молча соглашается с мужем.

В эту ночь Григорий почти не спит, стонет и скрежещет зубами. «Ну сколько можно меня карать? — с ужасом думает он. — Вот невидаль — человека убил! Сейчас это на каждом шагу. Ведь откуда такие коттеджи строятся? Да потому, что они все на костях... — И вдруг его как осенило: — А может, мне такая месть за то, что еврея убил? А чем он лучше другого? Выходит, их бог сильнее?».

Григорий пугается этой мысли и старается больше об этом не думать, чтобы окончательно не сойти с ума.

15

Но что-то не торопится в этом году бабье лето. Уже перевалило за половину сентября, а погода, как в октябре. Видать, здорово нагрелись летом бабы...

В этот вечер по-особенному сдавливают сердце. Григорий выпивает свои тридцать капель корвалола и, ложась спать, неумело просит у Бога, чтобы тот дал ему возможность проснуться утром и ещё пожить на этой грешной земле.

Земцев просыпается в темноте, на грани утра и ночи, от странного тревожного чувства. Что-то не так... Быстро одевается, выходит во двор. Над лесом поднимается мгlisto-красный восход. Моросит осенняя пыль. Только почему-то не подбегает к нему Гаврош и не кидается с радостным лаем ему на грудь... Не бежит рыжий спаниель, а лежит у своей будки, уткнувшись мордой в землю.

— Гаврош! — окликает Григорий и, чувствуя беду, короткими шагами, словно на ощупь, идёт к собаке. Она лежит мёртвой. Григорий бьёт кулаком по будке.

Он в бешенстве. Обегает курятник, заглядывает в коровник... Всё цело, всё на месте. Успокоившись, садится на крыльцо. Но ноет сердце. Григорий чувствует, что неспроста отравлен Гаврош. Глаза наливаются яростью.

— Да успокойся ты... — просит Василина. — Другую купишь. Хотя, конечно, жалко...

Григорий отмахивается от неё и идёт к отцовскому дому будить украинцев. Но в доме пусто.

— Сбежали, что ли? Но почему не по-людски? Я их что, на цепи держал? — спрашивает он жену. — Собаку-то за что отравили? Ублюдки!..

Он бежит к гаражу и трясущимися руками отворяет ворота. Гараж пуст. Задняя стена, выходящая на поле, выломлена. Вместо кирпичей — деревянный щит. Видимо задумали хохлы такой побег изначально. Сквозь дыру видна высокая трава, а по ней — тяжёлый след его машин.

Земцев бегом направляется домой, вытаскивает пистолет из потаённого места, возвращается, заводит зелёный «Урал».

— Вот суки!!!

Василина останавливает его:

— Ну куда ты рвёшься? Да пропади пропадом эти машины! Трудом, что ли, ты их заработал? Как пришли, так пусть и уйдут! Ты же слово мне дал!

— Это с какой радости я им своё добро дарить буду? Рожа у них не лопнет? Уйди!

Через проломленную дыру Григорий бросается в погоню. Примятая трава ведёт в сторону кладбища.

Он издалека видит высокий «КамАЗ», обтянутый синим брезентом. Задний борт машины откинут, и на него наложены в несколько рядов широкие доски-лаги. Трое мужчин суетятся около его «Нивы». «Ауди» уже погружена. Среди мужчин Григорий узнаёт Николая, а потом и других своих работников. Только двое чужих. Они стоят в стороне и наблюдают.

— Шухер! — кричит кто-то, увидев мотоцикл бывшего хозяина. Но никто не бежит. Встают в цепь, как становятся футболисты, защищая ворота от штрафного удара.

Земцев лихо останавливается около них. Из-под колёс мотоцикла к их ногам летят комья земли.

— Морды хохляцкие! Вы что же делаете? — в бешенстве кричит он и, нагнувшись к люльке, достаёт из неё пистолет.

— Брось пушку! — предлагает Николай с весело-торжественным лицом.

— Да, разбежался! — презрительно отвечает Григорий и, соскочив с мотоцикла, направляет на него пистолет. — Выкатывайте мою машину и убирайтесь отсюда, пока я вам шины не прострелил!

Один из чужаков произносит:

— Ты полегче, мужик! Давай миром договоримся, — и рука его тянется к поясу.

Григорий переводит на него руку с пистолетом и, не целясь, нажимает на курок. Раздаётся сухой выстрел. Григорий нажимает ещё раз... Снова тот же слабый щелчок.

Он делает шаг назад и вытаскивает обойму. Она пуста.

— Эх, Василина, Василина! Ну зачем ты это сделала? — спрашивает он у неба и ветра и в смертельной усталости опускает руки.

Он мог бы ещё успеть вскочить на мотоцикл и уехать. Но он не стал отступать. Чего ему бежать от родного дома? Это пусть они бегут! Только сильнее упёрся в землю ногами да сжал крепче кулаки.

Николай идёт на Григория:

— Неужели бы убил?

— Кончай его! — кричит потерявший терпение чужак.

Григорий не пугается, ждёт, когда Николай подойдёт. Здоровый, чёрный от злости, он готовится к звериному прыжку на хохла. Николай тем временем подходит к нему вплотную, Григорий даже чувствует из его рта чесночный запах. Он брезгливо отворачивает голову. А Николай без размаха, привычно, как резал хозяйских свиней, вгоняет нож в живот Григория. Толкает его от себя и, вытирая лезвие о траву, произносит:

— Ну вот и всё, Григорий Елизарыч. С прибытием тебя на тот свет.

Нагнувшись над ним, он, ещё у живого, отрезает ухо. Поднимает его над головой и, размахивая им, идёт к машине.

Земля кружится, поднимается и ударяется Земцеву в грудь. Две боли соединяются вместе, и будто позёмка метёт внутри, остужая тело.

Через какое-то время он приходит в себя, равнодушно глядит в сторону удаляющейся машины и прижимается безухой головой к влажной траве. Струйка крови вытекает изо рта, и странная улыбка появляется на губах.

— Ну вот и всё, — повторяет он слова Николая, чувствуя, как уходит по капельке ненужная и постылая его жизнь.

Коломенскому альманаху — 10 лет!

ДУХОВНО ПРИБАВЛЯЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ

Сейчас новыми изданиями журналов и альманахов никого не удивить. Они появляются и исчезают, блёклые, худосочные, как бы от «недоедания», то есть от читательского невнимания. И добиться серьёзного внимания действительно трудно. Оставаться наедине с книгой или журналом стало не принято, нового человека тянет в шум и гам, в развлечения и в искусство публичное, где пустота гулко отзывается в пустоте.

Тем удивительнее судьба «Коломенского альманаха»: за десять лет он не только возраст и вес набрал, но и вкус, талант, притяжение к своим страницам, естественно и соразмерно соединил былое и настоящее, краеведение и художество, искусство и мемуаристику, поэзию и музейное дело.

Конечно, заслуга в этом, прежде всего, самой Коломны с её древностью, святостью, с перекликающимися в веках голосами и музейными богатствами, с воинской славой и гражданской доблестью. Но чтобы «Коломенский альманах» устоял, нужны были и преданные городу современники, разумная власть, неспорченное студенчество.

Вот такие издания, как «Коломенский альманах», и будут, похоже, иметь успех, когда делаться они станут не на обум лазаря, неизвестно для какого читателя, который то ли подвернётся, то ли нет, а для своего близкого по духу и сердцу, духовно прибавляющего от родных сказаний и преданий.

Государство у нас вельми большое и разное, на княжества ему распадаться не подобает, но при сбившихся, как сегодня, нравственных и духовных устоях центростремительное движение от окраин таких молодцов, как «Коломенский альманах», нужно только поддерживать, общему делу будет только польза.

Валентин Распутин

ФЕДРА A LA RUSS



Наталья Григорьевна

И всё-таки она вышла замуж. Не то чтобы очень хотелось, но такой шанс упустить было нельзя. Гришка хоть и раздолбай где-то, но для семьи расширится: потому и дом, и машина (и ей на свадьбу подарил хорошенький ярко-красный «Гольф»), и техника по последнему слову. И домработницу оставил — «мы будем беречь твои нежные пальчики». Марина немедленно села за руль (да... это не жигулёвская классика), объездила все знакомые теплицы и украсила дом роскошной экзотической зеленью.

Всё было, в общем, хорошо. Лишь лёгкая грусть пробежала по лицу при взгляде на Наташкин портрет в гостиной — кто ж мог предположить, что сожрёт подругу коварный рак. Два года мыкался Гришка в одиночестве, знакомился с кем-то, расставался без особых раздумий, а потом пришёл к ней. «Пойдём, Мариш, за меня замуж — не могу я один». Марина, конечно, слегка обалдела от такого с огромным букетом его появления, а от предложения — ещё больше. «Ты что вдруг, Гриш? А ну как у меня кто-то есть?» — «И что тебе этот кто-то? Тормоза проверить да гвоздички на Восьмое марта принести? А квартира? Так и будешь в своей малометражке задыхаться? Выходи за меня, Мариш, — всё тебе будет. Мне жена нужна. В конце концов, Натаха лучшей твоей подругой была...»

Маринка размышляла недели две. На самом деле — лишь закончила длящийся третий год бестолковый роман с тем самым кем-то, продала машину, приделалась и, надравшись как следует, оплакала всю свою непутёвую жизнь. А назавтра позволила Гришке и согласилась.

Федра — дочь критского царя Миноса, жена Тесея, восплававшая любовью к своему пасынку Ипполиту. Отвергнутая юношей, Федра покончила с собой.

Мировая литература не раз обращалась к этому образу греческой мифологии как к примеру вечной истории любви, любви страстной и трагической, разрывающей душу. Сенека, Еврипид, Расин, Цветаева — авторы, по-разному увидевшие и показавшие Федру.

Виктория Нечаева предлагает читателям современный вариант вечного сюжета.

Свадьба была предельно скромной и даже без свидетелей: заехали в загс, потом — в ресторан, а потом — в большой, когда-то уютный дом. «Ты не смущайся, делай тут всё по своему усмотрению. Только Юркину комнату не трогай — не любит он». И не трогала. Юрка — единственный сын этой когда-то успешной семьи — учился теперь в Сорбонне и дома бывал крайне редко. О женитьбе отца он узнал из отцовского e-mail'a, глянул равнодушно на приаттаченную фотографию мачехи и углубился в дебри Сети, — личная жизнь отца его давно не интересовала.

Маринка наслаждалась. Ей так хотелось во всём угодить Гришеньке, что порой, убираясь в кухне или на лестнице, буквально сталкивались лбами с домработницей Алёной. «Ну что же вы, Марина Николаевна, я сама!» — «Ну хорошо, хорошо. Да мне всё как-то неловко...» «Ничего, привыкнете», — улыбалась понимающе Алёна.

Довольно скоро Марина забеременела. Она заметно округлилась, похорошела, и Гриша любил поглаживать её живот: «Растёт наша девочка». Он непременно хотел девочку. «Наша Натуська», — с именем определились сразу и без споров.

Натуська родилась в светлый январский день, и Гришка аккуратно выложил под окном Маринкиной палаты красными розами огромное: «Спасибо за дочь!» Марина была счастлива.

Возвращение домой совпало с приездом на каникулы его старшего сына. «Гляди, Юр, сестрёнка у тебя!» Юра вежливо улыбнулся, чуть тронул «рукопожатием» крохотную ручку: «Ну здравствуйте, Наталья Григорьевна!» На что Наталья Григорьевна выпустила из ротика огромный пузырь и нахмурилась. «Ну будет вам, ещё наиграетесь», — Марина уже переделалась и спешила накормить малышку. «Вся жизнь впереди, ла-ла, ла-а-ла», — пропел счастливый папаша и унёс своё сокровище в детскую, увлекая туда же и Марину.

И победили радостные денёчки — Маринка чуть свет летела к своей малышке, а та спала ещё, удивляя спокойствием Алёну, за небольшую доплату сразу согласившуюся ещё и на роль няни. Юры как-то не было особенно заметно — всё гулял по старым знакомым да сидел в Ленинке, а может, и не сидел, кто ж его знает, только проверять и не думали. Через две недели он так же тихо уехал, пожав руку отцу и потрепав за ушко сестрёнку: «Пока, мелочь!»

Дочка росла. Училась держать головку и ползать, грызть игрушки в ожидании зубов и есть из ложечки. Скоро и памперсы не понадобились — уж больно хорош оказался горшок с забавной обезьяней мордочкой. Маринка, казалось, утопала в счастье. Как и положено, до первого годовалого юбилея каждый месяц торжественно отмечался день рождения Таточки, дом заполнялся цветами и игрушками.

А первая годовщина и вовсе стала настоящим праздником: были приглашены все друзья и немножко родственников. Ко всему — приехал на каникулы Юра, и праздник получился двойным. Гости умилялись малышкой, уважительно посматривали в сторону старшего, восхищались Маринкиными успехами в области цветоводства и озеленения.

Ближе к ночи, когда няня унесла Татусю спать и большинство гостей разъехалось, Марина прошла со старой школьной подругой Ланой на открытую веранду, устало села в кресло и закурила.

— Всё никак не бросишь?

— Да я и не пыталась. Две-три сигареты в день — разве это курение?

— Счастливая. А у меня меньше пачки никак не получается. И чего только не делала — всё без толку.

— Лан, я и без сигарет счастливая — самой не верится. Кто б мог подумать...

— Да, Мариш, выпал тебе счастливый билетик. А что Гришка — не обижает?

— Нет, что ты. Иногда, правда, Наташей называет, да я уже привыкла, не огорчаюсь — тоже ведь можно его понять.

— Можно. Жаль, Натаха сына не видит — вот чем гордиться-то! А ты как с ним?

— С Юрой? Нормально. Лан, он взрослый человек, всё понимает. Сестрёнку любит.

— А красавчик-то какой!

— Красавчик? Юра? Не замечала...

Вот с того самого вечера и стала смотреть Марина на пасынка немножко другими глазами. И ведь правда оказался Гришкин сын редким красавчиком, да ещё и умницей — тут же и Сорбонна к месту вспомнилась.

А как кончились каникулы, провожать в аэропорт, конечно, не поехала — так уж было заведено, но губку нижнюю, из окна рукой помахивая, таки прикусила.

«Кумпарсита»

Однако за украшенными ангелом-Татусей буднями зимнее подзабылось, тем более что девочка оказалась очень скорой в перемещениях и крайне любопытной. Марина с няней дежурили в детской в очередь, радуясь общению со стремительной болтушкой Таточкой. Не выговаривая и половины алфавита, малышка отчаянно старалась донести до условно понятливых взрослых свои крошечные проблемы и новые открытия.

С началом же тёплого сезона детской оказалась вся прилегающая к дому территория, включая гараж, сауну и прочие хозпостройки. Особенной любовью пользовались мамыны клумбы и альпийские горки с озерцами и водопадами — на одних можно было нарвать цветов, на других — скормить их разноцветные лепесточки рыбкам. После очередного разорения прелестной грядки петуний Марина строго-настрого запретила девочке заходить дальше гамака и персональной песочницы — в гамаке можно было хотя бы вздремнуть, пока прораб в обличье ангела возводил рядом очередной шедевр песочной архитектуры.

В один из таких густо-солнечных дней и приехал Юра — «Надолго. Придется проходить здесь практику». Марина, разомлевшая на солнце и несколько подуставшая от непрекращающейся болтовни Татуськи, вяло улыбнулась пасынку и, нехотя покинув гамак, пошла в кухню — дать новые распоряжения Алёне. Но поскольку ангела-строителя нельзя было оставлять ни на минуту, попросила:

— Ты посиди с ней чуть-чуть, я мигом.

— Хорошо. — Неожиданно они встретились взглядом, и стало ей почему-то страшно неловко.

— Я скоро.

Марина обнаружила вдруг выступившую над губой испарину, полыхнувшие румянцем щёки. «А красавчик-то какой!» — вспомнились слова подруги. «Господи, да что это я? Он же мне в сыновья годится».

Юра действительно годился ей в сыновья, — Наташка выскочила замуж, едва окончив школу, и немедленно родила. А Маринка всё мыкалась,

всё искала стандартного принца на белом коне. Пару раз выходила замуж, но больше года ни с одним не прожила — принцы оказывались с изрядными изъянами. Хорошо хоть детей не успела нарожать. И вот теперь счастливая жена и мать нервно грызла губы, повторяя: «Да что же это? Он же мне в сыновья...»

Кухонную кондиционерную прохладу Марина приняла как облегчение.

— Алёна, приехал Юра, готовь на всех. Ну, и на вечер надо бы что-нибудь необычное придумать.

— Да что ж тут необычного, за необычным в город надо ехать.

— Хорошо, я съезжу в город, а вы тут за Татуськой присмотрите.

Она легко сбежала с крыльца, подошла к песочнице, где у кудрявого прораба появился талантливый помощник: девочка с восхищением смотрела на строгие стрельчатые башни замка, выстроенного длинными пальцами брата.

— Юрочка, ты пойди переоденься, прими душ, отдохни с дороги, а я пока в город съезжу, куплю чего-нибудь к ужину.

— А как же Татуська?

— А Татуське пора отправляться спать, вон и Алёна уже за ней идёт.

Алёна забрала, причитая, отчаянно брыкающегося ангела, Юра поднялся к себе, а Маринка выкатила из гаража «Гольф» и аккуратно выехала за ворота.

«Красавчик», — думала Маринка, выруливая на трассу. «Красавец!» — поправляла сама себя, паркуясь у супермаркета. Она блуждала у заваленных продуктами полок и всё никак не могла избавиться от наваждения чуть раскосых, с лукавинкой глаз, от роскошной гривы волос, тёмной волной укрывающей пол-лица. «Разрешите?» — чей-то голос вывел Маринку из ступора, и она обнаружила себя стоящей посреди прохода к мясным прилавкам. «Да что это я — на ужин же надо...» И, более не отвлекаясь ни на какие мысли, быстро и сноровисто набрала целую корзину вкусностей. Притормозила на минуту у винных стеллажей, но потом решила, что мальчика из Франции уж ничем не удивишь, собрала стандартный набор белых, красных, сухих, креплёных и — не удержалась — взяла из стеклянной витринки скромный на вид «Двин».

Обратная дорога целиком ушла на раздумья о меню праздничного ужина: конечно, ничего французского, исключительно *a la russ**: блинчики с икрой, знаменитый Алёнин курник, поросёнок... Нет, один реверанс в сторону Европы всё-таки будет: разноцветные розетки сыров под красное, а может быть, даже и фондю. С такими исключительно гастрономическими мыслями Марина подъехала к дому и принялась разгружать багажник. «Алёна, помоги мне, пожалуйста, там немного, — внесла она первые пакеты в кухню. — Как дети?» — «Спят». — «Ну вот и хорошо».

За обсуждением деталей («Может, обойдёмся курником, блинами и кусками? А поросёнка я завтра сделаю. Не съедим ведь, а разогретое Григорий Георгиевич не любит». — «Можно и так. Только тогда хоть парочку цыплят табака поджарь — совсем без мяса нехорошо». — «Ну как же без мяса, а курник?» — «Курник — не то, непременно нужны шейки-бёдрышки!») хохотали от души, позабыв обо всём на свете, когда на пороге материализовался вдруг юный бог в набедренной повязке с кудрявым ангелом на плече. Ангел тёр кулачками заспанные глазёнки, а бог лукаво улыбался:

* По-русски (*фр.*).

— Здравствуйте, кормилицы, мы проснулись.

Алёна немедленно бросилась к Татуське, а Марина так и застыла с куриной тушкой в руках: юноша был ослепительно красив.

— Извините, Марина Николаевна, я не одет, — пасынок истолковал её молчание по-своему, — но наш ангел требовал немедленно соку.

Марина словно очнулась:

— Да-да, конечно, сейчас Алёна... — и, не договорив, положила в тарелку курицу и бросилась мыть руки.

— Я, с вашего позволения, пойду оденусь?

— Да-да...

Марина нашарила в ящике столешницы сигареты, вышла в сад и закурила. Руки дрожали. «Да что же это?..»

Приехал Гриша. Пришлось снова сесть за руль и загонять машину в гараж — двум авто на небольшой площадке у дома не развернуться.

— Мариш, ужин намечается персон на десять, так что вы уж придумайте что-нибудь с Алёной, ага? Я там кое-что привёз, чтоб тебе не мотаться.

— А я — уже. Ну да ничего, лишним не будет.

Марина чмокнула мужа и пошла разбирать покупки.

— Алёна, поросенка всё же жарим, — сказала она, входя в кухню с двумя огромными пакетами, — и варим лобстеров, будь они неладны.

Приготовление большого количества еды — «большим приёмам — большие объёмы!» — превращалось обычно у Марины с Алёной в целое, но довольно забавное приключение. И когда бы они ни начинали, не хватало, как правило, каких-нибудь двадцати-тридцати минут, и всё из-за крохотных канапе — фирменного блюда дома. Доморощенные поварахи мечтали, что «вот подрастёт Татуська — будет им в этом деле помощница».

Персон, однако, собралось не десять, как обещал Гриша, а все двадцать, и бедная Алёна едва успевала менять приборы. Но очень скоро гости начали вставать, гулять с бокалами в руках по окрестностям — настало время традиционных канапе, которые и были торжественно вынесены и выставлены на предварительно очищенные от бывшей снеди столы. Марина с Алёной вздохнули с облегчением и сбежали в кухню — от общего шума.

Марина закурила:

— Нет, Алён, что ни говори, а помощницу на такой вот случай брать надо. Ну ты посмотри — мы ж все в мыле. Хорошо ещё, Татуська с отцом спокойно сидит.

— Справляемся мы, Марина Николавна, справляемся. — Алёна всегда протестовала против приглашения в дом ещё одной «хозяйки». — Вы бы приняли душ да переоделись — вот всю усталость и снимет.

— И то верно — пойду-ка я в душ.

Освежённая, румяная, закутанная в пушистый халат Марина почти бегом бежала к гардеробной и потому таки подвернула на сырых ещё купальных тапочках ногу и, если бы не оказавшийся на её дороге Юра, наверняка упала бы, пребольно ударившись.

— Ой, спасибо, — поблагодарила машинально, мгновенно вспыхнув до корней волос.

— Ничего-ничего, мне даже приятно, — улыбнулся мягко, завораживающе пасынок. Сейчас, в его объятых, она разглядела, какая ровная, гладкая кожа у этого мальчика, как нежно пульсирует голубая жилка на шее.

— Спасибо. — Марина высвободилась из его рук, развернулась и пошла обратно.

— Куда же вы?

— Ах, да, мне же... Спасибо! — она рассмеялась и отправилась в гардеробную.

Переодеваясь, никак не могла избавиться от ощущения его рук, от мягких полутонов голоса, от нежной синеватой жилки на шее. «Совсем мальчик... Но какой мальчик!..» Пробежав глазами возможные к вечеру платья, остановилась на чёрном, с глубоким, чуть не до попы декольте, выгодно подчёркивающим её всё ещё очень красивую спину.

— О, Мариночка, ты нынче бесподобна! — Гриша тут же подхватил жену и закружил в так подходяще случившемся танго.

При всей своей кажущейся неуклюжести он прекрасно танцевал — сказывались вечера, проведённые на «бальных танцах» ещё в школе, ещё с Наташей. Танго было его «коньком», и Марина всегда с удовольствием танцевала с мужем. Гости, как правило, были далеки от таких сложностей, и супруги почти всегда солировали, наслаждаясь ещё и восхищёнными взглядами и аплодисментами.

— Именно! — Гриша подошёл к поднявшему вверх большой палец сыну. — Учись!

— Учись? — Юра вскинул левую бровь. — Маэстро, — обратился он к исполняющему обязанности диджея соседу Сашке, — «Кумпарситу»!

— Без проблем, — с сомнением улыбнулся Сашка: он-то не первый раз на такой вечеринке и прекрасно знал, что переплюнуть Григория ещё никому не удавалась.

Первые аккорды, и: «Мадам, разрешите вас ангажировать?» — протянул он руку мачехе.

Маринка слегка растерялась сначала, но вызов приняла — протянула навстречу ладонь. И немедленно очутилась в таком завораживающем, таком горячем и нервном танце, что забыла о том, где она, что она и зачем она. Смело, уверенно, дерзко вёл её партнер через тайны и страсть, через встречи и расставания — жаркие объятия сменялись холодным неспешным отчуждением, головокружительные обводы — прохладными проходами. Так Маринка не танцевала никогда в жизни. Естественно, когда он на последних аккордах уронил её спиной на колено и, едва касаясь, провел по её губам белой розой, обозначая, прорисовывая поцелуй, публика просто взревели от восхищения.

Юра с поклоном подвёл партнёршу к отцу:

— Учиться?

— Это тоже входило в обязательную программу?

— Нет. Это по собственному желанию. — Он поцеловал руку даме и отошёл к столу с напитками.

Марина заметила капельки пота, выступившие на его лбу, и ей мучительно захотелось стереть этот пот ладонью — и немедленно стало стыдно этого своего желания.

Она потом долго не могла уснуть — не могла отделаться от ощущения его рук на спине, на талии, на шее, от тонкого запаха белой розы.

Грех

Наутро Марина проснулась поздно и обнаружила пустой дом и записку у зеркала: «Не волнуйся, мы уехали в дельфинарий. Тебя будить не стали. Алёну взяли с собой. Не скучай, мы скоро. *Гриша*». «Ну вот и славно,

отдохну-почитаю». Марина любила поваляться в гамаке с книгой, но удавалось это нечасто: или всё время занимала Татуська, или в гамаке кто-нибудь уже лежал. Она освежилась в душе, выпила соку, направилась во двор и обомлела: в гамаке кто-то лежал.

— Юра? А почему ты не поехал со всеми?

— Марина... Николавна, ну что я — дельфинов не видел? А вот в гамаке поваляться... — улыбнулся лукаво, — вы же вот тоже предпочли гамак.

— Меня не взяли. Впрочем, теперь это уже не имеет значения — гамак занят, — и она звонко расхохоталась.

Юра немедленно спрыгнул с предмета раздора и в низком поклоне, подмигивая всё же лукаво, предложил даме:

— Ну что вы, как я могу...

— Спасибо, — Марина ответила жеманным книксеном и присела на краешек.

— Где ты научился так танцевать? — Пасынок не уходил, и надо было продолжать этот необязательный трёп.

— Там, — Юра неопределённо махнул рукой в сторону запада. — Там тьма всяческих курсов, танцзалов, чему угодно можно за пару месяцев научиться. А знаешь, как надо заканчивать «Кумпарситу»?

Марина, уютно улегшись в гамаке, и не заметила, как юноша перешёл на «ты», но вдруг почувствовала себя абсолютно беспомощной, когда он наклонился над её лицом и тёмная прядь его волос коснулась её щеки.

— Как? — Она знала, что последует, но сопротивляться не могла.

— Вот так, — он наклонился, едва коснулся губами её губ и добавил жарким шёпотом: — А потом ты должна была бросить мне белую розу. — И рассмеялся, отпрянув так же неожиданно. — Я пошёл купаться. Приятного отдыха!

«Какой уж тут теперь отдых...» — Марина почувствовала, как пылают щёки, как опять выступила над губой предательская испарина. Она честно пыталась прочесть хоть пару фраз в принесённой книге, но — тщетно. И вдруг поняла, что нестерпимо хочет купаться. Забежать в дом за купальником — пара минут, и вот она уже на берегу неказистой, но чистой речушки Малинки, бросает полотенце и с наслаждением ныряет в воду, как после бани — в снег.

— Решила составить мне компанию? — Юра неожиданно возник перед её лицом, как только вынырнула.

— Да нет... при чём тут... жарко... — Марина оправдывалась и отчаянно прятала глаза.

— Жарко? Да, пожалуй...

Он просто прибрилился — глаза в глаза — и поцеловал её. И действительно стало жарко.

«Господи, да что же это? — Она бежала домой, наскоро завернувшись в полотенце, готовое в любой момент соскочить и продемонстрировать всем её наготу. — Да что же это?»

Она вдруг подумала, что купальник так и остался валяться у самой кромки воды, и надо бы за ним вернуться. «Нет! Ни за что!» Марина вбежала в спальню и, трясая мелкой дрожью, забилась под одеяло.

— Ваш купальник, мэм, — опять он, и эта его набедренная повязка (ну почему повязка — обычное полотенце).

— Юр, уходи. Уходи от греха!

— С каких пор ты стала верующей? — Он сбросил полотенце и нырнул под одеяло...

Ушёл он, только когда услышал шум подъехавшей машины:

— Я — к себе. Ну, а ты отдыхаешь после купания, — он поцеловал её плечо, поправил одеяло и вышел.

Марина действительно не могла вот так сразу встать и идти встречать родных — смешанные чувства глубокого блаженства, растерянности и вины не давали даже подняться. «Как же я Гришке в глаза смотреть буду? Господи, что же я наделала?!»

В коридоре послышались голоса:

— Купались. Плавали наперегонки через Малинку и обратно. Видимо, немного утомилась.

— Маринка-то? Наперегонки? Ты б тоже подумал сначала, лось! Это тебе — раз плюнуть, а она — девушка нежная...

С этими словами Гриша вошёл в спальню.

— Умаялась, родная?

— Да мы тут... на Малинке...

— Тсс, я всё знаю. Полежи-полежи, отдохни.

Он поправил одеяло, поцеловал жену в лоб и вышел.

И Марина заплакала. Она плакала горько — как плачут впервые изменившие мужу и впервые ему солгавшие добропорядочные супруги, и сладостно — как плачут впервые испытавшие всю прекраснейшую гамму физических удовольствий и лишённые их доселе женщины.

Скоро Марина уже дня не могла прожить, чтобы не прикоснуться хотя бы мельком к Юриным коже, волосам — благо, под эту лукавую нежность вполне можно было маскировать родственные чувства. И погода благоприятствовала их влечению — жаркая, томная, она сама звала на речку, в лес, в прохладу. И уже вполне привычно было лгать Грише и уворачиваться от подозрительных взглядов Алёны. Марина была счастлива.

Марина была счастлива ровно до той минуты, как на очередной вечеринке Юра — её ласковый мальчик — станцевал «Кумпарситу» с прелестной блондинкой в вызывающе дорогом платье. И самое неприятное — он поцеловал её, откинув на колено, а она бросила ему розу. Публика ревела от восторга.

Марина кусала ногти и не могла найти повода подойти к пасынку: девицы всех возрастов кружили около него, а та, что танцевала, вообще повисла на его руке. «Ненавижу! Мою “Кумпарситу”!» Она теперь считала, что всё началось именно с «Кумпарситы».

А когда выяснилось, что Юра не ночевал дома, уехав провожать ту самую девицу, Марина аж взбеленилась:

— Как он мог?! Мы же тут волнуемся!

— Успокойся, Юра — большой мальчик, и ему тоже нужно отдыхать, — Гриша никак не мог понять, что так вывело из себя его прежде спокойную жену.

— Отдыхать с девками?

— Да хоть бы и с девками — в чём проблема? Дорогая, Юра — уже очень большой мальчик.

Марина с трудом подавила в себе гнев и ушла купаться — одна.

Юра появился только к ужину.

— Как отдохнулось? — с понимающей улыбкой спросил отец.

— П'гелестно, п'гелестно! — блудный сын, повторяя грассирующего в «Анне на шее» Вертинского, очень и очень явственно дал понять окружающим, что время провёл замечательно и скорее несколько устал, чем собственно отдохнул.

Марина смогла остаться с пасынком наедине только на следующий день.
— Как ты мог? Почему? Зачем?
— Почему? Зачем? Зачем и почему эти вопросы? Я свободный человек! Мне понравилась девушка, и я провёл с ней чудесную ночь.
— А я? Как же я?
— А причём здесь ты?
— А как же всё, что с нами было? Это что — просто так?
— Воспринимай как небольшое приключение.
— Приключение?! Но я... я же люблю тебя! Я не представляю своей жизни без тебя!

— Марин, всё это глупости — пройдёт. Расслабься. — Он обнял её и прошептал на ушко: — Завтра наши в аквапарк собираются — расслабимся напоследок вместе, хочешь?

— Напоследок?

— Напоследок. Вечером я уезжаю. Так ты хочешь?

— Хочу. Я тебя всегда хочу.

— Ну вот и ладушки. А вот плакать не надо — глазки покраснеют.

На следующий день Григорий повёз Татуську и Алёну в аквапарк. Марина вскочила ни свет ни заря, но из спальни не вышла, а когда перед самым отъездом заглянула Алёна — сделала вид, что крепко спит. Но как только машина выехала за ворота, Марина вскочила и... и в спальню вошёл Юра.

— Я не вовремя?

— Ты... нет, все уехали.

Разметавшись по кровати, они отдыхали.

— Сегодня уезжаешь?

— Угу. Вечером.

— А когда обратно?

— Зимой. Недели на две.

— Слушай... А давай я к тебе приеду.

— Куда — ко мне?

— Во Францию. Куплю тур и приеду.

— А давай. Снимем мебелирашку и оторвёмся по полной программе. Давай — приезжай.

Вечером Гриша вывел из гаража джип, Юра побросал в багажник сумки, перецеловал всех провожающих, сел в машину, и они уехали.

Маринка, как полагается, улыбалась вслед, уговаривала Татуську помахать ручкой, а Алёна всё ворчала куда-то в сторону:

— Ну вот и хорошо, от одной занозы избавились.

— Какой занозы, ты о чём?

— А то сами не знаете. Эх, нехорошо всё это, грех один.

Маринка вдруг поняла, откуда это словечко — «грех» — оказалось в её лексиконе: Алёна всё чуть чего грехом пеняла. Вот и запуталось словечко в тенётах высшего Маринкиного образования.

Осень

С отъездом Юры как-то сразу кончилось лето. Холодные утренники уже не пускали Татуську в одном платице в песочницу, и большую часть дня

семья проводила дома. Лишь иногда, в погожий, по-летнему тёплый денек, можно было прогуляться к реке или в ближайший лес — за грибами. Один раз Гриша вывез семейство в приезжий зоопарк, откуда девушка вышла в слезах и с требованием немедленно выпустить из тесной клетки тигра.

С прогулок к реке Марина возвращалась грустной, с припухшими веками, и всё отговаривалась пронизывающим ветром. На самом деле опустевший песчаный пляж будил в ней воспоминания, от которых мучительно хотелось попасть обратно в лето, и сами собой лились слёзы. «Да что ж такое?» Зато Алёна всё прекрасно понимала и осуждаючи качала головой.

С наступлением настоящих холодов Марина совсем расклеилась: могла вдруг заплакать ни с чего, целыми днями не выходить из спальни и всё больше жаловалась на мигрени. Редкие вечеринки только раздражали её.

— Ты устала. Я всё понимаю — ты привязана к ребёнку, ничего и никого больше не видишь. Может, тебе съездить куда-нибудь — развеяться? Хочешь, куплю тебе какой-нибудь тур: в Европу, в Египет... ты только скажи, — уговаривал её Гриша.

— Ой, какой тур — я так устала, еле на ногах стою.

— А хочешь — в Париж? Там красиво сейчас. Съезди на недельку, отдохнёшь.

— В Париж?..

— Да! Походишь по магазинам, прикупишь себе шмоток, хочешь? Дамы твоего возраста обожают по осени посещать Париж. У меня жена одного приятеля съездила — другим человеком вернулась: весёлая, довольная, нарядов три чемодана привезла. Хочешь?

— Не знаю...

И всю следующую неделю не выходил из головы Париж, но не Эйфелева башня, Елисейские Поля и невразумительные «шмотки», а Юра — недостижимый и желанный, которым, казалось, пропитан здесь каждый камушек, каждая песчинка на опустевшем пляже, и ощущать это было невыносимо.

Как невыносима была и забота Гриши — уж ни в чём не виноватого, и тем ещё болезненнее отзывавшаяся в Марине. Гриша — вот кто раздражал её более всего: и его простецкие шутки, и эта прямота, и монотонность. А как её бесила его склонность к полноте!

Невинный же Татуськин разговор, где Марине всегда чудился «дядя Люля», способен был довести до бурной и затяжной истерики.

— Марин, может, тебе к доктору сходить? Может, это нервное что? — уговаривал её муж.

— Да не пойду я ни к какому доктору! Отстань! — И тут же, понимая, что опускается до подлости, стремилась загладить вину: — Гришенька, милый, ты не обижайся на меня, дуру. Ну ты же видишь — нехорошо мне...

— Может, всё-таки съездить тебе куда?..

— Да! Съездить! — она внезапно, вдруг приняла решение. — Съездить!

— Куда? Скажи — куда, и завтра ты будешь там.

— В Париж.

Париж

Через неделю Марина, вовсе не от холода дрожа всем телом, сошла с трапа самолёта компании Эр Франс в аэропорту «Шарль де Голль».

— Здравствуй, — услышала она знакомый голос и, если б не была вовремя подхвачена за талию, наверное, рухнула бы на французскую землю. — Ну что ты, девочка моя, ну не надо. Возьми себя в руки.

Марина только сейчас осознала, что плачет, что ноги её не держат, а держит её Юра.

— Как я тебя ждала!

— Это не ты, это я тебя ждал: на сколько задержали вылет?

Она рассмеялась: и это в нём не могло не восхищать — Юра мог свети к невинной шутке всё, что угодно.

— Пойдём, я покажу тебе Париж. Где твой багаж?

— Вот, — она показала маленькую сумочку.

— Вот и замечательно. Пошли.

Он обнял её, и они отправились ловить такси.

— Смотри, вон Триумфальная арка... Елисейские Поля... Эйфелева башня... Но смотреть она могла только на него:

— Юра... Юрочка... как давно я тебя не видела!

— Насмотришься ещё. У тебя на сколько виза?

— Три недели осталось.

— О, да это есть манифик!

— Что?

— Прекрасно!

— Поехали к тебе.

— Ну что ты, ко мне нельзя. Впрочем, если тебя устроит компания троих раздолбаев...

— Ты живёшь не один?

— Конечно. Одному очень накладно. Сейчас мы снимем тебе небольшую мебелирашку, и я буду самым частым твоим гостем.

— Ты не собираешься жить со мной?

— Собираюсь. При условии, что от меня отпочкуется двойник и займётся моей учёбой.

— Прости, я совсем забыла.

Он сказал что-то водителю, и скоро они оказались на довольно скромной улочке. Юра расплатился и отпустил такси.

— Ну вот. Здесь два шага от Сорбонны и полтора — от моего логова.

— Ой, смотри — объявление на русском языке...

— Здесь это никого не удивляет — в Сорбонне полно русских студентов. Зайдём-ка вот сюда, — и он постучал в довольно приличную на вид дверь.

Дверь открыла маленькая дамочка лет сорока, и Юра довольно скоро с ней договорился. Дамочка вручила им ключи, показала куда-то неопределённо вверх, улыбнулась и исчезла.

— Четвёртый этаж, не возражаешь?

— Нет.

— Но тут нет лифта.

— Ничего страшного.

— Да? Вот и хорошо. Тогда — вперёд!

По дороге он рассказал, что квартира со всеми удобствами, но плата за всё отдельно, особенно — за горячую воду. Если похолодает, мадам включает отопление, и это тоже будет включено в счёт. Против визитов она ничего не имеет, лишь бы не шумели.

— А вот, кажется, и наша дверь. — Юра вставил ключ, провернул два раза, и они вошли в небольшую квартирку, чем-то напоминающую обыч-

ную советскую «хрущобу»: непритязательная, но довольно уютная гостиная и крошечная спальня с огромной кроватью посередине. Здесь осмотр временно закончился.

Неделю Марина жила в состоянии полного и абсолютного счастья: она едва просыпалась, когда он убегал на занятия, ещё дремала какое-то время, потом принимала душ, тщательно приводила себя в порядок, заходила в кафешку напротив, заказывала кофе и ждала Юру. Приходил он довольно скоро, они пили кофе и шли к ней. А к вечеру шли гулять, и он показывал ей Париж, начиная с чудесной золотой лужайки у Сорбонны и заканчивая самыми известными по туристским каталогам местами. Домой возвращались почти уже ночью, опять заглядывали в кафешку напротив, ужинали и поднимались к себе.

Марина купалась в счастье. Мысль, что скоро придётся возвращаться домой, повергала её в ужас, и только Татуська казалась ей отсюда, из Парижа, единственным светлым пятном на фоне общей серости, надоевшего мужа и вечного ворчания Алёны.

— А у нас строят горки — можно будет кататься на настоящих горных лыжах. Вот приедешь на зимние каникулы...

— На зимние каникулы я не приеду.

— Почему?

Потому что на зимние каникулы запланирована поездка в Альпы с одной очень перспективной мадемуазель. Потому что мадемуазель — дочка какого-то местного воротилы. Потому что брак с ней будет существенным шагом в его карьере здесь, в Париже.

— Брак? Так ты больше не приедешь к нам?

— Почему? Буду навещать... иногда...

Навещать иногда... Значит, вся эта парижская сказка — только сказка, и как только она кончится — кончится всё. Марина не заплакала — она впала в какую-то странную прострацию, повторяя: «сказка... сказка...» В голове у неё помутилось.

— Оставь ты эти дурацкие мысли! Иди ко мне.

Она прильнула к этому до головокружения желанному телу, но в виске билось окончательное: иногда... иногда...

Скоро, разметавшись по кровати, они отдохали. Юра, кажется, даже заснул. Марина убедилась, что он спит, достала из сумочки нож — всегда носила с собой (на всякий случай) острый длинный стилет, поцеловала нежную синеватую жилку на его шее и полоснула по ней что было сил. Нож вошёл глубоко — по самую рукоятку. Юра дёрнулся, открыл в ужасе глаза, пытался было что-то прохрипеть, но скоро затих, выпустив алую струйку из уголка рта.

Она полежала с ним ещё немного, целуя самые нежные, самые любимые места этого уже не живого тела: окровавленную шею, навсегда изумлённые раскосые глаза, волосы, руки...

— Нет. Никаких мадмуазелей. Ты мой!

Она оделась, не замечая, что вся испачкана кровью, спустилась по лестнице, зашла в кафешку напротив: «Гарсон, кофе!» — и села ждать его возвращения из Сорбонны.



Сергей МАЛИЦКИЙ

ТАЙНЫ ЖИЗНИ

За лестницей, во дворе

За лестницей, во дворе — старый тополь. Под тополем качели. За качелями — серый столб. Шуруется дед Коля, млеет на солнце, но глаз с Митьки не спускает. Тополь дерево слабое, обломиться сук может, пришлось столбом подпереть. И так кору содрали цепью. Бойтся дед за внука. А Митька не боится. Он лёгкий. Мамка, когда на руки берёт, говорит, что лёгкий. Отец, когда над головой подбрасывает, говорит что лёгкий. Митька и сам думает, что он лёгкий, а дед пальцем грозит. На руках не носит, сидит на скамейке и всё смотрит за Митькой, как бы не залез куда, со двора не убежал, в руки что острое не взял. Стекляшку цветную отобрал, гвоздь отобрал, петлю дверную отобрал. Не покажет ему Митька секрет. Отберёт дед, точно отберёт. Мамка придёт с работы — покажет Митька мамке секрет. Папка заедет пообедать — покажет. А деду не покажет. У деда пальцы твёрдые, как деревянные. Когда за стол Митьку сажает — твёрдые, когда одеялом накрывает — твёрдые, когда в спину подталкивает с улицы... И сейчас сидит, пальцы кривые приготовил, выпустил на колени коричневыми корнями, косится на внука, как тот на качелях качается, а сам жмурится. Размяк на солнце, головой о стену опёрся, жилетку расстегнул, ноги вытянул, того гляди уснёт. Вот голова опустилась, борода в рубашку уткнулась, застиранный карман оттопырила. Пусть скворец над головой заливается, цыплята под сеткой галдят, храп всё равно слышно. Уснул дед Коля.

Митька с качелей прыг. Мимо столба. Мимо кучи песка. Мимо сирени. Мимо крапивы жгучей к забору. Четыре штaketины сломаны, почернели на полвысоты, ромашки подвяли, а под ними секрет. Упал Митька на колени, щекой к траве прильнул. Смотрит.

Сверху гриб грибом, а снизу от травы огоньки мелькают. Как сквозь туман, но раз-

В рассказе Сергея Малицкого «За лестницей, во дворе» жил-был маленький человек, Митька. Счастливый человек — Митька. Есть в его маленьком мире мама, папа, дед. Есть солнечный двор с качелями и смородиновым кустом. Есть уютный дом с кухней и его, Митькиной, тарелкой с нарисованным на доннышке лопухим слоном. Богатый человек — Митька. Не беда, что все его сокровища помещаются в одном кармане. Зато есть у Митьки настоящий секрет, спрятанный в настоящем тайном месте — за крапивой жгучей у забора. Везучий человек — Митька... Впереди большая жизнь.

В рассказе «Чушь» удивительным образом переплелись одуряюще обыденные и потому вечные житейские мелочи, устоявшийся быт, настолько привычный, что порой не понять его истинную цену; намечающаяся драма на грани реальности и наваждения и пронзительная печаль от бессилия что-либо понять и изменить.

РАССКАЗЫ

глядеть можно. Сначала в одну сторону бегут, потом в другую. А в середине искорками заливаются. Полосками цветными, вспышками. Как раз в том месте, где гриб надломлен. Там и трава почернела и гарью пахнет. И шарики цветные как муравьи. Копошатся над трещиной, паутину цветную плетут, только рвётся она раз за разом. Вот один подскочил, откатился, пелену мутную расскёл и вдруг засверкал, замельтешил отблесками. Митька палец вперёд протянул, коснуться хотел, да только иголочка жёлтая вспыхнула, кольнула — тут же голос деда Коли на весь двор:

— Митька! Митька-паршивец! Ты где?! А ну-ка сюда спеши!

Митька палец в рот, вскочил на ноги и бегом. А там уже папка! Большой, загорелый, с запахом машинного масла, весь покрытый блестящими капельками воды. Отдал папка полотенце деду, подхватил сына под руки, подбросил лёгкого над головой, так что дух захватило, поставил, руку в карман сунул и конфету на палочке вручил. Забыл Митька тут же про секрет, поехал, поплыл на папкином плече на кухню. Под притолокой наклонился, прижался к папкиному уху, чтобы лбом не удариться, руки под гремящим рукомойником вымыл, за стол сел, за куском хлеба потянулся. Конфету пока на стол выложил.

— Давай, наследник, наяривай первое! — прогудел отец.

Тарелку подвинул. Себе побольше, Митьке поменьше, со слонем. Только слона не видно. Его дед в шах утопил. Теперь, чтобы хобот рассмотреть да уши, что на крылья похожи, надо всю тарелку вычерпать. Отец подмигивает, хлеб режет, а дед Коля кляксу сметаны в Митькины щи роняет. Митька ложку в кулак зажимает, но тут же видит руку отца и старательно копирует отцовский хват. Кладёт ручку ложки на средний палец, указательным придерживает, большим прижимает.

— Это что у тебя? — вдруг обращает внимание отец. — Вот, на пальце. Укусил что ль кто? Комар или пчела?

— Погодь! — беспокоится дед, охая, встаёт со стула, наклоняется, тербит в жёстких пальцах Митькину ладонь. — Не пчела, нет. На ожог похоже. Слепень, наверное. Ничего. Я сейчас зелёнкой намажу.

Поспешил дед за пузырьком, Митька про секрет тут же вспомнил, но дед быстр оказался. Вот уже тычет стеклянной пробкой в Митькину руку и дует старательно. Нельзя при дедушке про секрет рассказывать, отберёт, точно отберёт!

— Молодец, Митька! — довольно говорит отец. — Хоть бы пискнул. Терпишь! Молодец!

— Митька! — зычно оглашает огород дед. — Ты где?

Не спешит отзываться Митька. За кустом красной смородины схоронился. Правда, не красная она ещё, а зелёная. С грозди в ладонь ягоды сыплются, затем в рот, на зубах скрипят, кислотками в небо брызгают, кривится Митька, а ест. Знает, что утром, а то уже и вечером живот скрутит, будет стонать на стульчаке в страшном сортире, где пахнет хлоркой и паук над головой ждёт в засаде глупую муху, а всё равно ест. Зато папкина конфета после ягоды зелёной в три раза слаще кажется.

— Митька, кривой корень! — не унимается дед.

— Тут я! — наконец откликается Митька, выплёвывает недожёванные ягоды, пихает в рот конфету и выбирается на садовую тропинку.

— Опять ягоду зелёную ел? — с досадой качает головой дед Коля.

— М-м-м-м-м, — отрицательно мычит Митька, показывая на торчащую изо рта палочку конфеты.

— Вот что, пострел, — с сомнением оглядывает дед внука. — На посёлок керосин привезли. Отойти мне надо. Заодно и хлеба прикупить. Побудь возле дома. Я калитку проволокой прихвачу, за полчаса обернусь. Да соседку попрошу, чтобы через забор за тобой поглядывала. Понял, что ли?

— М-м-м-м-м, — кивает Митька.

— Ну ладно, — неуверенно соглашается сам с собой дед Коля, подхватывая с травы канистру и шаркает к калитке. — Смотри у меня! Выпорю, если что!

«Если что?» — недоумённо размышляет Митька, глотая сладкие слюны и следя за проплывающим над забором картузом.

— Митька! — почти сразу доносится визгливый голосок соседки — бабы Ньюры. — Ты где? А ну подь сюда! У крыльца сиди или на качелях, чтоб я видела тебя!

— Иду! — кричит Митька, бежит к крыльцу и тут только вспоминает про секрет.

А гриб изменился. Он уже не мутный и вроде даже уменьшился. Шляпка у него серая, в блестящих кружках и квадратах, а под ней не одна ножка, а три. Митька знает, ещё год назад, когда у него спрашивали, сколько ему лет, он должен был показывать три пальца. Год прошёл, повзрослел Митька. «Четыре», — чтобы проверить себя, шепчет Митька и сгибает на ладони большой палец. Огоньков под грибом нет. Место, где гриб был повреждён, затянуто белой слизью. Она временами подрагивает, и трогать её Митьке не хочется. Он медленно тянет палец, чтобы коснуться шляпки. В тот же миг раздаётся шелчок, гриб снова становится большим и мутным. Пальцам щекотно, но Митька аккуратно трогает струящуюся поверхность и думает, что гриб боится.

— Митька! — раздаётся от забора строгий голос бабы Ньюры. — Ты чего на землю лёг? А ну вставай! Нельзя лежать! Простудишься!

Митька послушно садится на корточки. Баба Ньюра стоит за забором, но в высокой траве не может рассмотреть обугленные штакетины и гриб.

— Ты что там делаешь? — спрашивает строго.

Тут только Митька замечает, что вдоль мутного края гриба лежат мертвые жучки и даже несколько ос. Он поднимает жужелицу и показывает соседке.

— Я жуков ловлю!

— Брось! Я кому сказала, брось! — раздражённо кричит соседка, потом вспоминает, что внук не её, с досадой машет рукой и спешит по своим делам.

Митька вновь садится на корточки, поднимает с земли тополиный сучок и осторожно касается гриба. На мгновение загораются огоньки, затем гриб вдруг снова уменьшается. Мальчик в восторге достаёт из карманов сокровища и осторожно выкладывает их в траву. Шарик от подшипника. Брелок. Сломанные часы. Жевательную резинку. Свисток. Пододвигает к грибу ногой, впихивает почти под шляпку и тут же отползает в сторону, вскакивает, обдирая колени.

Гриб опять становится большим. Митька приседает и наблюдает за ожившими огоньками. Вдруг узкий луч вырывается из-под шляпки и ложится кружком зелёного света на Митькину коленку. Митька вздрагивает и тут же вспоминает. Фонарик! Который папка подарил! Сейчас. Мальчик вновь вскакивает на ноги и бежит к дому.

— Митька! Ты куда? — несётся из-за забора голос бабы Ньюры.

— Попить! — откликается мальчишка. — Я сейчас!

Мама приходит поздно, и Митька уже в постели. Ему не терпится рассказать о том, как он светил отцовским фонариком под гриб, а оттуда вырывался зелёный лучик и всё время старался попасть ему в глаз. О том, как гриб стано-

вился то большим, то маленьким. О том, как оттуда выкатились разноцветные шарики и один из них теперь лежит у Митьки в кармане шортиков. А ещё о том, что внутри шарика сидит маленький человек-паучок, только он так и не смог определить, сколько у него ручек и ножек, так быстро он ими передвигает. О том, что Митька подружился с этим человечком и даже притащил по его просьбе к грибу корзинку со двора, в которую дед Коля складывает сгоревшие электролампочки. А ещё человек попросил у Митьки градусник, и Митька едва не разбил нос, пока поднимался на табуретку, чтобы добраться до аптечки... Митька так много хочет рассказать маме, но глаза слипаются, и он проваливается куда-то, успев удивиться, отчего так громко разговаривают на кухне мама, папа и дед Коля, и почему они говорят одновременно.

— Дед! Когда же твои электрики приедут? Второй день как провод со столба срезало, а их всё нет. Суббота! Телевизор не работает, а сегодня футбол! К соседям, что ль, идти?

— Вань, не кричи! Митька ещё спит!

— Нечего разлёживаться! Солнце уже встало, пора и ему вставать! Зря, что ли, солнышком его кличешь? Дед!

— Чего кричишь-то? Ты лучше поглянь, что сын твой учудил! И не оставляй его на меня больше! На работу с собой бери!

— Да в чём дело-то?

— А вот в чём! Лампочки сгоревшие со двора вытащил, пококал их все, да ещё костерок у забора устроил. Траву сжёг да штакетины все обуглил! На полчаса отойти нельзя! А если бы огонь на сарайку перекинулся? И Нюрка-кошёлка прошляпила: «У меня куры, у меня куры!» Ты ещё спроси его, зачем он градусник брал!

— Подожди шуметь-то, батя.

Иван растерянно взял из рук деда лампочку со странным круглым отверстием в колбе, искривлённый градусник.

— Ой! — прижала ладонь к губам жена. — Ртути нет!

— Подожди, — отмахнулся Иван. — Градусник-то не разбит. Кривой какой-то. В костре он его жёг, что ли? Так и копоты нет... Митька! Митька!

Сынишка сидел на кровати и растерянно ощупывал шортики. Глаза его были полны слёз.

— Митька! Что случилось?

— Шарика нет. Человечка нет, — горько прошептал Митька и вдруг спрыгнул с кровати, зашлёпал босыми ногами по полу, толкнул дверь, выскочил на крыльцо.

Иван, опережая жену, поспешил следом. За лестницу. За тополь. За столб. Мимо кучи песка. Мимо сирени. Мимо крапивы. К забору. Четыре штакетины сломаны, почернели на полвысоты, под ними круглое выгоревшее пятно. Идеально круглое. Три вдавленных ямы в земле. Рядом корзинка. Гора лампочек с отверстиями на колбах. Готовый разрыдаться, с кривыми губами стоял Митька. Иван поморщился и, чувствуя слабую, похожую на досаду злость, оглянулся на спешащую через крапиву жену, семящего деда и подумал: «Ну что делать с пацаном? Простишь баловство, потом же хуже будет. Лупить-то вчера надо было. А сегодня? Что сегодня? Домой загнать на весь день? Или в город с собой не брать завтра? Просился ведь в кино! В угол поставить до обеда?»

— Не надо меня в угол, — пробурчал недовольно Митька. — Я ещё зубы не чистил. И не завтракал. И домой не надо загонять. Давай лучше в кино ходим. И мамку возьмём...

Чушь

Катя не любила собственное имя. Оно казалось ей несуразным набором сухих спотыкучих звуков с рычанием и почти ругательством на конце. Попытки близких превратить Екатерину в Катюшу, Катеньку, Катюху вызывали у неё кислую гримасу. Вот и теперь, стоя на ленте эскалатора, она привычно процеживала лица, плывущие навстречу, и радовалась, что никто из этих незнакомых людей не догадывается, как её зовут. Мысли плавно перескочили на испорченные химическим московским снегом замшевые сапоги, на облупившийся на ногте лак, на Денискину тройку по математике, на надоевшую боль в висках, поэтому, когда эти самые виски, лицо, шею вдруг окатило теплом, она не сразу поняла, что случилось. Боль исчезла, колени подогнулись, она шумно вздохнула, устояла, уцепившись за поручень, завертела головой, но эскалатор уже довёз её к металлическим решёткам и с облегчением скользнул в механическую преисподнюю. Словно ожидая чего-то, Катя ещё несколько секунд постояла за будкой контролёра, затем пошла к поезду.

Он догнал её уже в вагоне. Катя снова почувствовала тепло, обернулась и растерянно замерла.

Одного роста с ней.

В несуразной клокастой собачьей шапке и китайской куртке.

С выбившейся на лоб прядью тёмных с проседью волос.

С плохо выбритым узким подбородком.

С чуть сторбленным тонким носом.

С узко посаженными внимательными глазами.

Он смотрел на неё удивлённо и неотрывно. Катя выдохнула, облокотилась о двери, растерянно улыбнулась и, когда поезд остановился и мужчина поймал её за руку, не дав упасть на спину, удивилась только одному, почему прикосновение не сопровождалось электрическим разрядом. Он освободил руку, но тут же ухватил снова и уже не выпускал, пока она словно в полусне шла по слякотным тротуарам домой, неловко копалась в сумочке, выуживая ключ, пыталась найти вешалку на пальто, чтобы приладить его на крючок в прихожей. Он обнял её за плечи сзади, уколол щетиной шею, наполнил запахом табака, одеколona и чего-то ещё непонятного, но показавшегося родным и знакомым. Катя обмякла в его руках, словно верёвочная кукла, распустившая секретный узелок. Он подхватил её на руки, шагнул в комнату, осторожно положил на диван и потянул на себя молнию юбки...

Звонок показался звуком рвущейся ткани. Катя метнулась за халатом, к дверному глазку, на кухню. Открыла дверь, сняла с Дениски ранец, сунула ему в кулак мелочь, сумку, отправила за хлебом. Вернулась в комнату, подошла, прижалась, почувствовала руку, скользнувшую по животу, приподнялась на носках. Он поцеловал её в переносицу, отошёл на шаг, с улыбкой покачал головой, сказал негромко:

— С ума сойти!

— Ещё раз! — попросила Катя.

— Что? — он поднял брови.

— Скажи что-нибудь.

— Говорю, с ума сойти, — повторил он.

— Ага! — расплылась Катя в улыбке.

— Пойду, — он шагнул в прихожую, поднял с пола куртку, натянул на голову шапку, обернулся в дверях. — Меня Виктор зовут.

— Ага, — повторила она.

Загудел лифт. Катя закрыла дверь, пошла на кухню, жадно напилась воды из чайника, вернулась в прихожую, распахнула халат и застыла у зеркала, рассматривая собственное тело.

— Дура! — прошептала чуть слышно. — Ой, дура!

И засмеялась счастливо и изнеможённо.

Очнулась от дверного звонка. Дениска сбросил ботинки, куртку, потащил сумку на кухню, закричал возмущённо оттуда через секунду:

— Мамка! Хлеб-то дома есть!

Николай пришёл поздно. С трудом уместаясь в маленькой прихожей, разделся, поцеловал Катю в щёку, подмигнул, протянул розу на длинном стебле.

— Это по какому случаю? — не поняла она.

— Вот, — улыбнулся муж. — Вздумалось. Без причины приятней! Или нет?

Катя, чувствуя непонятную досаду, кивнула, выдавила улыбку, пошла на кухню, вставила цветок в сувенирную бутылку. Долго смотрела, как муж ест. Раньше ей нравилось наблюдать за ним. Теперь раздражало всё: и то, что он не подносил ложку ко рту, а нагибался за ней, что обильно посыпал блюдо перцем, отрезал от буханки корочку, иногда чавкал и клацал зубами по ложке.

— Зачем хлеба столько купили? — удивился Николай.

— Так, — она пожала плечами. — Ошиблась.

— Ничего, — он громыхнул хлебницей. — Только в пакете не держи, а то заплесневеет. Ты как сегодня? А?

— Живот что-то болит... — отвела Катя глаза.

— Ну ладно, — привычно кивнул муж и пошёл в спальню поцеловать Дениску.

Катя лежала и слушала, как Николай что-то напевал под душем, барахтался, бурчал. Дождалась, пока пришёл в постель, обнял, нашупал грудь, прижался, уткнулся носом в лопатку, уснул. Осторожно выбралась из-под тяжёлой руки, отодвинулась, подтянула колени к груди и заплакала.

— Ты чего это, Катька? — выговаривала ей подруга через неделю. — Со всем, что ли, сбрендила? Да у тебя муж, каких поискать! Тебя любит, ребёнка любит, не пьёт, вкальывает на двух работах, всё в дом, машина на ходу, летом дачу строит, на грядках твоих копается, зимой всё по дому. Без денег не сидите. По театрам тебя таскает чуть не через неделю! В Турцию каждый год катаетесь! Ты чего удумала? Мало ли что у кого где бывает? Если после каждого перепахона семья ломать...

— Нин, подожди, — Катя поморщилась, потёрла глаза пальцами. — Я что? С тобой спорю разве? Или я сказала, что уходишь от Кольки собралась? Ты видела, как Денис на него смотрит? Я об этом не думаю даже! Нам с тобой друг от друга скрывать нечего. И ты не ангел, да и я не со школы с Николаем дружу. Да и потом... разное случалось. Но никогда это не было так!

— Как так? — не поняла Нинка. — Я что-то не соображу... Представить не могу мужика, который твоего Кольку переплюнет. Не мне судить, конечно...

— Да не об этом я! — с досадой воскликнула Катя. — Если хочешь, он рядом с Колькой не смотрится даже. И мужик он обычный. Другое! Он мой! Понимаешь? Он... как часть меня!

— Куда уж мне понять! — махнула рукой Нинка. — Ты сколько раз его видела-то?

— Два, — сказала Катя. — Вчера ещё раз приходил.

— Домой?

— Нет! Что ты? У метро караулил. Сказал, что проверить приходил. Самого себя проверить. Убежал сразу же.

— Дура! — закрыла Нинка лицо ладонями. — Ой, дура! Ну, я понимаю там, Людка-психопатка с твоей работы, она уже два раза таблетки глотала, у неё дурь в глазах плещется! Но ты-то!

— Знаешь, — Катя посмотрела на подругу. — Будь во мне дури побольше, я бы уже и Кольку, и Дениску оставила и пошла бы за этим недомерком на край света. Только голова и сдерживает. Ты объяснений у меня не спрашивай, я сама ничего не понимаю. Словно в реку упала и выбраться не могу. Понимаешь?

— Не понимаю, — жёстко сказала Нинка. — И понимать не хочу. И вот ещё что. Ты об этом не говори никому.

Николай сел вечером напротив, пригляделся, поднял её безвольную ладонь, нежно сжал в огромных ручищах.

— Что случилось?

— Ничего.

— Брось, я же вижу! Похудела, глаза тусклые, губы дрожат то и дело. На Дениску кричать стала. Обидел кто? На работе всё в порядке?

Катя отрицательно помотала головой.

— Влюбилась, может, в кого?

— Молодость уходит, Коля, — сказала она негромко.

— Ну, это ты зря! — расплылся муж в улыбке. — У нас с тобой молодости ещё выше крыши. Ты на Дениску посмотри! Родители молоды, пока дети в школе учатся. Вот девочку смастерим, ещё молодость лет на восемнадцать продлим. Ты чего ревёшь, дурёха? Дениска! Ну-ка бросай свои мультики, беги сюда, мамку утешать!

Виктор появился ещё через неделю. Он остановил Катю в вестибюле метро, взял за руку, отвёл в сторону, прижал к грязному подоконнику.

— Не могу больше.

Она запустила руки за полы куртки, обняла, прижалась, уткнулась носом в свитер, втягивая его запах.

— Соскучилась, — прошептала счастливо.

— Не могу больше, — повторил он нервно. — По всем своим бабам прогулялся, не могу. Ты как заноза, как воздух. Только рядом с тобой дышу. С женой разругался. Ушёл. Ничего. Дочь взрослая, у неё уже своя жизнь. Хочешь быть со мной?

— Хочу.

— Брат говорит: брось, пройдёт. Чего жизнь калечить, не ты первый, не ты последний, мало ли баб, а я и объяснить ничего не могу, — засмеялся Виктор. — Слов у меня таких нет.

— А какие есть?

— Уходи ко мне, — попросил. — Пацана своего бери с собой. У меня мамка — старушка добрая, она всё поймёт.

— Нет.

Вывернулась, шагнула в сторону, посмотрела умоляюще.

— Нет.

— Почему?

— Муж. Сын без него не сможет. Я не могу... так.

— И я не могу так, — кивнул Виктор. — И ты не сможешь. Это такое дело, один глаз выбьешь, второй сам слепнет. Хочешь, я поговорю с твоим мужем?

— Да ты что? — ужаснулась Катя. — Смерти моей хочешь? Да он... убьёт тебя!

— Убьёт? — усмехнулся Виктор. — Пусть попробует. Есть у меня чем отбиться.

— Не смей! — Катя произнесла эти слова тихо, но так, что он замер. — Не смей.

Николай хмурился и упирался, потом махнул рукой, позвонил на работу, с кем-то поменялся и поехал с Катей и Дениской на дачу. Весна задержалась, до дверей добираться пришлось по сугробам, потом потратить несколько охапок дров, чтобы протопить печь. Зато была снежная баба, игра в снежки, шашлык в ржавом мангале, горячий чай перед гудящей печью. Денис задремал прямо в кресле, Николай уложил его на диван, вслед за Катей поднялся в мансарду. Она с замиранием легла на холодную простыню, дождалась мужа, обняла его, вцепилась изо всех сил. Он поцеловал её возле мочки уха и прошептал:

— Царевна-Несмеяна! Успокойся! Всё хорошо! Всё замечательно! Каникулы!

Сердце схватило через два дня. После обеда. Тупым ударило в грудь, потом заломило где-то в боку и спине. Она выронила половник, обрызгав горячим супом колени Дениске, открыла рот и, не в силах произнести ни слова, согнувшись, начала искать табуретку. Николай подскочил, поймал её на руки, потом рвал на «Ниве» по раскисающей дороге к городу, орал на кого-то по сотовому телефону, держал Катю за плечо и недоумённо смотрел на доктора, который требовал объяснить, откуда у больной в центре груди гематома?

Всё это подёрнулось дымкой, раздражённый голос Николая и плач Дениски стали тише, а вместе с ними ушла и боль.

Нинка прорвалась к ней через три дня. Выгрузила из сумки гроздь бананов, какие-то соки, окинула взглядом больничную палату, с готовностью всплакнула, взяла Катю за руку.

— Ну ты выдала! Твой-то где?

— Ушли уже, — прошептала Катя. — Только что были.

— Что ж ты раньше-то не говорила, что у тебя сердце больное? — посетовала подруга. — Довела себя до инфаркта! Ну ничего. То тебя Колька на руках носил, теперь пылинки будет слувать. Во всём есть свои хорошие стороны. Жаль, что плохих всегда больше. Не доводят до добра все эти переживания!

— Я знаю, — прошептала Катя. — Я рассталась с ним.

— Ну и ладно, что было, то сплыло, — довольно кивнула Нинка. — А я сначала даже обрадовалась, что вы на дачу укатили. Думала, если ты с катушек слетела, так это только твой приятель и мог сладить! Думала, это он у вашего дома застрелился! Говорят, сутки мужичонка какой-то у подъезда топтался, а как раз четвёртого дня из пистолета в сердце себе и засадил. Я по телику репортаж видела. Видишь, чего творится? Скоро уже бомжи всякие с пистолетами бродить начнут. Думаю, придётся тебе, подруга, Дениску в школу провожать. Ну и встречать, конечно. Заодно и гулять. Самое время. Весна! Да что ты плачешь, Катька?!

— Холодно мне, накрой.

— Ну, успокойся! Ты что? Тебе же нельзя плакать!

— Он... Он у меня даже имени не спросил!



Руслан БРЕДИХИН

ЧЕЛОВЕК С ПОРТФЕЛЕМ

— Говорю тебе, он битком набит деньгами! На, посмотри.

Худошавый юноша протянул другому, полненькому, с бегающими глазками, замусоленный театральный бинокль.

— А может, у него там даже и золото. Или камушки, — продолжал худой, вышагивая позади своего приятеля, который осторожно перегнулся через край крыши и поднёс к глазам бинокль. — Сможем тачку козырную купить, шикарных девочек снимем... Представляешь?

— А если... вдруг там ничего нет?

— Это как?

— Ну... если портфель пустой?

— Это голова у тебя пустая! Ты же видел, какой он тяжёлый: старикан его еле носит. И потом, стал бы он повсюду таскать с собой пустой портфель? Поговаривают, будто он и в туалет с ним ходит. И даже спит с ним.

Юноша остановился, выудил из кармана сигарету и закурил. И продолжил:

— Неужели ты струсил? Если боишься, так и скажи.

— Я не струсил! — возмутился полненький.

— Ещё как струсил!

— Если ты такой смелый, то почему не сделаешь это один?

— Один?.. Да я бы сделал, конечно... Только вдвоём удобнее, надёжнее... Ну и, наверно, спокойнее... Идиот, я же поделиться с тобой хочу, помочь тебе выбраться из этой грязи!.. Ты смотри, смотри, чего он там делает?

— Сидит на лавочке.

— Просто сидит — и всё?

— Ну, может, воздухом дышит... Ещё, кажется, улыбается...

— А портфель где?

Старый, туго набитый портфель и немного смешной, невзрачного вида человек, который никогда не расстается с ним. Что может быть в этом портфеле? Наверно, самое дорогое для него.

Дорогое, но что именно? Деньги? Какие-нибудь ценности? Что бы там ни было, на пару бутылок водки должно хватить.

У каждого своё на уме, у каждого своё на душе. Интересы сталкиваются...

РАССКАЗ

— На коленях держит.

— Вот-вот, я бы тоже держал! Ух, чую я, дружище, что нам крупно повезло. Я не я буду, слышишь, если этот старый жлоб не поделится с нами золотишком!..

Бросив окурок перед собой, он затоптал его и достал ещё одну сигарету...

Было воскресенье. Держа на коленях старенький кожаный портфель, Борис Иванович Калитин сидел на лавочке около своего дома. Он дышал свежим воздухом и улыбался. Время от времени губы его беззвучно шевелились.

«Приветствую Вас, дорогая моя, и мысленно целую Вам ручки...» Нет, пожалуй, как-то чересчур простовато получается... Подумав так, Борис Иванович поправил очки, которые сползли с переносицы, поднял голову к небу, загадочно улыбаясь в свои густые усы. У губ его клубилось в морозном ноябрьском воздухе облачко пара.

«Приветствую Вас, ангел мой, и мысленно целую Ваши бархатные ручки...» Да, так лучше. А потом сразу можно и про расстояние: «Многие километры отделяют нас друг от друга, и много времени пройдёт с тех пор, как я коснусь рукой этих строк, до тех пор, как их коснётся Ваш драгоценный взгляд...» Ох, как хорошо получается!.. Борис Иванович, довольнo улыбаясь, заёрзал на скамейке.

«...Но всё это время мысли мои будут с Вами...» Да, именно так. Ему уже не терпелось подняться к себе и начать письмо. Но Борис Иванович Калитин удерживал себя, смакуя предвкушение, и продолжал сидеть на лавочке, поглаживая морщинистой рукой потёртую кожу своего портфеля.

А в воздухе пахло приближающейся зимой. Ветки деревьев давно уже были голыми. «Мне вчера приснился удивительный сон: будто мы с Вами загораем на пляже, и я мажу Вашу нежную спинку кремом для загара, а Вы мне рассказываете о светлом и просторном доме на берегу моря, о доме, в котором Вы хотите жить вместе со мной...»

Не в силах больше сдерживаться, Борис Иванович встал со скамейки, зашёл в подъезд и, поднявшись по лестнице на второй этаж, очутился в своей квартире.

Он сразу прошёл на кухню, вскипятил чайник и заварил себе крепкого чаю. Беззвучно шевеля губами, Борис Иванович при этом повторял строки заветного письма. Ему хотелось поскорее сесть за работу.

Поставив большую чашку бергамотового чая на письменный стол, Борис Иванович Калитин опустился в старенькое кресло, которое добродушно скрипнуло под ним. Положив перед собой чистый лист бумаги, он взял шариковую ручку и на несколько секунд прикрыл глаза, таинственно улыбаясь. А затем открыл их и начал писать: «Приветствую Вас, ангел мой...»

Слева от стола на табурете стоял старый кожаный портфельчик; судя по всему, это было его обычное место. Несколько раз Борис Иванович поднимался, чтобы пройти по комнате. Несколько раз он хмурился и, смяв исписанный листок, бросал его прямо на пол. И начинал всё заново.

Так прошёл весь день...

А на следующее утро Борис Иванович Калитин встал с постели, как обычно, в половине седьмого. Он умылся, оделся, выпил на кухне боль-

шую кружку сладкого чая с баранками. И, взяв свой портфель, вышел из квартиры.

Борис Иванович работал вахтёром в казённом учреждении, которое располагалось в двадцати минутах ходьбы от его дома. И он всегда ходил на работу пешком и пешком возвращался обратно. Дорога шла тихими двориками, затем по мосту через речку и вдоль ограды большого парка. В киоске около троллейбусной остановки Борис Иванович покупал несколько газет и журналов, потом переходил на другую сторону улицы и оказывался у дверей, за которыми располагалось его рабочее место.

Оно представляло собой стеклянную будку, перед которой стоял электронный турникет. В обязанности Бориса Ивановича входило требовать предъявления документов с тех, у кого не было специального магнитного пропуска. Однако посторонние довольно редко заглядывали в это учреждение, и обычно рабочий день Бориса Ивановича проходил спокойно, без напряжения. Сидя в своей будке, он целый день просматривал объявления в газетах и журналах или что-то писал. Старенький кожаный портфель стоял рядом на стуле. И, кстати, отлучаясь в уборную, Борис Иванович и впрямь брал его с собой. Видимо, там действительно лежало что-то очень ценное.

Раз в неделю Борису Ивановичу Калитину в его будку приносили большой мешок, полный писем. Это была исходящая корреспонденция, за которой по специальной договорённости с почтовым отделением через некоторое время приезжал на машине почтальон. Борис Иванович успевал положить в этот мешок сверху несколько своих писем — в старых выцветших конвертах, которых он много купил ещё несколько лет назад.

Вообще, в жизни Бориса Ивановича давно уже почти ничего не менялось. Был ли он счастлив? Поскольку подобный вопрос никогда не возникал у него в голове, то, вполне вероятно, он и в самом деле был счастливым человеком. Во всяком случае, его всё устраивало, и он всё принимал как должное.

И точно так же, как должное, Борис Иванович воспринял когда-то решение жены уйти от него. Впрочем, они прожили вместе всего три года, и было это так давно, что теперь он совсем не помнил, как выглядела та женщина, на которой он был женат. Помнил он лишь о том, что она забрала с собой их двухлетнего сына. Однако и это воспоминание казалось Борису Ивановичу бесконечно далёким, чем-то, что произошло и не с ним вовсе, чем-то из жизни другого человека. И он редко думал о прошлом.

Почти не думал Борис Иванович и о настоящем. К примеру, когда его затопили соседи сверху, ему и в голову не пришло подняться к ним и, скажем, потребовать с них компенсацию. Он просто поставил под каплющую воду кастрюльку, заварил себе чаю и пошёл дописывать начатое письмо.

Зато Борис Иванович Калитин много думал о будущем. Но эти его мысли были скорее мечтами, чем планами. Он мечтал, например, о красивых женщинах. А ещё мечтал побывать в других странах. И увидеть море — Борис Иванович никогда в своей жизни не видел моря, и ему казалось почему-то, что как только это произойдёт, всё сразу изменится и сам он тоже станет другим. Он часто представлял себя гуляющим под руку с очаровательной женщиной вдоль морского побережья. Однако в то же время в глубине души Борис Иванович прекрасно осознавал, что не будет у него никогда ни очаровательной женщины, ни морского побережья. И его ничуть не смущал тот факт, что все его дни были похожи друг на друга...

И каждый вечер Борис Иванович Калитин одной и той же дорогой возвращался с работы — по тем же улицам, через тот же мостик, теми же двориками. В гастрономе неподалёку от своего дома он покупал себе на ужин какие-нибудь полуфабрикаты — пельмени, котлеты или готовые блины с начинкой. Борис Иванович и забыл уже, когда в последний раз пробовал нормальную домашнюю еду.

Зайдя в подъезд, он вынимал почту из почтового ящика и поднимался в свою квартиру. И каждый вечер его встречала тишина и пустота. Но его это ничуть не смущало, он давно уже привык к этому.

Раздевшись, Борис Иванович сразу шёл на кухню готовить еду и кипятить чайник. А пока вода закипала, он листал газету. Или читал письма — если они приходили в этот вечер.

Ах, что это были за письма! В них женщины изливали свою душу Борису Ивановичу, восхищались его изысканностью, чуткостью и даже признавались ему в любви. Женщины делились с ним своими самыми сокровенными мыслями. Женщины писали, что скучают по нему и мечтают увидеться с ним. Женщины, женщины, женщины...

И вполне естественно, что, читая эти письма, Борис Иванович Калитин забывал обо всём на свете. О том, например, что никогда не увидит ни одной из этих женщин. Как никогда не увидит и моря... И у него даже иногда подгорал ужин.

Каждое письмо Борис Иванович читал медленно, обстоятельно, смакуя слова и словно бы купаясь в этих удивительных строчках, выведенных нежной женской рукой и адресованных лишь ему, ему одному. Он читал эти письма и представлял себе женщин, которые писали их. Некоторые из них присылали ему фотографии, другие просто описывали свою внешность. И Борис Иванович представлял себе красивые лица, улыбающиеся ему. Он представлял блеск в глазах, обрамлённых длинными ресницами. И губы — нежные, чувственные женские губы — они шептали ему слова, написанные на бумаге.

Иногда чтение и перечитывание писем затягивалось до глубокой ночи. Обычно же Борис Иванович, поев, успевал сесть за письменный стол и начать писать ответ или продолжить письмо, начатое накануне. И каждый новый вечер его жизни был похож на предыдущий...

В один из таких вечеров под окнами квартиры Бориса Ивановича Калитина появился уголёк сигареты.

— Ну объясни мне, чего ты боишься? — послышался в темноте раздражённый шёпот.

— Ничего я не боюсь! — Рядом с первым угольком возник второй.

— Но ты сомневаешься, да? — Послышалась усмешка. — Знаешь, как-то это всё... по-женски...

— Да пошёл ты...

— Я-то пойду...

— Хорошо. Только пообещай мне...

— Что именно?

— Ну, что мы не будем... ну, что ничего такого не будет...

— Конечно, не будет ничего такого!..

— Я имею в виду... ну, мы просто возьмём портфель и...

— Да, да, да!..

Борис Иванович Калитин возвращался с работы домой привычной дорогой. Однако в этот вечер ему впервые безумно хотелось свернуть со

своего пути и просто прогуляться — по совершенно другим, незнакомым улицам. Конечно, ничего подобного он бы себе всё равно не позволил, но по крайней мере в этот раз имелись веские причины.

Он всегда мечтал об этом. Но и боялся этого — потому и во всех своих письмах вместо обратного адреса указывал абонентский ящик на почте. Поэтому женщины, с которыми он переписывался, не знали, где он живёт. И Борис Иванович был уверен, что ни одна из них не сможет потревожить его покой. Однако письмо, полученное им накануне, лишило его этой уверенности.

Поначалу Борис Иванович Калитин испугался: женщина, которую он видел только на фотографии, написала, что разводится с мужем, едет к нему, Борису Ивановичу, в его город, и просит встретить её на вокзале. Он всю ночь не мог уснуть и ворочался на кровати, пытаясь понять, что же ему теперь делать. Написать ей в письме, что он не может её встретить? Да, пожалуй, так и надо сделать. Но как это объяснить? Лёжа в постели, Борис Иванович пытался придумать нужные фразы, но всё, что получалось, казалось ему угловатым и фальшивым.

А ранним утром Борис Иванович Калитин вышел на кухню, чтобы выпить воды. Сделав несколько глотков из кружки, он выглянул в окно. В бледных предутренних сумерках всё во дворе казалось серым: серыми были покрытые инеем деревья, лавочки, серыми были тротуары и окрестные дома.

И вдруг... Борис Иванович скорее почувствовал, чем понял это: не может его жизнь всегда быть серой, монотонной, однообразной. И если он срочно не сделает чего-нибудь... необычного, то попросту сойдёт с ума.

Именно в этот момент ему впервые пришла в голову мысль ответить на предложение женщины, которая хотела приехать к нему, согласием. Сперва эта идея показалась ему лишь дерзкой фантазией. Но когда наступил новый день и Борис Иванович пошёл на работу, и потом, когда он сидел в своей будке, мысль эта с каждой минутой казалась ему всё более реальной. И он всё более ясно осознавал, что должен поступить именно так.

И вечером, по дороге с работы домой, он уже начал придумывать ответное письмо. «Дорогая моя, ненаглядная! Не в состоянии слова выразить всю радость, которой наполнило меня известие о Вашем решении!..»

— Ну и куда ты так спешишь?

Совершенно внезапно Борис Иванович прямо перед собой услышал этот грубый мужской голос.

— Простите... — машинально пробормотал Борис Иванович, поднимая голову, чтобы разглядеть незнакомца.

Перед ним стояли двое: ближе был высокий и худой, в двух шагах от него находился второй, полненький и крепкий. На лицах у обоих были чёрные маски. Едва заметив это, Борис Иванович ощутил, как по спине пробежал холодок.

— Прощаю, — усмехнулся молодой человек, дыхнув на него перегаром.

Однако когда Борис Иванович попытался обойти его, тот положил руку ему на плечо:

— Не так быстро...

Тут Борис Иванович почувствовал страх, настоящий ужас, который сперва парализовал его, а затем заставил изо всех сил рвануться вперёд. Рука незнакомца соскочила с его плеча и скользнула по лицу, смахнув с него очки. Борис Иванович Калитин хотел было вернуться и поднять их, но через мгновение увидел, как на его любимые очки опустился тяжёлый ботинок, и услышал хруст треснувших стёкол.

И Борис Иванович кинулся прочь. Он бежал изо всех своих сил, бежал, ничего не видя перед собой. Может быть, портфель был слишком тяжёлый... Почувствовав мощный толчок в спину, Борис Иванович споткнулся и рухнул на асфальт.

Он сразу хотел было встать, но мощный удар ногой опрокинул его.

— Куда же ты, сволочь, собрался? — послышался сверху голос незнакомца.

А потом Борис Иванович почувствовал, что кто-то пытается забрать у него портфель. Сперва он попробовал сопротивляться, но тут же вновь получил удар ногой в живот. И отпустил ручку.

Юноша в маске открыл портфель и, запустив туда руку, вытащил толстую пачку писем, перевязанную шёлковой ленточкой. Повертев немного в руках, помяв, он бросил её на асфальт рядом с собой. И достал ещё одну, очень похожую на предыдущую.

— Что за... — Незнакомец грязно выругался вслух.

Он опрокинул портфель и энергично встряхнул его. На асфальт посыпались пачки писем. Каждая была перетянута лентой, под которую был вложен листок с написанным от руки женским именем.

— Что это за дрянь? Где деньги?

Худошавый юноша в маске схватил одну из пачек, вытащил наугад несколько конвертов и открыл их. Внутри были лишь написанные аккуратным женским почерком листы бумаги.

— Где деньги? — Незнакомец повернулся к Борису Ивановичу. — Ах ты гнида...

Сперва он с силой пнул одну из валявшихся на асфальте пачек, которая тут же рассыпалась. Всё ещё лёжа на земле, Борис Иванович заслонился рукой от писем, которые разлетелись во все стороны. И было похоже, что именно этот жест взбесил незнакомца.

Первый удар тяжёлого армейского ботинка пришёлся на рёбра Бориса Ивановича Калитина. Его бок сразу же пронзила острая боль, и он вскрикнул. Следующий удар пришёлся по лицу. В глазах у Бориса Ивановича потемнело. А потом удары посыпались без остановки один за другим — в живот, в грудь, по голове — и продолжались до тех пор, пока сообщник бандита, испугавшись, не оттащил его...

Когда Борис Иванович очнулся, рядом с ним никого не было. Только разбросанные письма лежали вокруг. Тихонько постанывая, он стал собирать их. Каждое движение причиняло ему невыносимую боль. И всё же он собрал все письма и сложил их в портфель. Затем кое-как добрёл до дома и лёг спать.

На следующее утро Борис Иванович почувствовал себя настолько плохо, что не пошёл на работу. И к вечеру его состояние значительно ухудшилось — он даже вызвал «скорую». Но было уже поздно.

Следующей ночью, находясь в реанимации, Борис Иванович Калитин умер.



«И сотворил Бог... всякую птицу пернатую... И создал Бог зверей земных по роду её... И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1, 21, 24). И человеку хорошо жить на земле рядом с этими творениями Божиими — будь то собака Ласка, оправдывающая свою кличку, или длинноногие грациозные журавли; увидеть еще раз их — последнее желание угасающей от неизлечимой болезни девочки... Может быть, последняя надежда на чудо выздоровления.

НОВЕЛЛЫ

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Собачья верность

Стоило теплоходу появиться из-за поворота, как появлялась откуда-то и она, чёрно-белая лайка по кличке Ласка. Стояла, вытянув вперёд свою острую морду, — то ли принюхиваясь к запахам реки, то ли всматриваясь в противоположный берег.

Мало-помалу теплоход приближался, весь белый, с голубым парашютом и голубыми же буквами на борту. Ласка оглядывала его, словно удостоверяясь, что это именно он, заходила по брюхо в воду и плыла.

Течением сносило её, собака старалась забирать немного левее и почти всегда не ошибалась в расчёте — на середине реки оказывалась как раз напротив тополя на том берегу. Начинала взлаивать, крутиться на одном месте, на ходу обсматривая бегущую, перехлёстывающую через спину воду.

Не найдя того, что искала, она уже безостановочно плыла по направлению к тополю. Выбиралась на сушу и, не отряхнувшись, укладывалась на траве, чтоб отдышаться и восстановить силы. Течение здесь сильное — чуть дальше опять поворот — вода, замедлившись, ускоряется вдруг и увлекает за собой с удвоенной силой. Одино раз переплыть!.. А Ласка переплывала тут каждый день. Весной, в половодье, здесь утонул её хозяин (волной от теплохода опрокинуло лодку), и вот она искала его, изо дня в день, не переставая.

По временам появлялись на берегу люди. Ласка поднимала от лап голову в надежде увидеть хозяина, но это опять был не он, и она снова закрывала глаза.

Разные перед ней тогда проходили картины.

Вот она маленькая ещё, подросток-щенок, тьякает, наскაკивая на хозяина, тот нарочно дразнит, травит её незло, отталкивая за мордочку, валил, опять отталкивает, и Ласка залиvisto лает на него, бежит за ним. И так-то им весело, хорошо вдвоём, что век бы играли так и играли. Но появилась на крыльце жена хозяина, что-то сказала ему, и игра сразу же прекратилась. Хозяин взял ведёрко с крупой и пошёл к курам.

Ах, эти куры! Они так похожи на больших лесных птиц, на которых лайки охотятся в лесу, что Ласка не удержалась однажды и схватила зубами одну. Что тут началось! Хозяйка даже замахнулась на Ласку, но хозяин отстранил руку, а вскоре у него появилось ружьё, и они с Лаской впервые пошли на охоту, в лес.

Ах, какая это радость — охота! Бегаешь целый день по лесу, принюхиваясь к запахам, прислушиваясь к звукам. А то вдруг встанешь, замрёшь и не шелохнёшься, чтоб не спугнуть добычу, и сердце обмирает в груди от радости и восхищения. И раздаётся из-за спины выстрел, и падает с ветвей большая красивая птица; хозяин поднимает её и весело и одобрительно треплет тебя по загривку, счастливый и улыбающийся.

И вдруг опять погрустнеет.

Ласка заглядывает ему в лицо, силясь понять причину, а он отворачивает от собаки взгляд, достаёт папиросу и долго курит.

Так повелось за хозяином с того времени, как хозяйки не стало в доме. Ласка запомнила ту машину, что подъехала прямо к дому, и вышедшего из неё мужчину, торопливо взявшего из рук хозяйки её вещи.

Хозяин сидел на крыльце и не смотрел на них, а когда машина уехала, он опустил голову и вдруг замотал ею и судорожно заплакал.

Ласка приблизилась к нему, чтобы как-то утешить, но он оттолкнул её и даже прикрикнул.

А потом в их доме поселился раздражающий ноздри запах. Он шёл из пустых бутылок, раскиданных по всему полу. Ласка старалась их обходить, но они были всюду, Ласка переступала через них, обнюхивала хозяина и опять укладывалась на пороге, дожидаясь, когда тот проснётся и они наконец-то снова пойдут в лес или на речку. Но хозяин просыпался, и всё повторялось сначала.

Так продолжалась до тех пор, пока на пороге не появилась хозяйка. Она долго что-то говорила хозяину, он слушал её и как будто не слышал: наливал и пил, наливал и пил.

— Себя не жаль, так пожалей хоть собаку, — сказала она, уже уходя, и хозяин смахнул со стола бутылку.

На следующий день они снова были в лесу, и Ласка не могла набегаться и нарадоваться раздолью и своему хозяину, но, заглянув ему в лицо, снова сразу же сникла.

Теперь бутылки в доме не валялись, но раздражающий ноздри запах сопровождал хозяина повсюду. В том числе и на речке, где они с Лаской тоже часто бывали.

Так было и на этот раз. Хозяин, отвязав от тополя и сложив перемёт, достал оттуда же, из вещмешка, фляжку.

— Я немного, чуть-чуть, — сказал он, скрутив крышку, посмотревшей на него осуждающе Ласке. Отхлебнул раз, другой, отщипнул от горбушки кусочек, остальное протянул на ладони собаке. — Ешь, ешь, я уже закусил, мне хватит.

Собака взяла осторожно зубами хлеб.

Из-за поворота раздался гудок теплохода, и следом показался он сам, весь белый, с голубым парашютом и голубыми же буквами на борту.

— Чего сигналишь? — сказал недовольно хозяин. — Плыви себе, я тебе не мешаю.

Снова приложился к фляжке, теперь основательно, сделав несколько громких, протяжных глотков.

— Вот теперь хорошо, вот теперь поплывём, — убрал фляжку и стал разворачивать лодку.

Меж тем теплоход приблизился. От него набегала, нарастая, волна. Ласка тревожно залаяла. Хозяин повернул голову, но не успел подгрести веслом: шлепок-удар опрокинул лодку.

Человек и собака оказались в воде.

Человеку было труднее — болотные сапоги тянули ко дну.

— Ласка! — окликнул хозяин. — Ласка, ко мне!

Ласка поплыла было к хозяину, но волной её отбросило в сторону.

Когда же Ласка снова наладилась плыть к хозяину, его на том месте и вообще нигде не было.

Ласка заметалась, залаяла, но хозяин не появился, не отозвался.

Течение потащило её, повлекло, Ласка сопротивлялась ему, высматривая хозяина, пока совсем не выбилась из сил, и только тогда повернула к берегу.

Не сходя с места, провела она день, ночь.

Утро заставило её вспомнить о еде. Ласка походила по берегу в поисках чего-либо съестного, но ничего не найдя, легла животом на камни и продолжала ждать.

На третьи сутки голод всё-таки заставил её покинуть реку.

Но вскоре она опять была здесь и снова ждала.

Хозяина всё не было и не было.

Снова начал курсировать теплоход. Увидев его впервые за столько дней (он шёл вверх по течению), Ласка глазам не поверила: он увёз — и он же привезёт её хозяина!

Но теплоход проследовал мимо, а хозяин так и не появился.

На возвратном пути теплохода Ласку вдруг осенило: он появится здесь, сейчас, как исчез тогда, на этом же месте. И она, дождавшись, когда теплоход поравняется с нею, зашла в воду и поплыла, не слишком приближаясь к корме.

А вот и то злополучное место! Ласка исплавала его вдоль и поперёк (теплоход давно уже скрылся за поворотом), а хозяин так и не обнаружился.

Тогда она решила поискать его возле тополя и выгребла на противоположный берег.

Хозяин не отыскался и там.

В изнеможении Ласка опустилась на траву и не вдруг отдышалась. «Он должен прийти, он всё равно придёт!» — не теряла Ласка надежды — и всё искала, и всё ждала.

На девятые сутки её кто-то окликнул. Ласка обернулась на зов: к ней шла, утирая слезы, жена хозяина. Ласка лизнула её в лицо. Та вытерла слезы и опустилась перед ней на колени.

— Ласка, хорошая моя! Ласка, хорошая моя!.. — всё повторяла и повторяла хозяйка, прижимаясь к ней телом.

Потом она позвала Ласку с собой, и Ласка пошла, подумав, что та приведёт её к хозяину.

Но в её доме хозяина не было, и Ласка хотела уйти, но тот мужчина, что приезжал на сильно дымившей машине, обманом посадил её на цепь. Ласка рвалась, ошейник врезался в горло и резал шею, но Ласка силилась вырваться снова и снова.

Тогда к собаке подошла хозяйка.

— Глупенькая! Куда ты рвёшься? — сказала она. — Он умер, и ты одна пропадёшь.

Собака залаяла, зарычала, и женщина отдернула руку.

— Ефим, отпусти, — велела она мужчине, но тот лишь огрызнулся:

— Ага! Чтоб она меня укусила?

— Трус! — сказала хозяйка и сама отстегнула цепь.

Ласка побежала домой. Ей почему-то подумалось, что хозяин там и ждёт её.

Но во дворе никого не было, а дверь была заперта и заколочена, как и окна, досками, крест-накрест.

Ласка заглянула в сарай, на огород — запаха хозяина нигде не было — и она потрусилась к реке.

Дни и ночи проводила она на берегу, отлучаясь лишь на поиски пищи, и, возвратившись, снова ждала и снова искала.

Так прошло лето.

Однажды осенью на берегу вновь появилась хозяйка. Она подошла к Ласке и позвала её с собой.

— Пойдём. Я ушла от него, — уговаривала она Ласку. — Будем вместе жить. Как жили...

Она не договорила, заплакала.

— Я открыла дом, — всхлипывала она. — Я одна не смогу...

Хозяйка ещё что-то говорила, но Ласка уже не слушала, насторожив уши, и не обманулась: раздался гудок теплохода, и из-за поворота выплыл он сам и вырулил на стремнину.

Ласка погрузилась медленно в воду и поплыла.

— Утонешь, глупенькая! — сказала ей, перестав плакать, хозяйка, но Ласка уже не слышала.

А ещё через несколько дней сюда же нагрянул хозяйкин муж. Ласка не видела его, запрятавшегося в бурьяне. И не узнала, что это он выстрелил в неё из ружья, когда она уже подплывала к берегу.

— Вот тебе, вот! — бесновался он на берегу, притоптывая ногами, словно хотел кого-то или что-то намертво втоптать в землю.

Ласка же по выстрелу сразу узнала ружьё своего хозяина, и ей на миг показалось, что она не на реке, а в лесу, и это хозяин выстрелил в птицу, упавшую замертво в воду, а ей сейчас плыть, доставать.

И она доставала, плыла...

Журавли

Зимой, под Рождество, умирала девочка. Она уже ни о чём не просила, а только спрашивала то мать, то отца, по очереди дежуривших у её постели: «Какие они, какие?» «У них длинные ноги, длинная шея...», — принималась описывать мать. Но дочь перебивала: «Это я знаю. Я хочу их представить. Какие они, какие?!» Мать стискивала руки, часто-часто моргала и,

не справившись с собой, бесшумно убежала из комнаты. Какое-то время девочка оставалась одна и снова силилась вспомнить тех птиц, что видела однажды в деревне у бабушки.

Бабушка всегда была занята, родители оставались всё лето в городе, и девочка развлекала себя сама. Чаще всего уходила в верхний конец деревни, к пруду, где в илистой, вязкой на ощупь воде купались гусята. Девочка подолгу смотрела на них, на гусыню, на гордого и драчливого гусака то одной, то другой стаи, всякий раз ожидая драки, когда тот или иной глава семейства начинал задиристо гоготать, вскидывать крылья, косясь глазом на чересчур близко подплывающее чужое семейство.

Так было и на этот раз. Толстошей буян, растопырив крылья, пошёл грудью вперёд, привставая на лапах, угрожающе загоготал. В ответ раздалось шипение и тотчас гогот, сбивающийся, но настырный, злой, и они, два бойца, два отца семейства, сошлись меж двумя белыми островками, покачивающимися на воде, и тут же взмутили воду и взволновали её толчками лап и ударами крыльев.

Тонкошей капитулировал. Вдгонку ему вытянулась шея и дёрнулся толстый оранжевый клюв. Гусь-победитель, победно гогоча, проводил отпльвшее к противоположному берегу семейство. Вернувшись к своим, издал ещё два-три торжествующих звука и стал плескаться на себя крыльями, по временам окуная свой крепкий клюв вместе с головой в прохладную, взбаламученную потасовкой воду.

— Какие нехорошие! — возмутилась обоими гусаками девочка. — Такие большие — и дерутся... — И, разобиженная на них, собралась было уходить с пруда, как вдруг услышала в вышине странные, никогда прежде не слышимые ею звуки.

Девочка подняла голову и увидела за прудом, над тамошним косогором, двух странных птиц. Очень похожие на виданных-перевиданных ею гусей, они вместе с тем были совершенно другие: на тонких, длинных ногах, грациозные и — одновременно — нескладные до несуразности. Тем не менее передвигались легко, как если бы не просто двигались, но танцевали, вышагивали. Впрочем, всё это девочка отметила и разглядела потом, когда, обежав пруд со стороны запруды, вскарабкалась на косогор. Последнее, что девочка успела увидеть, пока птицы не скрылись, это вытянутые книзу ноги-ходули и растопыренные, чересчур широкие, сильные крылья.

Теперь девочка выглядывала из-за косогора и во все глаза таращилась на птиц. Журавли — а это были они — не замечали её. Журавль похаживал вдоль ручейка, что-то выискивая у себя под ногами, по временам тыкался клювом куда-то в траву и, попробовав то ли на ощупь, то ли на вкус, запрокидывал голову, очевидно, глотая. Либо отодвигался в сторону от не отстававшей от него журки, и та не спеша, в несколько приёмов склёвывала находку.

Девочка с минуту заворожённо смотрела на птиц и, желая разглядеть их ещё лучше, двинулась к ним, стараясь не спугнуть. Но не успела сделать и шага, как журавли почти одновременно оторвались от земли и так же, плавно и медленно, улетели.

Девочка была не настолько мала, чтобы не подосадовать на себя за свою оплошность: «Потихонечку надо было, а я?!»

Какое-то время она ещё ждала, надеясь, что птицы вернуться, ведь она не сделала им ничего плохого, всего-то хотела разглядеть их поближе. «А они не поняли, испугались», — сказала вслух девочка, но сколько она ни

ждала, птицы всё не возвращались и не возвращались. «Они всё равно прилетят, раз прилетели», — рассудила она, решив прийти сюда позже, а пока — рассказать обо всём бабушке. Бабушка-то и объяснила, что это были журавли. А потом где-то за деревней раздались выстрелы, один и следом второй, из ружья. Это Яким Шальной, как заглазно звали его однодеревенцы, тоже видевший журавлей со двора, примыкающего к пруду, не захотел упустить такую удачу: с огорода скорее в избу, а оттуда с двустволкой в руке так же торопливо на звуки.

Отыскал курлычущих за леском, на моховом, старом, уже почти наглухо заросшем болоте, и пустил сходу дуплет: слишком сильно хотелось разжиться за чучела левым рублишком. Но обогатился лишь вполовину, сбив журку влёт: журавль избежал дробы и, описав над болотом круг, унёс своё тело на легких в полёте крыльях прочь от огненного стрельца, выпустившего новый заряд в опустевшее небо.

Всего один раз видел ещё его Яким Шальной: попрощаться ли насовсем с подбитой подругой прилетал журавлишко или надеялся увидеть её снова живой, только не подставился он под выстрел и в этот прилёт, и долго Яким Шальной жалил его вдогонку огнём нестерпимого взгляда, но глаза не ружьё, а проклятье не пуля. И больше никто журавля в округе не видел.

Не видела и она, девочка, каждый день приходившая на то место, где впервые увидела этих красивых, чем-то сказочных птиц. Бабушка несколько раз порывалась открыть дитятке правду, но убоилась за чуткое, ранимое сердце и незамутнённую душу. Слава богу, и никто другой не открыл малышке правду.

Даже и уезжая назад, в город, девочка упросила мать и отца сходить к пруду: не было у взрослых на то резона, но сходили, пошли. Девочка совсем разгрустнелась, но её утешили тем, что весной прилетят. Только ни весной (в майские праздники), ни летом, ни через год и два ни этот, ни другие журавли здесь так и не появились.

Мало-помалу девочка забыла о них. Но вот заболела — и вспомнила вдруг и захотела представить.

Отец, образованный человек, как и мать, и ещё немного мистик, почему-то сразу уверил себя, что если дочка вновь увидит своих журавлей или хотя бы вспомнит такими, как были, то непременно пойдёт на поправку. С того и ломал голову, как, впрочем, и мать, как и чем помочь маленькой. И наконец, как казалось, придумал.

Когда-то давно, когда ещё сам был ребёнок, он любил рисовать. Но единственное, что у него выходило более или менее похоже, была лошадь. С тех самых пор, когда к ним в класс на урок пришёл новый учитель рисования и первое, что сделал, — нарисовал мелом на доске живую лошадь. Конечно же, была она нарисованная, но скакала на этом рисунке точь-в-точь как живая. Это был импульсивный галоп, момент скачка, отталкивания, отрыва от земли. И всё передавало порыв, толчок: и мускулы ног, и сами копыта, и вскинута морда с взметнувшейся гривой, и даже расширенные ноздри и зрачки.

Художник — кто ещё передаст так живо движение! — попросил ребятшек нарисовать у себя в альбомах такого же или какого другого коня и в конце урока обошёл класс. Похвалив двоих или троих, ласково потрепал по головушке и теперешнего «художника»: которую уже ночь отец, оставаясь один в своей комнате, рисунок за рисунком рисовал их, журавлей.

Он не видел их воочию ни разу и всё никак не мог уловить в них главное — движение. И ещё он старался нарисовать именно тех журавлей, которых видела дочь. Но... была более терпелива и говорила, что на рисунке не так. Раз от разу картинка всё больше приближалась к оригиналу, но до полного сходства всё равно было ещё далеко, и девочка затихала на подушке.

В такие минуты допытывался уже сам отец: «Какие они, какие?!» Но девочка помнила слабо и либо молчала в ответ, либо говорила нечто противоречащее сказанному ранее, чем нечаянно опять вводила в сторону от оригинала. Но отец не сдавался, бился отец. Мать, впервые увидев рисунки, коротко хохотнула, но быстро опомнилась и лишь попеняла ему за наивность: «Всё равно не получится. Только сильнее растравишь душу». Но он продолжал рисовать, с той лишь разницей, что теперь не показывал жене нарисованное.

Наступил март, девочка молча лежала часами — то ли от полной потери сил, то ли от утраты надежды, и тогда отец схватился за другую соломинку. «Дочь, — сказал он ей, — скоро растает снег, и твои журавли прилетят, и ты их увидишь». «Не прилетят, папа, — как-то по-взрослому ответила девочка. — Могли бы — давно прилетели... Не прилетят».

Отец принялся убеждать, мать через слово поддакивала, но девочка всё равно не поверила, и не было средства переубедить.

«Зачем я не охотник! Зачем не лето сейчас!» — сорвался отец, уже готовый на всё — даже и застрелить журавля, лишь бы показать дочери хотя бы чучело. И вдруг его осенило. «Яким!.. Я знаю, что надо делать! Яким!» — вскричал он от радости в соседней от дочки комнате, благо больная спала, и даже схватил за плечи жену и затряс иступлённо.

— Ты поедешь в деревню?! — догадалась ошеломлённо жена. — Но ты не проедешь, там снег!..

— Проеду, — разом отмёл все сомненья отец и побежал заводить машину.

Бог миловал: «москвичок» в пути нигде не застрял, не заглох, и даже Яким Шальной оказался дома, не на охоте, и не страдал часто случающейся с ним болезнью. Более того, увидев бутылку белоголовой, предчувствуя неминуемый праздник, тотчас вспомнил тех журавлей и подтвердил, что изготовил журавлиное чучело. Но сразу же и разочаровал: ещё тогда сбыл он свой зверский трофей какому-то мужику за бутылку в сельмаге.

Отец помчался туда.

Поиски ничего не дали. И воротился он к дочке ни с чем.

Каким-то чудом дождалась девочка лета: рисунки ли помогли, обещание ли отца подействовало — только она уже сама поторапливала его: «Давай, папа, поедем. Почему не завтра?.. Когда?!» Отец же, сожалея, что пообещал ребенку больше, чем чудо, всё откладывал и откладывал отъезд.

Девочка вдруг всё поняла и перестала звать и просить. Мать заметила внезапную перемену, и отец в минуту собрался.

Чем ближе подъезжали они к деревне, тем угрюее становился отец и печальнее мать. Одна только девочка на коленях у матери оживлялась всё больше и снова и снова просила мать показать ей дорогу, чтобы она могла посмотреть, сколько ещё осталось.

У пруда машина остановилась.

— Мы приехали. Почему не идём? — спросила родителей девочка. Отец в ответ промолчал, мать тоже не проронила ни слова.

— Они не прилетели? Не прилетят?

В голосе было столько отчаянья, что отец не выдержал: вышел из машины, взял дочку на руки. Ноги не шли, но он заставил себя идти. Медленно, по шагу, по шагу шёл он к своей гибели. И вдруг в вышине раздалось курлыкание. Отдалённое, оно медленно приближалось.

— Журавли! — едва ли не вскрикнула мать. — Журавли, — повторила она уже шёпотом, всё ещё не доверяя слуху и боясь обознаться.

— Они прилетели, мама! — рассеяла сомнения дочь. — Папа, ты слышишь?

Но он тоже не верил, пока вдалеке не показался курлычущий журавлиный клин.

— Папа, их много, смотри...

У матери потекли по щекам слёзы. Она не утирала их. А в небе, уже отдаляясь, всё курлыкали и курлыкали журавли.

Коломенскому альманаху — 10 лет!

ОТ «МОСКВЫ» — КОЛОМНЕ

Коломна — необычный город с яркой и драматической историей. Не раз на его земле решалась судьба России. Отсюда Дмитрий Донской вёл объединённые русские войска на Куликовскую битву. Здесь собирали рати Иван Великий и его внук — Иван Грозный.

В коломенском кремле «царица Смуты» — Марина Мнишек — получила в вечное пользование Маринкину башню, овеянную легендами и сказаниями о жестокой русской Смуте XVII столетия.

Богатая и яркая коломенская культура воплотилась в храмах и монастырях древнего города, в мощи его крепости, в живописи и в печатном слове — вот уже девять веков Коломна живёт на страницах книг...

Величие духовного наследия ко многому обязывает нынешних коломенцев. И смело можно утверждать: не обеднела талантами древняя земля. Свидетельством тому — «Коломенский альманах», что в этом году выходит уже десятый, можно сказать — юбилейным выпуском.

На правах старшего собрата по литературному цеху (а «Москва» — в пять раз старше, в будущем году нам исполняется полвека) от всей души поздравляем редколлегию альманаха и его авторов, сумевших сплотиться и устоять в новой русской смуте. «Коломенский альманах» занял достойное место среди литературных изданий России, и мы вправе считать его одним из лучших — по исторической памяти, по художественному мастерству, по красочному, любовно выполненному оформлению.

Леонид Бородин,
главный редактор журнала «Москва»



КРАШЕНАЯ ПТИЦА

Когда молодой олень поднял глаза от травы и оглядел серую маленькую птицу, она почему-то взлетела со своей ветки, оборвав песенку. Птица поднялась над кустом, над поляной, попробовала сделать круг — получилось... Ещё выше — Камышовка огляделась, и картина невиданная представилась ей: в той стороне, где снижалось к горизонту розоватое солнце, простирался лес, куда хватало глаз. С другой, противоположной стороны, лес редел постепенно — и там лёгким извивом клубилась зелёно-серая низина, окружённая светло-зелёными волнами, которые вздымались наподобие облаков, только восходили они от земли к небу.

Свежей тёмно-зелёной росистой травой благоухает лес в начале лета. Эту красоту вдохновенно славит в своих песнях птичка Камышовка.

Но прекраснее всего — рыженький тонконогий Оленёнок с чёрными улыбчивыми глазами. Серая и невзрачная Камышовка все свои песни слагает для него. Ох и попадает же ей за это от многочисленных тётушек! Но это пустяки, главное — повзрослевшему Оленёнку стали не нужны её песни. Певчая птица — чужая и в своей серой стае, и в гордом оленьем племени...

Камышовка ещё очень мало прожила на свете, ей не позволяли далеко улетать от гнезда, и она не успела даже пойти в первый класс птичьей школы — потому она не знала, что там, на востоке, протекает узкая речка, поросшая по берегам старыми вербами, и когда они начинают одеваться листвою, то кажутся облаками, поднимающимися от земли к небу.

У птицы сначала захватило дыхание, а потом ей захотелось об этом спеть, поделиться с Оленёнком своим восторгом. Потому что Оленёнок был самым прекрасным из всего на свете, что видела Камышовка за всю свою жизнь. Рыженький, тонконогий, с чёрными улыбчивыми глазами, вспыхивающими озорными ласковыми искрами из-под длинных ресниц, и с такими весёлыми белыми пятнышками-пупырышками на спине. Пятнышками, которые на солнце белели ярко, будто цветы калины в густой тёмно-зелёной листве, а в тени светились таинственно, словно выгнутые ситечки соцветий бузины безоблачной лунной ночью.

Камышовка уселась снова на ветку, поближе к Оленёнку, пытавшемуся щипать траву, и в новой песенке рассказала о странной и чудесной картине, открывшейся ей с высоты.

Оленёнок оставил свою траву и заслушался песней.

— Как интересно! — сказал он. — О чём это ты поёшь?

— О том, что я увидела, когда кружилась над поляной, — сказала птица.

— Я тоже увижу всё это, когда научусь далеко и быстро бегать, — сказал Оленёнок. — Но пока что ты могла бы мне об этом петь. Тебе не тяжело будет петь мне о том, что ты видишь, когда кружишь над поляной?

— Мне это будет самое лучшее веселье — петь для тебя песни, — радостно отозвалась птица.

— Тогда прилетай сюда каждый вечер, а я буду каждый вечер учиться здесь щипать траву.

— Каждый вечер! — отозвалась птица. — Каждый вечер! — Эта простая фраза прозвучала, будто милая короткая песенка.

С этого дня над поляной не умолкали всё новые песни, а Оленёнок научился не только щипать траву, но и называть по именам многие деревья, и цветы, и злаки.

Мать прекрасного Оленёнка очень гордилась своим сыном.

А вот матушка и тётушка серенькой птички-Камышовки постоянно сердились и бранились.

— Что же это она такая у тебя непутёвая? — высказывала тётушка своё неодобрение. — Она будущая наседка, ей выкармливать птенцов. А она, кроме песен этих, знать ничего не хочет. Песни петь — дело кавалеров, а ей бы лучше ловить комаров, зацепить червяка послаще, приглядеться, какие прутики сподручней для гнезда.

— Да, — пристыженно соглашалась матушка-камышовка. — Что-то не задалась у меня в нынешнем лете дочка... Может, перекормили дождевыми червями? Дождливая нынче выдалась весна...

— Ах, сестра! К чему эти предрассудки, бабушкины сказки про червей! Чтобы найти оправдание своей ленивой дочке, да и себе заодно... Тебе с ней нужно быть построже! Наказывать надо за излишнюю певучесть!

— Ну ничего, вот начнётся школа, там учителя всему научат, — старалась успокоить себя матушка.

Скоро и правда открылась птичья школа, и Камышовка стала посещать уроки. Опустив крылышки и потупив клювик, она стойко выдерживала положенное количество часов в этой скучной школе, но как только уроки заканчивались, сразу же летела на поляну, чтобы сочинить новую песню для Оленёнка.

Только теперь в иные дни Оленёнок совсем не появлялся на поляне — ему тоже пришло время идти в первый класс высшей оленьей школы. В такие дни песни Камышовки прерывались долгими паузами, когда грустная птичка взлетала повыше — посмотреть, не покажется ли где-нибудь среди кустов золотистая, в белых пятнышках спинка бегущего к ней друга.

Как-то раз Оленёнка не было день, и два, и три.

И все три дня маленькая птица мужественно ждала его на поляне. Но на четвёртый, прилетев к своему кусту, обнаружила, что не в состоянии спеть даже очень короткой песни. Ночь напролёт в старом беличьем дупле она с нетерпением ожидала рассвета, а наутро сколь ни пыталась заставить себя лететь в птичью школу — крылья сами уносили её прочь. Она и не знала, куда несут её крылья. Далеко, на запад, где всё больше сгущался лес: потому что крылья лучше знали, где искать пропавшего Оленёнка.

Серая птичка летела долго, выбиваясь из сил. Её грудка отволгла, горлышко издавало тонкие хрипы вместо мелодий. И тогда открыла для себя Камышовка, что она — птица, потому что в птице голос и крылья имеют большую власть над трепещущим сердцем.

Вдруг птичка услышала приглушённые всхлипывания. Она запорхала на месте, вглядываясь в сумрак лесной глуши, и заметила слабое золотистое сияние среди ветвей. Птица кинулась вниз: её любимый прекрасный Оленёнок прятался среди зарослей можжевельника, склонившись на колени, чтобы лучше укрыться от глаз, и плакал.

— Что с тобой, прекрасный Оленёнок? — изумлённо воскликнула бедная Камышовка.

Оленёнок только прерывисто вздохнул и попробовал спрятать золотистую голову в можжевельных ветвях, но, уколоч чёрный влажный носик, отпрянул и с упрёком поглядел на Камышовку.

— Зачем ты врёшь мне, маленькая певунья? — проговорил он с упрёком. — Я вовсе не прекрасный Оленёнок... Я страшный, уродливый, никому не нужный и противный...

— Что это взбрело тебе в голову, милый Оленёнок? С чего тебе вдруг вздумалось себя ругать?

— Как! Ты продолжаешь называть меня прекрасным?! Ты издеваешься надо мной, насмешливая птица! Разве ты не видишь, что сделалось со мной?

— Что? — недоумённо всплеснула крыльями птица.

— Как — что? Посмотри получше. Видишь? Видишь?

— Нет, — пискнула Камышовка, пугаясь.

— Что — нет? Посмотри на мою шёрстку! Посмотри, какая она стала одноцветная, унылая... где мои белые пятнышки, которые делали меня прекрасным!

Камышовка оглядела Оленёнка.

— Видишь? — спросил он, выпячивая спину.

— Золотистая, мягкая, с искрами, какие бывают от солнца на росистом лугу, золотая шёрстка молодого оленя... — тихонько пропела Камышовка.

— Ах ты, маленькая несмышлёная птица! Чего стоят твои слова о моей красоте! Ты просто повторяешь свою одну и ту же песенку, к которой давно привыкла!

— Совсем нет, — горестно отозвалась Камышовка, — если бы ты вслушался внимательней, то услышал бы, что твоя шкурка напомнила мне сегодня отблески росы в лучах восходящего солнца... А прежде, в других моих песнях, я сравнивала её с кустами цветущей калины и бузины...

— Сейчас ты ещё сильнее издеваешься надо мной, злая птица, напоминая мне, что спина моя раньше походила на цветущие деревья...

— Кустарники, милый Оленёнок! — пискнула птица. — Ты забыл, что бузина и калина — кустарники. Но самое главное, мы уже проходили в птичьей школе, что после поры цветения приходит время приносить плоды... И тогда кустарники становятся снова прекрасными — нет, даже ещё краше, чем по весне... Для тебя наступает время другой красоты... И взрослым ты будешь прекрасней других оленей, вот увидишь!

— Опять твои сказки, птица! Никогда я уже не увижу других оленей, потому что я не посмею в таком облезлом виде показаться им на глаза... Они засмеют и задразнят меня.

— Наоборот, прекрасный Оленёнок, тебе нужно как можно быстрее возвращаться домой, потому что о тебе беспокоятся и скучают! Тебя очень ждут!

— Нет, нет, ни за что! Ты ничего не понимаешь в оленьей жизни!

— А разве жизнь, — попыталась заглянуть в глаза Оленёнку бедная Камышовка, — не одна для всего леса?

— Ах, оставь меня, мне сейчас не до твоих заумных разговоров!.. — топнул изящной ножкой Оленёнок и хотел снова заплакать — но это у него не получилось, потому что песенка о молодом прекрасном олене что-то растопила в его сердце, и от теплоты, проникшей в сердце, все его слёзы мгновенно улетучились.

Всё-таки Оленёнок не мог так сразу согласиться с птицей; на всякий случай он спрятал голову между ветвей и замолчал.

Птица, подождав немного, проговорила:

— Хорошо, Оленёнок, побудь один немного, если тебе трудно сразу привыкнуть к твоей новой красоте. Только не уходи ещё дальше в чащу. А завтра я снова прилечу и спою тебе новую песню.

И серая птица Камышовка пустилась в обратный путь. Обратный путь показался ей гораздо короче, потому что сердце её успокоилось — она знала теперь, что самый прекрасный в мире Оленёнок жив, не изранен когтями или клыками хищников, не пропал навсегда из родного леса, — а уж в том, что он скоро вернётся, птица почему-то не сомневалась.

Правда, дома птичку ждала настоящая расправа: все — тётушки, ма-тушка, учителя — все пытались посильнее выругать и побольнее отхлестать бедную Камышовку. Да и как было им оставить такое безнаказанным — непутёвая совсем отбилась от крыльев! Подумать только — исчезнуть без предупреждения, пропустить занятия в птичьей школе!

Птица терпела всё это молча. Когда её ударили слишком уж больно, ёжилась и сжималась. Но когда просто ругали, она почти ничего не слышала, потому что в сердце её уже начинала складываться новая песня о прекрасном молодом олене.

Несколько раз пришлось летать Камышовке через берёзовый лес в глухую еловую чащу, утешать новыми песнями своего друга. Оленёнок слушал её всё спокойнее, не ругался и почти совсем не плакал. И однажды Камышовка не нашла его среди можжевеловых зарослей. Птичье сердце возликовало, а крылья подняли её очень-очень высоко в небо, потому что Камышовка поняла: Оленёнок поверил её песням и вернулся домой.

Вечером птица с нетерпением ждала его на поляне. Но пропали бабочки, опустили головы дневные яркие цветы, склонилось к горизонту и вовсе спряталось оранжевое солнце, наконец, первая звезда загорелась в небе, а Оленёнка всё не было и не было. Она уже по пятому кругу перепела все заготовленные ко дню встречи песни и сочинила две новые, но Оленёнок не появлялся на поляне. И когда звёзд сделалось на небе так много, что они показались птице злыми колючками, вонзающимися прямо в её глаза, — тогда бедная Камышовка поняла, что ждать больше нечего: что Оленёнок не пришёл и не придёт.

«Всё. Всё. Всё», — тяжело стукнуло и упало птичье сердце.

Она умолкла. Из последних сил её бедные крылья подняли в воздух такое тяжёлое тело и такое грузное немое сердце.

Камышовка медленно, задевая ветки кустов и деревьев, полетела домой.

— Вот она! Вот она! — набросились тётушки, едва птичка приблизилась к родной ольхе. — Ну и где ты охотилась? Ты, наверное, несёшь до-мой очень сладкую полосато-зелёную гусеницу?

Птица только покачала головой, не в силах ничего сказать.

— Что вы, что вы, — затараторила самая младшая, остроносенькая и шустрая сестрица матушки-камышовки, — она не то что домой принести хотя бы крошку — она и сама-то вся захляла, ни клювом не ворочает, ни крылом не машет! Что за яйцо может снести такая немочь!

— Я ела... — выдохнула птичка.

— Что, что, что ты ела, негодница? — подступили снова все сразу.

— Пять или десять комаров, — пискнула Камышовка, — и штук двенадцать полосатых мушек...

— О лесной повелитель! О лесной повелитель! — затараторили тётушки. — Это всё, что она научилась добывать в своём возрасте. Она ела! Она клевала! Сколько пядениц ты поймала, ледащая птица? Сколько рогатых и жирных, сладких и сочных гусениц лугового махаона?

— Жирных? Но зачем мне эти жирные гусеницы, когда комары...

— Комары? Комары! Разве это пища для будущей наседки?..

И они стали громко обсуждать друг с другом, как наставить неудалую певунью на истинный путь. А птичка незаметно соскользнула в забытое дупло, откуда белки ушли ещё прошлой зимой, и в тоске закрыла голову крыльями. Ей казалось теперь, что Оленёнок не придёт больше никогда на поляну, и некому ей будет петь свои новые песни.

Так оно и случилось.

И когда ни на другой, ни на третий день Камышовка не дождалась Оленёнка, она полетела к ручью, где олени собирались на водопой.

Новое, невиданное зрелище ошеломило бедную птицу, когда она при-близилась к ручью.

Молодые олени толпились на открытом пространстве, наклонив голо-вы, целясь миниатюрными бархатистыми рожками, глядя сверкающими чёрными глазами прямо в другие такие же глаза, готовясь упереться изо всех сил прямо в другие такие же рожки напротив — и это была всего лишь игра в сражение, ещё не настоящий поединок. А чуть поодаль моло-дые тонконогие козочки с чёрными мягкими носиками, с искристыми раскосыми глазами подпрыгивали и делали вид, что готовы умчаться в поле, но сами лишь скакали на месте, бросая украдкой смешливые взгля-ды на игрушечное побоище.

И прекраснее и смелее всех был стройный молодой олень с нежными извивами каштановой шёрстки на спине — Камышовка сразу узнала его, но сколько ни кружила над поляной, Оленёнок её не замечал.

Серая птица улетела в лес, а потом вернулась — и теперь олени смея-лись и скакали вдогонку друг за другом.

Птица пряталась и возвращалась вновь и вновь, пока не увидела, что Оленёнок остался наконец один и тихонько щиплет траву.

— Ты самый прекрасный из всех, ты самый храбрый — я видела, как вы играли днём, и сочинила об этом песню, — радостно защebetала она.

Оленёнок поднял на неё туманные, какие-то далёкие глаза.

— Зачем мне слушать твою песню об этом? — промолвил он истом-лённым голосом. — Самая красивая и резвая юная козочка сегодня при-знала меня лучшим...

— Хорошо, я могу спеть тебе о чём-нибудь другом — пока тебя не было, у меня появилось много новых песен.

— Только не сегодня, — Оленёнок деловито пожёвывал травку. — Мне надо набраться сил. Знала бы ты, как я устал...

— Хорошо, завтра я буду вечером петь на поляне, как всегда...

— Завтра мне не до песен. Юная козочка согласилась бежать со мной к горячему роднику, а это не близкий путь.

— Когда же я смогу петь для тебя снова? — задрожал голос Камышовки.

— Не знаю... Когда-нибудь. Может быть... — рассеянно сказал Оленёнок, взглядываясь в заросли на краю леса. Ветки кустов зашуршали, и рыжая мордочка на секунду выглянула, тут же спрятавшись опять.

— Кажется, меня ждут, — радостно вскрикнул Оленёнок, мгновенно обретая прыть — и тотчас перед глазами Камышовки вертляво замелькал удаляющийся хвостик.

— Оленёнок... — выдохнула Камышовка и больше ничего не могла сказать.

Никогда ещё сердце её не было таким пустым, а крылья такими своеобразными: они сами несли её вслед убегающему другу.

Но ни в этот вечер, ни в другие вечера Оленёнок не соглашался более слушать на поляне нежные причудливые песни — он слушал непрерывный смех и болтовню, споры и стук молодых копытцев.

Как-то раз птица летела за ним очень долго, напевая без слов мелодию, похожую на грустные взмахи крыльев, а Оленёнок молчал и, может быть, даже слушал. Юная козочка скакала впереди, то и дело оглядываясь. Вдруг она вскинула точёную рыжую головку и сказала капризно:

— Беги быстрее! Мне надоела эта птица!

Оленёнок остановился. Камышовка смолкла.

— Слушай, — сказал Оленёнок. — У тебя что, нет своих забот? Нет родных и друзей?

— Ты — мой главный, единственный друг, — со страхом ответила птица.

— Друзей надо искать по себе, в своём роде и племени, — отчеканил в ответ чужой, резкий голос, — мама так говорит. И моя подруга. И я с ними согласен.

И он бросился догонять юную козочку.

— Но мы дружили с тобой, пока ты ещё не знал, как зовётся мой род или твоё племя... — проговорила птица, но слова её услышала только примятая копытцами трава.

Не помня себя, возвратилась в этот вечер Камышовка к себе на поляну, а наутро не осилила последнего экзамена в птичьей школе.

Впрочем, на Камышовку к тому времени все уже махнули крылом.

— Считаю, что ты её похоронила, — вынесли решение тётушки. — Забудь о ней и попробуй, пока в лесу ещё не перевелись гусеницы, снести хотя бы одно яйцо. Может быть, к осени у тебя подрастёт нормальная дочка.

Матушка-камышовка погоревала-погоревала, да и принялась собирать силы для нового яйца.

А серая птичка по-прежнему сочиняла песни. Они делались всё изысканней, всё мелодичней. И каждое утро крылья сами несли её к прекрасному Оленёнку. На лету пыталась пропеть она ему хотя бы один куплет, но Оленёнок лишь небрежно встряхивал рожками, и всё оленьё стадо принималось топотать и смеяться ей вслед.

Как-то раз, будучи с утра не в духе, Оленёнок изо всех сил ударил копытом по земле, взрывая почву, чтобы пыль и сухие травинки поднялись в воздух и запорошили глаза и крылья бедной птице.

Ничего не видя перед собой от обиды и пыли в глазах, она кинулась прочь.

Заливаясь слезами, Камышовка перелетала с ветки на ветку, но ей было трудно найти себе спокойное убежище среди листвы, и солнце хоть клонилось к вечеру, но выхватывало отовсюду её слишком тёмную, клочковатую, измокшую грудь.

Примостившись на одной из довольно высоких лиственничных крон, птица замерла в изнеможении.

А потом на неё повеяло небывалой прохладой. Но Камышовка не подняла глаз навстречу ветру. Дуновение повторилось снова — протяжённое дуновение, и незнакомый голос прокричал: «Добрый вечер!»

Птица вздрогнула от внезапности и силы этого крика и быстро посмотрела вверх — напротив неё, охватив розоватыми лапками мягкую, чуть шелушащуюся ветвь, сидела громадная серебристо-серая — вся, будто река и небо вместе и друг в друге — безупречно-серебристая птица с золотым клювом.

— Добрый вечер! — повторил довольно резкий высокий голос, и птица-Камышовка сказала:

— И-и-и! — потому что она снова заплакала: так прекрасно было явление, представшее её глазам, такую оригинальную, неслышанную прежде песню можно было сочинить об этом — но кто станет её слушать? Оленёнок не хочет больше слушать её песен, даже не зная, какие они новые и неслыханные...

— И-и-и! — пропищала Камышовка, а огромная серебристая птица подняла крыло и помахала им над головой Камышовки, пытаясь высушить её мокрые пёрышки. По самому краю крыло это оторочено было чёрной бахромой, и потому само оно и всё оперение незнакомой птицы выглядели ещё ослепительней.

— Тебе холодно... — проговорила птица. — Я тебя немного подсушу...

И она взмахивала и взмахивала похожими на облака огромными крыльями, пока Камышовка немного не обсохла и к ней не вернулась способность говорить.

— Кто ты? Я никогда еще не видела таких птиц, — слабым, но чистеньким голоском спросила она.

— Милый, милый голосок, — покивала клювом большая птица. — И не увидела бы, если бы не твоё «и-и-и» — я никогда здесь, в этом пыльном сухом лесу, не останавливаюсь на пути от утёсов к озеру и обратно. Но какое-то нескончаемое «и-и-и» меня заинтересовало...

— Значит, ты?.. Значит, ты — с моря?..

— Да, наше государство крутыми уступами скал спускается к самому морю. Над всем скалистым побережьем властвует наша королева. А ты — откуда ты знаешь о море?

— Не знаю, откуда я знаю... — потупилась бедная Камышовка.

— Кто бы мог предположить, что в такой захудалой голове... Хотя ты была такая мокрая, что можно было подумать, будто тебя окатил прибой... Ну-ну, не затягивай опять свое «иканье» — я просто хочу тебя растормошить. Кто тебя намочил? Дождём что-то в воздухе не пахнет.

— Никто... я сама...

— Это как?

— Слезами...

— Почему?

— Потому что я — певчая.

— В лесах это обычное дело.

— Но я не должна быть певчей. Говорят, я должна быть наседкой. А я пою... А меня не слушают.

— Спой, — потребовала большая птица.

Камышовка попробовала какую-то старую песенку, но голос её сорвался от горестного воспоминания, и она сочинила на ходу — про живое облако, которое умеет ненадолго осушить слёзы, хотя дело многих иных облаков — проливать свои слёзы на землю...

— Да-а-а, — подняла и опустила крылья большая птица. — Да-а-а, кто бы мог подумать, что в такой захудалой голове... Повтори опять, душевная песня.

И Камышовка снова запела, хотя её крылья начали беспокойно вздыматься, порываясь унести птицу на поиски прекрасного Оленёнка.

— Как хорошо, — покивала снова золотым клювом серебряная Чайка. — Теперь я хочу знать, о чём это ты проливаешь столько слёз — может быть, ты заслуживаешь лучшей судьбы? Может быть, я чем-нибудь могу тебе помочь?

Никогда в жизни серая птица не слышала таких сочувственных слов. Сердце её забилось слабой надеждой, и она не таясь рассказала серебряной Чайке всю свою историю с песнями и Оленёнком.

— Ты хорошо поёшь, тебя приятно слушать. Ты можешь петь и петь всю жизнь, и жить себе и жить, — задумчиво проговорила Чайка, выслушав рассказ.

— Я бы так и жила, если бы могла петь хоть изредка для моего Оленёнка.

— А ты попробуй какое-то время петь для кого-нибудь другого, хоть для себя самой... пусть он соскучится по твоим песням.

— Не могу.

— Ну хоть несколько денёчков.

— Не могу... И двух дней...

— Но почему? Почему? Если от этого его сердце смягчится?

— Потому что... крылья сами несут меня к моему Оленёнку... каждый день! Чтобы это побороть, надо обрезать мне крылья. А тогда я перестану быть птицей. Меня и сейчас называют каким-то там «чудом в перьях». Конечно, у меня есть перья... но есть и крылья. А пока есть крылья, я всё-таки — птица.

— А если тебе петь издали? Может быть, он и будет слушать? — воскликнула Чайка.

— Ах, — безнадежно вздохнула серая птица, — голос мой негромкий, в нём нет силы, чтобы лететь далеко — может быть, оттого, что я не должна быть певчей?

— Пожалуй, это так, — согласилась Чайка, — издали можно услышать только, как ты плачешь. Бедная, бедная певунья! — И широкое серебристое крыло снова осенило грустную Камышовку. — Успокойся, послушай, я кое-что придумала, — тебе необходимо петь кому-то другому.

— Тогда я скоро перестану петь. А потом летать... А потом...

— Подожди, дослушай. Ты будешь петь своему Оленёнку, но не так часто, не каждый день. Каждый день ты будешь петь для нашей королевы.

— Я? Разве ваша королева живёт не на острове?

— На острове.

— Но мне туда и не долететь...

— Я помогу тебе. Смотри, насколько ты меньше меня. Когда крылья твои ослабеют над морем, ты уцепишься за мои лапки, и я буду нести тебя, пока ты не отдохнёшь.

— Но я не смогу сочинять песни, если ты унесёшь меня на остров и я не буду видеть моего прекрасного Оленёнка.

— Ты будешь видеть своего Оленёнка. Почему, ты думаешь, мы беседуем в этом лесу? Потому что мне приходится время от времени летать к Чёрному озеру. Я могу захватывать тебя, оставлять здесь, пока побываю на озере, а потом забирать обратно. Тогда ты станешь здесь редкой и желанной гостьей, сочинишь много новых песен о море, а у нас сослужишь службу нашей королеве.

— Как здорово ты придумала, — задохнулась от радости бедная Камышовка, — какая ты добрая и умная!

Серебристая птица нетерпеливо огляделась по сторонам:

— Что-то я с тобой заговорила... Ты здесь всё обдумай хорошенько. Я доложу о тебе королеве. А через неделю жди меня снова на этом дереве.

— Если ты считаешь, что это вернёт мне дружбу с моим Оленёнком, мне не о чем думать. Я всё сделаю ради моего Оленёнка... Только — чем я могу пригодиться вашей королеве? Такая чужая, серая... ни на что не годная...

— Это здесь ты ни на что не годная. А в нашем королевстве для тебя найдётся служба.

— Но какая? Пожалуйста, потрать ещё немного времени, расскажи мне.

— Только не сегодня. У меня ещё десяток неотложных дел. Не грусти!

Ещё мгновение — и серебристое мягкое облако закрыло верхушки деревьев в глазах онемевшей от удивления Камышовки.

Всю неделю пыталась бедная Камышовка быть гордой, потому что теперь у неё появился друг, пожелавший помочь, такой мудрый и сильный. Она дополнила новую песню о живом крылатом облаке, и песня получилась такая необычная, что однажды Оленёнок даже ненадолго остановился послушать. Но тут же, будто ветер в степи, рядом взвилась и шёлкнула копытцем о копытце красавица юная козочка.

— Опять ты вспомнил свои детские глупости! — капризно протарабанила она, уносясь прочь, — и Оленёнок тотчас ринулся за ней, не бросив и взгляда на бедную Камышовку.

После этого случая Камышовка уже с трудом верила в Чайку и в далёкий остров. Но всё-таки решила лететь к условленному дереву, хотя бы затем, чтобы не обидеть невниманием такую благородную и красивую птицу.

Чайка появилась так же внезапно, так же чудесно обдав прохладой влажные щёчки и грудь.

— Опять мокрая? Тебе не надоело плакать?

Камышовка не знала, что сказать, и только наклонила голову в знак почтения.

Большая Чайка опустилась на дерево и пристроила в развилке ветвей какой-то бочонок с ручкой, широкой дугой поднимавшейся вверх.

— Что это у тебя? — уставилась удивлённо Камышовка на диковинный предмет.

— Всё расскажу, слушай по порядку, — ответила Чайка, устраиваясь поудобнее. — Жизнь твоя налаживается. Можешь гордиться, маленькая певунья. Хотя ты ещё и не причислена к свите нашей королевы. Но осталось лишь немножко потрудиться. Это суший пустяк. Главное, наша королева пожелала взять тебя к себе на службу.

— Но какую, мой бесценный друг? — почти испуганно спросила бедная Камышовка.

— Главная служба будет — нести караул на утёсах, когда приходит время кладки яиц. Это редкая, хотя и не тяжёлая служба. Я не знаю больше королевства, где был бы принят такой закон о карауле. Но нашу королеву постигло большое горе с её первым в жизни яйцом, и с тех пор она издала такой указ — в этот сезон одна из чаек должна непременно летать на часах, чтобы какое-нибудь яйцо случайно не сорвалось и не упало в море.

— А это часто бывает?

— Не часто. Но с нашей королевой случилось. Она потеряла так своё первое яйцо. И с тех пор ей всё грезится её единственный птенец, и она сделалась так безутешна, что не принесла больше ни одного яйца, а только всё корит себя за свою оплошность.

— Да, это большое, очень большое горе, — тяжело вздохнула Камышовка.

— Уж верно, ты знаешь толк в горестях жизни, — согласно закивала Чайка. — Все прочие говорили нашей королеве всегда одно и то же: «Подумаешь, ничего страшного, снесёшь ещё одно, и не одно яйцо». Только ты, даже не видя, как скорбит наша королева, сразу признала, что у неё большое горе.

— Потому что бывает такое одно-единственное, на всю жизнь, и если это одно исчезнет, всё другое исчезнет тоже...

— Твои речи напоминают слова нашей королевы, потому я и надеюсь, что ты придёшься ей по сердцу и сумеешь хорошо послужить.

— Но разве другие чайки не станут меня ревновать? Разве это так трудно — нести караул на утёсах, что они захотят принять к себе иностранку?

— Никто не считает этот закон особенно важным. А в то же время это закон, и ослушаться нельзя. Но отрываться в такое бурное время от поисков пропитания — не носиться над волной, не выхватывать рыбёшку из воды... Никто не хочет так проводить время, особенно в брачную пору, все устанавливают очередь, ссорятся друг с другом. А тебе!.. Тебе много еды не надо, с избытком хватит того, что останется на скалах, — птенцов тебе не кормить. Порхай туда-сюда, поглядывай в расщелины камней да сочиняй свои песни. Все будут только довольны, и ты не в обиде.

— Да, верно, — подтвердила Камышовка. — Я не в обиде. Но... Что я буду делать, когда из яиц вылупятся птенцы? На этом служба моя закончится?

— Вовсе нет. Когда вылупятся птенцы, королева наша будет очень грустить о том, что её птенец — где-то в море... Ты начнёшь петь свои песни, и она станет печалиться уже твоей печалью, а не думать о своём мёртвом птенце... И может быть, если она год или два не будет представлять своего невылупившегося птенца в холодных морских волнах, то в ней затеплится жизнь, и когда-нибудь у нас в королевстве появится прямой наследник...

— Какая ты всё-таки мудрая! Ты придумала, как помочь и мне, и вашей королеве, и даже наследнику...

— Только, — остановила её Чайка взмахом крыла, — наша королева поставила одно условие...

— Условие? — сердце Камышовки оборвалось.

— Оно не трудное. Видишь ли, в нашем королевстве все птицы серебристо-серого цвета, как утёсы на солнце, как морская пена в кипени волны...

— А я — какая-то тёмно-серо-полосатая...

— Это поправимо! Я принесла тебе бочонок очень стойкой серебряной краски, которую можно добыть только в безднах ониковых пещер. Это ценнейшая краска в мире. Ты будешь краситься время от времени, даже не слишком часто, потому что когда эта краска высыхает, ей не страшны десятки ливней и миллионы и миллиарды брызг прибоя. Тебе нужно только выкрасить пёрышки, и ты получишь такую же форму, как у любой птицы королевской свиты.

— А без формы?

— А без формы ты не можешь быть причислена к свите. Но это ведь просто пустяк — ради полной перемены судьбы!

— Ради полной перемены судьбы... — согласилась бедная Камышовка.

— Ну, желаю успеха, — бодро прокричала Чайка, уже поднявшись в воздух. — У меня так много дел, что я не могу сегодня слушать твои песни. Через неделю прилечу за тобой.

— А спину? — что есть мочи запищала вслед Камышовка. — Как я дотянусь, чтобы покрасить свою спину? А хвост? Дорогая, милая Чайка, научи меня, как мне выкрасить хвост!

— Спину? Хвост? — Чайка сделала небольшой круг над деревом. — Хвост! Спину! — ещё один круг пониже. — Я что-то и не подумала... Спину и хвост...

Чайка опять сидела на ветке и внимательным янтарным глазом глядела на разволнованную Камышовку.

— Придётся мне минут на десять задержаться... Скорее носи мне что-нибудь из травы попушистей. Поторопись! Маши крыльями поэнергичнее!

Серая птичка кинулась вниз, с трудом отыскала между стволов светложёлтые кустики бессмертника, подставила величественной Чайке спину и хвост и застыла.

«Где ты, мой прекрасный Оленёнок?..» — беззвучно позвала она.

— Всё! Дальше — сама! — вернул её к действительности резкий голос. — Спина и хвост получились замечательно. Через неделю ты будешь такая вся, и я заберу тебя отсюда.

— Спасибо, спасибо тебе, великая, добрая Чайка! — Камышовка вдруг почувствовала себя очень виноватой. — Ты так помогла мне с этим хвостом и спиной...

Но Чайка ничего не ответила, потому что она была уже далеко.

С этого вечера бедная Камышовка постепенно начала красить себя в серебристо-серый цвет. У неё не получалось это так легко и быстро, как у большой сильной птицы, потому что клювик её был слабый, а крыло не имело широкого размаха. Всё-таки дело потихоньку двигалось. Но оставались такие участки на её оперении, которые птица не могла выкрасить ровно, однотонно и безупречно — это были её щёки, грудь и кончики крыльев. О кончиках крыльев Камышовка не очень беспокоилась — ведь даже у великой Чайки оставалась на них тонкая чёрная бахрома — но щёки и грудь! Сколько птица ни старалась, ровного серебристого цвета она не могла добиться. Весь секрет заключался в том, что краску смывали её слёзы. Каждое утро крылья сами несли бедную Камышовку на поиски прекрасного Оленёнка.

Крылья были сильнее её сердца, сильнее надежды на Чайку, сильнее стыда перед благородной морской птицей. Может быть, крыльями

управлял её голос — голос же был подвластен лишь любви к её прекрасному Оленёнку... Весёлому Оленёнку, который раньше так любил её песни, а теперь под насмешки сородичей стремительно уносился прочь...

— О, лесной повелитель! Поглядите, какая она стала пегая! Поглядите, белая спина, а вся грудь и щёки в разводах! Эта дурочка нахорашивается, чтобы понравиться!.. Совсем стала сумасшедшая! Говорили мы, что это пение не доведёт её до добра...

Всё в таком роде кричали собравшиеся на поляне и на деревьях — и олени, и птицы.

Кричали настолько громко, что даже коротенькой мелодии не доносилось из-за издёвок и ругательств до слуха прекрасного Оленёнка...

О, если, если бы Оленёнок дослушал до конца хотя бы одну её новую песню! Только одну-единственную! В этот вечер Камышовка не плакала бы, и краска подсохла бы около её глаз и клюва, и её грудь сделалась бы такой же ровной светло-серебристой, как спина и крылья. Но теперь Оленёнку вовсе невозможным казалось остановиться и прислушаться хотя бы на минуту — ведь Камышовка сделалась посмешищем в глазах всего лесного сообщества. И Оленёнок стеснялся своего бывшего знакомства и даже дружбы с ней. И чтобы показать всем, что никакой непутёвой Камышовки он и знать не знает, ещё более нетерпеливо ударял копытцем о землю, стоило лишь бедной птичке попытаться хоть что-нибудь пропеть ему на лету.

Так прошла неделя. Серая птица на рассвете красилась, но когда всходило солнце, слёзы оставляли тёмные бороздки на её щеках и груди.

И такой крашеной — не докрашенной увидела её в назначенный час на условленном дереве великая Чайка.

Камышовка поджидала её, простившись мысленно с Оленёнком на долгое время, потому что приготовилась в этот день лететь на острова.

— Что такое, — недоумённо уставилась на неё Чайка. — На самых видных местах — такой брак?

— Не получается ровно... — начала оправдываться Камышовка.

— Здесь ведь делать нечего — покрасить ровно самые доступные участки, и ты говоришь — не получается?

— Она смывается...

— Как — смывается?

— Слезами...

— Какой вздор! Не бывает столько слёз! Возьми себя в крылья! — резко выкрикнула Чайка, поднимаясь в воздух.

— Подожди! — вспорхнула за ней Камышовка, — А я?

— Сначала хорошенько выкраси пёрышки. Через неделю я прилечу.

И Чайка исчезла, даже не помахав на прощанье крылом.

Оставшись одна, бедная Камышовка снова принялась закрашивать перья со всем старанием.

Так провела она ещё неделю. И в бочонке заметно поубавилось краски. И когда в назначенный день Чайка снова увидела Камышовку с теми же серыми разводами, то задумчиво уселась на высокой ветке, куда более высокой и далёкой, чем прежде.

— Что-то я тут вся пропылилась, каждую неделю останавливаясь в этом лесу, — проговорила она, глядя в небо.

— Ты больше не хочешь прилетать?

— Это пустая трата времени.

— Но ведь только маленькие бороздки никак не удаётся высушить, потому что крылья сами несут меня к моему прекрасному Оленёнку, потому что, не видя его, я не могу сочинить ни одной песни...

— Ты уже сочинила на год вперёд! А вот форма твоя никуда не годится — грязные побежалости на самых видных местах.

— Может быть, милая, добрая Чайка! Может быть, можно докрасить их — там?..

— Видишь ли, моя странная певунья, это не внушает доверия... Я могу рекомендовать на службу к нашей королеве только надёжную птицу... Если ты неспособна за несколько недель выкрасить себе щёки, можно ли будет положиться на тебя в делах?.. У меня возникли сомнения... А уж если у меня возникли сомнения... как я рекомендую тебя нашей королеве?.. — И Чайка расправила крылья, готовясь подняться в небо.

— Что же мне делать? — отчаянно вскрикнула Камышовка. — Ты тоже от меня отказываешься?

— Не совсем... Но тебе нужно доказать свою надёжность. У тебя есть ещё немного краски. Пробуй, старайся, возьми себя в крылья! Недели через две или три я загляну сюда.

«Возьми себя в крылья!». Знала бы эта великая, сильная птица, что именно крылья и есть всему причиной!

Чайка улетела, не оглядываясь. А Камышовка сорвала колосок и заглянула в заветный бочонок. Но стебель на этот раз оказался короток — краска в сосуде постепенно убывала. И Камышовка снова спустилась вниз, разыскивать высокорослую траву. «Успею ли?» — впервые со страхом подумала она.

И на другое утро решила прямо попросить Оленёнка послушать её совершенно непохожую ни на какие иные песню о том, как она улетит скоро за море, на далёкий остров. Ведь когда он узнает это из песни, то не будет так смеяться над её странным нарядом, и она сможет хотя бы один день не плакать, и краска наконец-то высохнет.

Увы! Оленёнок, лишь завидев издали пегую птицу, поскорее смешался с толпой молодых и старых оленей.

И Камышовка, виляя в воздухе из стороны в сторону, полетела прочь.

* * *

Среди сочной зелёной листвы грустным теплом зажелтели одиночные осенние листья.

И всё реже раздавался над лесом шелест громадных крыльев совершающей свой деловой перелёт серебряной Чайки.

Серая птица спускалась теперь от развилки ветвей за кисточкой из подсохшей травы лишь однажды в день — по утрам.

Краски оставалось совсем немного — только если хорошо наклонить бочонок, длинной травинкой можно было дотянуться до серебряной лужицы на дне... И Камышовка продолжала подкрашивать свои пёрышки.

Чайка, совершая иногда круг над высокой лиственницей, не теряла больше времени на разговоры, а только укоризненно взмахивала крыльями, разглядев полосатую грудь и щёки Камышовки.

Молодой олень волновался от новых осенних запахов и ни на минуту не останавливался, чтобы послушать хотя бы конец сочинённой для него песни.

Стая набравшихся за лето сил камышовок готовилась к перелёту в тёплые края.

Лишь одна серая птица сочиняла по-прежнему свои песни, правда, теперь это были безнадежно похожие друг на друга песни стесненной нежности и тоски. Она пела их даже в туманных сумерках, научившись пению без солнца, без звезд, без луны — и продолжала ждать Оленёнка по вечерам. И когда Оленёнок всё же не появлялся, то как ни пробовала скрепить своё сердце, заливалась слезами. Утром снова приходилось закрашивать серые борозды... Может быть, большая Чайка прилетит наконец-то удачно и найдёт её серебристой и подходящей для королевской службы... Красилась. Только сорванный колосок в её клюве становился всё более длинным и сильнее мешал ей при взлёте, и труднее давалось маленьким крыльям поднимать его ввысь.

Крылья её слабели. Горячее сердце уже не билось, а дрожало в груди.

В то время как стая кормилась в щедром осеннем лесу и отдыхала перед предстоящим долгим перелётом, об отбившейся птице давно никто не вспоминал.

Серая Камышовка не знала, позовут ли её в путь древним птичьим призывом неведомые южные земли.

Или никакой голос уже не сможет пробиться сквозь жалобный плач сердца о забывчивом далёком друге.

Ну а если бы даже, повинувшись природному зову, она и пустилась осенней порою в путь — одинокая птица вне стаи — то куда? В какие края могли бы занести её своевольные крылья, или жестокие ветра преддизья, или безутешная грусть?..

Коломенскому альманаху — 10 лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Время остановить невозможно. Подумать только — 10 лет «Коломенскому альманаху»! Все эти годы я читаю каждый номер. Помню, меня поразила обложка: Маринкина башня в коломенском кремле. Летящая птица показала символом надежды, уверенности в том, что выстоим.

Я горжусь, что в журнале печатаются стихи моей ученицы Татьяны Башкировой. С интересом читаю произведения Анатолия Кузовкина, Романа Славацкого, Ирины Ракши и других.

Большое впечатление осталось от девятого номера, посвящённого Куликовской битве, 60-летию Победы. Большое и нужное дело совершаете вы. Радуетесь, что столько талантов в нашем городе. Что появляются новые разделы. Поражаешься, как главный редактор журнала Виктор Мельников сумел собрать столько единомышленников.

Хочется пожелать редакционной коллегии новых творческих успехов, по-прежнему поддержки главы города Валерия Ивановича Шувалова. Альманах стал настольной книгой в доме каждого коломенца.

С праздником вас! Новых поисков для прославления нашей родной Коломны.

С признательностью и любовью
ваша читательница **А.Г. Соколова**,
руководитель общественной приёмной
при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в городе Коломне

ПОЭЗИЯ





Фото Виктора Смыслова

ИЗ КОЛОМЕНСКОЙ ТЕТРАДИ

Наталья АНДРЕЕВА

* * *

Когда весеннею порой
Привычно расцветёт природа,
Прекрасно это время года,
Но странно... не любимо мной.
Судьбы и тайны, может быть,
В начале этом не хватает.
Осенняя краса истает,
Но вспышки этой не забыть.
Сиянье солнечных лучей
И золотого листопада.
И неба синяя громада
Под стать бездонности очей.
Она одаривает дни
Своим прощеньем и прощаньем,
И светлой дружбы обещаьем,
И грешным таинством любви.

Николай АНТОНОВ

* * *

Разбей моё сердце, разбей, если
сможешь:
оно очерствело от тысячи ножек,
от тысяч улыбок, от сонма интриг,
когда душит смех, или плач, или крик.
По сердцу процокали, как по бетону,
спеша на огонь, поспешая к вагону.
Огонь созрел, а вагон увозил,
и не было слёз или, может быть, сил.
Теперь в самом деле — как мостовая:
бульжники сплошь от края до края;
бесследно проходят одна за одной,
зовут, проклинаят, берут на постой.
И хоть бы один каблучок иль каблук
забил этот грохот, и топот, и стук.
Как зеркало треснет калёный кремьнь...
Разбей же мне сердце, ударь же, задень!



Иллюстрации Оксаны Лапа

Елена АНТОНОВА

НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ

Медовой каплей с кончика ножа
Осенний день в ночь влажную скатился,
Луна взошла на небо не спеша,
И каждый кустик светом озарился.

В оцепененье сладком замер лес,
Лишь листья мёртвые с ветвей стекают.
Над ним росой на бархате небес
Лучисто звёзды спелые сияют.

А ночь течёт, как речка, глубока,
И дремлют утомлённые деревья,
Да медный звон плывёт издалека,
Святую Русь спасая от неверья.

Борис АРХИПЦЕВ

НАСТРОЕНИЕ

То ли радостно, то ли тревожно,
То ли кругом идёт голова,
То ли осень взошла, осторожно
На меня заявляя права.

То ли вскинуты руки победно
На манер воспаряющих крыл,
То ли что-то пропало бесследно,
То ль талант позабыл, где зарыл.

То ли солнце сплит, то ли слякоть,
То ли быль, то ли боль, то ли быт.
То ли буду восторженно плакать,
То ли буду смеяться навзрыд.

Только плавно, легко, неотложно
Ариаднина тянется нить,
И нельзя, невозможно, не можно
Не дышать, не страдать, не любить.

Татьяна БАШКИРОВА

* * *

Простор, покуда видит глаз,
Но плечи клонятся устало.
А осень уж в который раз
Над миром крылья распластала.

Дрожит печальная вода,
Покоит вербу в серой шали.
И убегают поезда
В твои несбывшиеся дали.

Не посылай за ними взгляд —
Ты не сроднилась с их дорогой.
Послушай, как они кричат, —
С какую болью и тревогой!

Судьбу-злодейку не кляни
За то, что день так тускло прожит:
Крестом дорогу осени,
И будет легче... будет, может...

Татьяна БЕЛОВА

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Пусть гениев имя и отчество
Обыдены в речи людской,
Назвать Вас Мариною хочется,
«Крещённой в купели морской».

Простая, житейски-премудрая,
Бунтарка и «дерзкая кровь»,
Красивая и златокудрая,
Воистину, вся Вы — Любовь.

Глаза близоруки зелёные,
Такие же, как у беды.
Печально на мир устремлённые,
Они своевольно-горды.

Вы стали моею иконою,
И кланяюсь я до земли
За то, что Вы русско-исконное,
Марина, в себе сберегли.

Навек породнившись с рябиною,
Что «красною нитью зажглась»,
Не свыклись с постылой чужбиною —
Не по сердцу, видно, пришлась.

Любовь ВАСИЛЬЕВА

* * *

Отплакал дождь. Цветы завяли,
Листвы умчался хоровод.
Боярыней в пушистой шали
Навстречу мне Зима идёт.

Пред ней Заря красой румяной
Над речкой стелет полотно.
И от мороза воздух пряный
Бодрит, как старое вино.

Летит снежинка малой птицей,
Скорей спешит на встречу дня.
Недолго жизнь её продлится —
В ладони гаснет у меня.

Вот так же и меня не станет,
Прервётся песня под гармонь.
Снежинка хрупкая растает,
Осветит чью-нибудь ладонь.

Григорий ВИХРОВ

РОМАНС

На жар печной последних георгинов
Не наляжусь из белого окна.
Не наляжусь, и белый свет покинув.
Пусть жизнь одна и молодость одна.
Не торопись, родная, изъясняться
На языке прощального огня.
На долгих стеблях лепестки теснятся,
Не для тебя они, не для меня.

Всё тяжелее осень и старее,
Всё неотвратней чувствуя вину,
И я тебя, как молодость, согрею...
И я тебя, как молодость, верну.

Не наляжусь, и белый свет покинув,
Пусть жизнь одна, и на двоих одна.
Живой очаг последних георгинов
Запомнил нас у белого окна.

Юрий ГОРБАТОВ

МОСТЫ

Где над Окой
 висят мосты,
Как две тропы земных
 над бездной,
Стоит старинный монастырь.
Он тоже мост,
 но мост — небесный.
Хоть не возносится
 до звёзд,
Не ослепляет красотой.
Незримый православный мост —
Последний мост
 над пустотою...

Наталья ГУСАРОВА

* * *

Осенней путаницы сито,
Деревья мокрые стоят.
Уж поле жёлтой нитью шито.
И дождь который день подряд,

Вчерашний и позавчерашний,
Идёт, как будто навсегда.
И хмурый день, совсем пропавший
В потоках долгого дождя,

Промокший, к нам спустился к ночи.
А мы отделены дождём.
Пусть чайник весело клокочет,
И жить нескучно нам вдвоём.

Заварим чай. И лампу ту же
Опустим ниже над столом.
Промокшую до нитки Музу
В осенний вечер в гости ждём.

Наталья ЕВСТИГНЕЕВА

ВУЛКАН

Живу на вулкане
и чувствую зыбкость момента.
Покой — это роскошь,
которую мне не понять.
Предвидеть, что будет, нельзя
даже в доле процента,
Как будто поставлена свыше
проклятья печать.

Всегда в напряженье,
чтоб струны души не молчали
И в каждом движенье
рождался божественный звук.
Порой так всё хочется бросить,
начать всё сначала.
Но как разорвать — я не знаю —
мой замкнутый круг.

Живу на вулкане,
что может мгновенно взорваться,
И всё, что имею,
исчезнет, как будто туман.
Бывает так страшно,
но коль до конца разобраться,
То стать человеком помог мне, конечно,
вулкан...

Евгений ЗАХАРЧЕНКО

* * *

Стою на распутье, как витязь былинный,
У вещега камня, у древних основ.
А ветер горячий, густой и полынный
Доносит тревогу несбывшихся снов.

А рядом мой конь в нетерпенье, сердито
Звенит удилами, зовёт седока.
Ему в свежих росах омыть бы копыта,
Душистой травой окропить бы бока.

Промчусь, прикоснувшись к белёсым туманам,
Судьбу доверяя коню одному.
Наполню я душу осенним дурманом
И счастья напьюсь в деревенском дому.

Вадим КВАШНИН

ДОМ

Как хорошо, что дом их у шоссе.
Бывают утомительны дороги,
Как мёртвые, очерченные слог —
Вдруг в голову полезут скопом все.

И хорошо, что в нём отец и мать
В своём родном и странном постоянстве.
Что, кроме мыслей тягостных, в пространстве
У них одна святая доля — ждать.

Войду я, всё умея понимать.
Они за стол усадят и не спросят —
Куда меня, какие ветры носят?
Их разговор продолжится опять...

И я среди гостей-родных молчу,
В кругу их разговоров отдыхаю
И ни о чём своём не вспоминаю.
И ничего другого не хочу.

Юрий КИРОВ

* * *

Мне кажется, что всё вернётся вспять,
И будет нам кукушка куковать,
Вновь побегут весенние ручьи,
Мы встретимся — и я и ты — ничьи.

Опять покажут старое кино,
В косую клетку дождь графит окно.

С упрёком что-то выскажет отец,
Мы женимся, и снова — без колец.

Забывшие вдруг мысли оживут:
Мы, дети и среди поляны — пруд...
Приходит вечер. Вновь кукушки крик,
И гаснут свечи. Чуда ждёт старик...

Евгений КИРСАНОВ

РЕКА

Уключина,
где ладится весло,
уклюжее,
что волны ткёт проворно.
И кровь течёт
по жилам плодотворно,
река течёт.
Мне в этом повезло.
Не тонет лодка,
слёзно протекая,
в ней пахнет тёмной
и живой водой.
А жизнь течёт,
широкая такая,
сравнимая
с широкою Окой.
А в заводи
весло моё тревожит
кувшинок вялых
терпкий жёлтый цвет.
Дрожит стрекозка.
У Оки по коже
проходит рябь,
рассеивая свет.

Светлана КОЛОДИЕВА

ОБЛАКО

Я облако. Белое облако.
Воздушный крылатый гонец.
С каким-то несбыточным обликом,
Нездешнего мира жилец.

Собратья мои легковесные
Касаются тихо меня,
И музыки звуки чудесные
Рождаются в мареве дня.

Я в неба мерцающий колокол
На вдохе едином лечу.
Я облако. Белое облако,
Одетое в солнца парчу.

Людмила КОПЫЛОВА

* * *

Опять в остуде костоломной,
бездомным ландышем дыша,
между Рязанью и Коломной
блуждает в сумерках душа.

То постоит на перекрёстке,
то поглядит на рябь Оки —
плывут гудки и отголоски,
как дни, мелькают мотыльки.

А выше — ласточки линуют
небес холщовую тетрадь...
Пусть эта чаша нас минует —
без родины оголодать.

Леонид КОСС

* * *

А за окном колышется зима.
И, озверев, кусаются морозы,
И побелели белые берёзы,
И побелели серые дома.
И ноющая боль, как от занозы,
Лишающая воли и ума.
Своя рубаха и своя вина —
Два ощущенья собственного тела.
Вина ещё не выпита до дна,

Своя вина ещё не отболела.
Я говорю кому-то о себе.
Но, может, это обо всём на свете?
О том, как в поле с ног сбивает ветер,

Или о том, как воеет он в трубе,
Как белый иней лёг на провода,
Как спит земля под белым покрывалом,
Как в белый снег холодная звезда
Холодным белым вечером упала.

А может, это всё-таки о том,
Как от снегов очистится дорога,
Пусть не сейчас, когда-нибудь потом,
Когда метель уляжется немного,
И ты вернёшься снова в отчий дом
И отряхнёшь печали у порога.

Олег КОЧЕТКОВ

ДОЧЕРИ

Светоносное бытиё,
Уносящихся будней тревога,
Разум мой и безумье моё,
До тебя мне уже — как до Бога.

Завершается тайная явь
Превращений твоих невозможных.
Ты меня хоть немного оставь,
Хоть в движеньях твоих осторожных.

Хоть в улыбке, хоть в жесте одном,
Ускользящем, тающем, нежном...
Но — сейчас! Будет поздно потом
На ветру этой жизни железном.

Ты и вдох мой, и выдоха даль,
И моё золотое забвеньё.
Моя радостная печаль,
И кончина моя, и рожденье!

Евгений КУЗНЕЦОВ

ВЕСЕННИЙ МОТИВ

Высветил ласковый вечер
Над городищем закат...
Храм Иоанна Предтечи...
Домики рядом стоят...

Ветер разносит далёко
Свежесть листвы молодой,
Плачет вдали одиноко
Ива, склонясь над водой.
И пробудившимся травам
Дышится вольно опять.
Росам и косам во славу —
Эта бескрайняя гладь.
А за Коломенкой вечно
Стройным рядком тополя.
Домики... Церковь Предтечи...
Милая сердцу земля!

Константин ЛЕМЕНТ

АРБАТСКИЕ АНГЕЛЫ

Напой мне ангелов, что жили в тех краях,
Двух юных ангелов в сырых кострах Арбата —
Двух заострённых, рваных, подлинных нырял
В мосты дорог, в беспечности возвратов...

И Воробьёвых Гор двух ангелов напой,
Напой любовь свою без ярлыков и штилей,
Когда весь свет за нами плёлся по кривой
Своих страстей, костей, домов, автомобилей...

Когда как ангелы из снега — воробьи
В бесшумных капсулах из клюва, лап и перьев...
Я не любил так никогда — уж ты поверь мне...
И как безадресно шепталось это «ты»...

Михаил МЕЩЕРЯКОВ

КАМЕНЬ

Я так давно родился...
А.Тарковский

Я тот лежачий камень,
Под чей корявый бок
Ручьями иль корнями
Никто пройти не смог.

Меня к земле прижали
Обиды и года,

Но по моим скрижалям
Сверяли путь всегда.

Я вечен. Век от века
Мой неизменен лик —
Он в именах и веках
Истории земли,

В петроглифах бездарных,
И в метинах от птиц,
И в лингвах лапидарных
Тетраэрды страниц.

Я мхом веков покрылся,
Я в землю вмял траву,
Я так давно родился,
Что и теперь живу.

Юлия ПАНСКАЯ

* * *

Остаток осени. Иллюзия тепла
почти растаяла. Земля почти остыла
подобием звериного угла,
покинутого на ночь. Сиротливо
зелёных лавок жмётся череда.
Зачем так рано (Господи!) темнеют
пустые улицы. Змеются провода.
А эти яблоки! Они уже не зреют,

они гниют. И глухи небеса.
На серых ветках пепельные груши.
И вымерли на реках паруса.
И вымокли чувствительные души.

И хрупкое свидетельство распада —
Осенний лист — прилепится к зонту.
И сколько силы, воли (веры?) надо,
Чтоб не влюбиться в эту пустоту.

Михаил ПРОХОРОВ

АВГУСТОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Темно, как только в августе темно,
Когда густеет день и непогодой,
Уже дождём забрызганный, в окно
Вползает сумрак. И столетней модой
Тот хлам глядится в комнате твоей.
Но не печалься, а цветы полей...

Темно, как только в августе темно...
Темно, и на окошке капли вновь
Зелёные, зелёный пар курится,
И августа густеющая кровь
Уже по жилам тяжело струится.

Там всё зелёно, бархатно. Там тишь,
Как кажется, но ты окно раскроешь,
«Там кто-то варит кофе», — говоришь,
А я там сырость чувствую всего лишь.
И сам печально я смотрю в окно,
Далёкое где ткётся полотно...
И нет конца движенью этих черт:
Живая, бесконечная природа —
С извечною загадкой конверт,
Она шумит и дышит. Год от года,
Шурша, на листья падают дожди,
Внизу ручьями омывают корни
И, кажется, спасения не жди,
А там, внизу, поток ещё проворней
И мокрые чернеют провода,
И думаешь, что будет так всегда...
Ну а наутро тот же белый свет.
На подоконнике тот белый свет весёлый.
Как будто не прошло уж столько лет...
И это тот же август перед школой.
И странным белым пламенем горит
Всё то, чему сам август стал пределом...
И это всё не то чтобы слепит,
А только обволакивает белым.
И кажется — к нам не подступит страх.
Хотя вдали предел уж брезжит лета...
И мы в последних августа лучах
Смущённо улыбаемся на это.

Лидия ПЫШКИНА

* * *

Я на плиту поставлю синий чайник
И чай густой и горький заварю.
А мне опять пора не спать ночами,
И я опять иду по январю.

Иду туда, где дорогие лица,
Где ни одна не оборвалась нить.
И я спешу пред ними повиниться,
Надеясь что-то в прошлом изменить.

И я опять прошу у них прощенья
За то, что не умела их прощать.
А зимний ветер нагло лезет в щели,
И мы на чай с ним дуем сообща.

Инна САВИНСКАЯ

ЛИСТ

Полдня в сомнениях жёлтый лист
Дрожал в дожде, косом и редком,
То ник к стеклу, то рвался вниз
И, наконец, сорвался с ветки,
И на мгновение повис,
И жёлтым солнцем одиноким
Сиял, как может только лист,
Сияньем медленным, глубоким.

А дальше — ввысь, а дальше взлёт,
Мгновенье — вечность, воздух гладок;
Как бесподобен был полёт!
...А люди думали — он падал.

Денис САФРОНОВ

* * *

Не спеши говорить о любви, не спеши.
Лучше просто подумай, зачем ты живёшь.
Коль забыли друзья тебя в тёмной глуши,
то не думай, что просто так, вдруг пропадёшь.

Значит, просто останься. Подумай. Прости.
Выход есть — может, просто вернуться назад.
Может, просто увидеть развилку пути
Или чей-то неожиданный и ищущий взгляд.

Не спеши говорить о любви. О любви —
здесь слова не нужны, а важнее дела.
Помоги. Накорми. От себя оторви.
На душе тяжело? Или жизнь не мила?

...Одиночества даже любовью не скрывать.
Надо просто любить. И идти до конца.
Отдавать. Не просить. Согревать. Верить. Жить.
И на это ответят другие сердца.

Роман СЛАВАЦКИЙ

МАРГАРИТЕ

Зубцов и кровель резные лбы
и ворона странный грай! —
загадочный замок моей судьбы
глядит в заповедный край.
Давно уже собран волшебный хмель,
писцами закончен том,
и гоблины варят октябрьский эль
у мельницы под мостом.
Ирландского края простой напев
замкнул оружейный зал.
Струятся кроны сквозных деревьев
на вереск и древний вал.
В огромном камне горит огонь,
и входит октябрь, как Царь,
и снова сжимает моя ладонь
забытый тобой янтарь.

Старинной арфы коснулся эльф,
повеял нездешний звук.
Ты смотришь сквозь лиственную метель,
мой ангел, мой смуглый друг.
Янтарь на листьях, янтарь в очках,
янтарь на хрустальном дне...
В янтарный вечер уйдёт печаль,
когда ты придёшь ко мне.

Нина СОЛОВЬЁВА

* * *

Ах, не надо! Мне это не снилось:
бред всегдашний пустых вечеров,
плач, идущий откуда-то снизу,
вихрь листвы у осенних костров.

Пьяных рож у чугунной решётки
отраженья в разбитом стекле,
и предательский вкрадчивый шёпот,
как червец в помертвевшей золе.

Ларчик полон, но «сребреник» тошный
опьяняет сильнее, чем вино.
Ну а вдруг ты когда-то сожжёшь их,
бросив в пьяный костёр за окно?

И бродяга в худой телогрейке
скажет: «Эй, выходи! Помянём».
Зверь какой-то издох под скамейкой,
безнадёжно просившийся в дом.

108

Николай ТКАЧ

ОСЕНЬ

Вечерний парк, и шорох под ногами,
Тоска легла на сердце, хоть кричи.
Чернеют тополя огромными стволами
Да наверху галдят крикливые грачи.

Светла вода в канаве. Ей не спится.
Встаёт закат, прохладен и суров.
Дрожат травинки — редкие ресницы —
И никнут под дыханием ветров.

Вот облака унылой серой стаей,
Как птицы певчие, куда-то вдаль летят.
И, под дождём отчаянно сгорая,
Темнеет ярко-жёлтый листопад.

Екатерина УСТИНОВА

* * *

Твои любимые игрушки,
Твои любимые картинки,
Неразорвавшейся хлопущей —
Далёкий праздник, вечеринка,

И — «Эй, танцуешь?» — «Что ты! Не с кем!»,
И сок в надтреснутом фужере,
И тихий гость кошмаров детских,
Живущий в старом шифоньере,

И дом, стоящий у дороги,
И зим опасные туманы...

Скажи, о чём ты просишь Бога,
И я о том же — перестану.

Ольга ЧЕРКАСОВА

* * *

Есть мелодии снежной равнины,
есть мелодии облаков,
и осенней спелой рябины,
и беспечности васильков.
Есть мелодия словно туча,
есть как будто бы просто так —
родилась у реки в излучине,
заглянула в тенистый овраг...
и оттуда ручьём да в поле!
Пойте, пойте, любви цветы.
Из мелодий, знакомых до боли,
сложит ветер мотив мечты.

Михаил ШВАКИН

* * *

Почтальон-инвалид виновато
С похоронкой стоял у крыльца.
Выбегали из дома три брата —
Как с войны они ждали отца!

Всё тревожилась, Бога молила
Их усталая, хворающая мать.

Ведь покинут последние силы,
Если ей похоронку отдать!

И мальчишки друг другу сказали:
«Пусть не знает про эту беду!»
Сговорившись, они закопали
Похоронку в забытом саду.

Горе сделало старше годами,
Каждый сдерживал слёзы, как мог.
Сохранила упрямая память:
«Смертью храбрых в бою... Белосток...»

Отгремели за лесом снаряды,
Лютый враг отступил наконец.
Не играли «в войну» те ребята,
И один из них был — мой отец.

Дарья ШУВАЛОВА

* * *

Так весело я никогда не жила
И сладостно так не смеялась.
Чарующе манит хозяйка-зима,
Которой всегда поклонялась.
Колдуют морозы и сыплется снег,
И, белым пуховьем одета,
Для каждой озябшей травинки ночлег
Зима приготовит до лета.
Согреет, укроет, убьёт, заиграет,
Запутает, сдует, запрячет следы.
Потом вдруг отыщет, слегка приласкает,
Обнимет навечно и спрячет во льды.



НОВЫЕ
ПЕРЕВОДЫ





Фото Виталия Хитрова



Карел Чапек родился в 1890 году в местечке Мале Свато-нѳвице. В 1915 году окончил философский факультет Пражского университета. Работал служащим в Академической библиотеке, домашним учителем. С 1921 года и до конца своих дней служил в газете «Лидове новины».

Первые пьесы («Любови игра роковая», «Разбойник», 1920) принесли драматургу мировую известность. В том же 1920 году вышла книга его переводов из французской поэзии.

В 30-х годах увидели свет крупные произведения Чапека — «Война с саламандрами» (1936), пьеса «Белая болезнь» (1937), роман «Первая спасательная» (1937).

В сентябре 1938 года Чехословакия была захвачена фашистской Германией, и Чапек не выдержал этого удара. Писатель скончался 25 декабря 1938 года.

Карел ЧАПЕК

ДВА РАССКАЗА

Происшествие с паном Яником

Пан Яник, о котором пойдёт речь, это не доктор Яник из министерства, не тот Яник, что застрелил землевладельца Ирсу, и даже не торговый посредник Яник, который прославился тем, что ему удалось подряд триста двадцать шесть карамболей, а пан Яник, глава фирмы «Яник и Голечек, оптовая торговля бумагой и целлюлозой». Это вполне добродушный господин, только невысокого роста. Когда-то он ухаживал за барышней Северовой, а расстроившись после неудачного сватовства, так никогда и не женился; словом, во избежание недоразумений, речь пойдёт о Янике по прозвищу Оптовик.

Так вот, значит, этого пана Яника впустили в сыскные дела совершенно случайно, когда он отдыхал где-то на Сазаве. В то время искали Ружену Регнерову, убитую её женихом Индржихом Баштой; облив труп керосином, он сжёг его да и закопал в лесу. Хотя Башту в убийстве уличили, но ни трупа, ни костей его жертвы найти не могли; уже девять дней блуждали жандармы по лесам, где Башта показывал им различные места; сыщики рыли и копали, но нигде ничего не обнаружили. Было ясно, что обессилевший Башта или сам запутался, или рассчитывает выиграть время. Этот Индржих Башта происходил из состоятельной семьи, но, вероятно, акушер во время родов как-то повредил ему голову, и после этого у парня «колёсиков не хватало» — такой он был чудной и распутный малый. Ну вот, девять дней водил Башта жандармов по лесам, сам бледный, как привидение; глаза бегают, веки дрожат от ужаса — страх

глядеть, да и только. Жандармы таскались за ним по черничным кустам и болотам, от злости только что не кусались, а про себя думали: «Ну ладно, бестия, мы тебя изведём — всё равно пощады запросишь!» Башта, едва переставлявший ноги от изнеможения, порою валился на землю и хрипел: «Вот здесь, здесь я её закопал!»

— Встань, Башта! — орал на него жандарм. — Не здесь. Пошёл дальше!

Башта, шатаясь, поднимался и плёлся ещё немножко, пока снова не падал от усталости. Так и шествовала эта процессия: четыре жандарма, двое агентов в штатском, несколько лесников, дядьки с мотыгами и с трудом державшийся на ногах, мертвенно-бледный обломок человека — Индржих Башта.

Пан Яник познакомился с жандармами в трактире, и ему позволили сопровождать это трагическое шествие, то есть никто не гнал его — нечего, мол, тебе тут делать. К тому же в запасе у пана Яника имелись корочки сардинок, колбаса, коньяк и всё такое прочее, что оказалось весьма кстати. Но на девятый день всем стало невмоготу. Совсем невмоготу. И пан Яник решил, что пойти ещё раз его не заманишь. Жандармы прямо-таки ревели от ярости; лесники заявили, что с них довольно, что их давно ждут другие дела; дядьки с мотыгами ворчали, что за этакую каторгу двадцать крон в день мало, а рухнувший на землю Индржих Башта корчился в судорогах и уже не отвечал на крики и брань жандармов. И в эту полную безысходности минуту пан Яник совершил нечто неожиданное: он опустился перед Баштой на колени, сунул ему в руки бутерброд с ветчиной и жалостливо так произнёс:

— Прошу, пан Башта... ну вот, пан Башта, вы слышите?

Башта взвыл и разразился плачем.

— Я найду... найду... — всхлипывал он и попытался подняться; тут к нему подскочил один из тайных агентов и почти нежно подхватил под руки.

— Обопритесь на меня, пан Башта, — уговаривал он его, — пан Яник поддержит вас с другой стороны, вот так. А теперь, пан Башта, теперь вы покажете пану Янику, где это случилось, не правда ли?

Через час Индржих Башта, дымя сигаретой, стоял над неглубокой ямой, откуда торчала берцовая кость.

— Это труп Ружены Регнеровой? — подавленно спросил вахмистр Трнка.

— Да, — невозмутимо ответил Индржих Башта и стряхнул пальцем пепел прямо в развёрстую яму. — Не угодно ли господам узнать что-нибудь ещё?

— Послушайте, пан Яник, — восторгался вечером в трактире вахмистр Трнка. — Вы настоящий психолог, ничего не скажешь. Ваше здоровье, пан Яник! Парень растаял, стоило вам обратиться к нему: «Пан Башта!» Его человеческое достоинство страдало, видите ли! Мерзавец этакий! А мы-то, мы-то таскались за ним... Но ради бога — как вы догадались, что на него подействует вежливое обращение?

— Да просто, — ответил герой дня, от смущения заливаясь румянцем, — ничего особенного... У меня привычка такая, понимаете? Мне то есть жалко стало этого пана Башту, захотелось угостить его булочкой...

— Инстинкт, — определил вахмистр Трнка. — Вот это я называю нюх и знание людей. Ваше здоровье, пан Яник. Эх, жаль, надо бы вам работать по нашей части.

Некоторое время спустя ехал пан Яник ночным поездом в Братиславу — на общее собрание акционеров какой-то словацкой бумажной фабрики: пан Яник постоянно имел с нею дела и был весьма заинтересован в том, чтобы попасть на это заседание.

— Разбудите меня перед Братиславой, — попросил он проводника, — а то ещё завезут на самую границу.

После этого Яник влез в купе спального вагона, радуясь, что едет один, улёгся удобненько, словно покойничек, поразмышлял маленько о своей торговле и заснул. Он даже не сообразил, в котором часу проводник открыл купе новому пассажиру. Раздевшись, тот взобрался на верхнюю полку. Спросонья пан Яник увидел над головой пару штанин и необычайно волосатые ноги, услышал кряхтенье человека, закутывающегося в одеяло; потом щёлкнул выключатель, и снова всё погрузилось в грохочущую колёсным перестуком темноту.

Пан Яник спал беспокойно, его всё преследовали какие-то волосатые ноги; проснулся он оттого, что долго было тихо, а за вагонным окном кто-то прокричал: «До встречи в Жилине!» Подскочив к окну, он увидел, что на улице уже светло, что поезд стоит на братиславском вокзале, и понял — проводник забыл про его наказ. С перепуга он не стал даже ругаться, с лихорадочной поспешностью, прямо на пижаму, натянул брюки и прочую верхнюю одежду, распихал по карманам мелкие вещи, бумажник и выскочил на перрон как раз в тот момент, когда дежурный по станции поднял руку, давая сигнал к отправлению поезда.

«ТЬфу!» — плюнул в сердцах пан Яник, погрозил кулаком отъезжающему скорому и отправился в уборную завершать свой туалет.

Проверив содержимое карманов, пан Яник остолбенел: в нагрудном кармане вместо одного бумажника он обнаружил два. В более пухлом оказалось шестьдесят новеньких чехословацких купюр достоинством пятьсот крон каждая. Очевидно, бумажник принадлежал его ночному попутчику, но как он очутился в его кармане — этого заспанный Яник сообразить был не в силах. Разумеется, перво-наперво он кинулся искать кого-нибудь из полиции, чтобы избавиться от чужого бумажника. В полиции пана Яника долго морили голодом и звонили в Галанту — дескать, пусть передадут пассажиру ночного скорого, занимающему четырнадцатое место, что его бумажник с деньгами находится в братиславском полицейском участке. После этого пан Яник сообщил свои данные и отправился завтракать. Однако вскоре его разыскал полицейский и всё интересовался, нет ли в сведениях пана Яника ошибки; оказывается, пассажир ночного скорого, занимающий четырнадцатое место, ответил, что никакого портмоне у него не пропадало. Пану Янику пришлось вернуться в участок и снова пояснять, как он обнаружил у себя чужой бумажник. Между тем два тайных агента куда-то отнесли переданные деньги, и пан Яник полчаса просидел под охраной двух детективов, после чего предстал перед каким-то высоким полицейским чином.

— Пан Яник, — обратился к нему этот чин, — мы сейчас телеграфируем в Паркань-Нанью, чтобы пассажир из вашего купе был задержан. Не припомните ли вы его приметы?

Пан Яник смог припомнить только одно: что у пассажира были необычайно волосатые ноги. Высокий чин остался не слишком доволен таким ответом.

— Эти банкноты фальшивые, — ошеломил он пана Яника откровенным признанием, — придётся вам побыть у нас, пока мы не устроим вам очную ставку с вашим спутником.

Пан Яник на чём свет клял в душе проводника, который не разбудил его вовремя, из-за чего он в спешке засунул себе в карман этот треклятый бумажник. Приблизительно через час из Паркань-Наньи поступила депеша, что пассажир, занимающий четырнадцатое место, вышел в Новых Замках; куда он пошёл или поехал потом — никому не известно.

— Пан Яник, — объявил наконец высокий полицейский чин, — мы не станем дольше задерживать вас; мы передаём это дело в Прагу инспектору Грушке, он занимается фальшивомонетчиками; но я вам скажу, что дело, надо полагать, очень серьёзное. Возвращайтесь поскорее в Прагу, там вас вызовут. А пока благодарю вас — вы весьма счастливо попали на эти фальшивки. Это, знаете ли, не простая случайность.

Не успел пан Яник вернуться в Прагу, как его призвали в полицейское управление; там его принял грузный, огромного роста человек, к которому все обращались «пан президент», и жёлтый, жилистый инспектор по фамилии Грушка.

— Садитесь, пан Яник, — предложил грузный господин и распечатал небольшой свёрток. — Это тот бумажник, который вы... гм... обнаружили у себя в кармане на братиславском вокзале?

— Да, с вашего позволения, — вздохнул пан Яник.

Грузный господин пересчитал новенькие банкноты, лежавшие в бумажнике.

— Шестьдесят купюр, — заметил он. — И все серии двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят один. Нам уже сообщили об этом номере из Хеба.

Жилистый инспектор взял в руки одну купюру и, закрыв глаза, помял её пальцами, а потом обнюхал.

— Эти из Граца, — сказал он. — Женевские не такие клейкие.

— Грац! — задумчиво повторил грузный чиновник. — Там такие бумажки фабрикуют для Будапешта, а?

Жилистый человечек только моргнул в знак согласия.

— Вы хотите послать меня в Вену? Но тамошняя полиция нам его не выдаст.

— Гм, — буркнул грузный президент. — Тогда попробуйте заполучить его иным путём. Если не выйдет, пообещаем за него Лебергардта. Желаю успеха, Грушка. А вас, — сказал он, обращаясь к пану Янику, — и не знаю, как благодарить. Ведь невесту Индржиха Башты тоже вы нашли?

Пан Яник зарделся.

— Дак это просто счастливая случайность, — поспешно проговорил он. — Право, я... не думал даже...

— Лёгкая у вас рука, — с признательностью промолвил президент. — Не иначе как Божий дар, пан Яник. Иной за всю жизнь ничего не раскроет, а тут дела одно другого лучше прямо сами собой лезут вам в руки. Вам бы к нам перейти, пан Яник.

— Да куда уж, — отнекивался пан Яник, — я... видите ли, у меня дело... налаженная торговля... старая фирма, ещё от дедушки...

— Как знаете, — вздохнул толстяк, — но жаль. Такой дар — редкость. Но я с вами не прощаюсь, пан Яник.

Спустя месяц пан Яник ужинал со своим компаньоном из Дрездена. Само собой, такой деловой ужин всегда хорош, но в этот раз коньяк был просто отменный; словом, пану Янику никак не хотелось добираться домой пешком, и он, поманив кельнера, приказал: «Машину!» Выйдя из отеля, пан Яник увидел, что такси уже стоит у подъезда; забравшись внутрь, он захлопнул дверцу и, будучи в самом прекрасном расположении духа, начисто забыл сообщить шофёру адрес. Тем не менее машина набрала скорость, и пан Яник, удобно приткнувшись в уголке, заснул.

Как долго длилось путешествие, пан Яник не знал; проснулся он оттого, что машина остановилась и шофёр отворил перед ним дверцу со словами: — Это здесь. Поднимитесь наверх, сударь.

Хотя пан Яник очень удивился, очутившись невесть где, но, поскольку после выпитого коньяка ему и море было по колено, поднялся по какой-то лестнице наверх и открыл двери, из-за которых доносились громкие голоса.

В зале сидело около двадцати человек, все они нетерпеливо обернулись. И вдруг воцарилась немыслимая тишина; один из собравшихся встал и, подойдя к пану Янику, спросил:

— Чего вам тут нужно? Кто вы?

Ошеломлённый пан Яник огляделся и узнал пять или шесть знакомых — очень богатых людей, о которых поговаривали, будто у них особые интересы в области политики; но в политические дела пан Яник не вмешивался.

— Бог помощь! — дружески приветствовал он собрание. — Вон там пан Коубек и пан Геллер. Привет, Ферри! Я бы выпил, братцы!

— Откуда этот тип взялся? — рассвирепел кто-то. — Он что, тоже наш? Двое незнакомцев вытолкали пана Яника в коридор.

— Как вы здесь очутились? — грубо спросил один из них. — Кто вас сюда звал?

Расслышав этот не слишком дружелюбный вопрос, пан Яник мгновенно протрезвел.

— Где я? — возмутился он. — Чёрт возьми, куда меня привезли?

Один из незнакомцев слетел вниз по лестнице и накинулся на шофёра:

— Идиот, — орал он, — где вы подобрали этого человека?

— Возле гостиницы, — оборонялся шофёр. — Сегодня после полудня я получил указание в десять часов остановиться у гостиницы и ждать какого-то господина, а потом доставить его сюда. Этот господин ровно в десять сел в машину, ни слова мне не сказал; вот я и доставил его сюда...

— Чёрт побери! — бесновался внизу какой-то человек. — Так ведь это не тот! Ну и заварили вы кашу, голубчик!

Пан Яник смиренно уселся на ступеньках

— Ах, значит, я попал на какое-то тайное сборище, — с удовольствием отметил он. — Теперь вы должны меня задушить, а труп зарыть в землю. стакан воды!

— Вы заблуждаетесь, приятель, — сказал один из незнакомцев. — Там не было ни пана Коубека, ни пана Геллера, понятно? Это ошибка. Мы доставим вас в Прагу; извините, но произошло недоразумение.

— Ничего страшного не произошло, — великодушно произнёс пан Яник. — Я понимаю, ваш шофёр прикончит меня по дороге и зароет в лесу. Какая разница! Я, болван, забыл дать адрес, вот и влип в историю.

— Вы пьяны, да? — спросил незнакомец с явным облегчением.

— Отчасти, — подтвердил пан Яник. — Видите ли, я ужинал с Мейером из Дрездена. Яник, оптовая торговля бумагой и целлюлозой, — представился он, не поднимаясь со ступенек. — Старая фирма, унаследована от дедушки.

— Идите проспитеесь, — посоветовал ему незнакомый господин. — Проспавшись, вы и не вспомните, что... гм... мы вас нечаянно потревожили.

— Совершенно верно, — с достоинством произнёс пан Яник. — Идите и вы спать, голубчик. Где тут можно лечь?

— У вас дома, — произнёс незнакомец. — Шофёр подвезёт вас. Позвольте, я помогу вам встать.

— Это лишнее, — запротестовал пан Яник. — Я налился не больше вашего. Идите-ка и тоже проспитеесь. Водитель, Бубенеч.

Машина повернула обратно; пан Яник, хитро помаргивая, примечал, по каким улицам его везут.

Утром пан Яник сообщил в полицейское управление о своих ночных похождениях.

— Пан Яник, — после небольшой паузы ответили ему из президиума. — Это дело представляет для нас *чрезвычайный* интерес. Настоятельно просим вас *немедленно* явиться в полицию.

Пан Яник явился в полицию, где его уже поджидали четверо полицейских с толстяком-президентом во главе. Пришлось пану Янику повторить свой рассказ о том, что с ним случилось и кого он видел.

— Машина под номером два икса семьсот пять, — уточнил толстяк. — Машина частная. Из шести названных паном Яником лиц о троих я слышу впервые. Теперь я вас покину, господа. Пан Яник, зайдите ко мне!

Пан Яник, затаившись, словно мышь, сидел в огромном кабинете толстяка-президента, который в глубокой задумчивости расхаживал из угла в угол.

— Пан Яник, — проговорил он наконец, — прежде всего я должен попросить вас: никому ни слова — из государственных соображений, понятно?

Пан Яник молча кивнул. «Господи, — думал он, — во что это я снова вляпался?».

— Пан Яник, — внезапно предложил грузный президент, — я не хотел бы вам льстить, но вы нам необходимы. Вам дьявольски везёт. Говорят, детективу прежде всего нужен метод: но если ему попросту не везёт — он нам ни к чему. Нам нужны везучие люди. Разума у нас и у самих хватает, но мы желали бы приобрести счастливый случай. Идите-ка работать к нам, а?

— А торговля? — удручённо прошептал Яник.

— Торговлю поведёт ваш компаньон; а вам, с вашим даром, тратить себя на это жалко; ну так как?

— Я... я ещё подумаю о вашем предложении, — заикаясь, бормотал несчастный пан Яник. — Я к вам ещё загляну на будущей неделе... Однако так ли уж это необходимо... и есть ли у меня способности... я ещё проверю; я к вам загляну...

— Договорились, — согласился толстяк, крепко пожимая пану Янику руку. — Не сомневайтесь. До свидания.

Не прошло и недели, как пан Яник снова появился в полиции.

— Ну вот я и тут, — громко объявил он, сияя улыбкой.

— Решились? — спросил грузный полицейский президент.

— Упаси бог, — проговорил пан Яник, переводя дух, — я пришёл вам сказать, что у нас с вами ничего не выйдет, я для этого дела не гожусь.

— Да полноте! Почему же это вы не годитесь?

— Вы подумайте, — ликовал пан Яник, — пять лет меня обкрадывал мой собственный управляющий, а я даже не догадывался! Вот болван, а? Согласитесь сами, какой же из меня детектив? Слава богу! Пять лет сижу бок о бок с этим мошенником, а до сих пор ничего не заподозрил! Как видите, никуда я не гожусь! А я уж так переживал! Господи, до чего же я рад, что из меня ничего не получится! Ну, стало быть, вы на меня не рассчитываете, не так ли? Покорнейше благодарю...

Следы

Той ночью пан Рыбка возвращался домой в самом радужном настроении: во-первых, потому, что выиграл свою партию в шахматы («Превосходный мат конём», — всю дорогу восхищался он), а во-вторых, оттого, что свежеснеженный снег мягко хрустел под ногами в пустынном ночном безмолвии. «Господи, красота-то какая! — умилился пан Рыбка. — Город под снегом вдруг привидится таким маленьким, старосветским городишком — тут и в ночных сторожей, и в почтовые кареты нетрудно поверить. Вот поди ж ты, ведь испокон веков снег выглядит так по-старинному и по-деревенски».

Хруп-хруп... Пан Рыбка выискивал непрямую тропку и всё не мог нарадоваться, слушая этот приятный хруст. Жил он на тихой окраинной улочке, а потому чем дальше шёл, тем следов становилось всё меньше. «Смотри-ка, у этой калитки свернули мужские башмаки и женские туфельки, скорее всего — это супруги. Интересно, молодые ли? — размягчённо думал пан Рыбка, словно желая благословить их. — А вон там перебежала дорогу кошка, на снегу видны отпечатки лапок, похожие на цветочки; спокойной ночи, киска, уж и зазябнут у тебя нынче ножки». А теперь осталась только одна цепочка следов — мужских, глубоких, ровная и отчётливая борозда, проведённая одиноким путником. «Кто же это мог забрести сюда? — спросил себя пан Рыбка с дружеским участием. — Здесь так мало людей, ни одной протоптанной стёжки на снегу, это ведь — окраина жизни, вот добреду до дома, улочка до самого носа укроется белой периной, и покажется ей, будто она — детская игрушка. Обидно, что уже утром эту белизну нарушит почтальонша с газетами; она-то уж испещрит тут всё вдоль и поперёк, как заяц...»

Пан Рыбка внезапно остановился: собравшись пересечь беленькую улочку и пройти к своей калитке, он увидел, что следы, оставленные кем-то, свернули с тротуара и тоже направились к его воротцам. «Кто же это приходил ко мне?» — поразился пан Рыбка и проследил взглядом направление чётких отпечатков. Их было пять; точно посередине улицы они кончались явственным оттиском левой ноги, а дальше не было ничего, лишь нетронутый чистый снег.

«Дурак я, дурак, — подумал пан Рыбка, — видно, прохожий вернулся на тротуар!». Однако — насколько хватало взгляда — тротуар был ровно застелен пыльным снежным покровом без единого человеческого следа. «Чёрт побери, — подивился пан Рыбка, — скорее всего, следы обнаружатся на противоположной стороне!». И он обогнул оборвавшуюся цепь следов; но на противоположной стороне тоже не было ни единого отпечатка; вся улица светилась целомудрием пушистого снега, так что от этой чистоты захватывало дух; с тех пор как выпал снег, здесь не проходил никто. «Странно, — бормотал пан Рыбка, — видно, прохожий вернулся на тротуар, ступая по своим прежним следам; но тогда он должен был пятиться до самого перекрёстка, потому как, начиная оттуда, я увидел перед собой *эти отпечатки*, именно они вели сюда, а других следов не было... Да, но к чему это было делать? — изумился пан Рыбка. — И как, идя задом наперёд, пешеход ухитрился упадать *точно* в свой след?».

Недоуменно качая головой, пан Рыбка отворил калитку и вошёл в дом; понимая, что это глупость, он всё-таки решил осмотреть, нет ли *внутри* дома ошмётков снега; разумеется, откуда бы им там взяться! «Наверное, померещилось!» — обеспокоенно буркнул пан Рыбка и высунулся из окна; на улице в свете фонаря он ясно различил пять чётких, глубоких отпечатков, обрывающихся посреди улицы; и ничего больше. «Гром их разрази! — чертыхнулся пан Рыбка и протёр глаза. — Когда-то мне попался рассказик о единственном отпечатке на белом снегу; но здесь их несколько, а дальше пустота. Куда же этот тип подевался?»

Не переставая недоуменно качать головой, пан Рыбка принялся раздеваться, но вдруг передумал и, подняв трубку телефона, сдавленным голосом попросил полицейский участок:

— Алло, это комиссар Бартошек? Знаете, тут такое *странное* дело, *очень* странное... Не могли бы вы послать кого-нибудь... или лучше придите сам... Хорошо, я подожду на углу. О чём речь, затрудняюсь сказать... Нет, по моему, опасности нет, важно только, чтобы эти следы никто не затоптал. *Чьи* следы, неизвестно! Так, значит, я вас жду.

Пан Рыбка оделся и снова вышел на улицу; осторожно обогнул следы, стараясь не затоптать их даже на тротуаре. На углу, дрожа от холода и возбуждения, стал поджидать комиссара Бартошека. Было тихо, и земля, населённая людьми, покойно светилась во вселенной.

— Какая здесь приятная тишина, — меланхолически заметил подошедший комиссар Бартошек. — А в отделении мне пришлось унимать драчунов и возиться с пьяницей. Тьфу! Так что у вас?

— Проследите за этими отпечатками на снегу, — произнёс пан Рыбка дрожащим от волнения голосом. — Это недалеко, всего в двух шагах.

Комиссар осветил дорогу электрическим фонариком.

— Ничего себе дылда; наверно, метр восемьдесят, — ответил он, — судя по величине следа и размаху шагов. Сапоги приличные, по-моему, ручной работы. Пьян он не был и шагал довольно твёрдо. Я не понимаю, что вам в них не понравилось?

— Вот это, — коротко ответил пан Рыбка и указал на цепь следов, оборвавшуюся посреди улицы.

— А-а, — прогудел комиссар Бартошек, недолго думая, присел на корточки возле последнего следа и посветил себе фонариком.

— Ничего особенного, — удовлетворённо проговорил он, — совершенно нормальный, рельефный след. Центр тяжести приходится скорее

на пятку. Сделай он ещё шаг либо прыжок, центр тяжести был бы перенесён на кончики пальцев, понятно? И это тоже было бы видно.

— Значит... — весь напрягшись, спросил пан Рыбка.

— Да, — спокойно подтвердил комиссар, — это значит, что дальше он не сделал ни шагу.

— Куда же он делся? — в необычайном волнении вырвалось у Рыбки. Комиссар пожал плечами.

— Не могу знать. Вы что... подозреваете кого-нибудь?

— Какое подозрение? — поразился пан Рыбка. — Любопытно только, куда он делся. Посудите сами: выходит, вот тут он сделал последний шаг, а куда же, ответьте Христа ради, шагнул потом? Ведь здесь больше нет никаких отпечатков?

— Сам вижу, — сухо сказал комиссар. — А вам-то не всё ли равно, куда он шагнул? Или это кто-нибудь из ваших близких? Уж не пропал ли кто? Нет? Но тогда, чёрт побери, какое вам дело, куда он провалился?

— Но всё-таки... хорошо бы выяснить... — пролепетал пан Рыбка. — Вы не находите, что он двинулся обратно по своим следам?

— Чепуха, — буркнул комиссар. — Когда человек движется задом наперёд, шаги у него короче и ноги он расставляет шире, чтобы не потерять равновесия; кроме того, он не поднимает ног, так что на снегу были бы вырыты целые канавы. А тут ступили только один раз. Видите, какой отчётливый отпечаток?

— Но если он не возвращался, — упрямо твердил своё пан Рыбка, — то куда же он пропал?

— Это уж его забота, — ворчал пан комиссар. — Послушайте, коли он ничего не натворил, мы не имеем права вмешиваться! Для этого надо, чтоб на него *донесли*; только тогда мы можем начать предварительное расследование...

— Но разве бывает, чтоб человек взял да провалился посреди улицы? — не переставал удивляться пан Рыбка.

— Давайте подождём, сударь, — посоветовал невозмутимый комиссар. — Ежели кто исчез, то через несколько дней об этом заявит его семья либо кто другой; вот тогда мы и начнём розыски. А куда ничего не обнаружено, нам делать нечего. Не положено.

В душе пана Рыбки поднималось мрачное чувство гнева.

— Простите, — язвительно проговорил он, — но по-моему, полиция *обязана*-таки немножко поинтересоваться тем, как это ни с того ни с сего мирный пешеход провалился посередине улицы!

— Да ведь с ним ничего плохого не случилось, — успокаивал Рыбку пан Бартошек, — тут никаких признаков драки... Ведь если бы на него напали, уволокли, то понатоптали бы столько следов... Крайне сожалею, сударь, но я ничем не могу быть вам полезен.

— Однако, пан комиссар, — всплеснул руками пан Рыбка, — вы хоть растолкуйте мне... это ведь какая-то загадка...

— Пожалуй, — задумчиво согласился пан Бартошек. — Но вы не можете себе представить, сколько на свете разных загадок. Каждый дом, каждая семья — настоящая тайна. Когда я шёл сюда, то вон в том доме навзрыд запричитал молодой женский голос. Загадки, сударь, это не наше дело. Нам платят за поддержание порядка. Неужто вы думаете, будто мы разыскиваем жуликов из любопытства? Нет, голубчик, мы разыскиваем их, чтоб отвести в тюрьму. Порядок есть порядок.

— Вот видите, — вырвалось у пана Рыбки, — даже вы признаёте, что это беспорядок, если кто-то посреди улицы... скажем, взлетел прямо в воздух, не правда ли?

— Всё зависит от того, как на это взглянуть, — заметил комиссар. — Существует такое полицейское правило: если возникла опасность падения с некоей высоты, то человека нужно привязать. Тут в первую голову предупреждают, а потом берут штраф. Ежели кто вознёсся ввысь самовольно, полицейский обязан, само собой, напомнить, чтобы он пристегнул предохранительные ремни; однако полицейского, как видно, поблизости не оказалось, — произнёс он извиняющимся тоном. — Ведь после него тоже остались бы следы. Впрочем, этот чудак мог исчезнуть и как-нибудь иначе, не правда ли?

— Но как? — быстро спросил пан Рыбка.

Комиссар Бартошек покачал головой:

— Трудно сказать. Может, вознёсся, а может, поднялся по лестнице Иакова, — неуверенно предположил он. — Вознесение можно расценить как похищение, если оно совершалось насильственно; но, по-моему, обычно это происходит с согласия потерпевшего. А вдруг этот человек обладал способностью летать... Вы никогда не видели во сне, как вы летаете? Легонечко так оттолкнёшься от земли и летишь... Некоторые летают, словно воздушный шар, а я, когда летаю во сне, время от времени отталкиваюсь ногой; тяжёлое обмундирование и сабля тянут меня вниз. Может, человек этот уснул и улетел во сне? И это не возбраняется, сударь. Конечно, на людной улице полицейский обязан был бы сделать такому летуну предупреждение. Постойте, а может, это левитация? Спириты верят в левитацию; но спиритизм тоже не запрещён. Пан Баудыш рассказывал мне, будто сам видел, как медиум висел в воздухе. Кто знает, в чём тут дело.

— Но, пан комиссар, — укоризненно произнёс пан Рыбка, — вы же сам себе не верите! Это же нарушение всех естественных законов!

Пан Бартошек уныло пожал плечами.

— Кому-кому, а мне-то слишком хорошо известно, как некоторые лица преступают законы и установления; если бы вы служили в полиции, то узнали бы об этом получше... — Комиссар махнул рукой. — Я бы не удивился, если бы они принялись нарушать и естественные законы. Люди — большая пакость, сударь. Ну, спокойной ночи; что-то холодно стало.

— А не выпить ли нам вместе чашечку чая... или рюмочку сливовицы? — предложил пан Рыбка.

— Отчего бы и нет, — устало ответил комиссар. — Знаете, в нашем мундире даже в кабаке запросто не войдёшь. Оттого-то полицейские такие трезвенники.

Устроившись в кресле и задумчиво следя за тем, как на носке его сапога тает снег, комиссар разговорился.

— Загадка... Девяносто девять прохожих из ста прошли бы мимо этих следов и не обратили бы на них внимания. Да и вы тоже пройдёте мимо девяноста девяти из сотен загадочных случаев. Чёрта лысого мы знаем о том, как всё обстоит на самом деле. Лишь немногие вещи лишены тайны. Нет тайны в порядке. Нет ничего загадочного в справедливости. В полиции тоже нет никакой загадки. Но уже любой прохожий на улице — загадка, потому как мы над ним не властны, сударь. Однако и он, стоит ему совершить кражу, перестанет быть загадочным — мы попросту закрём его в камеру, и — конец; по крайней мере, нам будет ясно, чем он занимается, и мы сможем взглянуть на него хотя бы через дверной глазок, понимаете?

Это журналисты могут писать: «Загадочная находка — труп!». Скажите на милость! Что же в трупе загадочного? Когда труп поступает к нам, мы его обмеряем, фотографируем и производим вскрытие. Мы изучим на нём всё до нитки; узнаем, что он ел в последний раз, отчего наступила смерть и всё такое прочее; сверх того, нам станет известно, что убийство совершено, скорее всего, из-за денег. И всё так просто и ясно... Мне, пожалуй, чаю покрепче, пан Рыбка. Преступления обычно просты, пан Рыбка; в них, по крайности, видны мотивы да и вообще всё, что с ними связано. А загадочно, скажем, то, о чём думает ваша кошка, что снится вашей прислуге, отчего так задумчиво смотрит в окно ваша жена. Всё загадочно, сударь, кроме преступлений; криминальный казус — это ведь точно определённая частица реальности, такая частица, которую мы будто бы осветили фонарём. Обратите внимание, если бы я принялся разглядывать вашу квартиру, я кое-что узнал бы и о вас, но я смотрю на носок своего ботинка, потому что служебных дел у меня к вам нет; на вас нам никто не доносил, — добавил он, отхлёбывая горячий чай.

Помолчав, он продолжил:

— Странное всё-таки представление, будто полицию и, главное, тайных агентов интересуют загадки. Да чихать мы на них хотели; нас интересуют нарушения порядка. Преступление интересует нас не потому, что оно загадочно, а потому, что оно противозаконно. Мы преследуем негодяев не ради интеллектуального интереса; мы преследуем их, чтобы именем закона засадить в тюрьму. Послушайте, подметальщики бегают с метлой по улицам не затем, чтобы в пыли читать человеческие следы, но чтобы замести и убрать всяческие непотребства, которые наворотила жизнь. Порядок — ничуть не таинствен. А наводить порядок — это чёрная работа, сударь; и тому, кто взялся наводить чистоту, приходится совать пальцы в любую грязь. Кому-то ведь нужно этим заниматься, не так ли? — устало произнёс полицейский. — Так же как забивать телят. Забивать телят из любопытства — жестоко; это занятие должно стать повседневным ремеслом. Коли человек обязан совершать поступки, то он по крайней мере должен знать, что у него на это есть право. Обратите внимание, справедливость должна быть абсолютна и однозначна, как таблица умножения. Не знаю, в состоянии ли вы мне доказать, что *любая кража* предосудительна; я же берусь доказать вам, что всякая кража запрещена законом, и если вы вор — я тут же вас арестую. Даже если вы начнёте сорить на улицах жемчугом, полицейский только укажет вам, что вы загрязняете общественные места. А ежели вздумаете творить чудо — вам этого никто не запретит, разве что ваши действия вызовут публичное возмущение либо будут расценены как безнравственные. В ваших поступках должна заключаться некая непристойность, чтобы мы могли принять меры.

— Но, сударь, — возразил пан Рыбка, которому не сиделось на месте, — неужто для вас этого достаточно? Речь идёт о таком странном, таком таинственном случае... а вы...

Пан Бартошек пожал плечами.

— Это меня не касается. Ежели вам желательно, я прикажу засыпать следы, чтобы они не мешали вам спать, сударь. Но больше я ничем помочь не могу. Вы ничего не слышите? Ничьих шагов? Идёт наш патруль; значит, сейчас два часа семь минут. Покойной ночи, сударь.

Пан Рыбка проводил комиссара за калитку. Посреди улицы всё ещё была заметна резко и необъяснимо оборвавшаяся цепочка следов. По противоположному тротуару шествовал полицейский.

— Мимра! — крикнул комиссар. — Что новенького?

Полицейский Мимра взял под козырёк.

— В общем, ничего, господин комиссар, — доложил он. — Там вон, возле дома номер семнадцать, мяукала кошка. В девятом забыли запереть двери. На перекрёстке раскопали улицу и не повесили красный фонарь, а у лавочника Маршика вывеска висит на одном гвозде; рано утром придётся снять, чтоб не свалилась кому-нибудь на голову.

— И всё?

— Всё, — подтвердил полицейский Мимра. — Утром придётся посыпать тротуары, чтоб люди не поломали ноги; надо бы в шесть часов позвонить дворникам...

— Ну ладно, — сказал комиссар Бартошек. — Спокойной ночи!

Пан Рыбка ещё раз оглянулся на следы, что вели в неизвестность. Но на месте последнего отпечатка сейчас виднелись основательные оттиски сапог полицейского Мимры; оттуда его следы размеренной и ясной чередой следовали дальше.

«Ну слава богу!» — с облегчением вздохнул пан Рыбка и отправился спать.

Перевод с чешского *Валентины Мартемьяновой*

Валентина Аркадьевна Мартемьянова (Орлова) родилась в Коломне. Училась в школе № 26. В 1953 году окончила филологический факультет МГУ. 35 лет проработала в издательстве «Художественная литература». Переводами занимается с 1954 года. Член Союза журналистов (1966) и член СП СССР (1977).

За годы работы выпустила более 60 книг, среди них собрание сочинений Ярослава Гашека, Карела Чапека, Владислава Ванчуры; трёхтомная антология чешской поэзии, увидевшая свет в 1957–1959 годах, до сих пор пользуется интересом у читателей.

В 2004 году вышли мемуары Карела Чапека, сделанные совместно с первым президентом Чехословакии Т.Г. Масариком.

Сейчас живёт в Москве.





Макс Галло родился в 1932 году в Ницце. Был преподавателем в лицее, потом в университете. Автор многих исторических трудов, посвящённых революции («Максимилиан Робеспьер», 1968), явлению тоталитаризма («Италия Муссолини», 1964, «История франксистской Испании», 1969), войне 1940 года («Пятая колонна», 1970).

История для него — совокупность человеческих судеб, сплетение многочисленных индивидуальностей. Свободное обращение с исторической перспективой меняет масштабность героев в его произведениях, и зачастую известный исторический персонаж отходит на второй план перед вымышленным героем.

В 1983—1984 гг. М. Галло, будучи госсекретарём, выступал в роли рупора правительства П. Моруа.

Макс ГАЛЛО

ЧАСЫ ИМПЕРАТОРА

— Вообразите, Люсиль, — графиня Элеонора Люксембургская встала, быстро подошла к окну, выходящему на бульвар Малерб. На фоне тюлевых занавесей в тусклом свете январского полудня её фигура казалась юной и стройной. Глядя на неё, Люсиль де Сенжон удивилась: никогда не видела она Элеонору такой преображённой, как будто старость её вдруг стёрлась. — Вообразите, — продолжала Элеонора, — пятьдесят лет назад как раз в этот самый день, 26 января 1806 года, я была представлена ему.

Она вышла на середину салона, подерживая с обеих сторон платье на кринолине, и, слегка наклонившись, сделала реверанс кому-то невидимому.

— Это было в Большой галерее Тюильри. Мне было около девятнадцати лет. Император направился ко мне. Я хотела этого, знала, что это произойдёт, и ждала. Стук его каблуков отдавался эхом, казалось, что дрожат стёкла окон галереи. Снаружи слышались пушечные залпы, которые славили его возвращение из Аустерлица. Когда император остановился передо мной, я выпрямилась. Никто не осмеливался, как мне потом рассказали, выдерживать его взгляд. Никто, Люсиль.

Элеонора резко хохотнула.

— А я выдержала. Я оказалась сильнее австриек и русских. Женщина в девятнадцать лет, когда она знает, чего хочет, сильнее целой европейской армии. Помните это, Люсиль.

Элеонора медленно, чуть приволакивая ноги, вернулась к креслу и уселась напротив Люсиль де Сенжон. Такого выражения лица Люсиль никогда не видела у неё, хотя уже много месяцев два-три раза в неделю наносила визиты старой графине. В этой квартире на бульваре Малерб она оставалась всего несколько минут, а

потом, шелестя платьем, спешила к фиакру со спущенными шторами, который дожидался её у крыльца. Он увозил её к уединённому дому на Плен Монсо, где она проводила остаток дня. Домой возвращалась поздно и, запыхавшись, с горящими глазами рассеянно целовала мужа и небрежно бросала:

— Бедная Элеонора, она продержала меня весь день. Я просто не осмелилась оставить её в одиночестве. Знаете, дорогой, она подарила мне ещё один перстень. Посмотрите, какой красивый рубин. Как она великодушна, не правда ли, друг мой?

Она крутилась вокруг герцога де Сенжон, а он что-то бормотал о том, что надо бы как-нибудь пригласить графиню Люксембургскую на ужин и что раньше драгоценности женщинам дарили мужчины.

— Времена меняются, дорогой, — смеялась Люсиль. — Графиня Люксембургская, простите меня, мой друг, так же стара, как и вы, но она живёт в ногу со временем.

Однажды герцог де Сенжон поведал, что утром на вручении верительных грамот английского посла встретился с императором Наполеоном Третьим и что его величество было в отличном настроении.

— Он любезно спросил меня о вас, Люсиль, и посоветовал, что совсем не видит вас.

— Он достаточно видит меня, — с весёлым вызовом возразила Люсиль. И добавила: — Знаете, друг мой, говорят, что раньше Элеонора Люксембургская была любовницей Наполеона Первого.

Герцог де Сенжон пожал плечами:

— Кто только не был любовницей Наполеона Первого! Всякая ненормальная из нынешних старушек претендует на это, надеясь таким образом быть вписанной в большую долговую книгу и получить государственную пенсию. Смешно, дорогая, и мерзко.

Ненормальная? Мерзкая? Это Элеонора Люксембургская-то?

* * *

Она сидела напротив Люсиль, и казалось, в этот январский вечер обрела всю грацию и силу тех своих девятнадцати лет.

— Вы были сильнее его?

Элеонора пожалала плечами.

— А вы, Люсиль, вы, преданная верноподданная того, к кому спешите, убегая отсюда? Вы думаете, я ни о чём не догадалась? Вы так поспешно покидаете меня и так стремительно взбираетесь в фиакр, что извозчик еле успевает откинуть подножку. Слишком много порыва, Люсиль! Так можно проиграть сражение. Спешись и попадаешь в ловушку.

— Продолжайте, Элеонора, — прошептала Люсиль.

— Он ждёт вас.

Люсиль де Сенжон растерянно приподнялась.

— Пусть же изнемогает в нетерпении и, следовательно, проиграет, — продолжала Элеонора, — а вы одержите победу.

— Но он окружён женщинами, — возразила Люсиль. — Стоит ему только захотеть... Он может...

— Мужчина не может ничего, если вы держите его на крючке, но он не подозревает об этом.

Люсиль снова села.

— Расскажите же, Элеонора, расскажите!

Элеонора откинула голову на спинку кресла, закрыла глаза, положила руки на подлокотники, вцепившись в резное дерево, будто бы боялась, что её унесёт ветер.

— Тогда надо с самого начала, потому что у меня, как и у многих женщин, в том числе и у вас, Люсиль, в девятнадцать лет в жизни уже многое было.

Она вздохнула и опустила голову.

— Представьте себе, Люсиль, румяного буржуа-здоровяка по имени Доменик Денюэль. С таким именем он недалеко ушёл ни до революции, ни после. Тогда он решил назваться Денюэль де ла Плень. Звучит лучше, не правда? Когда 3 сентября 1787 года меня крестили в Сент-Оташ, меня назвали Луизой-Катрин-Элеонорой де ла Плень. Но когда тебя так зовут в 1794 году, во времена гражданина Робеспьера, это опасно. Мне тогда было семь лет. Отец дрожал от страха, прятался по шкафам и спал на чердаке. К счастью, мать, молодая и красивая, приколола к корсажу трёхцветную ленточку.

Она немного помолчала.

— Думаю, что в те дни, весной 1794-го, когда каждое утро повозки везли осуждённых на гильотину, я поняла, в чём может быть сила и власть женщины. И сейчас всё ещё стоят перед глазами окружившие мать мужчины, которые угрожающе потрясали пиками. Они разглядывали её, а она смеялась. Вскоре они уважительно откозыряли «гражданке Денюэль» и пошли дальше. Когда кончился террор, мы снова стали Денюэль де ла Плень. Но у вас ведь совсем другая жизнь?

Люсиль де Сенжон равнодушно приподняла левое плечо.

— Двадцать два года. Старый муж. Кстати, он хочет пригласить вас на ужин.

— Боже мой, Люсиль, двадцать два года! — вздохнула Элеонора. — У вас нет детей?

Люсиль отрицательно покачала головой.

— Он не может? — спросила Элеонора.

Люсиль выпятила губы. Всё её лицо выражало презрение и чуть ли не отвращение.

— Не надо его ругать, — начала Элеонора. — Знаете, как они убедили Наполеона, что он никогда не сможет иметь детей? Это устроило бы их всех, его братьев и сестёр — Жозефа, Люсьена, Луи, Каролину. Полину, Элизу, Жерома. Императрицу Жозефину, естественно, тоже.

— Вы знали её? — спросила Люсиль.

— Знала?! — засмеялась Элеонора. — Каждый раз, когда она смотрела на меня, её глаза были, как сабли. Взгляд вонзался в меня, и я отступала. У неё был маленький рот, и она всегда держала его закрытым, сжав тонкие губы. Говорила, едва разжимая их и прикрывала рукой зубы, но все при дворе знали, что они чёрные, гнилые. Зато когда она шла, всё её тело волновалось, танцевало. Мужчины бегали за ней, как собаки. Говорили, что в 1814 году, когда император должен был отречься в первый раз и отправиться на Эльбу, Жозефина принимала у себя в Мальмезоне австрийского и русского императоров, что она танцевала с ними ночи напролёт и наверняка делала большее. Она любила императоров, — добавила Элеонора. — А вы, Люсиль?

Люсиль покраснела и опустила голову.

— Моя подруга, — сказала Элеонора, склонясь к ней, — вчера уверяла меня, что наш Луи-Наполеон, наш Наполеон Третий несколько раз в не-

делю встречается с молодой женщиной, брюнеткой, как вы, в уединённом доме на Плен Монсо.

Элеонора положила руку на колено Люсиль.

— Ничего не говорите, Люсиль, но если вы знаете эту молодую женщину, посоветуйте ей обходиться с императором, как с самым заурядным мужчиной.

Элеонора отошла и погрузилась в кресло.

— Император, когда он голый, стоит не больше кучера, — засмеялась она. — А иногда и того меньше. Как вы считаете?

Люсиль молчала, не поднимая головы. Кончиками пальцев Элеонора погладила её щёку.

— Хотите, расскажу? — спросила она.

Люсиль кивнула.

— У меня было много жизней, — начала Элеонора. — Вы знаете мадам Кампан? Хотя нет, конечно, как можете вы её знать, такая молодая, двадцать два года. Вы ведь родились после всех этих бурь 1834-го. Господи, Люсиль, вы пережили только 1848-й и второе декабря нашего Луи-Наполеона.

— Мне было семнадцать, — сказала Люсиль. — Я слышала стрельбу на бульварах.

Элеонора пожала плечами.

— Вы не видели гильотину, сооружённую в нескольких шагах от Тюильри. В Париже стоял запах крови и пороха, крик и плач. Во время массовых убийств в сентябре 1792-го — мне было всего пять лет, но я помню — эти бешеные псы вырвали сердце у мадам де Ламбаль, подруги Марии-Антуанетты, и сожрали его! Мадам Кампан, о которой я говорила, чудом избежала национальной бритвы и её голова чудом уцелела на шее. Подумайте только, она была лектрисой дочерей Луи XV и первой горничной Марии-Антуанетты! Она тогда всё повторяла: «Наша бедная королева» — и крестилась. Когда разобрали гильотину, мадам Кампан открыла в Сен-Жермен-ан-Ле, на лесной опушке, пансион благородных девиц. Это благодаря ей не утеряны манеры и традиции. Семьи, которые выжили, помещали туда своих дочерей. Гортензия, дочь Жозефины де Богарнэ, была назначена старшей в пансионе, затем ею стала Каролина, сестра того, кого всё ещё называют генералом Бонапартом.

Элеонора встала и позвонила в серебряный колокольчик. Вошёл слуга, зажёл масляные лампы, вышел и вернулся, поставил на низкий столик чашки и чайник. Прежде чем разлить чай, Элеонора сделала реверанс.

— Мадам Кампан научила меня всему, — сказала она, приглашая к столу Люсиль де Сенжон. — Моя мать была женщиной с амбициями и хотела сразу же послать меня в Сен-Жермен. Она часто устраивала приёмы в нашей квартире на бульваре Итальянцев. Как и вы, Люсиль, она ездила во второй половине дня к старым аристократам в предместье Сен-Жермен. И отец делал вид, что верит ей.

Элеонора засмеялась и повторила:

— Как и ваш муж, Люсиль.

Она отхлебнула глоток чая.

— Мать хотела, — продолжала она, — чтобы моё замужество обеспечило её спокойную старость, она не верила в таланты отца. Он говорил, что берётся только за выгодные дела, а на самом деле гонялся за каждым четырьмя су. Когда мать записала меня к мадам Кампан, мне было четырнадцать. Пансионерки — Ноаны, Талоны, Лалли-Толандалы, Рошмонды —

смотрели на меня свысока. Я была всего лишь Элеонора Денюэль де ла Плень — и всё. Единственный, кто снизошёл до меня, была Каролина Бонапарт. Она была на пять лет старше и покровительствовала мне. Я восхищалась ею и была её услужливой поверенной. Мы только и говорили о нашем будущем замужестве, и мадам Кампан готовила нас к нему. Мы должны, говорила она, устроиться в соответствии со своим положением, приданым, и добавляла важно: в соответствии с нашими достоинствами.

Элеонора склонилась к Люсиль:

— У вас их в достатке, Люсиль. — И погладила корсаж молодой женщины. — Когда 8 января 1806 года император остановился передо мной в Большой галерее Тюильри и я осмелилась посмотреть ему в глаза, я знала, что он в одно мгновение оценил мои достоинства. Я уже видела раньше, как он это делал: на несколько секунд застывал перед одной из дам императрицы или её сестёр. Его взгляд задерживался на плечах, потом на груди и талии. В Большой галерее воцарялась мёртвая тишина. Еле слышно он произносил несколько слов, однако все угадывали их. Это были вопросы генерала, обходящего строй: «Кто вы, мадам?», «Ваше имя, мадам?», «Ваше занятие, мадам?». Потом его строгое лицо вдруг освещалось улыбкой, взгляд становился мягким, тёплым. «До скорой встречи, мадам, — тихо говорил он или ещё тише: — До вечера, мадам». Тогда дама приходила домой и готовилась.

Элеонора медленно поднесла руки к груди, будто лаская её.

— У меня были прекрасные достоинства в девятнадцать лет, и я это знала. Мать не переставала повторять: «Дочка, тело, подобное твоему, может околдовать любого мужчину, но это длится лишь какое-то время. Бог дал тебе такую внешность, не дай ей исчезнуть без толку, это было бы святотатством. Уважать волю Бога — это значит пользоваться всем, чем он нас наградил».

Элеонора перекрестилась.

— Мать всегда крестилась после очередного урока морали, которые она мне давала, — улыбнулась она, качая головой. — Но у неё было слишком много спешки и долгов, и её собственной красоты уже не хватало.

Элеонора вздохнула.

— Я слышала, как она весело говорила об одной из своих подруг: «Она торгует своими достоинствами». Думаю, Люсиль, сегодня я могу это сказать: моя мать тоже пыталась делать это, но было слишком поздно, и поэтому она хотела продать хотя бы мои достоинства. А я была действительно очень хороша. Пойдёмте-ка, Люсиль.

По длинному тёмному коридору Элеонора привела Люсиль в свою спальню, которая была освещена масляной лампой, придававшей обоям из гранатового дерева странный, диковатый оттенок. Напротив кровати висела большая картина. Люсиль увидела на ней молодую женщину, вытянувшуюся в глубоком кресле. Её тело было обнажено, лёгкая накидка едва скрывала верх бёдер. Длинные тёмные волосы слегка прикрывали грудь. Она улыбалась, опершись подбородком на правую руку и положив локоть на край кресла.

Элеонора поднесла к картине подсвечник.

— Каждый раз, ложась спать, — сказала она тихо, — я смотрю на эту женщину, как на незнакомку. Подхожу ближе, поднимаю свечу к лицу, — она так и сделала, — и вдруг появляется ощущение, что я смотрюсь в зеркало. Это, конечно, я на картине. Помню сеансы позирования. Художник Жерар приходил ко мне ежедневно примерно около месяца. Тогда я жила на

улице Прованс в правительственном доме, который принадлежал Мюрату. Туда меня поселила Каролина. Несколько раз в неделю за мной приезжал экипаж и отвозил в Тюильри.

Элеонора поставила подсвечник на комод.

— В экипаже были опущены шторы, как и в вашем фиакре, Люсиль. Но все знали, куда я направляюсь.

Она слегка ущипнула Люсиль за ухо.

— Если император вот так щипал за ухо, — это было признаком хорошего настроения и расположенности. Когда я входила в прихожую его частной квартиры в Тюильри, где была потайная лестница, он говорил: «Вот и моя глупышка, которая позирует обнажённой мсье Жерару. Вы же знаете, что мне это не нравится. Вы моя, мадам, моя. Разве вам не известно, что это означает? Я не хочу, чтобы на вас смотрели. Вы думаете, что художники не мужчины? Самые худшие. Их глаза роются повсюду».

Элеонора замолчала, села на кровать. Комната тонула в сумерках.

— Что же вы отвечали? — спросила Люсиль.

— Я делала реверанс, — засмеялась Элеонора. — Затем входила в комнату и начинала раздеваться — император не любил терять времени, и я тоже.

Она с трудом встала и вдруг снова стала 69-летней старухой.

— И потом, — она направилась к выходу, — император знал, что я не пугливая девственница, и думаю, ему это даже нравилось. У меня уже была первая жизнь до того, как я его встретила. Полиция, должно быть, просветила его относительно меня, моей семьи и моего мужа.

— Вашего мужа? — удивилась Люсиль.

Элеонора засемила по коридору.

— Матери и отцу не терпелось получить ренту за счёт моих достоинств. Мать не допускали в салоны предместья Сен-Жермен, где можно было найти прекрасную партию, и она водила меня в театр. Следила за моими туалетами. Я должна была обнажать грудь и руки. В ложе она сажала меня спереди. «Выпрямись, — шептала она, — пусть тебя оценят».

— И вы всё это делали?

— Мне это нравилось, Люсиль. Я чувствовала ласкавшие меня взгляды, замечала, как мужчины из партера и ложей смотрели на меня. Но больше всего мне нравились взгляды женщин: сколько ревности, ненависти можно вызвать в семнадцать лет! Вы, наверное, тоже испытали это, Люсиль? Но вы уже достаточно искушённая, чтобы удивляться. А мне было только семнадцать, я вышла из пансиона мадам Кампан. «Торопись, — повторяла мне мать, — тебе нужен муж. Нам необходим муж». Однажды вечером в театре де ла Гэтэ мне представился офицер и попросил разрешения сесть рядом.

Элеонора сжала руку Люсиль.

— Ну и мошенник, ну и прохвост! — Тон её, впрочем, не выражал ни малейшего неодобрения. — Жан-Анри-Франсуа Ревель был болтуном с бархатными глазами. И я, и моя мать считали его красавцем. Замужество? Почему бы нет? Он говорил, что был членом генеральской инспекции, но собирался уйти в отставку, чтобы заняться поставкой продуктов для армии.

Они вернулись в салон. Элеонора села и покачала головой.

— Армейский снабженец по тем временам был хорошей партией. Отец без конца потирал руки, повторяя: «Снабженец, снабженец, снабженец...

Дорогая, — поворачивался он к матери, — Вы представляете, если армейский снабженец станет нашим зятем? Это же золотое дно!»

На минуту Элеонора прикрыла глаза.

— Мне было семнадцать. Мы поженились в Сен-Жермен-ан-Ле. Красивая свадьба 15 января 1805 года. С тех пор прошло больше пятидесяти лет. Боже мой! Помню, как меня обнимала и поздравляла мадам Кампан, а ещё вспоминаю ту нашу первую ночь. Мать просветила меня, но было скорее любопытно, чем страшно. Как сопят мужчины, когда делают это, правда, Люсиль? Сопят и двигаются, как собаки. Какая скука! К счастью, быстро засыпают. Я звалась теперь Элеонора Ревель, потеряла «де ла Плень» и ничего не выиграла с этим негодником Ревелем, потому что мой муж-прохвост тоже хотел выгодно продать мои достоинства. Так вот, он говорил: «Вы так красивы, Элеонора! Каким сокровищем вы владеете! Личико просто из золота! Если бы вы умели извлечь из этого пользу!»

Элеонора опустила голову.

— Может, и надо было извлечь пользу, — сказала она. — Многие женщины, в том числе благородные, так и делают. Разве не это делала в течение многих лет мадам Жозефина? Продавала своё тело то одному, то другому, но в конце концов всё же была вынуждена согласиться на развод, и я, кстати, сыграла в этом свою роль.

Элеонора выпрямилась.

— Я была той мышкой, что грызёт сетку, в которой держат пойманного льва. Вы знаете эту басню Лафонтена? Человеку часто бывает нужен кто-нибудь меньший, чем он сам. После меня уже никто не мог удержать Наполеона в её плену, и императрица Жозефина сложила оружие.

Элеонора внезапно вышла из салона. Вернулась вскоре, что-то напевая.

— Вы ничего мне не объяснили, — сказала Люсиль. — Вы вышли замуж за этого капитана драгунов...

Элеонора пожала плечами.

— Через два месяца после свадьбы его арестовали за подлог.

Она засмеялась.

— Прохвост, негодяй! Но я не могла злиться на него даже потом, когда через много лет после падения императора он преследовал меня, обвиняя, что я оплачивала всё это... Он воображал, что Наполеон осыпал меня золотом.

Элеонора помолчала.

— Наполеон был благороден. Достаточно было провести с ним ночь или хотя бы час, чтобы он одарил женщину или назначил ей содержание.

Она сделала гримасу.

— Я не из тех, кого он слишком уж одарил, и всё же, Люсиль, я дала ему больше, чем любая другая женщина. Я дала ему доказательство того, что он мог быть отцом, тогда как все они лгали, убеждая его, что он бесплоден.

Она встала.

— Я изменила судьбу империи, Люсиль. Без меня император никогда бы не подумал развестись с Жозефиной.

— У вас есть ребёнок от него? — прошептала Люсиль с каким-то испугом.

— Об этом знает весь Париж. Мой сын осуждает меня. Вы нигде не бываете, Люсиль, кроме как у меня, да и то молнией мчитесь на Плен Монсо.

Элеонора сделала слабый жест рукой.

— Так вы скажете мне, кто там вас ждёт? ОН? Это было бы забавно. Меня ждал дядя, а вас племянник. Меня Наполеон Первый, а вас — Третий.

Она прикрыла рот, как девочка, смущённая тем, что сказала неприличность.

— Больше ни слова, Люсиль, клянусь. Но какая же любопытная вещь жизнь!

— Ваш сын... — начала Люсиль.

Элеонора отрицательно покачала головой.

— Сначала я должна рассказать. Вы не представляете, что такое Тюильри, двор императора. Когда муж попал в тюрьму и я осталась одна, я тут же написала Каролине Бонапарт. Она была уже не просто девушкой, которую я знала у мадам Кампан в Сен-Жермен-ан-Ле, а её императорское величество принцесса Каролина, супруга Мюрата. Она вспомнила меня и приняла радостно и суетливо, что было весьма удивительно. Она обняла меня за талию, заставила, как куклу, повернуться перед ней, распустила мне волосы, погладила их, потом потрогала грудь и расцеловала в обе щёки. Я рассказала о замужестве, об аресте мужа, сделавшем меня одинокой и свободной. Не отрывая от меня взгляда, она повторяла: «Это то, что нам нужно. Ты никогда не встречалась с НИМ?» — спросила она подозрительно.

Элеонора громко засмеялась.

— Я сделала самое невинное лицо. Это ведь очень просто, когда тебе двадцать и ты красива, сделать вид, что не понимаешь, о чём речь. Я спросила: «С кем “с ним”?». Каролина погладила меня по щеке и успокоила, как глупенькую девочку. Она хотела, чтобы я вошла в её свиту при императорском дворе. Я могла бы, как сказала она, объявлять о прибытии гостей или быть лектрисой, что у меня подходящие для этого манеры (я ведь была пансионеркой у мадам Кампан) и что император требует, чтобы при дворе этикет так же строго соблюдался, как в Версале. И потом, объяснила она, её брат Наполеон хочет, чтобы женщины были красивы и нарядны и чтобы, когда он останавливает взгляд на одной из них, она не уклонялась.

Элеонора прошла по комнате.

— Каролина, дорогая моя Люсиль, тоже хотела извлечь выгоду из моих достоинств. Мать предупредила меня об этом, когда дала совет попросить у Каролины аудиенции. Весь Париж гудел слухами. Семья императора, и прежде всего его сёстры, ненавидели Жозефину, бесплодную старуху. Каролина была самой храброй в осуществлении их общего желания скинуть императрицу. Ревность, а может, и ненависть, захлёстывали Каролину. Каждый раз, когда она говорила о Жозефине, мне казалось, что я слышу скрытый голос: «Хочу, чтобы её прогнали, хочу, чтобы эта старуха умерла, хочу, чтобы она отдала нам брата, он — наш. Он ничего не должен ей больше, она его обманывала, а он, несмотря на всё это, сделал её императрицей, хотя все мы были против. Пусть она заплатит за всё». Я понимала это. Мне ещё не было девятнадцати, когда я собралась стать кинжалом Каролины, которым она убьёт Жозефину. В первый раз, когда Каролина представила меня императрице, я знала, что та догадывается, что я буду в свите Каролины для того, чтобы император заметил и возжелал меня. Я была готова к этому предназначению — быть отданной ему. Красивая дурочка, приготовленная для хозяина.

— И вы согласились? — спросила Люсиль.

Элеонора всплеснула руками.

— Согласилась?! Да я этого хотела изо всех сил и ждала возвращения императора с войны, как девственница ждёт встречи с Богом.

Она улыбнулась.

— Девственница... Я уже не была ею, к счастью. Замужество с Ревелем кое-чему послужило. И если бы я имела безумие считать Наполеона своим богом, моя мать помешала бы этому бреду.

На минуту она прервала рассказ.

— Не было ни дня, чтобы мать не предупреждала меня. «Император, — говорила она, — на восемнадцать лет старше тебя. — И понижала голос: — Это разврат. Он насыщается своими любовницами через несколько дней, переходит от одной к другой. Ты, Элеонора, должна поскорее взять от него всё, что только можно. И не уступай, пока он не даст тебе всё это. Чем меньше ты ему подаришь, тем больше он привяжется к тебе. Ради тебя он не разведётся. Тогда бери, бери»...

— Наполеон Первый, Наполеон Великий... — Люсиль растягивала слова, будто удивлялась их звучанию. — Неужели ваша мать говорила вам всё это?

— И много чего другого, моя красавица. Это были добрые советы, и такие же даю вам я в отношении того, к кому вы ездите от меня в уединённый дом на Плен Монсо. А каков он, ваш-то? — прошептала она.

Люсиль опустила голову.

— Когда мой вернулся из Аустерлица, — продолжала Элеонора, — воздух в Париже как будто дрожал. Палили пушки, императорская гвардия шагала со знамёнами, отнятыми у врага. Перед Тюильри на площади Каррузель трубили фанфары. Толпа кричала: «Да здравствует император!» И я ждала его. Каролина меня предупредила, что он не выносит некоторых духов. Слышком сильные запахи обращают его в бегство. Она дала мне флакон с туалетной водой, порекомендовав натереть ею всё тело. «Ты будешь в первом ряду рядом со мной. Я хочу, чтобы он увидел тебя. Опустит глаза, когда он заговорит с тобой».

Элеонора улыбнулась, покачала головой.

— Я слушала Каролину, но думала о своём. Я уже говорила, что посмотрела ему прямо в глаза и увидела человека с круглым восковым лицом, мягкой улыбкой и мечтательным взглядом. Ростом он был ниже меня. Он тихо произнёс: «Мадам, я открыл вас, вы — трофей победы, я хочу узнать вас. Сегодня вечером за вами придут. Я буду ждать». Он посмотрел на Каролину, рядом с которой я стояла, и с лёгким иностранным акцентом сказал ей достаточно громко, чтобы мне было слышно: «Княжна, вы всегда умели выбирать дам для своей свиты. Поздравляю. Пусть эта дама будет у вас сегодня вечером в десять часов. Я хочу видеть её во дворце». Он удалился, широко шагая, а Каролина и я склонились в глубоком реверансе. Когда я выпрямилась, то почувствовала, что все взгляды устремлены на меня. За исключением княжны Каролины. Никто не улыбался. Меня убивали глазами, раздирали на куски. А когда я встретилась взглядом с императрицей и увидела сжатый рот с морщинами по его сторонам, то поняла: Жозефина хочет моей смерти. В тот момент, Люсиль, я отступила. Я испугалась, мне хотелось убежать. Я вышла из первого ряда, и толпа расступилась передо мной, а потом снова сомкнулась. Несколько шагов — и я оказалась в одном из салонов, примыкающих к Большой галерее. Два огромных зеркала, помещённых на перегородках с двух сторон, увеличивали свет канделябров. Я увидела себя в этих зеркалах в каком-то ином, живом свете, так, как никогда прежде не видела.

Элеонора перевела дыхание и возбуждённо продолжала:

— Я подошла к одному из зеркал. В девятнадцать лет во мне была сила юности и красоты, которую ничто не могло побороть. Я была, как вы сейчас, Люсиль, — она засмеялась, — может, повыше ростом, не более красивая, но более гордая. Я застыдилась своей трусости, отступления. А когда вскоре я вошла в Большую галерею, какой-то человек склонился в поклоне передо мной. На нём была зелёная шёлковая одежда, не одежда слуги, но всё же что-то от ливреи. Он сказал: «Мадам, вас ищут по всему Парижу. Император хочет вас видеть прямо сейчас. Он ждёт вас, мадам. Я — Констан, его первый слуга». Он сделал знак следовать за ним.

— Все видели вас, — прошептала Люсиль.

Элеонора засмеялась.

— Это было как триумфальное шествие, как будто я шла из глубины церкви к алтарю. Я не различала лиц. Все смотревшие на меня были как бы за лёгкой вуалью, как бы вдали. Показалось, что среди них была и императрица, окружённая дамами. Потом — узкий коридор, тёмная винтовая лестница и прихожая. Констан испарился, показав на приоткрытую дверь. Там был Наполеон.

— Он был там, — повторила Люсиль.

Элеонора покачала головой и рассмеялась.

— Где ж ему быть! Он читал, сидя на краю кровати и, увидев меня, встал, быстро подошёл, взял меня за руки и привлёк к себе.

— Не говоря ни слова?

— Мы были там не для разговоров. Да, он произнёс несколько слов: «У меня только час для вас, мадам. Этого достаточно, чтобы ход сражения изменился». Рядом с кроватью стояли большие часы.

Элеонора склонилась к Люсиль, нежно взяла в руки её лицо.

— Знаете ли вы, глупышка, что я сделала, пока император был занят мыслями о том, как выиграть сражение? Украдкой мыском ноги я передвинула стрелку. Таким образом, я выигрывала десять-пятнадцать минут. Когда он обернулся и посмотрел на часы, то на мгновение пришёл в замешательство. Потом выпрямился разъярённый. «Уже», — воскликнул он. И больше на меня не смотрел, бросив рассеянно: «До скорой встречи, мадам». Его захватил круговорот дел. Я слышала, как он отдавал приказы в прихожей, вызвал старшего дворецкого. Я веселилась, что так провела его.

— Императора! — Голос Люсиль звучал трагично.

Элеонора пожала плечами.

— Мужчину, моя дорогая, только мужчину. И никогда не забывайте, что между ними и нами война.

Она засмеялась.

— Я подводила эти часы при каждом свидании. Это была моя ловушка, мой маленький Аустерлиц, и я не поддавалась раздражению императора, удивлявшемуся, что время со мной летит так быстро, но не желавшему уделить мне несколько минут сверх того, что он назначал, а я укорачивала... А как это у вас, Люсиль, скажите?

Съёжившись, Люсиль сделала отрицательный жест.

— В вашем доме на Плен Монсо нет настольных часов? Но если вы не защититесь, то проиграете.

— А что выиграли вы? — мрачно спросила Люсиль. — Вы его обманули. ЕГО! И вы...

Она замолчала, боясь обидеть Элеонору. Графиня встала и принялась расхаживать взад-вперёд по салону. Старость снова отступила. Элеонора сбросила тяжёлое серое пальто своих лет.

— Я была свободной, а он считал меня своей пленницей, — сказала она наконец. — Едва прошло три месяца после нашей первой встречи, знаете, что я ему объявила?

Люсиль смотрела на неё во все глаза.

— Что я беременна от него, императора. Он зашагал по комнате, заложив руки за спину и опустив голову. Бросал на меня подозрительные взгляды. Я узнала, что он сразу же позвал Каролину, у которой я тогда жила, и велел ей наблюдать за мной. Он хотел знать, не имела ли я отношений с другими. Но я была не Жозефина. Мне было достаточно императора. И мне доставляло больше удовольствия позировать для картины, чем выдерживать его тело на своём. У меня было три мужа и несколько любовников и, честное слово, Люсиль, какая скука! Любовь — игра дураков, даже если это император на коне.

Элеонора подошла к Люсиль и похлопала её по плечу.

— А может, вы из тех, которые визжат, как поросята, когда их касается мужчина? Со мной этого никогда не было, и, может, как раз это скоро надоело императору. А потом, знаете, Люсиль, я думаю, что он боялся меня. Я была, как ведьма, которая поглощает время и которая носит его ребёнка, хотя его убедили, что он никогда не сможет дать новую жизнь. Эти старые шлюхи из его окружения убедили его в этом. Жозефина — чтобы сохранить его, Каролина и Полина — чтобы обеспечить себе наследство. А я ему представила живую куклу, которая была так похожа на него, что он оторопел. Он не сказал ни слова, склонясь над колыбелью тогда, в начале 1807-го, но к его лицу, которое обычно было белым как мел, прихлынула кровь. В тот день я поняла, что императрица Жозефина, бесплодная старуха, как её называли, приговорена. Наполеон искал молодую женщину своего уровня, княгиню, чтобы сделать её матерью своего ребёнка. Мне сообщили, что после рождения моего сына он сказал, что ему нужен живот, даже если он будет австрийским, но только княжеский живот — для его потомства.

— А что стало с вашим сыном? — спросила Люсиль.

Не ответив, Элеонора села. Она снова была укутана в тяжёлое серое пальто своих лет, превратившись опять в старую потерянную женщину.

— Мы назвали его Леон, потому что это половина имени отца. «Леон — сын девицы Элеоноры Денюэль, пенсионерки двадцати лет. Отца нет». Вот что написали о его гражданском состоянии. «Отца нет».

Она засмеялась.

— Двор всё знал. Ко мне приходили, хотели увидеть ребёнка. Удивлялись, восклицали... Он был вылитый император.

— Пенсионерка двадцати лет, — повторила Люсиль.

— Он не захотел больше принимать меня. Тем лучше. Я устала манипулировать носком ноги, убыстряя время. Но я была матерью его первенца. Он предоставил мне дом № 29 на улице Победы и содержание в двадцать две тысячи ливров ренты, отчуждённой и неделимой. Всё равно, что отец для меня. Я развелась с Ревелем и вышла замуж за лейтенанта Ожье де ла Сосей, который вскоре погиб в России. Потом — за Шарля-Огюста-Эмиля, графа Люксембургского, баварца.

Она понизила голос.

— Он не выходит из своей комнаты уже почти семь месяцев. — Элеонора кивнула вверх, показывая, что муж находится там. — На всё воля

Божья. Уже двадцать пять лет, как император умер и царствует его племянник, а я всё живу.

— Где ваш сын? — спросила Люсиль.

— Граф Леон? Его ведь сделали графом. Он всё обвиняет меня. Его отец в 37-м параграфе своих указаний исполнителям завещания написал, — запнувшись, продолжала она, — «Я не буду против, если маленький Леон получит судейское звание, если ему этого захочется».

Она пожала плечами, сделала гримасу:

— Судья? Леон? Императору с его семьёй это не удалось.

— Ваш сын...

— Я мало его видела. Его сразу же забрали и воспитывали другие. Меня боялись. А вашему императору, Наполеону Третьему, недавно выделили капитал в 225 319 франков, чтобы выполнить обещание его дяди, моего императора. Но Леон промотает их, он игрок, повеса. Сыновья не похожи на отцов.

— А на матерей? — спросила Люсиль, вставая. — На вас?

Элеонора вздохнула и тоже встала.

— Это было, как карточная игра. Я много играла раньше, когда жила с первым мужем, драгунским капитаном негодником Ревелем. Но колода была краплёная. Я это обнаружила и тоже подделала карты, так что шансы уравнились и всё решал случай.

Элеонора довела Люсиль до конца коридора и обняла её.

— Так всё-таки есть настольные часы в доме на Плен Монсо или нет? — снова спросила она.

Люсиль утвердительно кивнула.

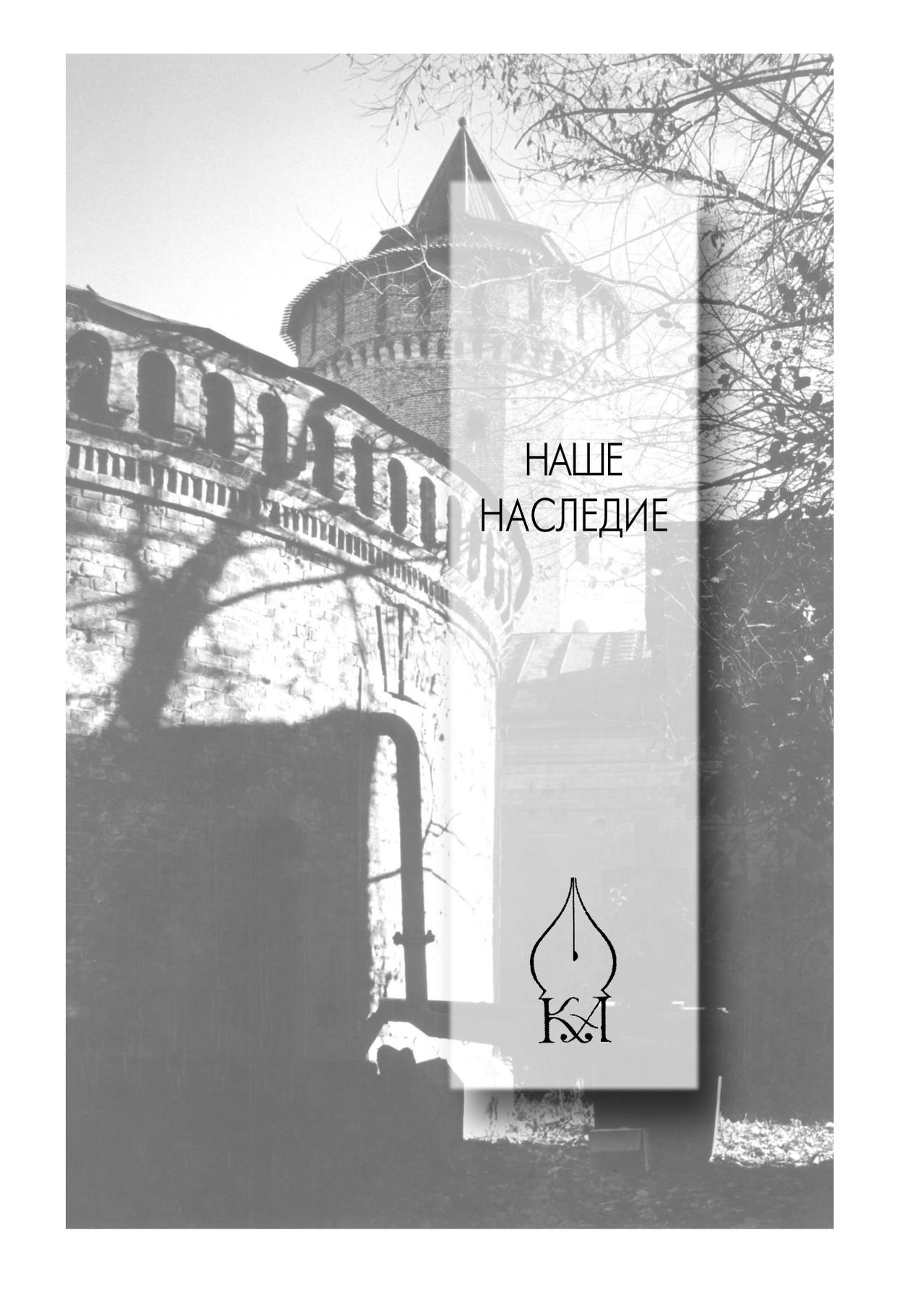
— Не подводите их вперёд, — прошептала Элеонора. — Как можно больше отведите назад.

Перевод с французского *Нины Моргуновой*

Нина Дмитриевна Моргунова родилась в Коломне. Окончила факультет иностранных языков Коломенского педагогического института. Преподавала в коломенских школах немецкий и французский языки. Работала в ряде газет города и соседних районов, была редактором многотиражки КБМ. По душевной склонности — литератор-переводчик. Перевела с французского два романа — «До последней капли» Ж.Сименона и «Девушка из Оперы» Ги де Кара, несколько рассказов.

Член Союза журналистов России. Постоянный автор «Коломенского альманаха».





НАШЕ
НАСЛЕДИЕ



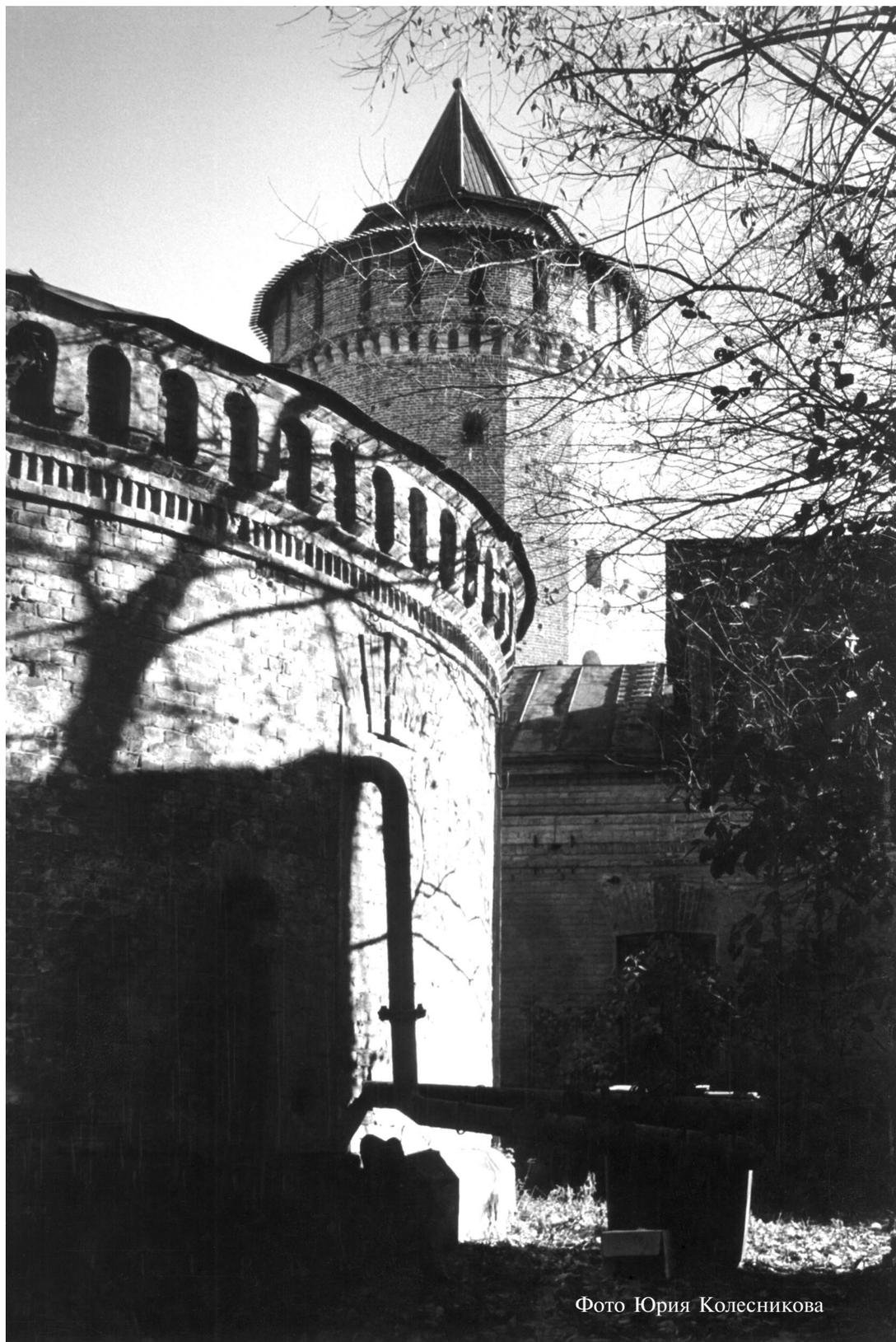
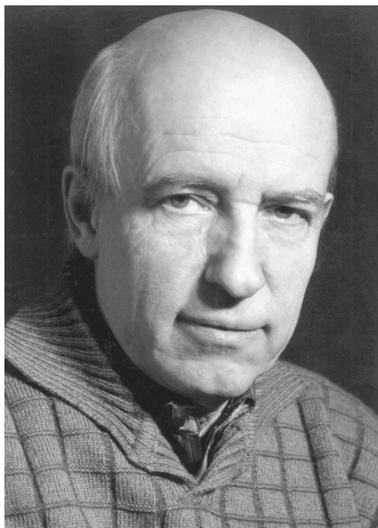


Фото Юрия Колесникова



Анатолий Иванович Кузовкин родился в 1939 году в Москве. Осенью того же года с родителями переехал в Коломну. Здесь окончил среднюю школу, а после трёхлетней армейской службы на Южном Урале — исторический факультет Коломенского педагогического института. С 1965 года и по сей день работает корреспондентом газеты «Коломенская правда».

Член Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, известный краевед. С 1973 года издано более 40 его книг, брошюр и буклетов о Коломенском крае и коломенцах.

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

Анатолий КУЗОВКИН

«ВЕНЧАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ ИВАН...»

Лидию в семье Малофеевых звали Ляля. Родилась она в 1900 году, окончила в Коломне женскую гимназию и после установления советской власти работала в союзе кооперативов машинисткой. Там с ней познакомился живший в Коломне писатель Борис Андреевич Пильняк, попросил её перепечатать рукопись романа «Голый год». Лида выполнила работу в срок и чисто, аккуратно. Пильняк похвалил девушку, а спустя некоторое время помог устроиться в московское издательство «Круг» секретарём и делопроизводителем. Так в 1922 году Лидия Малофеева стала работать в столице. В издательстве ей выделили небольшую комнатку, где она жила. Это было очень удобно: дом всегда находился под приглядом.

Лидин брат, Анатолий, на два года моложе её, тоже жил в Москве, учился в артиллерийском училище, которое размещалось в Хамовниках. Почти каждый выходной навещал сестру. Ему нравилось бывать у Лиды. Она познакомила его со многими писателями, поэтами. Будущий командир Красной Армии, равнодушный к литературе с гимназических лет, с удовольствием участвовал в разговорах с ними и даже спорах.

Как-то в субботу Лида сказала брату:

— Знаешь, Толька, приезжай ко мне завтра. Я тебя познакомлю с одним интересным писателем — он недавно вернулся из-за границы. Чем-то похож на Аксакова, чем-то на Пришвина, Тургенева, и всё-таки он сам по себе.

— Кто же это?

— Завтра узнаешь.

В воскресенье Анатолий Малофеев вновь приехал в Леонтьевский переулок. Привязал свою кобылу Берту к фонарному столбу и, звеня шпорами, прошёл к сестре.

— Однако ты рано, — обнимая брата, произнесла Лида.

— Заинтриговала.

— Сейчас придёт.

Не прошло и десяти минут, как кто-то постучал. На услышанное «входите» дверь широко распахнулась. В комнату вошёл высокий, худощавый, но широкий в кости мужчина, одетый не изысканно, по-простому. «Лет на десять постарше меня», — отметил двадцатилетний курсант Малофеев, вглядываясь в лицо вошедшего: чуть лысеющий со лба, с небольшой аккуратной бородкой, глаза смотрят внимательно, располагающе. Гость представился:

— Иван Сергеевич Соколов-Микитов.

— Анатолий Малофеев, — отчеканил курсант.

Писатель оказался немногословным. Но всё же кое-что рассказал о себе. О том, что родился в Калужской губернии, в лесной конторе, в середине соснового бора на берегу реки Оки. Отец служил одно время приказчиком в имении знаменитого историка М.П. Погодина, почтительные воспоминания о котором остались у него на всю жизнь. А мать — из крестьянской семьи. Рассказал и о том, как он в составе команды парохода, пришедшего из Крыма в Англию, по воле хозяев был списан на берег и остался в чужой стране без денег, не зная языка. Упомянул о встречах в Берлине с Алексеем Толстым, с Сергеем Есениным, Айседорой Дункан...

В следующий выходной, встретившись с сестрой, Анатолий узнал, что Соколов-Микитов уехал к родителям в деревню Кочаны Дорогобужского уезда Смоленской губернии, где жил.

Прошло несколько месяцев. Однажды Лида с довольным видом показала брату телеграмму от Соколова-Микитова: «Все зайцы дорогобужских лесов шлют привет своей королеве».

— Дело к свадьбе, Ляля?

— Да, брат...

Официальная регистрация брака состоялась в Коломенском загсе. Заведующая поздравила молодых и в толстой книге сделала запись о браке, выведя чётко номер 148, а чуть ниже число и месяц заключения брака —

19/IX—23. В третьей графе записала фамилию и имя жениха и невесты: *Соколов Иван, Малофеева Лидия*, указала их возраст: *1892 г. и 1900 г.*

— Ваше постоянное место жительства?

Лида назвала свой адрес:

— Коломна, улица Кузнецкая, дом 6.

— Род занятий?

Первым ответил жених:

— Писатель.

За ним произнесла Лида:



Лидия Ивановна Соколова и Анатолий Иванович Малофеев

*добровольно вступили
в брак И.Соколов
Л.Малофеева*

*Написано 19 сентября
в Коломенском загсе*

— Соколовы, — вновь в один голос произнесли жених и невеста.

— А вот здесь, товарищи, под пунктом одиннадцать, необходимы подписи жениха и невесты с собственноручным заявлением о добровольном вступлении в брак, — указала на обратной стороне листа заведующая загсом.

Иван Сергеевич подвинул лист к себе, обмакнул перо в чернила и чётко вывел: «Добровольно вступили в брак. И.Соколов». Передал ручку Лидии. И она под фамилией мужа расписалась: «Л.Малофеева».

Заведующая и секретарь поставили свои подписи чуть ниже, скрепив их фигурной печатью, и наклеили две марки пошлины. Сверху — гербовую марку зелёного цвета стоимостью 10 рублей денежными знаками 1923 года. А пониже — гербовую марку коричневого цвета стоимостью 50 рублей.

Из загса молодожёны направились в церковь Воскресения — в старинный храм с высокой стройной колокольней. Она стояла на Посаде, на Никольской улице, недалеко от того места, где жила мать Лиды. Чаще эту церковь называли Николы-на-Посаде или Николы Посадского.

— Делопроизводитель.
— Семейное положение?

И вновь звучит вначале мужской голос: «Холост», потом женский: «Девушка».

— В который по счёту брак вступаете?

Ответили одновременно:

— В первый.

— Какой фамилией желаете именоваться?



Воскресенская церковь (Николы-на-Посаде), в которой венчались Иван Соколов и Лидия Малофеева. Фото 30-х годов XX века

В храме тихо, тепло, пахнет ладаном. Огоньки мерцающих лампад освещают строгие лики святых. В пламени десятков свечей сверкают золотистые подсвечники, украшенные витиеватым орнаментом.

Под сводами церкви разносится красивый баритон священника:

— Венчается раба Божия Лидия... Венчается раб Божий Иван...

Над головой жениха Ивана Сергеевича Соколова держит тяжёлый золочёный венец шафер Анатолий Малофеев, брат невесты. Шафером у Лидии Ивановны — друг Малофеева Сергей Карнаухов.

Рука затекла — венец в виде царской короны тяжёлый, а опускать его нельзя.

Священник совершает обряд неспешно — красиво и торжественно. Жених стоит не шелохнувшись — высокий, крепкий, в тёмном костюме. Невеста, как и полагается, в белом длинном платье, из-под кружевной фаты выбиваются кудряшки тёмно-русых волос. Глаза широко открыты: заворожена происходящим, внемлет тому, что произносит священник.

— Венчается раб Божий Иван...

Лида широко, искренне крестилась. Её лицо светилось счастьем. Иван Сергеевич стоял словно вкопанный, лишь изредка и как-то поспешно его рука с соединёнными вместе тремя пальцами проделывала движения ото лба до груди и к плечам.

Лида верила в Бога, Иван — не очень, но воинствующим атеистом не был. Обвенчаться — настоящее предложение невесты. Жених не возражал. Ведь в конце концов нельзя забывать, сбрасывать со счетов бытующее поверье, что браки совершаются на небесах.

— Венчается раба Божия Лидия... Венчается раб Божий Иван...

В левой руке молодожёны держат свечи. Они горят неспешно и ровно.

— Слава Богу, пойдут рядом друг с другом долго и верно, — проворковала старушка, подошедшая посмотреть на молодых. — Свечи сгорели одинаково — поверье такое...

Примета оказалась верной. Долгую жизнь прожили Иван Сергеевич и Лидия Ивановна. Писатель скончался в Москве 20 февраля 1975 года. Жена пережила мужа ровно на 100 дней.

Прошло около трёх лет. Лидия жила с мужем в селе Кислово Дорогобужского уезда Смоленской губернии. Изредка выбиралась в Коломну навестить маму.

К этому времени Анатолий Малофеев закончил училище и получил назначение служить командиром в расквартированном в Коломне артиллерийском дивизионе...

Полдень. Июльский зной через открытые окна проник в комнаты. Молодой командир-артиллерист Анатолий Малофеев собирался прогуляться по городу. Несмотря на жару, надел военную форму и тщательно застегнул все пуговицы.

Из распахнутого окна со стороны Москвы-реки донеслось равномерное тархтенье не очень мощного мотора. По всей вероятности, снизу шёл какой-нибудь катерок или моторная лодка. Непроизвольно выглянул в окно. Со второго этажа стоявшего на обрывистом берегу дома хорошо просматривалась гладь реки. К берегу напротив дома подплывала плоскородная лодка с подвесным мотором. В лодке три человека.

Малофеев взгляделся и узнал во вставшем с переднего сиденья мужчине зятя своего — Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. «Откуда это он? Не сообщал ничего, что придет».

Раздумывать некогда. Выбежал из комнаты, на ходу бросив:

— Мама, к нам гости.

— Кто?

— Сейчас увидишь.

Через ступеньки прыжками вниз, на улицу. Выбежал на крутояр и по еле заметной тропке в заросшем бурьяном почти отвесном берегу чуть ли не скатился к реке.

В это время и причалила лодка. Соколов-Микитов ловко прыгнул на землю, широко раскинул руки.

— Здравствуй, здравствуй, командир!

— Здравствуйте, Иван Сергеевич. Какими ветрами к нам занесло?

— Да вот видишь, приплыл, и не один. Знакомься. Мой друг Константин Александрович Федин, — представил прыгнувшего на сочную ярко-зелёную траву такого же высокого, как сам, но потоньше мужчину. (Малофеев с интересом, внимательно взглянул на гостя: так вот он каков — автор завоевавшего известность романа «Города и годы», который не без удовольствия прочитал недавно). — А это, — указал Иван Сергеевич на плотного крепыша, — наш товарищ, охотник Василий Бадеев.

Малофеева привлекла надпись на корме лодки. По борту, потемневшему от времени, белой краской было выведено: «Засупоня».

— Здравствуйте, — каждому подал руку Малофеев. — Милости прошу в дом. — И, взяв котомку, сумку и плащ зятя, зашагал в гору. На полпути оглянулся. Крутизна не смутила гостей. Они уверенно шагали вверх, захватив с собой всё, что было в лодке. За Малофеевым шёл Соколов-Микитов, следом — Федин. Последним, взвалив на плечи лодочный мотор, — Василий.

За обедом поведали неожиданные гости историю своего путешествия.

Константин Федин в июне 1926 года приехал отдохнуть к другу в село Кислово, где тогда жил Иван Сергеевич. Бродили по окрестным лесам, любовались восходами и закатами и... писали рассказы.

Как-то вечером за самоваром Микитов спросил:

— Костя, ты бывал в Коломне?

— Нет, не довелось.

— Предлагаю съездить, вернее, сплавать. Там живёт моя тёща. Навестим Ирину Павловну, а то наверняка обижается: забыл её зятя, увёз дочку в глухомань смоленскую и носа не кажет.

— Ваня, как сплавать? На чём?

— У-у-у, есть у меня отличная посудина — плоскодонная лодка. Крепкая, устойчивая, надёжная. Имеется и подвесной моторчик. Так что соберайся в дорогу.

В помощники взяли односельчанина, охотника Василия Бадеева.

Несколько дней плыли путешественники вначале по маленькой неширокой и мелководной речке Гордоте, затем по реке пошире — Угре, дальше — по раздольной тихой Оке и несколько вёрст — вверх по Москве-реке, до дома Ирины Павловны Малофеевой.

Разговор за обедом превратился в импровизированный вечер воспоминаний.

— Напугал меня однажды Иван Сергеевич, — начал рассказывать Федин. — Дело было в Кислове. Пошли мы с ним купаться, а Иван Сергеевич и предложил: «Костя, давай нырнём, — кто дольше под водой пробудет»

дет?» — «Ну что ж, попробуем». Встали метрах в трёх друг от друга и по счёту «раз, два, три», набрав в лёгкие воздуха, нырнули...

Федину подумалось, что пробыл он под водой целую вечность. Вынырнул, когда уже сил не было держаться, с надеждой, что выиграл пари. Появился из-под воды, хватанул ртом воздуха, огляделся: Микитова рядом не было. Первая мысль: проиграл. Но когда секунды сложились в минуту, другую, встревожился. На пруду тишина. Забеспокоился: не случилось ли чего с другом? Внимательно осмотрел то место, где нырнул Иван, — его нет. И когда в полной растерянности пошёл к берегу, из кустов донеслось: «Ку-ку!»

Микитов поднялся, довольный розыгрышем.

— Иван, ты больше так не шути. Со мной чуть плохо не стало, о самом страшном подумал...

В семье Малофеевых знали, что Иван Сергеевич любил розыгрыши, шутки. Но о том, что случилось в Кислове, услышали впервые.

В разговор встрял Василий:

— Иван Сергеевич, вы расскажите, как последний переход хотели обмыть.

И Федин, и Соколов-Микитов дружно засмеялись.

Константин Александрович откинулся на спинку стула, озорно глянул на друга:

— Да, ловко это у Ивана Сергеевича вышло. Так хотели пропустить по маленькой, и на тебе — водкой травку оросили.

— А мне кажется, Костя, что это ты решил отделаться от спиртного, — смеясь, изрёк Соколов-Микитов.

И, перебивая и добавляя друг друга, друзья рассказали, что случилось.

В Кашире путешественники купили бутылку водки. Решили перед последней ночёвкой в полевых условиях выпить за благополучное завершение плавания.

К вечеру причалили у высоченного берега Оки — на этой крутизне стоял в старину русский город Ростиславль. От города уже ничего не осталось — несколько валов да курганов.

Пока Василий возился с костром, писатели поднялись на кручу, осмотрели останки города, полюбовались открывающейся картиной. К западу в пойме Оки раскинулось большое село Озёры с его известными текстильными фабриками — это уже Коломенский уезд. Почти напротив — церковь села Белые Колодези. А правее, там, за дымкой, должна быть Коломна. До неё остался ещё один, последний переход.

Насладившись чудесной панорамой, спустились к реке.

Василий уже всё приготовил: на чистой холстинке — хлеб, лук, яйца, сахар.

— Костя, доставай.

Федин намёк понял. Достал из вещевого мешка поллитровку, выдернул залитую сургучом пробку и поставил бутылку в сторонку.

Друзья вожделенно потирали руки, пока Василий доставал из золы испечённую картошку.

— Всё готово.

— Костя, наливай, — подставил кружки Соколов-Микитов, и с этими словами все трое посмотрели в сторону, где должна была стоять бутылка водки. Но она уже не стояла, а лежала. Одновременно три руки резко потянулись к ней, но было поздно: содержимое поллитровки вылилось.

— Э-эх! — сокрушённо вырвалось у друзей.

Принялись трапезничать, нет-нет да выясняя, почему бутылка могла упасть...

Видно, эта комическая история запала в память друзьям; за обедом они несколько раз возвращались к ней.

Вечером писатели отправились посмотреть Коломну. Их сопровождал Анатолий Малофеев.

Старинный кремль, соборы, церкви, монастыри, торговые ряды, ажурная шуховская водонапорная башня, деревянные домики с резными наличниками и воротами — всё осматривали, обо всём увиденном делились впечатлениями.

Шли не спеша. Писатели дымили себе под нос трубками, артиллерийский командир попыхивал папиросой.

Возвращались домой берегом реки. На воде плескалась привязанная к металлическому штырю лодка.

— Почему у неё такое странное название — «Засупоня»? — поинтересовался Малофеев.

Друзья засмеялись:

— А кто его знает. Так, изобрели это слово. Звучит как-то необычно, хотя является производным от самого что ни на есть русского крестьянского слова — супонь. Каждый ведь знает, что это ремень для стягивания хомута. Засупонить — то есть затянуть супонь у хомута при запряжке лошадей. Мы ведь и в переносном смысле говорим — засупониться, то бишь затянуть на себе ремень, пояс, туго подпоясаться. А «Засупоня»? Лодка нас как бы затянула в себя, опоясала, за неё — ни шагу, вода. Вот в таком засупоненном состоянии мы и плыли несколько недель. Да на наш взгляд, и красиво звучит — «Засупоня»...

Федин уехал с Василием в Москву утренним поездом. Иван Сергеевич погостил у тётчи ещё два дня. Уезжая, взял с собой мотор — без него в родном селе не обойтись. А лодку с вёслами подарил Анатолию Малофееву.

Морозный зимний вечер. В натопленном к ночи доме тепло и уютно. Иван Сергеевич с Лидией Ивановной вот уже несколько часов сидят в столовой за круглым столом. Соколов-Микитов внимательно слушает жену. (На сей раз они поменялись ролями; чаще рассказчиком выступал Иван Сергеевич, ему было о чём поведать: жизнь была насыщена удивительными событиями.) В воспоминаниях Лиды ожила Коломна времён империалистической войны с Германией, Февральской революции 1917 года. Она — гимназистка женской гимназии, что размещалась в двухэтажном особняке с колоннами и лепными барельефами на Пятницкой улице. Лидия Ивановна выразительно воссоздавала атмосферу тех лет и ярко изображала отшумевшие события: жизнь гимназисток, появление в городе сестёр милосердия, проводы на фронт мобилизованных, прибытие раненых и размещение их в лазарете и коммерческом собрании.

Иван Сергеевич не перебивал, лишь иногда просил рассказывать подробнее, с описанием деталей. Лида упоминала своих подруг, излагала их судьбы, сообщила о трагедии одноклассницы Авы Григорьевой: девушке жизнь стала не мила, когда узнала, что её отец, которого горячо и преданно любила, который в её глазах был честнейшим человеком, оказался сотрудником царской охранки и провокатором. Ава не могла открыто смотреть в глаза одноклассницам и уехала из Коломны, как потом выяснилось, в Армавир.



И.С. Соколов-Микитов и Л.И. Соколова. Москва, 1974 год

Воспоминания жены взволновали Ивана Сергеевича, и уже следующим вечером он начал писать рассказ. Каждую главу читал Лидии, просил кое-что уточнить, что-то детализировать.

Когда рассказ был готов, Лидия Ивановна ещё раз внимательно его прочитала, перепечатала на машинке и отвезла в Москву в издательство.

Рассказ напечатали в 14-й книге литературно-художественного сборника «Недра» в 1928 году. Критики посчитали его удачным, хотя и было отмечено, что тема уже достаточно использована в художественной литературе.

Полученный гонорар Иван Сергеевич отдал жене, сказав при этом: «Он по праву твой».

И действительно, Соколов-Микитов ничего не придумал, в основу рассказа положил события, о которых услышал от жены, даже фамилии многих действующих лиц оставил собственными, лишь Аву Григорьеву назвал Авой Городцовой, а Лялю Малофееву — Лялей Зарецкой. Да усилил драматизм: в рассказе Ава застрелилась...

Найдённые материалы дают основание утверждать, что замечательный русский писатель, который с поэтической проникновенностью запечатлел в очерках, новеллах, рассказах, повестях облик родной земли, человека труда, имеет отношение и к нашему древнему городу. Коломна была ему небезразлична.

АВА



Иван Сергеевич Соколов-Микитов (1892–1975) — русский советский писатель. Родился под Калугой. Автор известной автобиографической повести «Детство», многих книг о русской деревне, о природе.

И.С. Соколов-Микитов не раз бывал в Коломне. В коломенском загсе 19 сентября 1923 года был заключён брак писателя Ивана Соколова с жительницей Коломны Лидией Малфеевой. Здесь они венчались в Воскресенском храме, больше известном как церковь Николы-на-Посаде.

Писатель интересовался богатой историей Коломны, а один рассказ — «Ава» — написал на местном материале. В нём он поведал о жизни коломенской гимназии, а фоном послужили события периода кануна и хода Первой мировой войны. Тема рассказа была подсказана писателю его женой.

I

Город невелик, очень зелен, древен и деревян; зимами голубые сверкающие сугробы на отдалённых и тихих улицах лежат нетрожно вровень с похинувшимися, утыканными гвоздями заборами и крашеными ставеньками похожих на тихие коробочки домов. Хорош, зелен и тенист в городе запрудный Купеческий сад, старый, просторный, с разлапыми дупластыми липами, дубами, клёнами и конскими каштанами, помнящими золотые времена, когда был город богат, славен и бел; с заплывшим зелёною недвижною ряскою прудом; пегими, чекочущими под берегом пекинками-утками; с покосившеюся, исписанною и изрезанною ножами беседкою «Блюдечком» на древнем высоком валу, откуда широко и просторно открывается вид на осыпанные стогами заливные луга, на извивную светлую реку (вид этот особенно хорош весной, когда разливается и широко идёт-стоит река), на железнодорожный высокий мост, по которому медленно проползают длинные товарные поезда.

В прежние времена славен был город крепким бытём-житьём, миллионщицами-невестами, монастырями мужскими и женскими, купеческими свадьбами и похоронами, зелёными кладбищами, яблочной пастилой, налимышью ухую (а водились налимы в речке Калиновке, под городом, и ловили их больше зимою в лунках), тем, что в кои-то веки, проездом в изгнание, останавливался и гостил в городе Пушкин, и скромное имя города увековечено в стихах и прозе великого поэта¹.

Теперь это далёкое. От золотого бытёж-жизненья остались воспоминание и пепел; лопухом и непролазной крапивою затянуло забрызганные птичьим известковым помётом купеческие покосившиеся памятни-

ки и литеры; на монастырских просторных дворах ветер треплет развешанные на грушах и яблонях мокрые подштанники и пелёнки.

А будто и недавно всё это было: утро, белая Пушкинская, белыми хлопьями кружит и тихо опускается снег; бегут в гимназию, оскользаясь новыми блестящими калошками, гимназистки, и на их румяные лица, на шубки и шапочки, на книги, которые они несут, прижимая к шубкам, садится и тает снег; долговязые гимназисты, трогая невыросшие усы, раскланиваются степенно, двумя пальцами касаясь козырьков лихо измятых фуражек; вот, частенько шагая низкими сапожками, выплыл и, засыпаемый снегом, остановился на углу у красной часовни с горящей лампадою, с прибитыми к стене запечатанными кружками и с похожей на мышь востроносой монашкой в стёганой ватной скуфейке, покрестил бороду и, поставив свечку, проплыл дальше купец Астриухин; на прямой как стрела, мутной от падающего снега, обсаженной стриженными, похожими на кружевные шары, тополями Большой Дворянской улице, будто внезапно родившись в падающей снежной пелене, выкидывая ноги в кольцах, играя желваками и ёкая, бросаясь в зелёную надутую сетку, промчался навстречу гимназисткам тёмно-серый рысак, легко неся высокие бегунки с держащим ярко-синие вожжи краснолицым человеком в бобровой шапке и маленькой женщиной, закрывшей лицо меховой муфтой (серого ёкавшего жеребца, мужчину в бобровой шапке и маленькую женщину знает и говорит о них весь город)... Жеребец проносится, как видение, и тотчас вылупляется в падающей снежной пелене чёрное и недвижимое; это чёрное — высокий воз с угольными, запорошенными снегом кулями; маленькая и тоже чёрная лошадка, распутив уши и кланяясь с каждым шагом, медленно его тащит; похожий на арапа лохматый человек в заячьей ушастой шапке, с чёрным лицом, поводя белками глаз, сидит на возу, растопырив чёрные, обшитые кожей валенки, и кричит знакомо и неподражаемо:

— У-голья! У-голья!.. Вот у-голь-яя!..

— У-голья! У-голья!.. Во-от у-голья! — тоненькими голосками передразнивают гимназисты-приготовишки в длинных, на рост, шинелях с мокрыми полами, гурьбою, с побрякивающими ранцами, бегущие серединою улицы и на ходу дующие в заколеневшие от снежков пальцы.

И так же, как купец Астриухин, идущий открывать свою лавку, как серый ёкающий жеребец с проматывающим отцовские тысячи забубённою головушкой купецким сыном Сашей, — словно видение, скрывается чёрный воз с арапом в заячьей шапке, а из сплошного сыплющегося снега ещё долго-долго слышать:

— У-голья! У-голья!.. Вот берёзовы сахарны у-голья-я!..

II

Женскую гимназию в городе, в пику разорившемуся и обедневшему дворянству, построили купцы (собственно, на виду в городе и было дворян, что земские начальники из отставных поручиков и капитанов да начальник тюрьмы, высокий и затянутый человек, а своего предводителя дворянства, глухого и чудаковатого, нюхавшего табак и пившего настоечку из зверобоя старика Корфа, сами дворяне в шутку звали предводителем начальника тюрьмы). Дом вышел тяжкий, с претензиями на пышный стиль, с тяжёлою колоннадою и лавровым венком на фронтоне, с такими

толстыми стенами, хоть из пушки бей... Гимназию город назвал Пушкинской, в честь поэта, и в гимназической зале со стеклянными дверями и высокими окнами в сад, на кружевные макушки клёнов и лип, висел портрет поэта в тяжёлой позолоченной раме, писанный маслом, но и в портрете было что-то тяжкое, будто глядел из золотой рамы на ряды гимназисток, каждое утро выстраивавшихся на молитву, какой-то лохматый и хмурый гостинодворец.

Строили гимназию для своих дочерей купцы прочно, и порядки в гимназии были прочные, строгие, как в монастыре.

В кабинете начальницы — высокой, полутёмной от штор и от росших под окнами лип комнате с блестящим чёрною крышкою роялем, с длинными, отражавшимися в налощённом паркете шкафами по стенам, с портретом царя в боярском наряде и царицы в жемчужной кичке, с большим письменным, убраным чистейше столом — у входа стояла под стеклянным колпаком кукла, одетая гимназисткой: в коричневом платьице на корсаже, с высоким глухим воротником, в чёрном кашемировом фартуке, обтягивавшем спину и грудь, с узенькими кантиками батиста на обшлагах и воротнике. Гимназисток, переводившихся из других городов и гимназий, где порядки были легче, начальница Марья Васильевна, высокая и очень прямая дама с голубыми тонкими пальцами, с правильным и холодным лицом, приглашала в кабинет, сама подводила к кукле, тарасившей нарисованные глаза, и говорила строго:

— Прошу вас, милая, помнить, что у меня вы должны одеваться и причёсываться по форме, висюлек и чёлочка я не допущу. Помните всегда, — вы — гимназистка...

И, оглядев своими серыми холодными глазами приседавшую в глубоком реверансе, заливавшуюся по всему лицу краскою молоденькую гимназистку, прибавляла, пряча под пуховый платок свои сухие, недобрые руки:

— Можете идти. Надеюсь, что вы будете образцовой ученицей...

Гимназия в самом деле считалась образцовой. В подражание институтским порядкам (так же как и в институтах, позорнейшим наказанием было, когда начальница приказывала девочке снять фартук; не менее было позорно, если сама гимназистка, заспавшись и торопясь, прибегала без фартука в класс), до шестого класса выходили гимназистки гулять парами в сопровождении классных дам, и строго-настрого заказано было до пятого класса носить на затылках пучки, танцевать с неизвестными начальнице кавалерами, гулять и оставаться на катке после семи, — а за всем этим следили уши и глаза Марьи Васильевны — классной дамы. Раз-два в зиму устраивались в гимназии балы и спектакли, съезжались родные, и начальница сама приглашала двух гостивших в городе кадетов, сыновей проживающего в городе отставного полковника, почтительных и румяных мальчиков, являвшихся в мундирах со стоячими воротниками, с белыми погонами, надушенных и в перчатках. Они чинно прикладывались к сухой ручке начальницы и весь вечер, до седьмого поту, танцевали (а танцоры они были отличные!) со светившимися белыми фартуками гимназистками, изредка выбегая на мороз под ворота, на блестящий под окнами снег, и совсем не чинно накуриваясь махоркой.

Учились в гимназии дочери купцов, как на подбор некрасивые широконоски, с маленькими глазками и белёсыми ресницами, будущие богатые невесты; в класс они приходили дорого и чисто одетые, с запасными тетрадами и дорогими ручками, с завтраками в вышитых гладью сумоч-

ках. Хорошенькие и смехуньи в гимназии были дворянки и дочери городских чиновников. И у всех ещё с первого класса, по гимназическому обычаю, были заведены альбомчики для стишков —

Дарю тебе корзинку,
Она из тростника,
В ней фунта два малинки
И ножка индюка...

Строгостью порядков обязана была гимназия начальнице Марье Васильевне. Прежнего директора, доброго и молодившегося Михаила Михайловича, танцевавшего на балах со старшими гимназистками вальс, Марья Васильевна выжила очень скоро. А по её хлопотам назначили в гимназию директора нового, маленького и плешивого старичка, страдавшего зобом и одышкой, носившего лёгкие, без каблуков, сапожки, отложные воротнички, имевшего смешную привычку плевать на кончики пальцев. Новый директор был тих и почтителен с Марьей Васильевной, забравшей в гимназии полную силу, ходил в своих тихоньких сапожках молча, мёртво поглядывая поверх вросших в переносицу золотых очков. И этого его взгляда, тихих шажков боялась гимназия не меньше холодных глаз и грозного голоса самой Марьи Васильевны. Встречаясь с ним в длинных гимназических коридорах, гимназистки жались к стенам, замирали и холодели, припадали в глубоких реверансах.

А всё же, несмотря на такую строгость, жизнь в гимназии была звонким ключом; непривычному уху было больно от визга, шума и топота, поднимавшегося в гимназии на переменах. Носилась сломя голову, всюду мелькая своим разгоревшимся личиком, с упрямой, выбивавшейся на розовую щёку прядью, душа и любимица младших классов — Ляля Зарецкая. Это она, завидев, бывало, поднимавшегося по лестнице директора (она всегда замечала всё первая), вихрем, едва касаясь туфлями пола, взбивая коленками юбку, влетала в класс, останавливалась, с трудом удерживая дыхание, и делала такие глаза, что замирал класс.

— Шш! Шш! — выговаривала она, переводя дух и поднимая палец. — Шш! Шш! Вафля идёт!

III

С младших классов первой шла Ава Городцова.

По установившемуся в гимназии порядку, в каждом классе отмечались лучшие пять учениц, и из первых пяти впереди была Ава. Спокойно и уверенно поднималась она на вызов и шла к доске; чётко и без запинки отвечала всегда твёрдо заученные уроки, стоя у стола и, по обычаю, держа на фартуке руки в обшлагах с белою каёмкой, ладонь в ладонь, опустив большие, тёмные и действительно красивые, немного близорукие глаза, которым завидовали самые хорошенькие гимназистки. Было в ней что-то монашье: так была она щепетильно чиста и опрятна, так тщательно следила за чистотой своего сатинового, порыжевшего от глаженья платица. В гимназии знали, как бедна и велика их семья, как тоскливо и неприятно у них дома. Ава не дружила ни с кем, гордясь своей бедностью и особенно своим отцом, которого город знал не меньше, чем купца Астриухина и Сашиного серого жеребца.

— Мой отец честный, прямой человек, — случалось, говаривала она своим глухим, грубоватым и низким голосом, гордо блестя глазами. — Он много страдал. Он очень, очень добрый...

В отца Ава была влюблена. Гимназистки не любили её, сторонились, даже побаивались, а вместе и уважали, зная, что с пятого класса Ава сама зарабатывает уроками и помогает семье, и это казалось в гимназии необыкновенным.

В старших классах Ава неожиданно уступила своё первое место. Вышло так, что ученицы более ленивые и легкомысленные, смехуны и попрыгуны, с лёгкостью схватывавшие то, чего с таким трудом добивалась Ава, вдруг перегнали её и заняли её привычное место. Ава была потрясена и принижена, работала по-прежнему, но первого места ей так и не пришлось вернуть: с шестого класса она шла третьей. В конце шестого года начальница, благоволившая ей, глядя на неё сощуренными холодными глазами, пряча под платок руки, сказала:

— Ты, Городцова (любимым ученицам начальница говорила «ты», а «вы» в гимназии было плохим знаком начальницыного недовольства и нелюбви), — ты, Городцова, стала учиться хуже: что это значит?

Гимназистки, стоявшие рядом, заметили, как пятнами покраснели шея и уши Авы и как задрожали её лежавшие на фартуке пальцы.

— Да, — продолжала начальница, отрываясь и смотря поверх её головы с туго заплетёнными (она всегда туго заплетала тяжёлые свои и жёсткие волосы), уложенными венком смолистыми косами. — Я надеюсь, что в будущем году ты опять займёшь своё место...

— Да, мадам, — тихо ответила Ава, приседая и отходя своею угловатой мужскою походкой, с пылающим как жар некрасивым лицом.

Тот день ядовитая на язычок, проворная и картавая лентяйка Ната Сухина, вертясь перед стеклянной дверью, заменявшей гимназисткам зеркало, и картавя, сказала что-то о ней смешное так громко, что картавый её шёпот услышала Ава, проходившая из коридора, и гимназистки увидели опять, как ещё гуще покраснели уши и шея Авы, как, усевшись за парту, удерживала она подступавшие слёзы.

Отца Авы Городцовой, учителя уездного училища, знал весь город. Знали его за поражавшую всех в городе казавшуюся смелость убеждений, за необычную для тихого города прямогу и резкость поступков. В городе его побаивались и сторонились. Даже по внешнему своему виду заметен он был из всего города: был он с излишком сух, угловат и рукаст; тёмные близорукие глаза его глубоко сидели в обозначавших череп глазных впадинах; странностью была в нём привычка вытягивать шею и кривить подбородок, будто давила его петля, манера легонько коснуться большой мхнатой рукою плеча собеседника и тотчас отдернуть руку; характерна была его угластая, с копною жёстких, смолистых, седеющих волос голова. По городу он слыл примерным хозяином и семьянином: он сам ходил и убирал за маленькими многочисленными своими детьми; утрами, в порыжелой широкой шляпе и шлёпавших калошах, сам бегал за реку на базар и, как говорили, сам топил печку, стирал и стряпал, жалея болезненную, неслышную и всегда беременную жену. Рассказы о нём ходили странные: однажды (было это в разгар войны), увидав из окна школы, что какой-то новоиспечённый штабс-капитан из гостинодворских приказчиков, с красным темляком на эфесе, бьёт солдата за неотдание чести, он выбежал из школы в чём был, страшно потрясая своей седеющей гривой, и с яростью накинулся на штабс-капитана. В другой раз — это было много раньше,

когда ещё гремела память пятого года, — будто бы совершил он ещё более замечательный поступок, скрывая у себя известного террориста. Во время войны, когда в смутном предчувствии больших и грозных событий притих и затаился город, а люди боялись обмолвиться лишним словом, он продолжал один резать в глаза правду, бегал для чего-то за город на фабрику и вслух говаривал такие вещи, что от него шарахались, как от чумного. Этими поступками и поведением отца очень гордилась Ава.

— Да, да, — всё убеждённое повторяла она, краснея пятнами и нервно блестя глазами. — Отец мой никогда ни перед кем не унижался. Он очень смелый.

Это она выговаривала так, что не верить словам её было нельзя. И ей в гимназии верили, считали её отца необыкновенным, встречая его на улице, всегда куда-то спешившего, хлюпающего калошами, торопились почтительно поклониться. И как должное и неперемное принимала это почтительное отношение подруг сама Ава.

IV

Были в ней черты, за которые недолюбливали её гимназистки. Слишком уважала она своё положение лучшей в гимназии ученицы, слишком старалась выделиться из всех. На уроках, когда терялась и путалась вызванная к доске гимназистка, Ава, всегда неторопливо и спокойно, поднималась со своего места и терпеливо ожидала, когда спросят её. Однажды в уборной, поправляя сбившуюся причёску и поднявши над головой испачканные мелом локти, смотря исподлобья, держа во рту шпильки и шепелявя смешно, Ляля Зарецкая сказала ей так:

— Ну зачем ты, Авка, всегда поспеваешь? Как не стыдно? Сегодня Маня Зубакина из-за тебя ревела...

Ава, не любившая Зарецкую за её отца, богатого и важного чиновника, презрительно взглянула на неё своими близорукими тёмными глазами, ответила кратко:

— Я знаю, что делаю.

— Ей-богу, Авка, стыдно.

— Пожалуйста, не учи! — ответила, вспыхивая и отходя, Ава.

Было что-то особенное даже в её внешности. Плечи её были сухи и квадратны, руки длинные и тверды, и говорила она резко, отрывисто. Даже стихи любимого в гимназии Пушкина читала она так, что учительница по русскому — молоденькая и постоянно красневшая за свою молодость Ксения Михайловна, которую ученицы доводили до слёз признаниями в любви («Вы, Ксения Михайловна, такая хорошенькая, мы вас любим, любим, любим, — кричали, бывало, они всем классом, — у вас такой чудесный цвет лица!» — и Ксения Михайловна, не в силах справиться с классом, вынуждена была приглашать классную даму, строгую и зелёную Опёнку, которая усаживалась на её уроках у окна с вязаньем в руках, в качестве как бы полицейской силы), — даже Ксения Михайловна, краснея и конфузясь, сказала Аве однажды:

— Вы, Городцова, стихи не читаете, а точно рапортуете... будто солдат...

Особенно, с какою-то грубоватою старательностью и серьёзностью, делала Ава обязательные в гимназии реверансы, выводя из себя этой серьёзностью тех вертушек и попрыгуней, которым начальница часто выговаривала:

— Лучше уж совсем не делайте мне реверансов, а выкидывать перед начальницей какого-то хохлацкого гопака, согласитесь сами, неприлично.

Война вдруг изменила, преобразила город, всколыхнула городское привычное бытё-житьё. Город наполнили новые люди. По бульвару и Пушкинской, где, бывало, толклись вечерами гимназисты, пробегали на каток, смеясь и позванивая снегурками, румяные гимназистки, нынче гуляли новоиспечённые прапорщики в ремнях и новеньких погонах; проходили, семена ножками, сёстры милосердия в чёрных монашьях косынках. Город будто примолк, посерел, стал беспорядочнее и грязнее. Первое время всё это — прапорщики, ремни, косынки, музыка и песни всякий день проходивших по городу и топтавших рыжий снег солдат — казалось занимательным и модным. Гимназистки сходили с ума, мечтая о косынках милосердных сестёр; гимназисты готовились добровольцами на фронт. Гимназисты и гимназистки бегали на вокзал за город провожать отправлявшиеся на войну эшелоны — вонявшие дымом и табаком теплушки, набитые серыми, невесёлыми, выскакивавшими за кипятком на утоптаный снег людьми; кричали тоненькими голосками «ура» и пели гимн. Осенью, в начале учебного года, кроме обычного молебна, батюшка о. Валериан, маленький, робкий и белокурый, служил в гимназии о ниспослании победы христоролюбивому воинству. Он стоял на коленях в зелёной, коробом топырившейся над его разноволосой приглаженной головою ризе, а за ним коричневыми рядами коленопреклонённо молилась и плакала вся гимназия — кланялись и поднимались тёмные и светлые девичьи головы, мелькали руки. Война издала казалась завлекательным зрелищем, такую, как видели её на картинках: с красавцами генералами и на белых и вороных конях, с живописными клубами порохового дыма. И было обидно, когда Тонечка Петуховой, тоненькой гимназистке с веснушками на носу, громче всех кричавшей на вокзале «ура», проходивший бородатый солдат в шинели внакидку, остановившись и капая из чайника кипятком, сказал, укоризненно покачивая голову: «И-ох, барышни, барышни, лучше бы делом занялись, папаше-мамаше чай наливали!..» — но маленькая эта неприятность очень скоро забылась. В женской гимназии, как и следовало тот первый год, на уроках рукоделия у круглой, похожей на крашеное пасхальное яичко, Павлы Петровны гимназистки прилежно шили кисеты и вязали шарфы, вкладывали в махорку надушенные записочки солдатам в окопы, а немка Демицилия Адольфовна (в шутку гимназистки звали её Бациллой Адольфовной), чувствовавшая себя виновной за разразившуюся войну, не спрашивая уроков, всем стала ставить пятёрки.

Так было первое время. Потом потекли будни. В город доставили первых раненых. На первых порах они казались людьми особенными, видевшими своими глазами войну, и было удивительно, что так просто, как самые обыкновенные люди, они стоят у входа в коммерческое собрание, где городское купечество устроило лазарет, в белье и больничных халатах внакидку, с белыми забинтованными култышками, курят и смеются. Лица у них были по-больничному жёлты, и на них неприятно сквозили отросшие бороды, а пахло от них аптекой и чем-то больничным, кислым. Гимназистки, всякий день проходившие мимо лазарета с повисшим флагом над входом, стали отдавать раненым свои завтраки и покупать на карманные деньги папирсы. И всякий раз раненые поджидали проходивших гурьбою, звеневших голосами девочек, принимали подарки, ласково шутили. Весело смеялся, открывая ровные, сплошные и белейшие зубы, ра-

ненный в руку весёлый солдат Серёга, которого знала и любила вся женская гимназия...

Потом всё это стало буднично и привычно. Давно пригляделись франтившие перед отправкой на войну прапорщики, примелькались монашеские косынки сестёр, будничнее и грознее стала казаться война, чаще ходили недобрые по городу слухи. Весною, перед экзаменами, у Сони Воронцовой убили на войне брата, и она неделю не ходила в класс, потом явилась заплаканная, бледная, с крепом на гимназическом значке. У многих девочек забрали отцов и братьев. Взяли из гимназии сторожа Степана, открывавшего парадную дверь и звонившего на лестнице в колокольчик: у Степана под лестницей, в каморке, которую он занимал, с маленьким оконцем на задний двор, оставались жена и ребёнок, и вся гимназия перебивала под лестницей смотреть маленького, ещё морковно-красного, фыркавшего приплюснутым носиком и топорщившего красные пальчики сына Степана, на Степанову заплаканную и растерянную жену Дашу, сидевшую на краю кровати со сбитым ситцевым одеялом, плакавшую горько и кормившую грудью ребёнка. Куда-то пропал, не летал по городу и базару серый Сашин рысак, не кричал неподражаемо, не ездил больше похожий на чёрного арапа угольщик-мужик.

V

Сперва казалось, скоро-скоро въедут храбрые русские генералы на белых и вороных конях в главный немецкий город, кончится война, и будет долго ликовать Россия. Немка Демицилия Адольфовна ходила сконфуженная, робея поднять глаза, а чтобы покрепче ей насолить, розовая и круглая Дуня Кудрявцева, сидевшая на крайней парте, перестала, как всегда делала раньше, вскакивать и закрывать за немкою дверь. Краснея, теряясь на глазах недружелюбно молчавшего класса, Демицилия Адольфовна неловко поворачивалась длинною своею, затянутой в форменное зелёное платье спиной и сама закрывала за собою стеклянную дверь. В то же время гимназисты до обморока качали на руках француза Эмиля Альфредовича Корню, высокого черноусого многосемейного человека, занимавшегося прежде скромным кондитерским ремеслом.

В гимназии было по-прежнему строго, и по-прежнему всякое утро рядами выстраивались гимназистки в большой белой зале, где смотрел на них хмурый и кудлатый Пушкин, пели молитвы и гимн; по-прежнему прямая и холодная, как статуя, стояла в дверях начальница Марья Васильевна, и, проходя парами, наклоняя головы, гимназистки приседали перед ней в реверансах.

А ещё строже, по распоряжению Марьи Васильевны (воинственное её и патриотическое настроение не мешало ей косо смотреть на франтивших по городу прапорщиков), стали следить за гимназистками классные дамы. По-прежнему раз, два раза в зиму бывали в гимназии балы, и начальница сама приглашала умевших себя держать кавалеров-гостей. На балах в гимназической зале, под портретом царя, в кружевной белой коробке, на особом возвышении стояла большая нарядная кукла с дорогим приданым, сделанным руками гимназисток на уроках Павлы Петровны, а на серебряном подносе лежал розовый запечатанный конверт с именем куклы. Это была особая, придуманная начальницей благотворительная

игра: надо было угадать имя куклы, а желавшие участвовать в игре (на балы съезжались богатые родные гимназисток) клали на поднос деньги — разумеется, в пользу раненых и увечных, пострадавших на войне воинов.

По-прежнему Великим постом, когда особенно была хороша и бела в последние свои дни зима, вся гимназия говела у гимназического о. Валериана, конфузливо спрашивавшего у девочек их детские грехи, короткими белыми и пухлыми пальцами листавшего на аналое книгу и накрывавшего девичьи клонившиеся головы пахнувшей орехами епитрахилью, красиво читавшего молитву. На причастие вся гимназия являлась в белых, накрахмаленных, туго хрустевших передниках, и день этот казался особенным и счастливым.

И по-прежнему, идя в гимназию, гимназистки нарочно проходили мимо красной церкви Бориса и Глеба, где под шатровой древнею колокольней с оравшими галками, с длинными сосульками на ограде, сидел всему городу известный безбородый и безбровый юродивый Огонёк. В гимназии было заведено издавна и считалось доброй приметой перед экзаменом и трудным уроком дать Огоньку копейку, попросить помолиться за рабу такую-то, имярек...

В конце долгой Пушкинской, обсаженной стриженными тополями, с белою паутиною свисавших, пухлых от инея проводов, недалеко от гимназии стояла шелкопрядильная фабрика. Это было кирпичное красное прямое здание с широкими решётчатыми окнами, за которыми день и ночь тускло и жёлто горели электрические лампочки, был слышен непрерывный жужжащий звук машин и несмолкаемый гомон женских голосов. На фабрике работали девушки-прядильщицы. Случалось, что занятия в гимназии и работы на фабрике оканчивались в одно время, и тогда оттуда и оттуда — из гимназии и красных ворот фабрики — вываливала на белый скрипучий снег голосистая текучая девичья толпа. Фабричные были в коротеньких жакетках, в валенках, с покрытыми вязаными платочками головами, с длинными, заплетёнными голубым шёлковым газом косами. Они валили серединою улицы со своими частушками-песнями, и плохо приходилось, ежели навстречу им попадались возвращавшиеся из гимназии гимназистки. Встречая чистеньких гимназисток, они задирали их зло, забрасывали снежками, валили в снег и щекотали, кричали вслед:

— Барышни, беленькие, в перчаточках, белоручки, а чёрт бы вас побрал!..

А больше всех донимала гимназисток Маша Груздова, самая бойкая из фабричных, дочь зареченского кузнеца Максима, чернобровая и долгоносая красавица. Она ловко догоняла хоронившихся от неё, с испугу ронявших книги и тетради гимназисток, подставляла им по-мальчишески ножку и валилась с ними в снег.

— Косы-то, косы-то! Мышиные хвостики! — кричала звонко, зло щекоча плакавших от обиды, визжавших гимназисток, теребила плохонькие их, действительно похожие на мышинные хвостики косы.

Гимназистки как огня боялись чернобровой красавицы Маши. Завидев её, они спешили поскорее перебежать на другую сторону, схорониться подальше, пробежать незаметно... Однажды у Павы Судейкиной, дочери исправника, вечером спешившей на гимназический бал, фабричные отняли мешочек с гостинцами и на глазах горько плакавшей Павы, дуя в зазябшие пальцы, разделили и слопали предназначавшиеся на бал слоё-

ные пирожки с вишневым вареньем. После этого случая на Пушкинской, подле гимназии, в часы роспуска стал дежурить городской Василий Князев, огромный и краснолицый дядька с белыми от мороза усами. Под его защитой гимназистки ходили смелее, а чтобы отомстить фабричным, при встрече задирали носы и начинали говорить громко по-французски заученными из хрестоматии словами:

— «Вороне где-то бог послал кусочек сыру...» — выступая важно, говорила, бывало, одна по-французски заученным из басни стишком.

— «На ель ворона взгромоздись...» — того важнее по-французски же отвечала ей подруга, делая строгие глаза и отворачиваясь от проходивших фабричных.

Смутно знали гимназистки о загородной, спускавшейся на обрыв, где зимою сваливали городские отбросы и бродили бездомные псы, глухой улице с деревянными домами, всегда закрытыми ставнями — в гимназии, в старших классах, тайно прочли «Яму» писателя Куприна, — и вся гимназия знала проститутку (слово это боялись выговорить вслух) Настю Танго. Знали её потому, что иной раз показывалась Настя днём, в какой-то странной ярко-жёлтой шляпе, ярко накрашенная, с угольно-чёрными длинными бровями, нарочно останавливалась там, где проходили гимназистки, и, с папиросой во рту, уперев в бока руки, перегнувшись, ненавистно смотрела на них прижмуренными глазами. Гимnazистки боялись взглянуть на страшное лицо Насти, чувствовали холодный и непонятный ужас и, точно чего-то стыдясь, спешили пробежать мимо, а редкая осмеливалась оглянуться на Настю, всё так же стоящую в неестественной позе, руки в бока, жевавшую папироску и хрипло и ненавистно хохотавшую гимназисткам вслед...

VI

Со второго года войны, после того как мужская гимназия отошла под казармы для стоявшего в городе запасного полка, в женской гимназии по вечерам стали заниматься гимназисты. Пылью, шумом и грохотом, непривычно топотнёю наполнился коридор и чистенькие классы женской гимназии. Больше всех сердился на гимназистов кривой Авдеич, гимназический сторож, ставший на место Степана, писавшего жене письма из немецкого плена (письма эти жене Степана, по-прежнему жившей под лестницей, приходили читать гимназистки, и о Степановых бедах знала вся гимназия). Авдеич ходил хмурый, сердито глядел одним глазом, сердито бубнил себе под нос:

— Жеребцы, ветрогоны, пакостники, за ними не уберёшься, всю гимназию перепаковали.

По утрам гимназистки находили в партах измятые окурки, а в уборных нестерпимо разило табачным дымом. Однажды на задней парте, где всегда сидела Зарецкая, объявилось послание от неведомого тоскующего гимназиста. На чёрной лакированной доске парты выведены были карандашом печатные знаки, что-то вроде: «И скучно, и грустно, и некому руку пожать...», а под ними две буквы — *Н* и *С*. На уроке французского, прикусив язычок и низко наклонив голову с чёрным бантом в косе, Зарецкая долго рисовала на парте вытянутую женскую ручку в гимназическом обшлажке, с браслеткой-часиками на запястье, и, удерживая смех, написала тоскующему гимназисту ответ: «Вот вам моя рука».

На другой день на парте оказалась отлично нарисованная мужская рука, крепко пожимавшая изображённую Зарецкой маленькую ручку, а в парте лежала записка, написанная чётким и прямым почерком, с предложением познакомиться и поговорить. Зарецкая, заранее радуясь своей затее, всегда готовая на выдумку, ответила гимназисту, что рада познакомиться, и сама назначила место: после занятий на углу Дворянской, под большим тополем. «А чтобы нам узнать друг друга, — писала она, — держите в левой руке книгу».

В тот день Зарецкая, как всегда, насажав гимназисток в маленькие ковровые санки, на которых приезжал за нею в гимназию скалозубый денщик Отрошка, очень любивший катать Лялиных весёлых подруг, нарочно поехала по Дворянской, и гимназистки, помирая со смеху, видели на углу под тополем стоявшего в грустном одиночестве с книгою в руке, длинноволосого и высокого гимназиста Колю Смоленского. Гимназистки прокатили мимо, а Коля ещё долго стоял один в мечтательном ожидании...

Тот год до самого февраля своею привычною жизнью продолжал жить город. Как всегда, по воскресеньям и средам хаживали люди на базар, где лохматые мужики с сосульками на усах продавали пахнувшие деревом кадушки и живых, отчаянно визжавших поросят; ходили в собор слушать по большим праздникам приезжавшего из Москвы знаменитого протодьякона Розова; ссорились, праздновали именины, поигрывали в картишки и служили молебны. Как всегда, в часы окончания работ, усталые и молчаливые, угрюмо валили рабочие с фабрики. По-прежнему начальница казённой гимназии Марья Васильевна соперничала в строгости порядков и благочинии с начальницей гимназии частной, тоже Марьей и тоже Васильевной. И по-прежнему месили на улицах солдаты рыжий снег, а бойкие прапорщики, ведя роту и встречая проходившую по тротуару хорошенькую городскую барышню, подмигивали солдатам, и рота отхватывала так, что шарахались у ехавших с базара мужиков лошади и дребезжали в окошках стёкла:

Здравствуй, Маша, здравствуй, Даша,
Здравствуй, милая моя!..

Зимой, перед Февральской революцией,стряслась история с маленькой и тишайшей Зюечкой Прибыловой, надолго переполошившая всю гимназию. Зюечка два дня не приходила в класс, а на третий неведомо от кого по гимназии прокатился слух, что Зюечку увезли с собою в Москву офицеры. Пришла Зюечка только на четвёртый день, и вся гимназия встретила её так, что Зюечка, и не подозревавшая, какие про неё ходят слухи, узнав о причине недоброго к себе отношения (сама Зюечка уверяла потом, что она только прокатилась две станции, провожая двоюродного брата), вдруг стала неузнаваемой, стала дерзить подругам, наговорила грубостей начальнице, вызывавшей её в кабинет на объяснение, и постановлением педагогического совета Зюечку исключили из гимназии. Это был единственный за всё время существования гимназии случай.

Дни были тёплые, текло с крыш, оголтело кричали, предчувствуя весну, воробьи. Город стал похож на большую разворошённую муравьиную кучу. Люди были как воробьи, обрадовавшиеся весне. По городу ходили толпы; исчез куда-то, словно провалился, городской Василий Князев; арестовали и отпустили вышедшего на дежурство, потерявшего голову жандарма

Трушко, любителя голубиной охоты; в женской гимназии по ошибке вместо портрета царя Авдеич снял и отнёс на чердак портрет самого Пушкина. Марья Васильевна встретила революцию как новое и великое испытание и ещё с большею строгостью сама стала следить за нерушимостью установленного порядка, а гимназистки слышали, как она делала строгий выговор Авдеичу, забывшему по случаю революционных торжеств стереть пыль с ножек рояля. В гимназии о. Валериан служил молебен, и гимназистки, как прежде, чинно стояли в белых парадных фартуках, а после молебна Марья Васильевна обратилась с речью, требуя от гимназисток ещё большего внимания к своим обязанностям, объявила под конец, что с этого дня им разрешается носить открытые на платьях воротнички. На другой день почти все гимназистки явились в класс в переделанных платьях, с голыми шеями.

Тогда же ходили отпирать тюрьму. Чёрная на снегу толпа — гимназисты, солдаты, рабочие, родственники и приятели сидевших в тюрьме воров — стояла у большого красного закопчённого здания тюрьмы, требовала освобождения политических. Сверху, залепляя решётки серыми пятнами лиц, жадно смотрели арестанты. У ворот тюрьмы спорил с толпой высокий бородатый старик надзиратель с ключами у пояса, бил себя в грудь и божился, что нет в тюрьме политических, не хотел отдавать ключей, и толпа, не веря на слово бородатому, выбрала делегацию (главным в делегации был гимназист Коля Смоленский) для проверки.

Однажды на уроке физики вызвали из класса сестёр Чувствиных, двух пухленьких и белокурых, недавно переведённых из другого города девочек, до восьмого класса носивших короткие платьица, писавших в альбомы стишки, неловко носивших в те дни свои красные бантики. Чувствиные вышли милово побелевшие, а на другой день в гимназии знали, что арестован и посажен в тюрьму отец Чувствиных, жандармский полковник, недавно присланный в город. Арестовали и отца Павы Судейкиной, а по городу было немало разговоров о том, как мать Судейкиной, роскошная и важная дама, полдня стояла на коленях перед новым начальством, вымаливая прощение мужу, и побеждённое её упорством начальство обещало Судейкина отпустить.

Те дни было в гимназии суетно и невесело; для многих гимназисток странными, пугающими казались проплывавшие под окнами красные флаги. И только Ава, одна из всего класса, была на своём месте, и никогда ещё не видывали подруги её такую деятельной и возбуждённой. Тем ужаснее и непостижимей показалась разразившаяся над Авой беда.

VII

Тот роковой для неё год Ава удивительно изменилась. Перемена с нею произошла летом в деревне, где она была на уроке, а в гимназии её не узнали — так она располнела, округлилась, так поднялась её грудь и изменилась походка.

Ава конфузилась этой происшедшей с ней переменой, краснела от шуток подруг, её поздравлявших, сердилась, отвечая невпопад, носила платье так, чтобы неприметнее была фигура. В восьмом классе гимназистки чувствовали себя взрослыми, держались барышнями, и, по распоряжению Марьи Васильевны, у них, в отличие от младших, которым давали они пробные уроки, была особая форма: серые гладкие платья и чёрные фартуки. Ава,

готовившаяся стать учительницей, изо всех сил выбивалась, стараясь заслужить любовь младших классов. Она целые дни проводила с ними. А как сердилась она, когда маленькие, крича и визжа, вскидывая на спинах косёнки — мышинные хвостики, — кидались от неё к Зарецкой, стоило только той показаться.

— Ляля, Ляля! Зарецкая! — визжали они на все голоса, скача вокруг Зарецкой, смеявшейся с ними и закрывавшей себе ладонями уши.

— В салочки! В салочки! — кричали другие, предлагая любимую игру.

— Танцевать! Танцевать! — пронзительно требовали третьи...

Однажды, в самую сумятицу комитетов, торжеств и речей, придя в гимназию утром, восьмиклассницы увидели на доске написанное мелом, чётким и прямым почерком, обращённое к ним послание восьмиклассников-гимназистов. Гимназисты уговаривали гимназисток объединиться с ними, учиться совместно, и для почина предлагали устроить собрание и общий избрать комитет.

Весь тот день восьмой класс горячо обсуждал послание гимназистов. Класс, с Зарецкой во главе, стоял против, и Зарецкая, поднимаясь на цыпочки, кроша мел, сгоряча лепя ошибку на ошибку, загибая строки вверх, написала гимназистам ответ. Она писала вкривь и вкось по доске, что они — вся женская гимназия — знать не знают дурацких предложений. Написав это, она остановилась перевести дух, прочла вслух и, не утерпев, добавила к написанному уж на самом краешке доски, что, мол, «совсем не для революции вы к нам подъезжаете, а только бы поухаживать за хорошенькими, а мы вам нос, нос, нос!» — и в самом деле в завершение изобразила на доске большой, предназначавшийся гимназистам нос. Против такого добавления пробовали возражать наиболее серьёзные гимназистки, но Зарецкая завизжала так, что, хочешь не хочешь, пришлось покориться, и ответ гимназистам остался неприкосновенным.

— Это у них Коля Смоленский всё верховодит, я по почерку знаю! — продолжала она воевать. И, крепко ухватив за руку хорошенькую и застенчивую, вырывавшуюся от неё Марусю Погодину, за которой на последнем балу ухаживал Коля, обнимая её и близко засматривая в лицо, стала упрашивать, обдавая её своим дыханием: — Марусенька, голубушка, солнышко, милосенькая, Марусенция, пожалуйста, наставь твоему Коле нос!..

Застрелилась Ава вскорости после ареста отца сестёр Чувствиных. Однажды Ава не пришла в класс. Это было тем более удивительно, что Ава, не опаздывавшая никогда, тот день должна была быть на собрании с гимназистами, назначенном, несмотря на ответ Зарецкой (на сумбурное и неграмотное письмо Зарецкой Коля Смоленский отозвался снисходительной насмешкой, назвав автора его маменькиной дочкой и несознательной). В тот день узнали, что Ава больше никогда не придёт в гимназию. Нашли её на валу в беседке, на «Блюдечке» над рекою: она лежала мёртвая, лицом вниз, на оттаявшей земле, с простреленной грудью. Рядом на льду, под скамейкой, валялся большой чёрный револьвер...

А на другой день весь город и вся гимназия знали, что причиною гибели Авы было сразившее её и потрясшее весь город открытие: отец её, честностью и чистотой которого так гордилась перед подругами Ава, был предателем, давно служил, как выяснилось, в царской охранке, а выдал его отец Чувствиных — всё это на допросе, и при очной ставке с Чувствиным с несомненностью объявилось.

День, когда застрелилась Ава, был ясный, весенний; надулась и посередела река. На время смерть Авы заслонила в гимназии и отодвинула всё

другое. Хоронили её гимназистки очень торжественно. В гробу Ава была неожиданно хороша. Она лежала с утончившимся, прозрачным и спокойным лицом, с тесно сжатыми губами, чужая и далёкая тому, что совершалось и проходило над её гробом, похожая в украшавших её цветах на невесту. Провожали Аву как любимую сестру: навзрыд плакал весь восьмой класс, а горше всех ревела над гробом Зарецкая Ляля. Зарецкая сама ходила выбирать на кладбище место, сама хлопотала и заботилась о торжественности похорон так, точно это имело для неё какое-то особое и большое значение. И весь восьмой класс шёл за белым, открытым, колыхавшимся на руках, как ладья, гробом. Весенний ветер дул сильно с реки; лицо Авы было открыто; яркое солнце освещало гроб. На углу Дворянской навстречу гробу двигалась манифестация. Город всё ещё праздновал революцию, и манифестация была многолюдна. Коля Смоленский шёл впереди, нёс надутое ветром красное знамя.

Похоронили Аву на старом кладбище, за Николо-девичьим монастырём. Зарецкая сама хлопотала о кресте над могилою Авы. Крест был самый простой, маленький и дешёвый, и, может, потому, что был он очень прост, казался он среди чугунных и каменных плит лёгким и красивым.

VIII

О смерти Авы очень скоро забылось. Некоторое время говорили по городу обо всей истории, повторяли новое слово предатель, передавали, что и кличка у этого человека, столь ещё всем памятного, была собачья — Полкан. Рассказывали, будто обоих их — самого Городцова-Полкана и выдавшего его жандарма Чувствина — кто-то видел в тюремной церкви на первый день Пасхи, у плашаницы. Потом о судьбе их ничего не стало известно. Да и всю эту историю, одну из множества пережитых других, город забыл навсегда и прочно, совершенно так, как навсегда и прочно забыто многое другое.

Последний раз вспомнили гимназистки Аву на выпускном балу, после акта. Тот год акт проходил с обычной торжественностью: по-прежнему в зале, под портретом Пушкина, стоял большой, накрытый малиновым сукном стол. По-прежнему вызывала Марья Васильевна стоявших в накрахмаленных фартуках выпускных гимназисток и протягивала через стол отпечатанные на синеватой плотной бумаге аттестаты и каждой говорила несколько ласковых напутственных слов, а гимназистки делали глубокие реверансы и, отходя, вынимали платочки... Мямлил что-то, плевал на кончики пальцев сидевший рядом с Марьей Васильевной лысый директор; смешил гимназисток торчавший на краю стола гимназический письмоводитель Будкин — Кувшинное Рыло, до смерти робевший Марьи Васильевны и от смущения потевший так, что блестел нос.

После акта, как водится, попрощавшись с начальницей и учительницами, впервые подававшими им, как ровне, руки, обежав на прощанье все уголки гимназии, поплакав и расцеловавшись под лестницей со Степановой женой, распростившись с ежегодно плакавшей в этот день Опёнок и соблюдая обычай, выпускные гимназистки устраивали в гимназии вечер. Они сами готовили угощенье, сами стряпали и сдвигали столы. Муся Половинкина, дочь городского трактирщика, доставила на бал посуду

и огромный трактирный самовар. А вечером гимназистки явились в новых белых платьях с мережкой, завитые и в причёсках (с косою пришла одна Зарецкая, никак не хотевшая расстаться со своим чёрным бантом). Зарецкая была и старшею распорядительницей бала, гордо носила свой, цвета сомон, распорядительский бант, встречала на лестнице гостей, распорядилась буфетом и танцами. Она была так хороша и весела, что приглашённые на бал кавалеры были от неё в восхищении и, заставляя её краснеть, как у хозяйки бала, наперебой целовали у неё ручки. По обычаю, пели студенческие песни и читали стихи. На возвышении, под портретом, стояла Тонечка Петухова и, волнуясь, заливаясь до ушей краскою, декламировала модные тот год стишки²:

Молнии нас озарили,
Мы на распутье стоим,
Мёртвые в гробах почили,
Дело настало живым!..

Разговор вперемежку шёл о революции, о танцах, о женских курсах и университете (на балу присутствовал и Коля Смоленский, он весь вечер просидел в углу, разговаривая со строгой Фисой, смотрел на танцующих и вскидывал падавшие на лоб длинные свои волосы). Гимназисты лопали угощенье, танцевали и ухаживали, щипали усы и в шутку называли курсы, на которые собирались поступать гимназистки, «исавскими» (от церковного венчального возгласа: «Исаия, ликуй!»). Оля Яковлева, первая сорвиголова, добыла откуда-то и принесла на вечер пузатую, оплетённую травой бутылочку, и, собравшись в уборной одни, чувствуя себя заговорщицами, гимназистки выпили по крошечной рюмочке обжигавшего рот коньяка, чтобы живее блестели глаза. Вечером расхोлившаяся Оля, похожая лицом на деревенскую молодую, бойко плясала русскую, плавала уточкой по паркету, крутила над головой белым платочком, и ей хлопали так, что в зале упала и разбилась большая китайская ваза.

А к полуночи гимназисткам захотелось опять поплакать, побыть одним — «в самый последний разочек», как говорила Ната Сухина. И, выпроводив кавалеров, потушив в зале свет, они оставались в гимназии до утра. Они сидели одни в своём большом, ночью казавшемся каким-то особенным и высоким, классе, доедали припрятанное от гимназистов угощенье, в последний раз прощались с гимназией. Им было хорошо, они обнимались, наперебой говорили, плакали, вспоминали гимназию и клялись встречаться и сходитья так каждый год. Потом кто-то шутя погасил в классе электричество, и на белом потолке недвижными косыми полосами лёг мертвенный, проникавший в высокие окна свет уличного фонаря. В темноте стало тихо, жутко и таинственно. Гимназистки сидели обнявшись, притихнув и прислушиваясь к наполнившей коридор и порожние классы гулкой и притаившейся ночной темноте, слушали, как глухо и быстро бьются сердца. В эту минуту и вспомнила Зарецкая Аву. Она вздохнула, обняла крепко сидевшую с ней Нату Сухину и, вслушиваясь в тишину с широко открытыми глазами, прошептала ей в самое ухо так, что тихий её шёпот услышали все:

— Слышишь? Слышишь? Ава!.. Это Ава идёт!..

И на минуту всем почудились в тёмном коридоре тяжёлые шаги Авы. Стало так страшно, и всем вдруг так живо представилось за открытую

в коридор дверью Авино бледное лицо, что ещё минута, и, кажется, все бы сошли от страха с ума. Зарецкая опомнилась первая; она сама открыла свет, и когда опять стало в классе легко и светло от вспыхнувшего под потолком белого шара, гимназистки не могли узнать себя: были они бледны и испуганны. Чтобы скорее прогнать ночной страх и забыть всё худое, Зарецкая нарочно громко стала шуметь и вертеться по классу. И это ей почти удалось. А к утру (утро встретили в гимназии) об Аве, о ночном страхе, о страшных ночных разговорах забылось, теперь уже прочно и навсегда.

Примечания

¹ Действие рассказа происходит в подмосковном городе Коломна. В произведениях же А.С. Пушкина («Медный всадник», «Домик в Коломне», «На углу маленькой площади...») речь идёт не о городе Коломне, а о районе старого Петербурга, именовавшегося также Коломной.

² Искажённые строки из стихотворения И.С. Никитина «Медленно движется время...». Правильно:

Молнии нас осветили,
Мы на распутьи стоим...
Мёртвые в мире почили,
Дело настало живым.

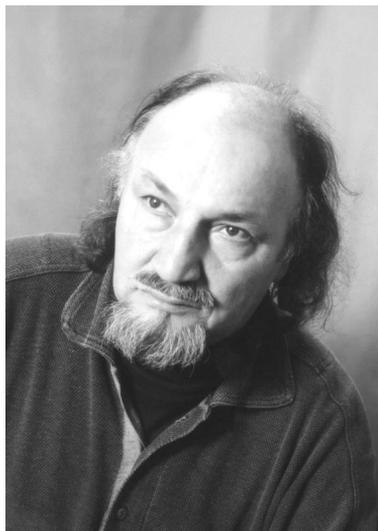
Примечания *А.И. Кузовкина*

ГОСТИНАЯ





Фото Виктора Смыслова



Константин Константинович Коледин родился в 1940 году в Мурманске. Воспитывался в детском доме и военно-музыкантской школе. Жил в Белоруссии, Саратове, Москве. Первая публикация — подборка стихов в газете «Советское Полесье» (1957 г.). Автор книг «Построю дом» (1972), «Кольцо перемен» (1988), «Семь небес» (1992), «Проснись, любимая...» (2000).

В поэзии К. Коледина остро чувствуется трепетное и бережное отношение к классической литературной традиции, связанной с именами Ломоносова, Державина, Пушкина, Тютчева, что не мешает его стихам звучать свежо и современно.

Константин КОЛЕДИН

СТУЧИ, МОЁ СЕРДЦЕ...

* * *

Весь сад усыпан переспелой сливой,
Поникшим веткам не сдержать плодов.
Я здесь хожу усталый и счастливый
В предчувствии недалёких холодов.

Ещё не осень. Тёплыми ночами
Блуждает воздух, сладостен и юн,
И тихий сад, баюкая, качает
На влажных листьях сотни полных лун.

И лишь во сне невидимая птица
Воскликнет и умолкнет, обомлев.
И хочется мне в пояс поклониться
На все четыре стороны земле.

* * *

Осторожно пройдусь по памяти,
И сквозь мелкий, навязчивый вздор,
И сквозь глыбу города каменного
Я увижу твой тёплый двор

С колокольной гнезда над хатою.
От стрехи и до хламной межи
Здесь снуют воробьи лохматые,
Как отстрелянные пыжи.

Здесь жалейкою стонет жалоба
Надколодезного журавля.
И крыльцо своё, словно палуба
Небопарусного корабля.

Только память летит, обличая нас,
Бьёт за каждую ерунду.
...Как ты молча, тихо отчаялась,
Вдруг увидев, что я не приду.

Не просила меня, не настаивала,
Не ругала, не выгнала прочь.
Ты смотрела в окно, как оттаивала
Петухами опетая ночь.

И заплаты кривились хитрые,
И рябил частокол, и на нём
Почивали кринки с макитрами,
Перевёрнутые вверх дном.

В то лето

В то лето, голубое лето,
Когда я был совсем другой,
Когда мы с Данькой без запрета
Сажали рыбу острогой,

А ты нас издали встречала,
Звала на танцы и в кино,
У деревянного причала
Крутилась, как веретено.

И платья редкая холстинка
Была до ужаса легка.
И эта белая косынка,
И эта круглая рука...

И грудь, не знавшая корсета,
И брови светлые дугой.
...В то лето, голубое лето,
Когда я был совсем другой.

* * *

И вдруг я проснусь в этом давнем местечке,
Не зная когда и не зная зачем.
Блажной меринок, потрясая уздечкой,
По брюхо залез в помутневший ручей.

И в памяти, словно в тумане, упрятан
За лёгкой речонкой недалёкий овин.
Как будто бы здесь я был полон когда-то
Каких-то забот и какой-то любви.

...Теперь и не вспомнить, каким это домом
Я больше всего на земле дорожил.
Ни дружбы, которая горечи комом,
Ни счастья, которое я пережил.

* * *

Не знавшее в жизни остуды,
Стучи, моё сердце, стучи.
Акации белые груди
Блестят под луною в ночи.

Умолкли в кустах перепёлки,
И, словно храня мои сны,
Застыли тяжёлые ёлки,
Как возле кремлёвской стены.

Хочу, чтоб высоко над хатой
Качалась луны колыбель,
Чтоб было всё так, как когда-то
Я это оставил тебе.

Пуškai, прорезая мне душу,
Жалейка тоскливо поёт.
Пуškai никогда не осушат
Великих полесских болот.

Пусть радостный, неистребимый,
Хранимый в высокой мечте,
Твой голос далёкий, любимый
Покличет меня в темноте.

СЛИВЫ

Позабылись слова. Что такое слова?
Только помню: была ты почти невесома.
Я в холодные щёки тебя целовал
В недостроенном срубе соседского дома.

Ты боялась лицом прикоснуться к лицу,
Напрягались, дрожа, тонких веток тетивы.
И стучали, стучали всю ночь по крыльцу,
Опадая, тяжёлые мягкие сливы.

Не забыть ни минуты, ни часа, ни дня,
Ни прощального взгляда, ни долгого вздоха.
Кулаками колючими метит в меня
Сухопарое полчище чертополоха.

Что ж, на завтра я снова отсюда уйду
И работать работу, и мыкать дорогу.
И, быть может, родился я в этом саду,
А в других я лишь только старел понемногу.

Здесь, как прежде, подковой блестит водоём,
И скрипит коростель, и чернеет ограда.
И как прежде, меня осыпают дождём
Переспелые сливы забытого сада.

* * *

Ростом вышел паренёк —
Головой под потолок,
Он и пашет, он и жнёт —
Во деревня, во даёт.

А как выкатится в круг,
Каблуками — стук да стук.
Да вприсядку, взад-вперёд —
Во деревня, во даёт.

А гармошка горяча —
От плеча и до плеча.
И глухой разинет рот —
Во деревня, во даёт.

Как срубил себе избу,
Петухи глядят в трубу.
Так и ахнул весь народ —
Во деревня, во даёт.

А невесту сговорил —
Чуть людей не уморил.
До плеча не достаёт —
Во деревня, во даёт.

Пригласят к себе гостей —
Стол прогнётся от сластей.
Чай индийский достаёт —
Во деревня, во даёт.

Народили пацанов —
Не накупишься обнов.
Всяк и пляшет и поёт —
Во деревня, во даёт.

* * *

И была у собаки хата.
В хате — печь да плита.
Было у меня два брата —
Один — сирота.

А ещё в ней было оконце,
Всего два окна.
В каждом оконце — по солнцу.
В одном — луна.

И случись на меня напасть,
Такая, видать, звезда:
Было у меня два счастья —
Одно — беда...

* * *

Ну что ж, она теперь святая,
Уж если так хотите вы.
Теперь к ней ангелы слетают
И поклоняются волхвы.

Навек ушедшая от мщенья
Порока жаждущей толпы,
Теперь пребудет утешеньем
Для всех увечных и слепых.

Она сидит, потупя очи,
Благообразна и тиха,
Как будто никому не хочет
Поведать тайного греха.

* * *

Как тихо проходят часы ожидания.
Истлеют в кострище зари облака.
Нас мягко несёт на краю мирозданья
Большая земля и большая река.

**Песчаные отмели зыбью покрыты,
Там звёзды подпрыгивают и кипят.
Придонные рыбы, наверное, сыты,
Уткнувшись в коряги громадные, спят.**

**Пусть бакены медленно вверх проплывают,
Пусть крутит нас Волга за петлей петля.
Мы живы с тобою, и нас согревает
Живая река и живая земля.**

Глубокоуважаемый Виктор Семёнович!

Сердечно поздравляем Вас и Ваших коллег, всех авторов и многочисленных читателей «Коломенского альманаха» с выходом в свет десятого выпуска!

Публикуемые в альманахе произведения отличаются высоким вкусом, хорошим русским языком, а их тематика охватывает все основные вопросы современной жизни. Знаменательно, что исторические страницы «Коломенского альманаха» знакомят читателей с историей Вашего древнего города и района в тесной связи с историей России. Нельзя не отметить высокий уровень художественного оформления альманаха, прекрасные иллюстрации, выполненные коломенскими и московскими художниками и фотографами.

Давняя дружба связывает Вольную академию духовной культуры с музеями Ф.М. Достоевского в Москве и Зарайске, Пушкинскими и Лермонтовскими музеями, мы провели циклы бесед об А.С. Пушкине, Ф.М. Достоевском, Ф.И. Тютчеве, С.А. Есенине, А.А. Блоке, М.А. Шолохове, Н.М. Рубцове и др., и нам отрадно было встретить эти дорогие всем имена на страницах Вашего альманаха.

И ещё одно сближает Академию с альманахом — некоторые из Ваших авторов и героев были в разное время гостями нашей Академии: В.В. Кожин, Ю.П. Кузнецов, В.В. Васильев, С.С. Куняев, Г.Б. Пономарёва, А.Б. Вульф, были нашими гостями и члены Общественного совета альманаха Л.И. Бородин и В.Н. Крупин.

Десять лет — возраст вроде и не большой, по человеческим меркам — это ещё пора детства, но далеко не все издания, возникшие за эти годы, сумели дожить до такого возраста. А «Коломенский альманах» сумел не просто выжить, но и постоянно совершенствоваться, пополняться новыми авторами, сохраняя основное ядро. Показав свой высокий уровень уже с первого номера, Вы сумели не только удержаться на этой планке, но и подняться ещё выше. И в этом, конечно, заслуга Ваша, как главного редактора, Ваших коллег, и заслуга всех Ваших меценатов, начиная с Главы города Коломны, неизменно оказывающего Вам свою поддержку.

Поздравляя Вас с десятилетием альманаха, хочется пожелать Вам творческого долголетия, интересных публикаций, новых молодых авторов, сохраняющих и преумножающих художественные традиции альманаха, а нам — ещё многих встреч с Вашим замечательным изданием и... чтобы в нашем городе и других городах Подмосковья появлялись его собратья!

Президиум Вольной академии духовной культуры



Валерий Фёдорович Михайлов родился в 1946 году в Караганде. Окончил геофизический факультет Казахского политехнического института. Его стихи печатали многие литературные издания России и Казахстана: «Наши современники», «Москва», «Сибирские огни», «День литературы», «Простор» и другие. Автор семи поэтических книг, вышедших в Алма-Ате и Москве. Документальная повесть «Хроника великого джута» — о гибельной коллективизации в Казахстане — выдержала в последние годы три издания.

Член Союза писателей России и Союза писателей Казахстана.

Работал главным редактором «Казахстанской правды». Сейчас — главный редактор журнала «Простор».

Валерий МИХАЙЛОВ

ГДЕ-ТО БРЕЗЖИТ СЛОВО...

* * *

Неужто это я бегу по тёплым лужам
Под дождик проливной, сшибая пузыри,
Как будто бы земле до капельки я нужен,
Как эти пузыри, с их радостью внутри...
И, пятками блестя счастливыми, босыми,
На солнышке слепом в прогалах
быстрых туч,

Неужто это я под струями косыми
На всю катушку жив и, словно дождь,
певуч...

А как просохнет степь —
вслед за бумажным змеем
Неужто это я воздушною душой
Взмываю в небеса, и долго-долго рею,
И весь наш вижу мир, прекрасный
и большой...

Но целый век прошёл — и притомилось
сердце

Гнать медленную кровь по кругу лет
и жил.

На пустоту времён ничем не опереться...
Неужто это я когда-то где-то жил?..

* * *

...И чем дальше, тем больше любви:
Сердце всё раскрывается слепо
Непомерному чуду земли,
А быть может, и неба, и неба.

Так, наверное, чует строка,
Пробуждаясь, стихов приближенье,
Так, наверное, чует река,
Разливаясь, морей продвиженье.

Не пойму, то ли день, то ли ночь,
И не вижу, не чую причала...
Неужель океанская мощь
Это только начало, начало?..

* * *

Он вспомнил степь, горячий лик небес,
Клубки сухой травы, волну печали
И вопль немой: «Зачем, зачем я здесь?» —
Всё, что судьба дала ему вначале.

В тот миг душа, рыдая, поняла,
Что родина, как миф, недостижима.
Лишь речь родная сына приняла,
Всё остальное прокатилось мимо.

«Земля чужая, я ль тебе чужой,
Когда тебе впервые удивился.
Земля родная, я ль тебе родной,
Когда я на чужой земле родился.

О, детства сон и невозвратный след,
Тоска по родине, как кровь, сырая.
Полуседой, на твой пречистый свет
Вернулся я. А вот зачем, не знаю».

* * *

День измерен сияньем золотых куполов.
Поутру из окошка подъездного серого
Михаила Архангела вижу покров —
Три креста средь бетона, как мир, оголтелого.

А пройдёшь филиал преисподней — метро,
И душе, после толп сумасшествия тихого,
Благородной отрадой повеет остро
От могучего шлема Ивана Великого.

Переулок арбатский тоскою томит:
Крив и тесен, от ветхости нету спасения.
Но за мрачным изгибом он вдруг подарит
Золочёным крестом. Это храм Вознесения.

Не прикажешь вовеки ни сердцу, ни снам,
И душа не летит за границу чухонскую.
В небеса ли уйдёт... но уже где-то там
У крестов над московской страной вавилонскою.

* * *

Наши погостики лёгкие, милые,
Крашены краской какой-то голубенькой,
Крестики там покосились, хилые,
Звёзды по тоненькой жести нарублены.

Нету почти там гранита тяжёлого,
Мрамора ясно-холодного, скользкого,
И на оградках потрескалось олово.
Кустики, яблоньки... столько в них свойского.

Наши погостики славные, нищие,
Дождиком вымыты, солнышком крашены,
Там воробьи важно кормятся вишнями,
Стопкой гранёной бродяжки уважены.

Наши погосты, как небо, свободные.
Чисто жилось — так добром поминается...
Значит, такие здесь Богу угодные,
Стало быть, так оно и полагается...

* * *

Он ничего не говорил,
А только песни пел и слушал,
И ни глотка не пригубил,
Не потревожил зельем душу.
Она и так больным-больна,
И без того ей нет покою,
Как та родная сторона,
Что стала словно неродною.
Потом он вышел на крыльцо,
Под небесами очутился,
И, запрокинувши лицо,
Вновь тихим звёздам подивился.
Они сверкали в вышине
И медленно куда-то плыли,
И, понимая всё вполне,
Ни слова не произносили.

* * *

Она в каком-то блёклом платье,
Он в немудрящем пиджаке,
Чуть грузноваты, с крепкой статью, —
Идут себе, рука в руке.

Навстречу люди деловые,
Кто как пройдёт, кто глянет вслед —
Что, дескать, вроде пожилые,
А вот те на, как в двадцать лет!

Но, видно, мир им не в обузу:
Шагают дружно, широко,
И этих пальцев заскорузлых
Соприкасание легко.

И, видно, что-то есть на свете
Сильнее, чем прохожих суд, —
За руки взявшись, словно дети
Или влюблённые, —
Идут...

* * *

Тонкие веточки клёна
Выстрелились удлинённо
К синей неведомой цели.
Мне ли не помнить вас, мне ли?
Кожицу эту живую,
Гладкую и тугую,
Тронь — и сверкнёт зеленцою
Глянец под сизой пыльцою.
Ах вы, кленовые стрелы,
Как же вы рвётесь в пределы
Непостижимой стихии,
Чуя пространства родные.
Где-то в растаявшей дали
Мне ль вы о чём-то сказали
Ясным и звонко-зелёном,
Ведомом только лишь клёнам.
Ну так летите, летите,
Да заодно уж простите
Наши грехи молодые —
То бишь свистульки резные.

* * *

Во мгле моей пустынно и сурово
Под сводами небесной немоты,
Лишь несказанно где-то брезжит слово,
А в слове том как свет сияешь ты.
Ты словно свет негласна, незакатна,
Ты просто льёшься из самой себя.
Вся тьма моя тебя вбирает жадно
И исчезает, смерть свою любя.
Я уйду в пространства иные,
Мне целый мир не больше, чем тюрьма,
И на лучи твои на светло-золотые
Душа моя летит к тебе сама.

* * *

Клин вышибается клином...
Клином летят журавли
В медленном небе пустынном,
Клики роняя свои.
Что ж вышибается клином?
Слёзы мои и твои.

Исподнебесные звуки,
Крыльев натруженных стон,
Клики в пустыне разлуки...
...Нежность пронзала нам руки,
Мы растворялись друг в друге
Невозвратимых времён...

Крови пронзённые током,
В строгом труде одиноком
Тают и тают вдали
Клином летящие птицы,
В небе спеша раствориться,
Будто им мало земли...

Полёт

Листом, раскрытым смерти иль спасенью,
Давно ли жизнь моя оттрепетала?
А ветер осеняет всё осенней,
И вот я прочь лечу куда попало.

Но на изломе синем светотени
Не я ли невесомо вновь качаюсь
И в тихом позолоченном паденье
Душой
последней музыки касаюсь...

От гулкой бездны до молчбы суглинка
Я только росчерк тающего дыма,
Закатом освещённая былинка,
Чья молвь на воздушях неуловима.

Но небо помнит кружево полёта
И понимает сокровенность знака —
И песнь мою, что не расслышал кто-то,
Хранит как молнию над бездной праха,
Как росчерк света средь земного мрака.

* * *

Из глубины земной в окно глядит криница,
Колодезной водой летит звезда упиться.

Ночные облака плывут под небесами.
В них светятся века немymi полуснами.

Куда они плывут? Неведомы пределы.
Все времена живут, и все мгновенья целы.

И души-мотыльки, что от земли вспорхнули,
Во свете той реки навеки утонули.

Душа моя полна, как парус поднебесный,
Живым, как времена, дыханьем чистой бездны,

Где чудится, как свет, пустынная дорога,
По истеченью лет, до Отчего порога.



Валентина Григорьевна Ерофеева родилась в казачьей станции Благодарное в Оренбуржье. Стихи начала писать, будучи студенткой Оренбургского педагогического института.

С лета 1999 года являлась жительницей Москвы и Оренбурга одновременно. Занималась преподавательской деятельностью. Выпустила две книги стихов.

Печаталась в журналах «Москва», «Поэзия», «На берегах Тавриды» и др.

В настоящее время живёт в Москве. Работает в газете «День литературы». Член Союза писателей России.

Валентина ЕРОФЕЕВА

НА ЗАКАТЕ — ТЛЕЮТ ОБЛАКА

* * *

Над Россией — зима.
Говорят, что такой не бывало,
Что природа сама
Удивляется блажи своей
И никак не решит,
Где конец, а где будет начало
Кутерьмы той весенней,
В которой пробьётся ручей
И нальются сады,
истекая предвечною негой —
Ожиданьем рожденья
зелёного сердца земли.
И оглохнет в восторге
печальное звёздное небо,
Услыхав на рассвете,
как могут любить соловьи.

Но пока здесь зима.
Да такая, какой не видали.
И природа сама
всё колеблется
быть или не быть?
Или вместе с рассветом
забыться в тоске и печали,
Или бездну пороков —
человека —
как прежде, любить.

* * *

Плачет, плачет,
плачет небо.
Беспрестанно слёзы льёт.
Третий месяц кто бы, где бы
Успокоил этот сход
Влаги вечной, бесконечной
И излишеством — пустой.

Утонул в ней лес беспечный,
Скудной хлипкою листвою
Не успев раскрыться солнцу
И возрадоваться с ним
Аромату колокольцев,
Медуницам золотым.

Утонуло поле, вязко,
Заболоченно паря,
Урожай обильный ряски
Ждёт к исходу сентября.

Утонули чьи-то беды,
И обиды там — на дне,
Оттого что плачет небо
О потерянной стране,
О ненайденной свободе,
О забытых именах.

Век двадцатый на исходе.
Небо родины в слезах.

* * *

Журча, звенит сухая ночь...
Но дай Бог силы превозмочь
Её разломанный поток,
Испепеливший мой порог,
Лишивший сна, лишивший сил,
Отнявший всё, что ты любил,
Воспевший пустоту и мрак
И вперивший свой тёмный зрак
В остатки отражённых лет.
Им невозможно крикнуть «нет»,
Их невозможно растоптать
И раздавить, и расшвырять
По свету пеплом пустоты.

Звени, сухая ночь. И ты
Достойна утренней зари,
Но душу мне не разори.
Не трогай. Пощади меня.
Дай насладиться светом дня.

Памяти Николая Рубцова

Загадочная русская душа
Взлететь всегда готова к поднебесью.
Ей на земле до одичанья тесно,
Тоскливо в суете, когда спешат,
Куда и с кем? — не ведая про это.
И забывают помянуть поэта,
Пришедшего кануном Рождества
Грустить по родине, так нежно им любимой,
И вопреки законам естества,
Для человека жёстко возводимым,
То быстрой ласточкой, то горестной вороной,
То стылым терпеливым воробьём —
Иль вольной сильной птицей, осторожно,
Крылом, скользяще лёгким на подъём,
Взлететь, не нарушая тайны
Глубоких снов недвижимых деревень,
И плыть в истоме нежной и печальной
Над светлым Храмом родины своей.
И в нём угаснуть...

Ожиданье

Озвученные каплями дождя,
Бесшумные шаги струятся слепо
И формируют ожиданья слепок,
Не прикасаясь, мимо проходя
И разнося встревоженные волны
Угаснувшей в бессилье тишины.
Терпеньем ожиданье полно.
И миражи достоинства полны.

Определённость

Остывший белый цвет
Преследует, скользя,
Сближаясь,
Удаляясь,
Растекаясь.
И спрятаться — нельзя,
Уверовать — нельзя.
И мечешься —
Един и неприкаян.

А он — разлит в саду,
А он — раскинут ввысь
И в небеса проник,
Пронзителен и чётко.
Без полутона — верх,
Без полутона — низ,
Без полумрака — рай,
И ад — без получёрта.

* * *

Измучились и ночь, и тишина
От несвобод словесных оболочек.
И опустело место у окна,
И будничная музыка слышна,
И сердце болевых лишилось точек.

И мир утих и съёжился у ног.
И стало пусто, тускло и свободно.
И не манят к себе те сто дорог,
К которым мог шагнуть, не чуя ног.
И всё бывшее кажется бесплодно.

И чёрно дерево. И мёртвый лист.
И холодом луна дарует властно.
И горизонт без зорь. И не лучист.
И равнодушен. И ненужно чист.
И всё бывшее кажется напрасно.

Но первый луч и первый лёгкий звон,
И первое воздушное молчанье
Стеклись по капельке со всех сторон —
И ожил мир. И в музыку влюблён.
И на столе дымится чашка чая.

* * *

Ушла туда, куда должна уйти,
Где предначертанность и куст терновый,
И от болотной зыбкости пути
Лишь желтоцвет вдали большеголовый
Сияет глазом на прощанье мне.
Не буду больше — разве что во сне —
Так маяться чужими именами
И плакать в ночь усталыми слезами
О том последнем — или первом — дне.

БЕСЕДЫ
О
ЛИТЕРАТУРЕ





Фото Юрия Колесникова



Сергей Михайлович Казначеев родился в 1958 году в селе Ундоры Ульяновской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор пяти книг прозы, критики и поэзии. Кандидат филологических наук. Преподаёт в Литературном институте, а также является обозревателем «Литературной газеты».

Сергей КАЗНАЧЕЕВ

ОГНЕННЫЙ КРЕСТ

ГРАЖДАНСКИЕ МОТИВЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Сегодня можно с уверенностью заявить, что последние десятилетия оказались для русской поэзии временем испытания на прочность. Если в восьмидесятые годы грядущие военно-политические катаклизмы лишь смутно грезились, то девяностые и начало нового века показали себя во всём блеске. Что это были за годы, объяснять не надо. Речь не о том, что поздняя советская система была лишена недостатков. Перемены были нужны и ожидаемы. Но не во вред собственному народу и не за счёт его выживания.

Что делали в эти годы русские поэты? За ответом не надо лезть в карман: страдали, пили, плакали, матерились... Но не только. Конечно же, писали, ибо не могли молчать. Стихотворение — жанр мобильный. Поэту часто именно поэты быстрее всех других мастеров нашей культуры откликались на события времени: негодовали, возмущались, скорбели, надеялись. Именно эти чувства переполняют поэтические подборки девяностых годов. Проникала ли при этом в поэтическую ткань публицистика? Да. Много ли было риторики? Много. Не перевешивала ли гражданская тематика чисто художественную сторону стиха? Случалось. И это закономерно для поэзии переломной эпохи. Разве могла, скажем, поэзия 40–50-х пройти мимо событий Великой Отечественной? Ответ ясен: не могла, не имела права. Но главное не в этом. Главное, что русская поэзия сумела сохранить себя, выстоять и даже окрепнуть.

Эпоха советского относительного благоденствия обрушилась, как та самая гнилая стена, которую наивно или лукаво величали железным занавесом. И не в том дело, гнилая она была или нет: её помог-

ли разрушить, взорвали, снесли с лица земли. Начались метаморфозы в самом образе жизни, в корне человеческого существования. Требовалось хоть как-то найти себя в новом миропорядке, обрести хотя бы шаткую точку опоры. Тех, кто не сумел или не пожелал этого сделать, уже нет в живых: вспомним Юлию Друнину, Бориса Примерова... Остальным тоже приходилось несладко. Как крик души, как стенание или даже проклятие прозвучало стихотворение **Олега Кочеткова** «Метаморфоза»:

Радикальные веянья новы:
Из антихристов — в богословы!
Из писателей — в робу вахтёров.
В гардеробшики — из актёров!
И ни удержу, и ни меры:
Из банкирского лобби — в премьеры!
Не от женских потуг — из пробирки!
В новорусские — из Бутырки!
Из учительницы — в проститутки!
Не о духе молва — о желудке!
В вышибалы из офицеров!
Кульť зубов и отсутствие нервов.
Что считалось всегда — трали-вали —
Удостаивается медали.
А с экранов орущее б...ство —
Всероссийского лауреатства!
Обхохмили всё, обворовали.
И так далее, и так дале...
На Руси от сего холокоста —
Патриоты обычные просто
Превратились, как это ни сложно,
Окончательно и безнадёжно,
До последней, сердечной икоты —
Просто в лютые патриоты!

Что это — публицистика? Пусть так. Но тогда публицистикой следует признать и «Думу» Рылеева, «Клеветникам России», «К вельможе» и «Из Пиндемонти» Пушкина, «На смерть поэта» Лермонтова, «Пускай нам говорит изменчивая мода...» и «Внимая ужасам войны...» Некрасова, «Русскую географию» Тютчева и «Двенадцать» Блока. Олег Кочетков же имеет полное право на такую вот «лютую» позицию хотя бы потому, что на своей, что называется, шкуре испытал все тяготы и лишения нового времени. Это не политическая программа, это — крик обнажённой, униженной и оскорблённой души. Десяток восклицательных знаков в сравнительно небольшом тексте говорит сам за себя. Но дело здесь даже не в личной судьбе писателя. Его пафос направлен на осмысление происходящих в жизни народа перемен. Это ещё попытка осмысления, первая реакция, но реакция показательная и вполне определённая.

Спустя несколько лет, подводя итоги демреформ, поэт будет горько сравнивать свою жизнь с лоскутом рубахи, оставшимся в результате пагубной работы бесов от политики. Лирический герой О.Кочеткова признаёт, что родился отнюдь не в рубашке. Но ведь такова судьба большинства его соотечественников!

В кратком предисловии к подборке, опубликованной в альманахе «Академия поэзии», которое само звучит как стихотворение в прозе, он с болью в душе рассуждает: «Давно уже полынно на душе... Всё настоящее —

в прошлом. Известно, что отчаянье — тяжёлый грех, значит, я — грешен. Даже водка не веселит, а радует-печалит только народная русская песня да искренние стихи, ещё лучше — чужие. Какими же мудрыми были наши предки, которые в сказке о курочке Рябе изложили главную программу народного бытия и сознания: важнее — “простое”, а не “золотое”. А у нас сейчас — всё наоборот. Это горько. Но — жить надо. А впереди — просвета для Отечества нет, это — очевидно. И страшно думать: только великое потрясение сможет всё изменить такое, как война или революция. Богатые богатеют, а бедные просто вымирают. Ну а бедные — это всё совестливые русские люди, которые ни воровать, ни приспособливаться не умеют и не хотят. Дети уже не знают, кто такой — Гагарин. А это страшно. И всё же мы — русские. И сколько за этим стоит!»

Когда-то мы беседовали с Олегом Кочетковым о настроениях его поэзии, и я предлагал ему найти всё же некое положительное основание для своего творчества, так как бесконечное погружение в трясину уныния и тоски чревато опасными последствиями. Поэт соглашался с этими доводами, но обрести более-менее устойчивую опору ему пока так и не удалось. Да и жизнь, если честно, не даёт повода для оптимизма. Но что выручает, спасает лирического героя О.Кочеткова во всех передрыгах земной юдоли — так это вечно обновляющее и спасительное чувство любви, земное и вместе с тем одухотворённое. Однако трагизм окружающей жизни бросает свой ответ и на сердечную страсть — герои Кочеткова любят так яростно и пронзительно, словно в последний раз, перед гибелью:

Вошли мы и оба устали...
Едва скинуть плащик успев,
Исполнена скрытой печали,
Дыханьем мне губы задев, —
Лицом повернулась к постели,
Одежду оставив в ночи.
А по небу листья летели,
А в небе кричали грачи.
Как груди распались душисто!
Округло и бело взлетев...
Желанная белка пушисто
Мелькнула, свет лампы презрев,
В развилке двух смуглых дерев...

Одна из последних книг Олега Кочеткова была характерно озаглавлена — «Ау, Россия». Случайно или неслучайно, на этот надрывный клич откликнулся поэт **Михаил Гусаров** стихотворением «Ау!..», в котором напряжённо переосмысливает житейский опыт, о чём свидетельствует обилие вопросительных знаков — по одному в каждой строфе:

Жизнь прошла под красным флагом.
Где ты, жизнь моя? Ау!..
Эхо мечется зигзагом, —
не поймёт, кого зову.

Я картавому портрету
поклонялся — не юлил.
И летела жизнь по ветру...
Ветер, кто тобой рулил?

Ослеплял азарт полёта.
Флаг трубил над головой...
Где ты, жизнь?
Кругом — болото.
Видно, ветер был кривой.

Не безбожья ли отрава
так запутала твой след?
По зигзагу, влево-вправо
эхо мечется в ответ...

Поначалу шоковая сила удара была такова, что поэты могли лишь обескураженно взирать на происходящее вокруг них, смутно сиюсь разгадать смысл и последствия внешних событий. Бывший ученик О.Кочеткова из коломенского литературного объединения «Зелёные цветы», названного в честь Н.Рубцова, **Вадим Квашнин** в одном из стихотворений даже формулирует своеобразную апологию молчания, которая могла бы стать, по его мнению, ответом на общественно-политические пертурбации:

Когда с политикой официоза
Уже согласны критика и проза,
И убелённый знаниями муж,
Отчасти, публицистика к тому ж,
На склонах быстропадающих лет
О чём молчишь? Чего ты ждёшь, поэт?
Да, я молчу...

186

Вглядываясь в «жуткие пучины бытия», лирический герой В.Квашнина пока что во всех произносимых словах видит нечто преходящее, «дым», но всё же и в нём теплится вера в то, что это молчание не будет продолжаться до бесконечности:

Я вглядываюсь в вечные пучины,
Бездонные пучины бытия,
Куда, быть может, скоро кану я.
Откуда — возрождённая основа —
Произрастёт спасительное Слово.

Но как же произрастёт это Слово, не само же по себе? И не должна ли литература всеми силами своими способствовать возрождению национального Духа? Да и за критику, прозу и публицистику стоит заступиться: далеко не все наши писатели поддались соблазну единения с новым официозом. Сотни наших авторов-патриотов с покойным В.В. Кожинвым во главе неустанно провозглашали правду о том, что происходит с нашим народом, со страной. Недавно на IV Кожиновских чтениях в Армавире вспоминали об этом выдающемся человеке, который отнюдь не молчал и не соглашался с «политикой официоза». Но сколько же в тех университетских залах собралось его единомышленников и учеников из Москвы, Краснодара, Ставрополя! Так значит, не напрасны были его слова, семена легли на благодатную почву!

В.Квашнин, конечно же, нутром чувствует необходимость поиска путей нации к оздоровлению, а путь этот далёк и долог, если сегодня в обращении «К Родине» поэт фиксирует состояние, близкое к клинической смерти:

Смотри — прошли, развездившись во мгле.
С живой землёй подошвы отдирали,
Горели праздной думой на челе,
Всю боль твою за боль не принимали.

Но отгорели в призрачном венце,
Травой забвенья рвы позарастали.
Их мёртвый снег всего лишь мёртв в конце,
Он только мёртв, был мертвенен в начале.

В самих названиях стихов коломенского поэта то и дело звучат трагические, экзистенциальные мотивы: «Россия! Ни крика, ни вздоха...», «За короткую жизнь...», «Похороны деда», «Господи! Что есть человек?..», «Огонь безверья», «День уходящий», «Возьми мою нудную душу...», «Уныла осень. Ветрено и сыро...», «Жалею и молчу. Мучительней и суше...», «Сырая тяжесть выбеленной мглы...», «А ты опять уткнулся в зимний быт...» и т.п. Конечно, не дело критика — советовать стихотворцу в выборе тематики и мироощущения. Но разве не одной из важнейших задач литературы является необходимость нести свет и утешение людям? О том, что на Руси нынче лихолетье, они знают и так. А вот нащупать струны, всё же зовущие к пробуждению и возрождению народа, сегодня, думаю, сложнее, но необходимее. И Вадим Квашнин пытается — пускай пока не вполне осознанно, интуитивно — это делать:

Приоткрылись литые ворота.
Из-за них проскользнули лучи.
И отпрянул невидимый кто-то,
Обронил золотые ключи.

И упали они из просвета
На юдоль, а из ноющих ран
От земли переливами света
Поднимался прозрачный туман.

Поднимался к высокому стану
Золотые ворота открыть.
И к живому ещё океану
Самым радужным облаком плыть!

Да, поэтам в наши дни приходится нелегко. Убаюканные благополучием застоя, люди были не готовы к столь резким переменам. А от стихов требовалась мгновенная реакция на происходящее. Но и тогда, действуя почти вслепую, им удалось высказать нечто исключительно важное о судьбах отчизны. **Валерий Иванов** представил свою версию происходящего, не скрывая от читателя собственной растерянности, разорванности мировосприятия, не утаивая и самых сокровенных и таинственных догадок, выраженных в предельно интуитивной форме:

Многие видят, но мало кто знает,
Что России иногда на Земле не бывает.
И в это время, на большой высоте,
Она летает на горящем кресте.

Зачем летает? При чём здесь крест?
И чем пустота заполняется эта?

Но без неё так печально... глянешь окрест —
Вроде всё есть, а ничего нету.

Понятно, что перед нами скорее вопросы, нежели ответы или утверждения, да поэт и сам признавался в частной беседе, что не до конца понимает свои собственные образы, но иногда ведь бывает, что постановка проблемы актуальнее решения её. В этих стихах особенно выделяется концовка: «*Вроде всё есть, а ничего нету*», удивительно точно обозначившая ту мертвенную пустоту, бездну, то устрашающее зияние, которое вдруг обнаружили многие русские люди в своих душах. И этот душевный свищ, пожалуй, пострашнее любых политических пертурбаций и коллизий.

Недоумению В.Иванова вторит из японского своего далека **Вячеслав Казакевич**, обнаруживая пустоту не где-то в абстрактных местах, а среди родной русской природы, да к тому же — находит её созвучной и русской классике:

Поле безлюдно и бор,
что к горизонту прижался.
Бесчеловечный простор
в стороны разбежался.

Перед такой пустотой,
устланной облаками,
Пушкин и Лев Толстой
кажутся пустяками.

Вряд ли стоит видеть здесь уничтожение и дискредитацию классиков: поэт скорее указывает на источник их творческой интенции, вдохновлявший их плодотворное начало, но появление в этой ипостаси пустоты особенно показательно, и ощущение тоски, тревоги и ужасающего одиночества здесь налицо.

Казакевичу (а заодно и Кузнецову с его «Атомной сказкой») созвучны со своей уже колокольни сказанные слова **Геннадия Ступина**:

Невыносимо ваше мне молчанье,
Терпенье ваше, поле, небо, лес,
И ваше, воды, слёзное мерцанье,
И ваша, звёзды, тайна без чудес...

Я человек и мне предел неведом,
И я тебя, природа, победил.
Так почему же от своей победы
Не чувствую я радости в груди?..

Предвидение этой пустоты мы находим и в поэзии предыдущего десятилетия. Это ещё не знак её, а скорее провозвестнический отголосок. **Вячеслав Киктенко** ещё в 1982 году опубликовал стихотворение «Беда», в котором задолго до того проявились те же самые предчувствия:

Пришли и смотрят — пропало село.
Нету села. Развалины...

Любопытно, что писались эти строки именно в то время, когда академик Т.Заславская ещё только планировала свои акции по ликвидации малых (и, по её мнению, бесперспективных) российских деревень. Далее поэт решительным образом обращается к фольклорной традиции: даёт собственную версию использования в современной поэтической практике народного потешного стиха:

— Где дом?
— Водой унесло...
— Дожди, говоришь, выпали?
А нету воды! Проморгали село!
— Нету. Быки выпили.

— Где быки?
— За бугор ушли,
Ушли и глаза выпучили...
— Что за бугор? — одна степь в пыли!..
— Черви бугор выточили... —

и вдруг, неожиданно-негаданно, наделяет только что казавшуюся игровой и чуть ли не идиллической ситуацию глубочайшим трагическим смыслом:

Смотрят кругом — ни мужей, ни ребят
(Воздух живых таит).
— Нету мужей. На войне стоят.
А война на мужьях стоит...

— За что война?
Война за село,
За то, что дома горят...
— А дома, говорят,
Водой унесло?
— Водой унесло,
Говорят...

— А кто говорит?
— А говорит никто... —
Смотрят —
И никого.
Смотрят —
И сами уже ничто.
И вокруг одно ничего.

Экзистенциальное и нарастающее ощущение неизбежной катастрофы, сопричастность историческим трагедиям прошлого и настоящего звучат в этих стихах на редкость пронзительно и тревожно. И вот уже в «Балладе о мужиках» рязского поэта **Владимира Силкина** мы обнаруживаем современный взгляд на безрадостную панораму социального опустошения. Мотив горького психологического состояния человека, вернувшегося с войны в разорённое село (вспомним «Враги сожгли родную хату...» М.Исаковского):

Подошёл конец войне,
А верней — контракту,
И всего один пошёл
Заводить свой трактор.

Глядь, а трактора-то нет,
Как и нет деревни,
В поле дачи до небес,
А вокруг — деревья.

В мёртвом поле — вороньё,
Птицы певчей нету,
Водку местное ворьё
Хлещет до рассвета.

И пошёл солдат назад —
Помутился разум, —

Навсегда себя связал
С Северным Кавказом.

Ходит-бродит по горам,
Ищет бородатых,
Даже Бог не покарал
Этого солдата.

Кто-то скажет: не бородатые же разорили деревню. Пусть так. Но в действительности всё гораздо сложнее, и события политической жизни бывают связаны между собой самыми неожиданными и неуловимыми нитями. Солдат же, которого сжили с родного пепелища, вполне соответствует провозглашённой Иваном Ильиным формуле: человек, берущий в руки оружие для защиты целостности державы, не праведен, но прав!

Обнаруженная в центре мира пустота настоятельно требовала осмысления. Поэты старшего поколения тоже не стояли в стороне от этой насущной задачи и по-своему пытались решить её. **Василий Казанцев** выдвинул свою нехитрую схему тех самых пертурбаций, «метаморфоз», происходивших с нашей страной в XX веке:

Тёмный был батрак — светлый стал комбед.
Был митрополит — стал политпросвет.
Был политпросвет — стал «Архипелаг».
Светлый был завет — стал глухой овраг.

Но однако же тут скорее — суховатая констатация фактов, причём несколько скорректированная газетными идеологическими стереотипами. До объяснения, а тем более прочувствования ещё далеко. **Глеб Горбовский** в одном из восьмистиший, опубликованных в альманахе «Алтарь», аналоге «Дня поэзии», задумался о том, чья же, собственно, вина в тех горестях, постигших державу, чьи прегрешения отливаются нам на заре нового тысячелетия, и вывел следующую формулу:

«За что-о?! — несётся крик неистов, —
за что нам выпал жребий сей?».
За то, что в грязь, к ногам марксистов¹
упал царевич Алексей...

Соотношение поколений, извечная проблема отцов и детей, взаимодействие поколений приобрели в эти годы особую остроту. Если в своё время **Ю. Кузнецов** несколько риторически восклицал:

— Россия-мать, Россия-мать, —
Доныне сын твердит, —
Иди хозяина встречать,
Он под окном стоит...

то **Николай Тряпкин** уже видит родную страну буквально распятой на кресте:

Промчались дни, прошли тысячелетия,
В грязи, в пыли...
О Русь моя! Нетленное соцветие!
Свеча земли!

¹ Лучше бы, кажется, — «чекистов», впрочем, дело хозяйское. — С.К.

И тот же крест — поруганный, оплёванный.
И столько лет!
А над крестом горит исполосованный
Закатный свет.

Всё тот же крест... А ветерок порхающий —
Сюда, ко мне:
«Прости же всем, о сыне мой страдающий:
Они во тьме!»

Гляжу на крест... Да сгинь ты, тьма проклятая!
Умри, змея!..
О Русь моя! Не ты ли там — распятая?
О Русь моя!..

Она молчит, возревши к небу звездному
В страде своей.
И только сын глотает кровь железную
С её гвоздей.

Но отнюдь не всегда взгляд современного стихотворца передаёт картину окружающего мира столь широко и архетипично. Довольно часто для создания впечатляющего образа поэту не требуется широких, смысло-ложивных обобщений. Одна деталь, подмеченная зорким его оком, способна, подобно капельке воды, отразить в себе всё диалектическое многообразии и цельную противоречивость жизни. Вот, например, **Лев Котюков** обращает своё внимание на такой малопримечательный и мелкий, на первый взгляд, факт, как дискредитация и фактическое уничтожение старинной русской денежной единицы — копейки. Стихотворение так и названо — «Памяти копейки»:

Стаканы убежали со стола,
Куда-то подевалась телогрейка,
Но главное — копейка умерла,
Последняя российская копейка.

А думалось: копейке вечно жить, —
И по Руси гулять с рублём в обнимку,
Но бездыханно под столом лежит
Копейка, не прижившаяся к рынку.

Потомки чёртв рынок проклянут,
И медяки опять пойдут по кругу,
Но не на что сегодня помянуть
Былую неразменную подругу.

Уходит жизнь! Куда её несёт?!
И мается душа едва живая,
И душу от похмелья не спасёт
Погибшая копейка трудовая.

Надо ли объяснять, что речь здесь не о медяках, а о судьбе тех людей, главным образом — пожилых, натрудившихся, заслуженных, которые на старости лет были ограблены реформаторами и отодвинуты на задворки державы, уже и перестающей быть державою.

Мотивы постижения судеб Отечества особенно впечатляют, когда автору удаётся найти оригинальный, художественный образ, когда мысль выражается через прочувствованную органичную метафору. Иногда глубинный смысл авторского слова постигаешь не сразу, со временем, с трудом и муками. Но когда ясность достигается, свет её распространяется не только на поэтическое произведение, но гораздо шире, помогая разгадать вечные загадки творчества. Поэт необычной житейской и литературной судьбы **Фридрих Миллер** в стихотворении, выстроенном на знакомом с детства фольклорном поле и вроде бы элементарном — «Репка», — сумел выйти на обобщения самого необозримого диапазона:

...А бабка за дедку, а дедка — за репку —
Вот так и означен их жалкий удел.
А если бы репка схватилась за дедку —
Он разве бы крепче к земле прикипел?

Кипи не кипи, коли слабеньки ручки,
Есть сын, только он отделился давно.
А Жучка? А Жучка не хочет без внучки —
Так выпало в старой цепочке звено.

А внучка? А внучка, видать, белоручка,
Она горожанка — так запись гласит,
И место пустое меж бабкой и Жучкой
Надрывно само по себе голосит...

Чтение этих строк навело на рассуждения вот какого рода: этот сюжет почему-то всегда вызывал у меня неприятные трагические переживания. Казалось бы, ну что тут трагического. Сельскохозяйственная, аграрная ситуация. Уроился урожай, радоваться надо, скорей убирать. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Фабула едва ли не комическая. Курам на смех, да и только. Но почему-то наворачиваются внутренние слёзы. Загадка: почему им так тяжело, почему они не могут вытянуть злополучную репку? Вся домашняя живность включается в работу, и только алогичное деятельное вмешательство мышки помогает выполнить задание.

Я долго ломал голову над этим, пока наконец не дошло. Да всё же ясно, как день! В сказочной цепочке отсутствует среднее — наиболее дееспособное поколение — отец и мать! А где же они, возникает вопрос, почему не участвуют в семейном деле? Да ясно где: или на войне, или на барщине, или на колхозном поле, или на партсобрании, или пьют, или в лагерях, или на смотре художественной самодеятельности, или на дежурстве ДНД, или в городе на заработках, или в коммерческих, банковских или криминальных структурах — словом, им не до своего собственного, родового, единоличного поэмы. И Фридрих Миллер решает коллизию своего стихотворения примерно в таком же безрадостном ключе:

И тянут-потянут, но вырвать не могут,
А вырвут — помчатся на рынок и вот
Любимице внучке и сыну в подмогу
Отправят в столицу большой перевод.

И что ж? Получив ту прибавку к получке,
Лишь часть её выделит внучке отец,
На рынок ближайший отправится внучка
И купит там репку... и сказке конец.

Особенность русского национального характера состоит в его незыблемости, несуетности, стабильности. Мы сильны не тем, что подхватываем новые веяния и идеи, а тем, что в нас постоянно и твёрдо. А верхоглядь, кто стремится угнаться за новомодными тенденциями, действуют не только вопреки жизненному укладу, но и идут вразрез с совестью. Примерно это же, только на новом витке понимания вековой житейской мудрости, ещё в 1990 году сформулировал **Константин Васильев**:

Твёрдый камень в реке Гераклита,
под живую воду, на дне...
Всё меняется, но не смотри ты —
не к лицу переменчивость мне.

В переменах ищи подтвержденья
неизменности мира сего.
Кто покорно плывёт по теченью —
уплывёт от себя самого, —

а за жизнью не может угнаться,
как вон те надувные матрацы,
что поплыли, легки на подъём...
Ну куда вы торопитесь, братцы...

Кто не хочет на месте остаться,
тот упорно стоит на своём.

Впрочем, быть твёрдым и последовательным в эпоху ломки и даже крушения жизненного уклада отнюдь нелегко. Многие клюют на удочку соблазна, упакованного в яркий европейский целлофан. За его сверкающей и хрустящей обёрткой видится им залог и гарантия если не счастья, то уж точно — благополучия. Меркантильное и прагматическое становится в их представлении важнее душевного и даже духовного. Со временем они горько разочаруются. Можно было бы сказать: и поделом, если бы от их легкомысленных и опрометчивых поступков не страдали другие, а главное — держава. Именно поэтому одной из главных причин народных бедствий **Виктор Кочетков** называл русскую доверчивость:

Доверчивость русская
нам в наказанье дана.
Доверчивость русская
стольких трагедий причина.

Чего не сумела
Сгубить мировая война,
То сгубит в мгновенье
Доверчивый наш дурачина...

Доверчивость нашу
Легко на приманку поймать,
Крючок наживив
Обещанием скорого рая.

Любому барыге
Готов россиянин внимать,
Не дом, а державу
Охотно ему доверяя.

Обращая свои упрёки соотечественникам и самому себе, он всё же проводит чёткую демаркационную линию — подобно линии фронта — между теми, кто напортачил неосознанно, вследствие доверчивости, недалёкости или утраты исторической памяти, и теми, кто с чётким циничным расчётом действовал для расчленения и унижения Большой Страны. «Радикализма русского наследники», «нынешние башибузуки», «менялы-советники», «глумливцы», «русские диалектики» — по-разному именует поэт недоброжелателей родной страны, но самое прочувствованное определение этому ряду всё-таки — иуды:

...Переметнувшийся Иуда
глядит с газетной полосы.

Глядит внимательно и строго,
едва смиряя торжество.
Как будто он приятель Бога
и только что лобзал его...

На всё и вся он даст вам справки,
на всё ответит наперёд.
И только шрамик от удавки
С упрямой шеи не сотрёт.

Отношение поэтов к нынешнему состоянию мира и души не ограничивается упреками властителей в предательстве народных интересов. Нередко им удаётся взглянуть на происходящее в более широком ракурсе — усмотреть в наличном существовании людей черты глобальных губительных процессов. Не чужой для Коломны человек — родившийся в Караганде, а потом оказавшийся за пределами Союза, в Казахстане — **Валерий Михайлов** обращает внимание на то, что неумолимый натиск цивилизации на природу и самого человека осуществляется повсеместно и независимо даже от воли политиков:

Никаких нет ворот у Никитских ворот,
Но о том вряд ли помнит народ,
Что снуёт у Никитских ворот взад-вперёд,
На машинах без продыха прёт.

И на улице той, по прозванью Лесной,
Не слышать, чтоб шумело листвою.
Ни берёзки сквозной, ни рябинки резной,
Лишь асфальт и зимой и весной..

Жизнь, конечно, права, память вечно жива.
Но одни остаются слова.
Зеленеют слова, и желтеют слова,
И по ветру летят, как листва.

Бог ты мой, Бог ты мой, сердцу нужен покой,
Только нет его в жизни земной.
И молчит надо мной, и летит надо мной
Мир серебряный, мир золотой....

Одним из наиболее распространённых мотивов русской лирики на рубеже веков и тысячелетий нежданно-негаданно становится... прощание поэтов с родной страной. Вот Юрий Кузнецов называет свой сборник «До свиданья, встретимся в тюрьме»; вот над этой бедой раздумывает, хотя и в несколько иной плоскости, **Геннадий Иванов**:

«Прощай, Россия, встретимся в раю».
А может, ещё встретимся в бою,
Как встретились тогда на «Баррикадной»
Той осенью, холодной и блокадной...

Вот — в той же невесёлой тональности — обращается к своей стране **Геннадий Касмынин**:

Прощай, Россия! И до встречи!
Конечно, если суждено.

У некоторых поэтов эсхатологические мотивы на первый взгляд носят сугубо индивидуальный, частный характер. Но безусловно, общий фон ситуации в стране врывается в их замкнутый мир и усугубляет и без того не слишком радостное мироощущение. Много пессимистических ноток обнаруживаешь в последних стихотворных подборках Олега Кочеткова, Виктора Верстакова, **Константина Коледина**:

Но вот, пока не скрыли смерти льдины,
Шугой студёной прошлое кроша,
Пока ещё на свете триедины:
Я, тело и бессмертная душа.

В конце пути, скорее за пределом,
И слёзы мне, и тайна бытия...
Где обретусь, куда отправлюсь Я,
Уйду с душой или растаю с телом?

Каждый из поэтов по-своему пытается преодолеть сети пессимизма, найти выход из состояния, которое, конечно же, полезным и плодотворным не назовёшь, — состояния отчаяния и тоски.

Ограничивается констатацией негативных жизненных реалий **Марина Котова**. Вроде бы всё правильно в её стихотворении, посвящённом посещению оперного театра. В наши дни ведь культурная программа просто не по карману людям со скромным достатком, и решиться на то, чтобы утолить духовные запросы, требует немалого мужества, а то и жертв:

Бутерброд
с апельсином
и красной икоркой...
Отсвет люстры хрустальной
на пышных оборках...
Позолотой блестит
королевская ложа...
В месяц раз
мы позволить себе это можем.
Как на сердце легко!
Лепота... Благодать...
А потом голодать,
голодать,
голодать...

А что же всё-таки довело большинство из нас до жизни такой — тревожной, безрадостной, полной унижений и проблем, о которых прежде и не слыживали? Почему долгожданные политические перемены и социально-экономические преобразования пошли по пути ограбления народа? Кто должен ответить за катастрофическое падение уровня культуры, образования, духовности?

Особенность женской поэзии состоит в том, что патриотическая, гражданская тема нередко решается в ней через глубоко личное, лирическое, индивидуальное восприятие. Вот и в сборнике стихов **Татьяны Башкировой** «По обе стороны времён» (Коломна, 2004) есть немало образов, связанных с государственными реалиями последних лет: «сатанинская буй-

ная сила», прокатившаяся по русской земле, Покров, сходящий на Русь «спокойным чистым снегом», Россия «во мгле вседозволенности и безверья», Пожарский, Минин и «загран-вороньё», «боли, скорби родимой земли». Есть среди них и символы, вызывающие некоторое сомнение. В стихотворении «Раздумья у посоха Пересвета в музее Рязани» поэтесса испытывает гордость от того, что нам в наследство от героя-инока достался

Не карающий меч Пересвета,
Мирный посох его.

В последние годы наша православная общественность активно обсуждает эту дилемму: на что нужно надеяться в нынешних условиях — на христианское смирение или твёрдость в противостоянии врагам? Но представим себе, что на поединок с Челубеем вместо меча и копья Пересвет взял с собой посох. Поощади бы его ханский ратник? А ведь от этой одиночной схватки во многом зависел исход Куликовской битвы! И не дрогнуло бы наше воинство, увидев смерть своего богатыря? Понятно, в одни моменты бытия нужен бывает и посох, но сегодня наше отечество видится сошедшимся лицом к лицу со своими врагами, и ждать гуманизма от них не приходится.

Но Татьяна Башкирова не была бы благодарной ученицей О.Кочеткова, если бы в сборнике не было мягких лирических стихов, где горести и мечты нашей современницы о лучшей будущности для своих соотечественников проявились искренне и проникновенно. «Несуетный, чистый дар», отмеченный её наставником, проявился в таких стихах, как «Разве всё — ни весны и ни радуги...», «Бесконечно-белый снег струится...», «Анна» и др. Какой яркий, самобытный и в то же время сразу узнаваемый характер мы видим в последнем из названных стихотворений:

Она не знала сельских сплетен —
Одна, который год подряд...
И был до боли неприметен
По выходным её наряд.

Она жила, как бы витая
Среди людских недобрых дум
О том, что Анна слишком злая,
Или её покинул ум.

Её в толпе окликнут: «Анна,
Скажи хоть слово — твой черёд...»
Она посмотрит как-то странно,
От говоривших отойдёт.

Плели соседки небылицы,
Да только со всего села
К её окну слетались птицы,
В предзимье ждущие тепла.

Перед нами один из образов в ряду великих русских молчаливых — таких, как Андрей Рублёв, рубцовский добрый Филя, скорбные три богатыря из стихотворения О.Кочеткова. К этому же типу можно отнести и другого героя Т.Башкировой — оскорблённого и униженного ветерана, чья фигура кажется ещё трагичнее на фоне пышных торжеств юбилея Победы:

За два дня он надел ордена —
До далёкой и памятной даты.
Тех поруганных лет письмена
До сих пор в его памяти святы,
И встают, как сияли когда-то:
Новостройки, вожди, целина...
Что же, всё это — пылью покрыть,
Объявить порождением застоя?
Разве снилось ребятам такое,
Тем, кому не пришлось — дожить...

И увидеть Россию во мгле
Вседозволенности и безверья,
И на Запад раскрытые двери
С небреженьем к родимой земле...
И стоит он и не понимает,
А над ним — горевая звезда,
И куда-то Россия шагает...
Ветер бешено рвёт провода.

Что интересно: авторы, оказавшиеся волею судеб за границами общей большой Родины, но оставшиеся русскими писателями, зачастую демонстрируют не менее чёткое и осмысленное понимание тех геополитических и иных процессов, которые определяют векторы и принципы современного миропорядка. Например, русские поэты Молдавии высказываются на сей счёт более чем откровенно. И женщины тут, прямо скажем, на первых ролях. Последние поэтические сборники **Ирины Ремизовой, Валентины Костишар, Аллы Коркиной, Надежды Дёминой** буквально пронизаны мотивами сиротства, ностальгии по Союзу.

Особенно наглядно эти эмоции проявились, на мой взгляд, в творчестве **Олеси Рудягиной**. Раз за разом её лирическая героиня обращается к планиде вынужденного эмигрантства, но позиция её далека от расслабленной, анемичной тоски. В её мироощущении есть и нотки отчаяния, и боль, и обида, но выражается это всегда на фоне твёрдой и даже мужественной общественной позиции:

Недели две не ходят поезда.
Диагноз старый: осень. Анемия.
И кем-то узаконена беда:
Не жизнь. Не смерть. Не воля. Не Россия.

Я не хочу в пресыщенный острог
За океан, за грань любви и боли:
Какая разница, где отбываешь срок
Своей случайной эмигрантской доли?

Какая разница, кому ты не нужна —
Наложница продажного столетья?
Не воля. Не Россия. Не жена.
Не жизнь. Не смерть. Но, может быть, бессмертье.

Но это скорее суггестия, мир внутренний. А что же творится вовне, снаружи? И здесь поэтесса тверда, жестка, несгибаема, принципиальна в выводах и оценках:

...И на своих законных,
испытанных местах
принцессы и драконы,
и ведьмы на кострах!

Жируют, сатанея,
вельможи, прочий сброд,
«безмолвствует», точнее
потворствует народ.

Дичает помаленьку,
безбожно водку пьёт:

по шапке, знать, и Сенька,
по дереву и плод!

Не будоражит боле
пытливые умы
рецепт забытой воли —
зарок «Рабы не мы!».

Рабы немые — свалка,
торжище — кто почём...
Вот только деток жалко,
они-то ни при чём.

Под яростную дудку
попрания основ
к религии желудка
ведёт их Крысолов.

Нет аккуратней мести
за промахи отцов,
чем: «Выбираем пепси!» —
беспечный хор птенцов.

Охочи до игрушек,
глухие к зову книг —
жевательные души,
космический тупик.

Они ещё вернуться,
взорвав свой Интернет —
Пророки содрогнутся
от дьявольских примет!

Сколько говорилось в последние годы о ненормальном пределе терпения, который обнаруживает наш народ. У О.Рудягиной всё ещё жёстче и резче: народ (а точнее сказать — плебс, чернь, холопство) не просто покорствуе — потворствует!

Религия желудка! Ни у одного из поэтов-мужчин не встретишь столь энергичного и выпуклого символа наступающей новой эры, эры торжества плоти над духом, эры повсеместного нравственного и интеллектуального одичания, духовной деградации. Впрочем, не совсем так. Московский автор **Сергей Морозов** задолго до нынешних времён задумался о диалектической связи, существующей между материальным достатком и самыми злостными пороками мира:

Я ясно вижу — каждый год
Других сытее.
Тучнее год — тучнее плод,
И червь — тучнее.

Тучнее год — тучнее червь...
Нам смысл неведом.
Я вас в преддверии зимы
Кормил обедом.

Глобализация мира и сознания тревожит многих, на бытовом уровне разговоры слышишь почти в любой компании, но далеко не каждый сти-

¹ Ср.: у Ю.Кузнецова: «Какие дети подросли! / Умны и злы невероятно! / Во вне шатают ось Земли. / Пока ещё безрезультатно».

хотворец находит соответствующую художественную форму, чтобы облечь натуральной литературной плотью справедливые, но подчас умозрительные соображения. Одним из немногих, кто успешно работает в последние годы на глобальном геополитическом пространстве, является **Михаил Попов**. Вопрос драматического противостояния Америке был поднят и осмыслен им не только в романах, но и в стихах:

Короткий рукав. Бицепс. Шеи толще голов.
Грудь у всех колесом, как перед смертью у Данко.
В строю замечаю, с улыбкой, смешенье полов.
Всей этой белой гвардией командует негритянка.

Невзирая на цвет кожи, пол и рост,
все кадеты выведены из икры доктора Спока.
На обед сладкий картофель, будто побил мороз,
есть противно, хотя я и знаю — он маниока.

Мы здесь на шоу под девизом «Френд — разоружись!».
Но Бог войны не стал безопасным, став бесполым.
Янки убеждены, что продолжится жизнь
не нашей лаптою, а их бейсболом.

Согласитесь, что за элегической мелодикой здесь ревушим фоном слышится боль за несправедливое и унижительное для страны решение мировых сценариев, когда наши игроки планетарной шахматной доски, обладавшие правом голоса и хода, играли не в нормальные шахматы, а в поддавки, рассчитывая — и небезосновательно — на подачки, мзду со стороны побеждающих. Принципиальное соотношение этносоциальных масс присутствует и в других стихотворениях поэта. Его настрой оптимистическим не назовёшь, но даже трагические, отчаянные ноты звучат в его огласовке с аристократическим изяществом и достоинством:

Люди, которым предстоит уйти под землю,
Бродят по городу, уходящему под воду.
Слышу шум времени, но ему не внемлю.
Вижу гондолу, думаю про подводу...

.....
Русский в этом городе, как рюмка водки
В печени со стабилизированным циррозом.
Хожу, превращаю дворцы в фотки,
Консервирую пищу воспоминаниям и грёзам.

.....
Если вселенную представить в виде, скажем, регаты,
(а приз будет — дно), то сразу увидишь:
кого Европа ни зови в адвокаты,
обогнал Венецию наш Китеж.

В этой эсхатологической безысходности слышится и некоторая твёрдая решимость и далее противостоять натиску антироссийских сил — как на духовно-интеллектуальном, так и на вполне житейском, человеческом уровне. Впрочем, говорить о повороте к оптимизму в творчестве нынешних авторов было бы преждевременно. Россия в их представлении остаётся на горящем кресте, и причины сему имеет не только внешнее, но и вполне внутреннее происхождение. Причём не последняя роль в этих процессах принадлежит обитателям российской столицы. Вот сколь горькие,

обидные, но справедливые слова высказывает по адресу Москвы **Виктор Верстаков**:

Позабывшая о детях
загулявшая вдова —
за Россию не в ответе
пляшет-празднует Москва.
Вся в одежде заграничной
от манежа до Кольца,
вся в рекламе неприличной,
новорусская с лица.
Презентации, визиты,
суета и маята...
Дочерями позабыта,
сыновьями проклята.

С каким поразительным контрастом с яркой, пышной и страшной московской кутерьмой представляется существование людей глубинной, срединной России, которые вдалеке от политических, телевизионных и эстрадных шоу продолжают хранить и душевную теплоту, и народные традиции. Герой **Светланы Сырневой**, тракторист, не совершает вроде бы особенных подвигов, но на поверку вся жизнь его напоминает подвижничество, мужество, каждодневно проявляющееся волевое начало (не случайно ведь фамилия героя переключается с битвой на Куликовом поле):

Весь в пыли, не растерян нисколько,
И откуда сыскался таков —
Без обеда работает Колька,
Без подмены трубит Куликов.
Ветер сушит усталые очи,
На семь вёрст по округе — сорняк.
К ночи Колька работу закончит.
Так задумал, и сделает так.
И, достав из кармана чекушку,
Чтоб победу отметить слегка,
Машинально пойдёт на опушку,
На поляну родного леска.
Как отрадно зелёному лесу
Охватить его влагою тут!
И грибы ему в ноги полезут,
Ему ягоды в руки пойдут.
Солнца луч предзакатный и длинный
Намекнёт, где присесть не спеша.
Набери на закуску малины,
Колька, Колька, родная душа!
Передряги твои позабыты.
Жив как есть, хоть и вовсе один.
Выше горечи, выше обиды
Нескончаемый шелест вершин...

Как уже случалось не раз в отечественной истории, спасение Державы, восстановление её силы и могущества, избавление от крестных мук, горестей и унижений приходило из глубины страны, от её простых людей. Только на это и остаётся надеяться лирическому герою современной русской поэзии.



Олег Иванович Дорогань родился в 1956 году. Окончил Высшую военно-политическую академию, подполковник запаса. Поэт и критик, автор поэтических сборников «Не гасите Вечные огни!» и «Аисты прилетели». Критические статьи публиковались в газетах «День литературы», «Российский писатель», «Завтра», в журналах «Молодая гвардия», «Юность», в «Московском Парнасе» и других изданиях.

Живёт в городе Ельня Смоленской области.

Давно интересуется прозой и поэзией коломенских авторов, находя в их книгах созвучное, родственное, сокровенное. Своими впечатлениями от современной коломенской прозы, размышлениями о тенденциях её развития в общем русле отечественной литературы он решил поделиться с читателями «Коломенского альманаха».

Олег ДОРОГАНЬ

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РЕАЛИЗМА

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ПРОЧИТАННОГО

Уроки выстраданной человечности
О романе Михаила Манюшкина
«Человечность»

*Всё без возврата поглощает вечность.
Незыблема одна лишь человечность.*

Если книга пишется десятилетие за десятилетием, то смело можно сказать: пишется она самой жизнью. Роман Михаила Манюшкина именно так и писался.

Писался пережитым, прошедшим через душу и сердце автора, вбирая в себя его предвоенный и военный опыт детства, юности и ранней зрелости. Его герои, Женька Крылов и Саша Лагин, в самом начале романа выходят из военкомата, а завершается он взятием Берлина и возвращением одного Женьки после ранения домой.

Наверное, так же, как автор когда-то, Женька перешагивает порог материнского дома: «Ещё один шаг — и позади детство, целый мир радостных надежд и предчувствий. Всё это становится прошлым и уже никогда не повторится. Женьке хотелось задержаться на пороге, оглянуться, ещё раз ощутить уют материнского дома, но он испугался подступившей к нему слабости и шагнул».

Прошлое неизбежно возвращается, куда жива человеческая память. Всё, что случается с нами, фиксируется где-то, будит совесть, если не сразу, то погодя. И если даже не тобой самим, то следующими поколениями. Автор это понимает и



приходит к выводу, что «люди с опозданием в два-три поколения оценивают свой жизненный опыт». Вечное опоздание памяти... Вечное запаздывание покаянной совести...

Среди сиюминутных нужд и потребностей, в борьбе за существование, за хлеб насущный мы так отдаляемся от тех чувств и чаяний, которыми жили наши отцы и матери, что об этом и подумать страшно. Жаль, не учимся мы на их ошибках, не извлекаем уроков, до всего заново доходим сами. Нам скучно сидеть за мудрыми книгами. Полагаясь на свои чувства и интеллект, будто бродим в потёмках. И уходим в мир иной, совершенно не ведая, а что же там. Уходим в надежде, что наш опыт блуждания в потёмках собственного бытия, смысл нашей жизни потомки познают в подлинном виде.

А когда речь идёт о Великой Отечественной войне, об опыте всего поколения, озарённого боевым крещением в её купели, сколько противоречивых представлений и мнений может возникнуть. Автор, шагнувший в неё и вернувшийся к нам, нынешним, остался в убеждении, что Великая Отечественная далеко ещё не осмыслена. И все мы, живущие сегодня, в определённом смысле дети войны 1941–1945 годов.

И без полного, тщательного исследования её, на что может уйти жизнь не одного поколения, невозможно понять современный мир. Поэтому писатель и взялся за это нелёгкое дело — исследовать её, вчитываясь в души человеческие, вникая во всю сложнейшую взаимосвязь их движений, что принято по-научному называть психологией. Исследовать изнутри, применяя присущий ему арсенал художественно-эстетических средств.

Михаил Маношкин выводит из долгого идейно-художественного анализа три уровня восприятия исторической реальности.

Первый уровень, наиболее характерный для военных лет, автор видит в особом проявлении человечности, невозможной без любви к родине и ненависти к иноземным захватчикам-поработителям. Он устанавливается в ходе самоотверженной борьбы с явным враждебным злом. Вражье вторжение несло это зло и вызывало ответный размах и глубину человеческих чувств и устремлений.

Да, выражались они тогда в лаконично-сжатой, как пружина взрывающегося с чекой в гранате, формуле: «Кровь за кровь, смерть за смерть». Это сегодня, шестьдесят лет спустя после Великой Победы, можно уже рассуждать о том, что она, эта формула, противоречит заповедям, которые содержатся в Христовой Нагорной проповеди: «Любите врагов ваших...». А тогда...

* * *

Книга «Человечность» автобиографична. Михаил Павлович Маношкин, выходец из крестьянской семьи, ушёл добровольцем на фронт в неполные семнадцать лет в марте 1942 года. Авиадесантный батальон, в

котором он воевал, попав в окружение, в неравном бою с танками противника героически пал. Сам автор оказался в плену. Об этом и повествуется в романе. «Легенда о десантном батальоне» — так названа одна из начальных частей-книг романа.

Правдиво и убедительно здесь показано, как «окруженцы» находились под постоянной угрозой смерти и плена, мучимые голодом, усталостью и жаждой. И либо не выдерживали испытаний и ломались как личности, либо выдерживали всё и себя не потеряли. Автор подробно прослеживает состояние своего героя в окружении и в плену. Достаточно было ему дрогнуть, и страх за собственную жизнь мог выбить его из числа бойцов. Плен мог означать для него смерть — смерть личности, если бы он не совершил побег.

«Антимир» — так названа часть романа, где действие происходит в плену — в «преисподней», сравнимой для автора с дантовским адом. Там, где все эмоции и интеллект его героев значили не больше, чем пыль, которую можно развеять по ветру. А в полумраке небытия медленно проступало лицо матери с тревожным вопросом: «Как же это, сынок?..» Человеческие фигуры здесь напоминали опавшие осенние листья, которые куда-то гонит ветер, и они вскоре смешиваются с землёй, никому не нужные и всеми забытые...

Его герой Женька Крылов бежит вместе с товарищем Ильёй Антипиным. Вырвавшись из плена, Крылов попадает в партизанский отряд. А затем — опять в действующую армию, в батальон, в составе которого с ожесточёнными боями доходит до Берлина. Человечность его и однополчан испытывалась не вполнакала, отливалась цельными сплавами характеров.

Писатель вводит в роман образы военного журналиста, композитора и поэта-песенника, с которыми, по-видимому, ему довелось встречаться на фронтах. И в книге немало мест, дышащих воздухом поэзии, который те стремились донести до читателей и слушателей с фронтовых дорог и с передовой в своих песнях, стихах и корреспонденциях. Недаром поэзия проникает и в заголовки книжных глав: «На пороге материнского дома», «И человек поёт лебединую песню», «В окружении умирают по-разному», «Одно солнце, а светит для людей», «Дороги упирались в реки», «Час цветения», «Людские закрома войны», «Люди, броня и огонь» и другие.

Тип приспособленцев, проявлявших трусость и бесчестие, автор отобразил в образе лейтенанта Ющенко. Своим благополучием на войне — званием, должностью, орденом, связями с армейскими и столичными журналистами — он был обязан генералу Чумичеву, у которого по воле обстоятельств стал служить адъютантом. Перед ним встал выбор: либо пойти до конца, принять участие во взятии столицы германского вермахта, либо принять предложение генерала остаться у него в услужении. Не колеблясь, он выбирает второе.

Крылов, прототипом которого стал сам автор, сталкиваясь с многообразными «комбинациями» людских характеров, не перестаёт анализировать их. На каждом новом этапе своей жизни он окружён и новыми личностями, неустанно осмысливает свой всё усложняющийся опыт. «Люди, как деревья, — разные». И попадают они в разные ситуации. Война же изобилует экстремальными условиями выживания. Пограничное состояние между жизнью и смертью становится обыденным состоянием. И в то же время к нему невозможно привыкнуть.

Автор ведёт своего героя по тем фронтовым путям-дорогам, которые прошёл сам. Через Десну, Сож, Днепр, Березину. Через Курскую дугу, где был контужен. В марте 1945 года принял танк-«сорокапятку» в Нижнем Тагиле и вместе с экипажем в составе маршевой роты прибыл на 1-й Белорусский фронт. А потом — через пространство пол-Европы — до Берлина.

Близилась победа. Мать ждала домой Сашу Лагина, как великое множество других российских матерей ждали своих сыновей. И хоть пришло от него десять дней назад письмо, но изнывало материнское сердце от тревоги за сына. «Или чувствовало её сердце, что Саши уже десять дней не было на свете? Пуля оборвала его светлую жизнь».

У Крылова не стало его лучшего друга, земляка-ровесника. «Крылов перевидел уже немало смертей, он воспринимал их как жестокую реальность войны». Но глубоко опечалила его весточка о гибели Кости, другого его земляка. Костя так и сохранился у него в памяти учеником-десятиклассником. И его преждевременная гибель не укладывалась в обычные представления о смерти на передовой. А сам он потом, после штурма Берлина, раненый, провалялся в госпитале, пока рана не затянулась. Ему ещё только предстояло возвратиться на родину. И всё же, можно сказать, ему тогда невероятно повезло: «жив, отслужил свой срок в армии и вскоре вернётся домой».

* * *

Роман «Человечность» завершается Победой в Берлине и возвращением домой.

В госпитале, где лежал Крылов, когда узнали о конце войны, просалютованном и официально объявленном, ещё в полной мере не успев поверить в это, ликовали. И вдруг... «Ребята, — задумчиво проговорил кто-то у окна, — а как же мы-то теперь?.. Но в следующий миг разом сдуло, смыло набежавшую вдруг странную грусть: не будет больше окопов, грохота и могил, не будет усталости и придавленности — кончилась война!».

И всё же, всё же, всё же...

В эти минуты они о многом не догадывались.

«Они не знали, что для себя лично они приобрели на войне только раны... что после войны произойдёт переоценка человеческих ценностей... их мужеству, самоотверженности и патриотизму будет грош цена, а героем дня станет расчётливый беспринципный приспособленец... что государство, устои которого они отстаивали в жесточайших боях с врагами, не только ничем не компенсирует им ранения и растраченное здоровье, но и отнимет у них те малые льготы, которые полагались...».

«Не подозревали они и о том, что их роль в войне была глубоко трагична: вынужденные защищать свободу и независимость своей родины, они невольно способствовали укоренению антинациональных общественных сил, которые, захватив всю полноту власти, лишат их элементарных человеческих прав...».

В публицистическом плане, выстраиваемом над романом, автором проводится своя крепкая концепция войны и мира, современной исторической эпохи вплоть до нынешних смутных времён.

И это очень ценно. Это ничуть, на мой взгляд, не повредило художественному воплощению замысла произведения. Сегодня людям нужна и

правда о войне, и правдивое осмысление её с дистанции нашего времени. Война стала, по мнению автора, «исходным пунктом новых, неведомых ещё зол, потому что в ходе её окончательно от мобилизовались антинациональные, антирусские силы с их демагогией, алчностью, абсолютным пренебрежением к потребностям народа-победителя, массовым террором, продажностью и преступностью...».

Окопная правда фронтовиков, как малый остров, потонула в разбушевавшейся стихии перестроек, путчей и переворотов либеральных революций 1991 и 1993 годов, хмельного хаоса ельцинизма и нынешней чиновно-бюрократической модификации его, с отменой и лицемерной монетизацией льгот.

На войне не время и не место было долгим рассуждениям о ней. С оружием в руках надо было противостоять врагу. Тогда встала одна единственная цель — победить во что бы то ни стало. Она и вызвала массовый героизм, она и сплотила нацию в монолит. Тогда и проявился наиболее высокий уровень общественного сознания, первый уровень исторического осмысления.

А сразу же после войны пошёл резкий спад, размытие патриотизма. Солдаты гибли на войне, а «накипь» оставалась. Лучшая часть народа, вставшая под пули в полный рост, выбита была войной. Зато в полный голос заявил о себе «многоликий обыватель». Он занял командные высоты во власти и наиболее хлебные места.

Так утвердился второй уровень сознания как антипод первого, подлый и подлеющий по мере того, как конъюнктуришки и корыстолюбцы прибирали к рукам всю власть в государстве и экономике.

Бесчеловечность возобладала над человечностью, омытой в купели, выстраданной и сформированной в той Великой войне.

Утаивалась подлинная история войны, на что были брошены институты партийных идеологов и «обществоведов», а затем и «прорабов перестройки», и либеральных «защитников прав человека». От этих последних крен пошёл в сторону показа её ужасов и зверств. «Своим» стало доставаться больше, чем «чужим». Распад СССР воскресил старые счёты между разными народами, в том числе между бывшими советскими. Разгорелся тлеющий костёр национальной розни.

Автор считает, что по истечении времени не вражду нужно разжигать между народами, в особенности между русским и немецким, а крепить дружбу и взаимопонимание.

Хотелось бы, чтобы всем стало ясно сегодня, что врагом всех народов является вовсе не какой-то определенный народ, а те, кто находится у власти. Ведь в послевоенный период к власти пришли далеко не самые лучшие представители человечества. Они оказались в сговоре, установили свои грабительские законы. В России и на постсоветском пространстве они отобрали у народов их державу, богатства и недра, навязали антинародные реформы. Соответственно, переменялось отношение и к уцелевшим фронтовикам. Лицемерие и неискренность стали гримасничающей личиной власти.

Тогда-то, по мнению автора, открылся третий уровень власти, «распахнулась бездна зла». И перед внуками и правнуками бывших фронтовиков встали тревожные вопросы: «А чего ради погибли миллионы людей — прежде всего русских и немцев? Кто извлёк пользу для себя от их гибели? Ведь должен же быть смысл в этой невиданной доселе войне народов?»

И тут-то обнажился «звериный оскал» новых «творцов войны», тайных и незримых, претендующих на мировое господство. Они-то втайне и вынашивают планы революций и войн. От них-то все потрясения и бедствия, моря-океаны крови и слёз. Через вражду, через боины и они норовят взнудать нации и народы, «обескровить и обессилить» наиболее сильные из них — русскую и немецкую.

К народным волнениям и войнам они подводят государства социально-экономически, реформируя и ставя их в постоянную зависимость, навязывая обществу мораль «двойных стандартов». По их тайной и явной воле население России катастрофически убывает по миллиону в год. Стало быть, от человечности остаётся лишь пустопорожняя личина. Но кто-то же должен служить Человечности!..

В апреле 2002 года Михаил Манюшкин умер. По свидетельству дочери его, Елены Михайловны, умер как православный христианин. Встретил смерть мужественно и кротко, как и подобает воину.

Былинное пространство Зелёного креста

Об особенностях прозы Виктора Мельникова

Русский реализм проторил пути и тропы богатейших традиций. И дискуссии последних лет вокруг него преследуют две цели: либо растоптать их постмодернизмом, либо отстоять, создавая к ним новый интерес. А наш реализм далеко не вчера, не один век назад пробился к океану литературного бытия и — как океан — существует сам по себе и сам себя утверждает.

Новые смутные времена повлекли за собой новые мистические проникновения в общественное сознание. На каждом шагу можно услышать, что Россия — мистическая страна. Позвольте, это уже стало надоедать, докучать, набивать оскомину. Всем, казалось бы, давно должно быть ясно, откуда она, российская убыль. Неужели не всем ещё понятно, на чём вырастают богатства новых русских богачей и почему обнищала треть населения?

И всё же мысли о мистическом, метафизическом в отношении России невольно возникают, не могут не возникать. Каким духом питались русские люди в ельцинские годы правления, по полгода, а то и по году не получающие зарплату? Как сводят концы с концами русские люди, задушенные налогами, тарифами, ценами, отменами льгот сегодня?

Когда я вижу, как уклончиво декларативный реализм обходит эти насущные вопросы выживания российских людей и самой России, зато клеймит мистиков за их ирреальность и фата-морганический туман, даже когда они ставят эти вопросы, я склоняюсь в пользу вторых.

У писателя Виктора Мельникова я увидел счастливое соединение реалистического повествования и метафизической идеи, приземлённого бытописательства и глубинного прорыва в запредельное, а вместе — русского быта и русского бытия.

Его повесть «Зелёный крест» начинается неожиданно иррационально. Главный герой, Иван Карелин, попадает в состояние то ли сна, то ли галлюцинации, то ли мистического озарения или откровения: «На-



ступила темнота. И в ней Карелин увидел несколько человек, одетых в блестящую пластинчатую броню. На головах сверкали стальные шлемы, со шлемов спадали на шеи и плечи кольчужные сетки-бармицы, круглые кавалерийские щиты были брошены за левое плечо, а на поблёскивавших серебром и золотом ремнях висели в ножнах тяжёлые боевые сабли. И от сверкания этого оружия словно светлее стало в комнате, проступили лица, и особенно поразил Карелина главный воин, стоящий впереди. Пронзительно-синие глаза точно искры горели на смуглом лице, борода и усы отливали цветом спелой пшеницы, а через весь лоб, пересекая левую бровь и щёку, проступал рубец старого шрама».

Внезапно всё это исчезло. Но и главный герой, и мы словно ступили в океан реализма, где надвинулась на нас волна иного времени и тут же отхлынула. Зато остался словно влажный след памяти об этом и возможность следовать дальше. Если вплавь на подручных средствах, то далеко мы не уплывём. А если, основательно снарядившись в путь, мы отправимся в дальнее плавание, тогда можем выплыть к новым горизонтам реализма.

Виктора Мельникова интересует бытотпись как почва и опора-корабль, на чём он отправился в пожизненно-долгий писательский путь осваивать задальные дали реализма. Здесь всё самое необходимое, нет красотостей-излишеств, нет романтических реминисценций. Зато есть крепко сбитый жизненный сюжет, есть борьба, в данном случае — борьба со стихией смутного времени и, конечно же, с самой собой.

Почвой стала тут «сретенская» земля, списанная с окрестностей Коломны и Колычёва, то есть земля исконно русская, былинная. И былин-ные витязи, явившиеся в начале повести, — это её охранители. Ею ныне распоряжаются новые хозяева жизни — пришлецы, дельцы-предприниматели. Люди в смутногодье обнищали, а эти — вот они, тут как тут, с обещаниями райской жизни.

Сама жизнь как смутный объект реализма требует ясности, которая, наверное, только в раю и бывает. Но ей никто этой ясности никогда не даст — умышленно или по недомыслию. До тех пор, пока люди сами не начнут её добиваться. В повести как раз ради неё народ и устраивает сход. Демократия — как одна из иллюзий реализма — всякими сходками и советами, думами и вече у нас на глазах оказалась вдруг с подорванной репутацией. А если брать глубже, то всё-таки её люди скомпрометировали. В жадном стремлении получить всё сразу, вкусить все прелести рая мы вечное можем отдать на заклятие сиюминутному. И «перестроечное» время подтвердило это. А на сретенской сходке народ оказался единодушен в своём непринятии проекта строительства нефтеперерабатывающего завода — киллера их земли, входящей в заповедное Золотое кольцо.

Здесь очень важно увидеть, как автор переводит экологическую проблему в ранг вечных вопросов о земле, о родине, о преемственных исторических связях.

Карелин олицетворяет собой родового хранителя национального генофонда. До революции его предки владели здешними землями. Он связан со своей почвой незримой духовной пуповиной. По преданию, на этой земле бывал преподобный Сергей Радонежский, благословивший русское воинство перед Куликовской битвой. Под курганами покоится прах её героев. И местный народ издревле из уст в уста передавал предание о них — об охранном для этой земли «подземном войске». Оно и стало приходить в видениях к Карелину и к другим персонажам повести, дедам Луке и Макару, связанным со своей землёю кровными узами, единой непрерывающейся исторической цепочкой.

В этом плане от реализма бытового и событийного автор органично и непринуждённо перебрасывает мостик к реализму памяти и движений духа. И тогда все сны и фантазии не уходят в некий надреализм или сюрреализм, а становятся неотъемлемо-естественной частью реального действия.

Карелин занимается предпринимательской деятельностью, что вполне соответствует духу времени. Однако делает это вовсе не по алчным соображениям, а по мотивам более высокого порядка. Он применяет во благо своей родине то, что многие стали использовать ей во зло ради личной наживы. От них это зло гнётом легло на Русскую землю, придавило, осквернило её мерзостью запустения. Преуспевающие чужаки (даже те, что родились на ней) готовы делить и распродавать её оптом и в розницу. Карелин же являет собой образ собирателя и защитника, один из воплощённых архетипов былинного богатыря. Он наделён недюжинной силой, сметливостью, благородством и в то же время нежной чуткостью к любимой женщине Линде.

Образ Линды по-своему примечателен и притягателен. Она — эстонка, которая родилась в России и уехала в суверенную «демократическую» Эстонию. Однако не «ужилась» с тамошней государственной националистической политикой, нарушающей права русскоязычного населения, в том числе и её, обрусевшей эстонки. И вынуждена была вернуться в Россию.

А в России — свои трудноразрешимые проблемы, порождённые смутным временем. Здесь Линда вновь повстречалась с Карелиным, когда он вступает в решающую схватку за родную землю с «шейхами-фельцманами» и их бандитами. Автор стремительно развязывает сюжетные узлы. Кульминационным событием как раз и становится всеобщий сход. В повести убедительно показано, как настойчивость народа приводит к победе. Местные власти не отважились оставить в силе решение на строительство нефтеперегонного завода, проплаченное «чёрными» нефтяными магнатами и запущенное в ход.

Повесть была написана до украинской «оранжевой революции», но как бы предвосхищает её. Правда, эта революция после схода на Майдане показала свою несостоятельность, так как взошла на коррупции и породила ещё большую.

Время криминальных революций диктует соответствующие методы его изображения. И Мельников не боится вводить элементы криминального отражения современного мира. Однако над всем этим воздвигает — в художественном плане естественно, не назидательно — символ святости: Зелёный крест. Однажды он является Карелину в сновидении — о Дивном Pole, где перед решающей битвой собирались русские дружины: «Одно поле было целиком выкошено, и лишь посередине его

остался нетронутым участок в виде огромного креста. И этот крест жил, дышал, двигался под порывами ветра». В другой раз на холме у часовни крестьяне раскопали памятник воинам Куликовской битвы в виде огромного каменного креста, вырубленного из цельного куска тёмно-зелёного мрамора. Этот памятник был установлен в 1880 году к пятидесятой годовщине сражения.

Сама земля, со своей былинной историей, подземными гулами, мистическими видениями древних дружинников с воеводой Николой во главе, вселяла силы в трёхреченцев, повела их на врага.

Мистические мотивы органически вплетаются и в ткань повести «Музею требуется экскурсовод...». Главная героиня, Вера, на «границе реальности и сна» видит то Франца Лефорта, сподвижника Петра I, то кирасира Якова Брюса, учёного, продолжателя дела Петра. С этими историческими личностями автор мастерски переплетает современные события.

Основные действия связаны с музеем, где с картины Лефорта делается копия. Подлинник потом похищают. Но развитие сюжета не сводится к детективной интриге. Автору важно проникнуть в сокровенный мир своих героев, развязать или даже разрубить гордые узлы их сложных судеб: Вере отыскать отца, а отцу через много лет вернуться наконец к своей возлюбленной, её матери. И в этом им и мистически, и вполне реалистично помогают жившие когда-то прославленные исторические деятели.

У Мельникова есть и немало рассказов, дышащих историческим бытием русского народа. Есть сюжеты сказовые, тем не менее тесно связанные с реальностью наших дней. Точность и сочность языка отличают его лирический слог.

Действия его рассказов, как правило, разворачиваются на провинциальном фоне. Осенний воздух в «Отчем доме» у него «чуткий и тихий, как девичий вздох». Однако для каждого рассказа автор находит свой особый неповторимый лирический климат. Сочувствие к людям, боль за них, стремление найти пути для реального их «выпрямления», для утешения боли и утешения души — вот основная доминанта его авторского письма.

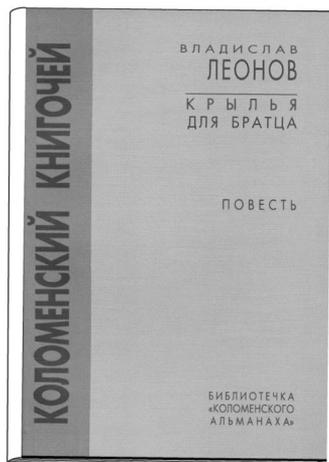
Таким образом, современный русский реализм в лице Виктора Мельникова обрёл добрую духовную составляющую. В своих произведениях он не лишается уже освоенного, в том числе фантастических и криминальных структурных элементов, как я показал выше. А новые пути для него пролагаются в продолжение прежних. И в этом реализм несколько не проигрывает. Он обогащается, как руда, как порода, благодаря именно таким писателям.

Светлые образы героев со сложными перипетиями судеб и деятельным любящим состоянием сердец всегда необходимы читателям. И писатели, которые умеют их найти в жизни и убедительно показать в своих книгах, всегда будут в чести и, к сожалению, в дефиците. К таким писателям относится и Виктор Мельников.

Воздух времени: вкус и запах

О послевоенной жизни Коломны

Новая повесть Владислава Леонова «Крылья для братца» начинается с главы «Партизанка, Партизанка...», словно с проверки камертоном,



чтобы взять верный звук. И это звучит каким-то приговариванием, как будто взывает к совести, укоряет ностальгической романтикой героики: «Партизанка, Партизанка...», а попросту — как песенный припев.

И повествование о том времени, которое только-только отгремело, но дышало ещё партизанской вольницей, вопреки всем попыткам иноземных поработителей подмять под себя нашу землю, сразу обретает необходимый звук времени.

А герои повести — простые ребяташки с коломенских окраин. Оттуда, где железная дорога — рядом с домом, и где спалось им под грохот поездов так крепко, словно мчались они куда-то во мглу, а просыпались — от тишины или малейшего шёпота.

Лирическая интонация поднимает быт, описанный сочно, с мельчайшими подробностями, до мелоса. Это реализм воспоминания, которое не утрачивает мальчишески непосредственного восприятия, передаёт воз- дух времени.

«Открываю окно, дышу тополем, слушаю грачей, вижу размалёванные ещё с войны крыши и стены цехов, а за ними — свойскую Москву-реку, что петляет за паровозной сборкой, мазутную, рыжую, пахнущую больше железом, чем рыбами, и забирающую каждое лето кого-то из нашей горластой стаи на своё холодное илистое дно. Блестит булыжник на Партизанке. Ну какой умник назвал тебя так? Какие тут партизаны, бои-побоища, танки-берданки? Тополя да булыги, по которым шагает рабочий народ».

Видите, нет никаких партизан, никакой особенной героики, зато есть звук, огибающий повседневный быт и органично соединяющий всё в бытие, незатейливое, но по-своему богатое, щедрое на краски. А где-то совсем рядом — и они, партизаны, пусть их в повести нет, зато существуют они в мальчишеском возбуждённом воображении, как во сне наяву, одним зыбким, но зримым собирательным образом, создающим фон ребячьей жизни в местечке с таким названием. А на сонном переезде шлагбаум задран, как зенитка.

И они, мальчишки, как маленькие гении этого своего местечка, злые и добрые. Здесь есть и «отвязанные», как говорят сегодня, типы вроде Халеры. А у ямских ребят забавы «самые гестаповские»: коньки с валенок срезать, лыжи отнять, кошку удушить. Зимой нашли снаряд на «чермете», покатали подложить под железную дорогу, чтобы грохнуло. Не докатали — рвануло по пути. Трех разметало по ближним тополем, а Халеру покалечило, вот и прыгает он теперь, скрюченный, с беспалой рукой. «Так и надо, чтобы кошек не мучил», — радовался братец Витька.

А Витька и сам не ангел. И он то сидит на цепи (глава «Братец на цепи»), то вновь и вновь хочет почувствовать крылья за спиной, устремляясь в полёты с деревьев. Жаль, в падении от бескрылости не избавишься. Однако ж и в падении можно испытать миг парения, за ним Витька и гоняется до самоотречения, огорчая мать. Но не ради ли таких мгновений и живут мальчишки всех времён! И, даже разбиваясь, они

обредают ощущение смысла жизни, и — как холодным крылом — обдаёт их смыслом смерти...

На брата Витьку всегда что-то падает, что-то загорается в его руках и в карманах. Для него спокойный миг — тоска, тихая минута — пытка. Вот его и приковывают к кровати собачьей цепью, на которой висит здоровенный замок. Или привязывают верёвкой к стопудовой кровати, «чтоб не сбежал, не залез куда, не сломал бы снова переломанную руку, не загнал бы занозу в задницу, вздумав прокатиться по неструганым перилам чердачной лестницы. Занозу вытащили, рану зашили, целых десять минут Витька сидел тихонько, но тут же в забывчивости опять ринулся на крышу».

Витька — крайнее проявление мальчишеской стихии, неугомонной, мятежной, бунтующей. И эти невольные импульсивные порывы к небу — не его вина, а естество природы, клокочущее в нём. Его «страсть к шатанью-болтанью» неискоренима, как у подраненной птицы страсть к полёту. «Куда только не заносило его отчаянную головушку!»

Автор повествует от лица своего героя-мальчишки, мастерски перевоплощается в него и выражает через круг образов своё стремление к полёту. К полёту души, к прорыву воображения из реальности. А реальность расставляет свои границы, её физическая природа всегда не приемлет метафизики в нас. Но не она ли куда только не заносила отчаянную Витькину головушку? Откуда только не выуживала его мать, тётка Катерина: из ржавых паровозных котлов, из пыльных подвалов, с чердаков. Но всего сильнее любил братец высоту, откуда раскрывалась перед ним вся красота мира, Божья красота, ещё им не осмысленная, но предопределённо зовущая куда-то. «На продувной колокольне стоял, замерев в очаровании, глядя на далёкую речную излучину, на старый монастырь. Молчал. Только ветер шевелил его лёгкие волосы. “Красота! — тарачил Витька серые отчаянные глаза. — Мне бы, Владька, крылья, взмахнул бы!..” И взмахнул бы — это точно. Летел ведь с крыши на самодельном парашюте, сломал тогда ногу, до сих пор хромот».

Повесть написана на одном дыхании, будто тренируемом перед полётом. А что такое хорошая художественная проза — как не подготовка и приглашение к метафизическому полёту души! И если поэзия уже полёт, парение, то такая проза — это размах перед полётом, ожидание и обещание полёта с краткими прорывами-воспарениями.

В повести высвечено мальчишеское мистическое мироощущение, подкреплённое свежим отражением реальности. И как же верно и точно передана их наблюдательность, их невинно-непосредственный эротический взгляд на женскую красоту. Невольно любят они соседкой, «черноволосой и красивой», её «всегда белой шеей», «бархатистой её ножкой».

И пускай тема такая незамысловатая, мальчишеская, всё равно она очень значительна. Воспоминания умудрённого жизнью писателя о своём детстве, совпавшем со всеми трудностями военного и послевоенного времени, читаются как исповедь мальчишеской души перед самим собой на склоне лет. Переживший времена, — и победные, и позорные, и светлые, и смутные, — он словно бы отчитывается перед собою, мальчишкой, за всё, что получилось, и за всё, что нет. И, сдаётся мне, ищет прощения за позднюю бескрылость своего поколения. Того поколения, что покорило космос, но так и не сумело подняться над собой. Взлетев-

шего и упавшего на булыжники рыночного рая, которыми вымощена дорога в ад.

Впрочем, сама повесть — это попытка одного из этого поколения, но далеко не единственного, в очередной раз подняться, преодолевая силу земного реалистического тяготения, возвестить миру своё несогласие с тем миропорядком, который установлен противу Бога.

А всё начинается как бы с песенного запева: «Партизанка, Партизанка! Пыль да мухи, лето да каникулы. Прощай, любимая школа, до славного месяца сентября! До уроков, уколов, криков вожатой: “Вынуть из карманов галстуки! Повязать где положено, митрофанушки! Отцы кровь проливали, саввушки!” Будет хватать галстуки. Так, словно удавить хочет». Вот какие противоречия поджидают их маленькие мальчишеские миры. И здесь насилие. И там, когда выйдешь на Партизанку, а увидят в Ямках. Примерные пионеры страдают от хулиганистых мальчишек. «Хорошо, если Халера заорёт: “Пионеры из фанеры, а вожатый из доски”. А поймают здоровые парни? “Отличник? Интеллигент?” И блеснёт в руках финка...».

Да, и тут насилие, и там, а всё из-за куска красной материи.

И руководители руководствовались законами социального насилия, забывая и о других, и о себе. Даже чаще о себе, чтобы хотя бы формально работать на благо других. Все знали, что у директора паровозного завода умер сын, один-единственный, умный и красивый. Все жалели директора, а он, как обычно, пришёл в кабинет на своё рабочее место.

«Железный человек, — вздыхал отец героя, — ни слезинки. Мы-то думали: похороны, горе, а он, как всегда, в точное время, и — ни слезинки».

И вот как после разноса на совещании привели отца: «Однажды — топот по коридору. Незнакомец в чёрной коже ввёл отца, бледного до синевы. Незнакомец смотрел поверх голов, пока мы суматошились, укладывали, отпаивали отца...»

Когда отец очнулся, над ним склонялся директор и извинялся: «Извини, Николай Иванович, за мой разнос, сам понимаешь, время такое... Себя не жалеешь...»

И всё же, невзирая ни на что, народ победил, паровоз пошёл по графику. Отцу дали премию. А тётка Катерина «приволокла домой почётную красную грамоту». «Утрись ею», — сказала Стеша, подселенка из воинской организации.

«И почему пароходные гудки такие печальные?»

А Халера, как оказалось, тоже был человек. И когда наш герой Владька вместе с ним приехал к своей «баушке», она и не спросила, кто это с ним: брат Витька или шпана ямская. И словно с души валун отвалился.

Халера видит икону и показывает пальцем: «Бог!» А ведь «мало тогда было Бога у нас», — подчёркивает автор. «Спаситель, — объясняет баушка Анюта, и Халера долго всматривается в тёмный лик, перед которым горит лампада. И уже сидя на диванчике с пирогом в руках, он всё посматривает на Спасителя, спрашивает: от кого он спасает?

Баушка погладила его по спутанным волосам:

— От нас самих и спасает. Хочет, чтобы все люди любили друг друга, жили в добре и справедливости.

— Так не бывает, — задумался Халера. — За что любить меня, Владея, подумаешь, герои какие! Я вон вуюю. Владей вообще убил бы всех к чёртовой матери.

— Не надо чёрным словом да к ночи, — сказала баушка, и Халера усмехнулся: не знал он белых-то слов. Долго он ворочался на чистых простынях, вздыхал:

— Шуршат, как мыши... Не уживусь я тут. — И долгое время спустя сказал: — А старушка у тебя добрая, я-то вижу».

Здесь главный нервный узел повести. Халера просветляется на миг. И этого уже достаточно. Миг просветления — зерно, могущее прорасти в душе могучим светом. И покуда все, скороговоркой, однако Бог уже овладевает тёмным сознанием хулиганистого подростка. «Господь, Спаситель ты наш! — запомнил Халера».

В главе «Золотые шарики» говорится о том, что у Витьки умирает отец. «Витька с ужасом таращился в сторону глинистой ямы, возле которой стоял красный гроб». А потом «старательно и споро обхлопывали лопатами глинистый холмик, устанавливали памятник и оградку, которая празднично блестела золотыми шариками».

Завершается повесть главой «Большая вода». Всё в природе веет весенним воздухом. Здесь Халера знакомится с девушкой, и к нему возвращается наконец его настоящее имя — Валерий, как у знаменитого лётчика Чкалова. А Витька вновь залезает на тополь, обламывая клейкие листочки. «Не знает братец, что тополь только с виду крепкий, а внутри давно сгнил, и надёжный вроде бы сук с треском обломился».

Вот и строй-то наш, с виду крепкий, обломился, точно тополь, и многие романтики светлых дней будущего оказались внизу, в поверженном положении. И поколение победителей, вернувшееся с войны, пострадавшее более всех — кто больше, кто меньше, — так и не сумело по праву в полной мере распорядиться плодами своей общей Великой Победы.

В конце повести возвращается домой какой-то человек в офицерском кителе без погон, смотрит серыми Гришкиными глазами. Это вернулся с фронта Володя, и баушка всплёскивает руками и кидается к «сыну своему последнему». И автор возвращает ту минутную, но великую радость встречи возвращавшихся с войны. А вместе с этим глоток того победного воздуха времени, которого нам нынче так недостаёт!..

Чтобы помнили и чтили...

Рассказы Нины Соловьёвой

У Нины Соловьёвой «Вспомни обо мне» — первая книга и первый успех.

В ней собраны рассказы уже сложившегося мастера лирической прозы. *Вспомни обо мне...* Это зов одинокой души, призыв помочь — пусть не ответным поступком, но хотя бы нечаянным воспоминанием.

Автор своей вихревой экспрессивной повествовательной манерой сразу вовлекает вас в круг событий и внутренних душевных движений, пробуждая живой интерес к себе и своим героям.

Вспомни обо мне, пока я ещё жива, — эта мысль звучит в каждом слове всех её рассказов. Вспомни сейчас — потом будет поздно. И тема смерти рядом с темой любви — одна из самых мистически-проникновенных для неё тем. И очень реальных.



Вот доктор Андрис из рассказа «Контакт» спасал, «тащил всегда и всех, чтобы потом, рухнув в горячке усталости на дно своей берлоги, посреди ночи или дня, почти подобного самой великой смерти сна, вдруг осознать какую-то обидную для разума невысказанную детскость смерти. Всё это повторялось сотни раз». И далее идёт повторно-конкретный момент, дающий импульс развитию сюжета в смысловом ключе, отворяющем бездны между жизнью и смертью: «Но то приближение агонии он помнил очень хорошо. Пятьдесят неравномерных ударов сердца в минуту. Подросток без имени. Из тех, чей номерок в журнале регистрации останется навечно невестребованным, когда на опознание и на похороны претендентов нет».

Автор быстро овладевает вниманием читателя. Затая дыхание, следишь за судьбами её героев, в сущности, беззащитных и слабых перед судьбой, перед установившимся порядком вещей, человеческими отношениями, постоянно подрывающими в них человечность или проверяющими на жизнеспособность и тем самым их утверждающими.

В «Контакте» место неразделённой любви юноши к ЮЛЕ занимает загадочное состояние ухода в смертное небытие. Любовь и смерть словно соперничают между собой.

214

А хирурга глубоко ранит очередной контакт с тайной властью смерти над молодым пациентом, с которой он мог бы совладать, но в силу сложившихся обстоятельств клинической субординации так и не сумел. Ему не дали возможности находиться рядом с этим трудным больным и спасти его. Поэтому выбор один — написать заявление об уходе.

Книга явно не случайно начинается с этого рассказа, настраивающего на особое восприятие извечных конфликтов между жизнью-любовью и смертью, соперничающей с нею. Между памятью и забвением, а точнее между памятью сердца и просто памятью, граничащей с забытьём.

Лирическая проза Нины Соловьёвой исполнена поэтики утрат. Но в них-то и обретается всё то, что мы называем человеческим. В них и появляется чувство человечности и милосердия. Призыв смилостивиться над всеми слабыми, бесталанными или, по Пушкину, падшими.

Одичавшие собаки кольцом окружают Ольгу («Бывшая Ольга»), и она чудом спасается. Но и сама она, брошенная, обезумевшая от поруганной любви и одиночества, находит для себя выход из круга не принимающей её жизни — в небытие. Она уже не справлялась с «беспорядочным трепыханьем сердца».

После развода с мужем она всё сильнее уверялась, что их развели, насильно разлучили. И любовь её — загубленная, а не просто преданная любовь. «Любовь, которая оказалась, будто сломанный бегающими в темноте по саду детьми стебель царской лилии, будто птенец, попавший под колёса».

Её выпад против священника — словно крик из бездны: «Может быть, в раннем христианстве было больше внимания, милосердия, справедливости? Не знаю... Но сейчас вы сделали веру отверженных религи-

ей власть имущих и ненавидите любое проявление искренности...» Священник принял это за беснование.

А дурная слава сумасшедшей стала шлейфом волочиться за нею. Но она сама делает выбор выхода из безысходной реальности, нажав на спусковой крючок автомата растерявшегося милиционера, направив ствол на себя. «Разбрасывая руки, запрокинув умоляюще голову, рухнуло длинное женское тело на молодую мягкую траву, на мелкий тёплый песок окраины футбольного поля, на сгустки вишнёвого цвета, будто стружки от плотных, из последних сил отразивших зарю облаков».

Похоже, и такую её, самоубийцу, автор оправдывает, признавая и в подобной смерти спасение для таких, как она, обделённых любовью.

«Молодой женщине, разметающейся на песке с лицом, обращённым к Небу, не нужно было больше никого и ничего». К Небу — и всё этим сказано, ясно авторское отношение к своей героине.

Нина Соловьёва убедительна, проза её достоверна — и чем лиричнее, тем достовернее. Верить каждому её слову. Это ли не свидетельствует о высоком мастерстве владения реалистическим письмом?

Бытовая обыденность трагедий, я уверен, не оттолкнёт читателя от её рассказов. Ведь она невольно учит искусству сочувствия, соучастия. Обыденность, привычность, но не приземлённость. В каждом её произведении переплетается множество ассоциаций. В «Саду любви» разбивается лётчик. И бремя забот вместе с ношей нелёгкой любви к его вдове и сыну ложится на его коллегу Захарова. Вскоре Ксаня умирает. И казалось, «будто умирая, она перепоручила ему сына... чтобы сыну было бы кем тяготиться, от кого бежать».

Тонкий психологизм в обрисовке образов — несомненное достоинство лирической прозы коломенского автора. Как до жути правдиво написан эгоистический характер сына Серёжи, его порывы к бегству от всякой боли, от страдания. Чужое страдание, даже материнское, не вызывало в нём сочувствия. «Может, после смерти Звягинцева, она невольно попыталась сделать пленником Серёжу? А потом он начал бунтовать. Потому, что слишком много боли, много страха, страха снова потерять, и это зашло ей всё внешнее... Так она его и потеряла. Слишком живого, тщеславного, талантливого, готового днями пропадать где-то в гостях, но не находившего полчаса посидеть у её постели».

Такое не придумаешь, такое нужно было пережить, прочувствовать самому, пропустить через чуткие струны своего сердца. Дематериализоваться, чтобы воплотиться в словах, страшных и смелых по своей трагической сути.

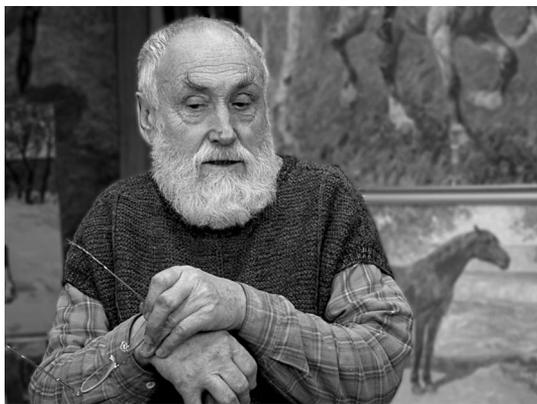
В книге десять рассказов, и каждый — событие. В каждом — сломленные судьбы и неразвенчаные надежды. Здесь на лицо любого персонажа может упасть «тень от двери, словно широкий взмах топора». Люди теряют друг друга по воле рока, потому что любовь и смерть в борьбе за них не уступают одна другой. Здесь, как наяву, до беспощадности зримо возникает тягучая капля, «капля крови, которая ползёт из уголка рта, когда сердце...». И щёлкает в экстазе соловей, «напоминая о внутренней несовместимости миров, видимым образом легко соприкасавшихся друг с другом».

Слепая сила может искалечить девушку, погубить её жизнь. «Ляля была уже на другой стороне дороги, как вдруг острая, рвущая низ груди боль чудовищным всплеском подняла её над землёй». Отец хочет ото-

мстить за дочь, изувеченную быком, местному ловеласу, на свидание к которому спешила она, однако мстить, в сущности, некому. Слепая сила рока порождает слепую месть («Лето»).

И герои вынуждены задумываться о роли Бога в своей судьбе, рассуждать о том, что «Бог безучастен к трагедии — что он может сделать? Нарушить ход вещей? Не имеет права. Отменить весну, чтобы не слишком жгло солнце и не спалило восковые крылья? Бог не вправе отменить весну. И вот здесь мы осознаём, насколько Бог бессилён при всём своём всемогуществе...» («Сад любви»).

Здесь идёт «живой круговорот из жизни и смерти». И осуществляется он не столько как «засилье перегонки вещества», сколько метафизически, мистично и в полной мере реалистично. И остаётся ключевым паролем эта вечная просьба: вспомни обо мне. Чтобы помнили и чтили. И когда в одноимённом рассказе в болотных зарослях багульника находят погибшего художника с такой надписью на обороте картины — неизвестно кому адресованной, но понятно же — своей любимой, и точно не знают, по какому адресу он прописан, чтобы отправить её посылкой, — то всё теряется в бесконечных даях вечности; этот клич тонет в бездне, переходящей из бытия в небытие.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Русскому живописцу Виктору Павловичу Иванову — 75 лет!

Работы Иванова звучат размеренной, тихой и верной мелодией русского раздолья средней полосы России, постоянно меняющейся, всегда родной, но вечно живой, привлекательной и любимой. Живопись большого русского художника всегда значима, весома, ожидаема.

Пусть по-прежнему будет верной его кисть, свежим — ощущение цвета и гармонии! Пусть коломенцы знают, что их край находится под хозяйским приглядом, что наше хорошовское раздолье и хорошовский лес охраняет добрая душа художника.

Желаем Вам, дорогой Виктор Павлович, исполнения всех Ваших творческих замыслов и неизменной твёрдости духа.

Многие Вам лета!

Редколлегия



ИЗ
НЕДАВНЕГО
ПРОШЛОГО



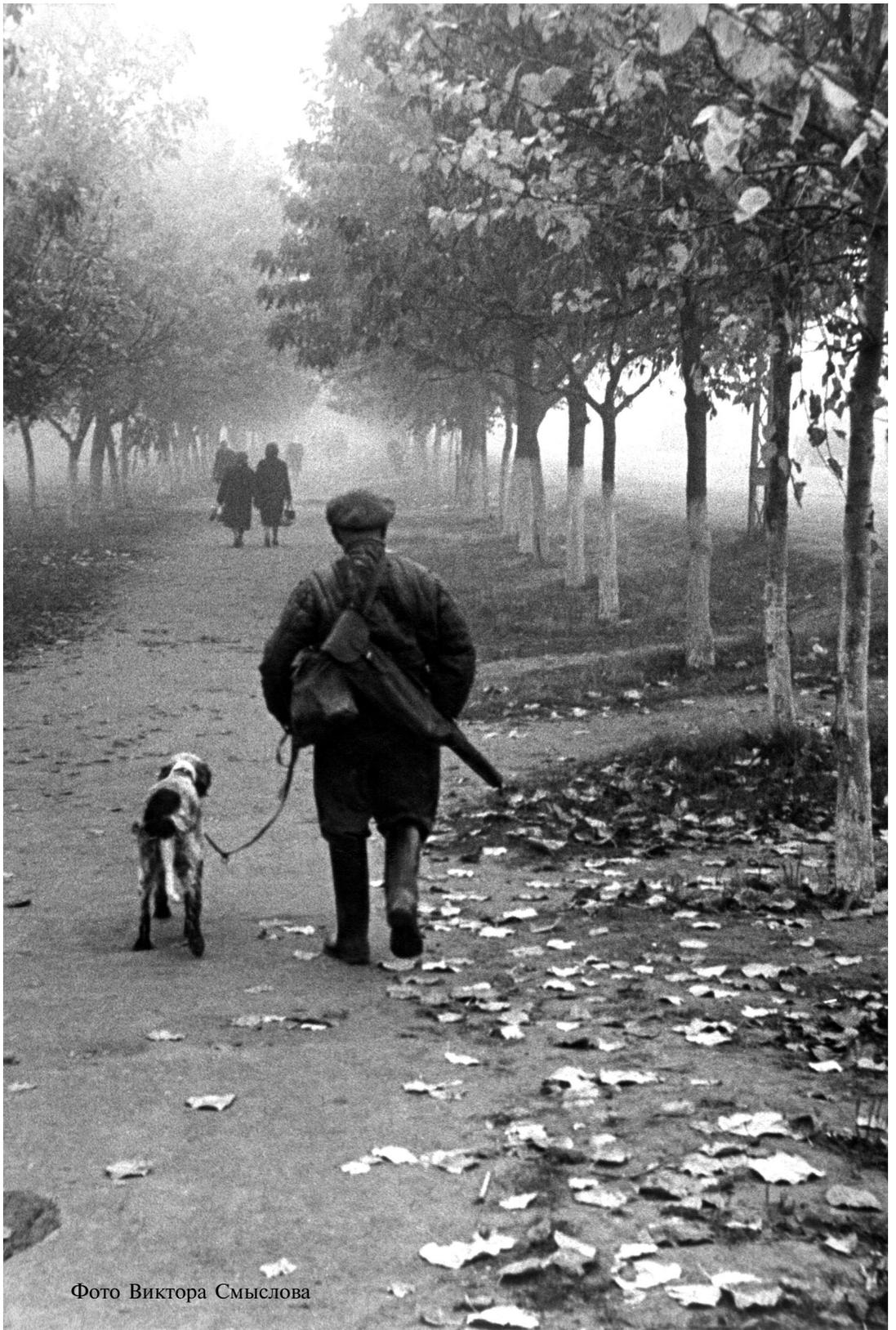


Фото Виктора Смыслова

ДУША ХРАНИТ



Станислав Юрьевич Куняев родился 27 ноября 1932 года в Калуге. Стихи писать стал рано, ещё в начальной школе. Первая публикация автора состоялась в 1956 году.

Окончил филологический факультет МГУ. Первая книга стихов — «Землепроходцы» — вышла в Калуге в 1960 году.

Автор ряда поэм и лирических хроник, а также талантливый критик. Много страниц посвятил жизни и творчеству С.А. Есенина. В 1977 году Станиславу Юрьевичу и его сыну Сергею была вручена в Рязани Всероссийская Есенинская премия за книгу о С.А. Есенине.

С 1989 года — главный редактор журнала «Наш современник».

Член Союза писателей России с 1961 года.

С.Ю. Куняев — лауреат Государственной премии РСФСР им. М.Горького. Награждён орденами Дружбы народов и «Знак Почёта».

1

Судьба не была ласкова к Николаю Рубцову. Она наложила на его характер печать замкнутости, угрюмства и недоверчивости, но его природная открытость всё время боролась в нём с этими свойствами.

Тот, кто встречался с ним, не забудет, как Рубцов пел свои песни. Пел их для себя в минуты свободы, тоски и полной раскрепощённости. Вот тогда-то он брал в руки обшарпанную гармошку или гитару, склонял голову с прядью редких волос, зачёсанных с затылка на лоб, и, рванув мехи, начинал не петь, а выть, равномерно раскачиваясь:

По-о-тону-ула во мгле
Отдалё-о-онная при-и-истань...

Вся жизнь с ранним сиротством, с деревенским детдомом, со скитаниями по России-матушке, с вечной бездомностью, с тоской по близкой и не встретившейся на житейских дорогах душе изливалась в этом вое под скрипучие звуки разбитой гармошки.

На меня надвигалась
Темнота закоулков.
И архангельский дождик
Надо мной моросил.

Но инстинктом истинного поэта Николай Рубцов знал, что в поэзию нельзя безнаказанно впускать всё тёмное, озлобленное, измордованное и жёлчное, что порой овладевает человеком. Он знал главную истину: душа поэта на то и дана ему, чтобы высветлять и очищать жизнь, обнаруживая в ней духовный смысл и принимая на себя несовершенство мира. Потому-то, когда этот песенный вой достигал предела, Рубцов устало смягчал голос, грустно и спокойно заканчивая:

На болотной земле
В этом городе мгlistом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек.

Это было не исполнение, а самозабвение.
Вспоминаются его стихи:

Со мною книги и гармонь
И друг поэзии нетленной —
В печи берёзовый огонь!

И всё равно каким-то крещенским холодом веет от этой идиллии! Много надо испытать лишений и надсады, чтобы в подобных мелочах жизни находить истинную радость.

Ко времени, когда мы сблизились с ним, психика поэта (а ему ещё не было и тридцати) была уже весьма изношена. Угрюмое и молчаливое состояние, из которого он редко выходил лишь при встрече с понимающими его людьми, часто прерывалось вспышками внезапного гнева. Тогда маленький и тщедушный Рубцов мог послать куда-нибудь подальше какого-нибудь администратора, сделавшего ему обидное замечание, за что впоследствии клял и корил самого себя.

Вот так и жил он в свой «московский период» — то уезжал на Вологодчину, в Ниолу, то возвращался, гонимый тоской, одиночеством и безденежьем из милого, но опостылевшего захолустья в сверкающий столичный город, который никогда не верил, да и до сих пор «не верит слезам». Как писал в те годы в одном из лучших своих стихотворений друг Рубцова Анатолий Передреев:

И в потоке его многоликом,
В равномерном вращенье колёс,
В равнодушном движенье великом
Нелегко удержаться от слёз...

Однажды — о чём до сих пор вспоминают старожилы Литинститута — с лестничных площадок общежития исчезли портреты Лермонтова, Некрасова, Пушкина. Сбившийся с ног в поисках комендант общежития случайно заглянул в комнату Рубцова и ахнул: тот сидел на стуле со стаканом в руке в компании портретов, прислонённых к стене.

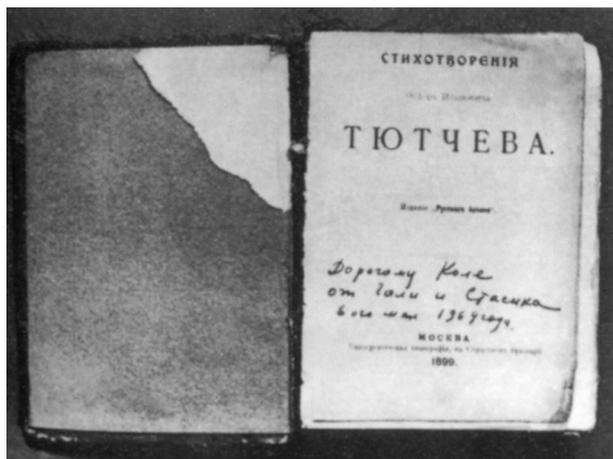
— Не с кем поговорить было, — оправдывался наутро Рубцов.

Цену себе как поэту он знал, и во всём его облике и поведении нет-нет да проскальзывало то смирение, что «паче гордыни».

Любил поэзию Владимира Соколова, правда, в минуты раздражения называл его «дачным» поэтом, ценил стихи Анатолия Передреева, Глеба Горбовского...

Ещё в студенческие времена, забредя в букинистический магазин на улице Горького (сейчас на этом месте высится новое здание гостиницы «Националь»), я купил изящное старое издание стихотворений Тютчева в парчовом, с золотым шитьём переплёте.

Тютчев, а не Есенин (как казалось тогда многим) был любимым поэтом Рубцова. Знал он его наизусть и часто читал вслух. А стихотворенье «Брат, столько лет сопутствовавший мне» даже пел на свой протяжный мотив.



Книга Ф.Тютчева, которую подарил Рубцову Станислав Куняев. С этой книгой Николай Михайлович не расставался до самой смерти

вали открытие рубцовского музея в Николе, Виктор Коротаяев торжественно вернул мне мой подарок, который я тут же передал в музей. Перед тем как окончательно расстаться с книгой, поглядел на титульную страницу, где было написано моей рукой: «Дорогому Николаю Рубцову от Стасика и Гали». Помню, как он по-детски радовался, как в ответ достал из своего старенького чемоданчика только что вышедшую «Звезду полей» и написал на титульном листе рядом со своей фотографией, где он в берете и шарфике:

«Станиславу Куняеву, дорогому поэту и другу, на добрую память.
Н.Рубцов.
1.XII.1968 г.,
г. Москва. Тёплая зимняя погода».

Со дня нашего знакомства Рубцов стал для меня одним из необходимых поэтов. Ощущение того, что где-то живёт и пишет Николай Рубцов, поддерживало меня — да и не только меня — в нерадостных порою раздумьях о судьбах нашей поэзии. Не раз он приглашал меня в свою деревню Николу, но, как всегда, не нашлось времени, и вместо того чтобы приехать к нему, в 1964 году я написал стихи, вошедшие в книгу «Метель заходит в город».

Если жизнь начать сначала,
В тот же день уеду я
С Ярославского вокзала
В вологодские края.

Перееду через реку,
Через тысячу ручьёв
Прямо в гости к человеку
По фамилии Рубцов.

Как-то Рубцов уезжал из моего дома в ночь, и, глядя на него, уходящего в осеннюю тьму, мне захотелось принести ему какую-нибудь маленькую радость. Я подарил ему эту книжку, будучи уверен, что Рубцов, с его безбытностью, в скором времени обязательно потеряет её. Но друзья из Вологды рассказывали, что книга всегда была с ним в последние годы, а после смерти её нашли в его скудной библиотеке. Видимо, он дорожил ею. В январе 1996 года, когда мы праздновали

И шуметь по коридорам;
Он описывает жизнь! —
И ещё меня с укором
Оглядят: — Опасный вид! —
Мол, начнёт греметь запором
Да шуметь по коридорам,
То-то будет срам и стыд!..
Гнев во мне заговорит!
И, нагнувшись над забором,
Сам покрою их позором,
Перед тем спросив с задором:
— Кто тут матом не покрыт?
Кроя наших краснобаев,
Всю их веру и родню,
— Нужен мне, — скажу, — Куняев,
Вас не нужно — не ценю! —
Он меня приветит взглядом,
И с вопросом на лице
В цэдээловском дворце
Помолчим... с буфетом рядом!

Январской ночью 1971 года меня разбудил звонок из Вологды.
— Станислав, ты? Это Василий Белов. — Он с трудом выговаривал слова. — Коли Рубцова... больше нет... Напиши срочно некролог в «Литературу»...

2

Теплоход «Александр Клубов» шёл по Сухоне. Стояли солнечные чистые дни сентября 1985 года, и крутые берега врезались в синее небо тремя разноцветными ярусами деревьев — сначала у самой воды тянулась лента жёлтого ивняка, чуть повыше — зелёной ольхи, а на пабереге стояла белая стена берёз...

Мы плыли на родину Николая Рубцова. Теплоход шёл медленно, и навстречу ему так же неторопливо двигались по берегам редкие деревни, коровьи стада, копёшки сена.

В Усть-Толшме мы пересели на автобус и вскоре прибыли в старинное село Никольское. Наконец-то! Через двадцать с лишним лет после нашей шуточной переписки...

Я шёл по живой строящейся деревне и на каждом шагу радовался тому, что всё здесь мне знакомо: куда бы я ни глянул — везде меня окружали образы и приметы рубцовского мира.

Школа моя деревянная,
Время придёт уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать...

И хотя в деревне — слава Богу! — новая каменная школа, но «речка туманная» всё та же — вон она под угором вьётся в зарослях ивняка. А за нею, глазом не окинешь, до окоёма — луга, пастбища, перелески, зубчатая кромка старого леса — словом, «тот же зелёный простор» — аж дух захватывает!

А вот и кладбище — кресты, ограды, венки... Видно, и Рубцов не раз глядел на него отсюда, прежде чем написать:

Село стоит на правом берегу,
А кладбище на левом берегу...

Вдоль косогора до самой Толшмы чернеют баньки, выются узкие тропинки, тянутся изгороди, а на зелёном заливном лугу за рекой, словно бы возникшая из стихов Рубцова, пасётся белая лошадь. «Лошадь белая в поле тёмном вскинет голову и заржёт».

На краю села «купол церковной обители», который «яркой травой порос». Четыре мощные кирпичные опоры держат проломленный в центре купол, под сводами которого ещё можно разглядеть фигуры евангелистов в синих хитонах. Однако с той поры, когда Рубцов писал эти строки, кое-что изменилось: уже не просто яркая трава растёт на куполе, а настоящие молодые берёзки. К церкви пристроен придел из старого церковного кирпича, в приделе вкусно пахнет свежим хлебом, опарой, дрожжами — там пекарня. Две молодые девахи в белых фартуках и цветных козырьках вытаскивают из печи одну за другой буханки горячего хлеба.

— Попробовать можно?

— Пожалуйста! — озорно блеснули белые зубы.

Я отломил от душистого хлеба румяную корочку, не торопясь разжевал её, думая о том, что хлеб выпекается в бывшей церкви и потому сегодня при желании его можно считать поминальным...

А в Доме культуры между тем начался литературный вечер. Зал был полон народу — больше женщинами и детьми. Сердце радовалось, что детей было много, что они бойкие, розовощёкие, хорошо одетые... Может быть, оклемаемся от всех эпохальных бед и разрух, подрастёт подросток, не даст пропасть народному корню на древних северных землях.

А с трибуны слышался глуховатый, взволнованный голос Василия Белова:

— В стихах Коли Рубцова много живой природы — и лес, и ветер, и болота, и поле, но чаще всего он вспоминает наши реки — Сухону, Тотьму, Двину, Толшму... Наши предки селились на реках и жизнь свою без них не мыслили. Пароход, пристань, паром, берег, река, лодка — любимые слова Николая Рубцова. «Много серой воды, много серого неба и немного погоды, родимой земли».

Но сейчас люди, равнодушные к нашей земле и нашим рекам, не знающие, как мы их любим и как без них жить не можем, разрабатывают всяческие проекты, чтобы повернуть северную светлую воду на юг. Пойменные земли заболотятся, обжитые веками берега пропадут, оставшиеся деревни исчезнут, память о прошлой жизни выветрится, и станем мы и наши дети похожими на перекасти-поле... Давайте вспомним любовь Коли Рубцова к родным рекам, пусть она поможет нам в борьбе за их жизнь...

Белов говорил с народом не как пророк или проповедник, а как сельский учитель, как родной каждому сидящему в зале человек. А я вглядывался в румяные детские мордашки и думал о том, что лет через десять—пятнадцать из этих детей вырастут колхозники, агрономы, учителя, врачи, и святое дело делает Василий Белов, зароняя в детские души зёрна тревоги за родную землю, семена истины и любви. Николай Рубцов делал, в сущности, то же самое, но по-своему.

Тина теперь да болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл...

Он писал стихи «неоскорбляемой частью души». Не потому ли в его поэзии нет ничего желчного, фельетонного, правдиво-крикливого, чем так грешат многие из нас. Он исповедовал главную истину: душа поэта на то ему и дана, чтобы высветлять и очищать жизнь, принимать на себя несовершенство мира. Не потому ли слово «душа» одно из самых любимых им слов: «душа хранит», «душа свои не помнит годы, так по-младенчески чиста, как говорящие уста нас окружающей природы», «до конца, до смертного креста, пусть душа останется чиста...». Мысли мои вновь были прерваны голосом Белова, который продолжал с трибуны никольского Дома культуры воспитание душ человеческих иными средствами, нежели его покойный друг.

— Коля Рубцов, как вы все знаете, вырос в детском доме. Но тогда шла война и сирот было много по понятным причинам. А сейчас почему у нас столь много детских домов? Дети при живых матерях-отцах живут сиротами. Сколько у нас лишённых родительских прав, сколько спившихся родителей, сколько детей, от которых матери уже в родильных домах отказываются. В стихах Коли Рубцова есть и горечь сиротская, и одиночество. Пусть же его поэзия помогает нам изживать искусственное сиротство, которого на Руси никогда ранее не было...

Старухи, женщины и дети, затаив дыханье, слушали каждое слово своего знаменитого земляка, а я думал о том, что поэт всегда сын своего народа. Народ дал ему творческую волю, душу, понимание жизни, чувство народного идеала, а не просто один лишь язык. Язык, в конце концов, всегда можно выучить и оставаться писателем, чуждым народу, на языке которого пишешь. Но проходит время, и настоящий народный поэт — не по званию, а по сути — выплачивает сыновний долг народу, как выплачивал бы его престарелым родителям, своеобразной заботой и уходом за народной душой, высветляя её и поддерживая в трудные времена, когда она шатается, болеет, теряет опору. Тогда приходит он и говорит:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

И какой-нибудь отрок вдруг содрогнётся от поэтической искры этих строк и тем самым сознательно и на всю жизнь обнаружит в себе ту же «самую жгучую», «самую смертную», которая до последнего часа будет жизнетворческой силой в его судьбе.

Вечером следующего дня на высоком берегу Сухоны в Тотьме открывался памятник Николаю Рубцову. Это событие как бы венчало трёхдневные народные празднества в его честь. Не часто земляки балуют русских поэтов таким высоким образом. Вспомним хотя бы, что первый памятник Есенину в Рязани был воздвигнут лишь через полвека после его смерти. Как тут не поклониться вологжанам и тотьмичам!

Несмотря на дождь, людей собралось множество, и пока организаторы торжества заканчивали последние приготовления, море зонтов, шалей, беретов сгрудилось возле монумента, затянутого белой простынёй.

Когда настало время открытия, мы с Передреевым вышли из толпы, я потянул за шнур, покрывало медленно поползло вниз, обнажая голову и плечи уже не Коли Рубцова, а кого-то другого, отделившегося от нас и ушедшего в царство русской поэзии... Он сидел на скамье, в пальтишке,

накинутом на плечи, нога на ногу, руки со скрещёнными пальцами покоились на колене...

Глубокие глазницы, высокий воротник грубого свитера, в котором часто ходил Рубцов, высокий лоб, задумчивый наклон головы — от всего образа веяло духом отрешённости от соблазнов мира сего, внутренней сосредоточенностью, чувством собственного достоинства и неуязвимости от внешних обстоятельств жизни.

В отдалении от холма, на котором стоял памятник, виднелись поставленные в своё время лихими тотемскими землепроходцами, возвращавшимися из рискованных походов, полуразрушенные церкви, как бы иллюстрируя пронзительные стихи Николая Рубцова:

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей,
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей.

...В послевоенное время в моей зелёной полуразрушенной Калуге недалеко от нашего дома находилась скульптурная фабрика. Размещалась она в ограде бывшей церкви, и я по пути на реку, к золотым окским пляжам всегда останавливался возле неё. С чувством некоего таинственного приобщения к особому миру фигур, загромождавших церковный двор, я глядел на мощные торсы дискоболов, на гипсовые фигурки пионеров, на очень изящные, как мне тогда казалось, статуи женщин с вёслами или с подойниками в каменных руках... Все они потом расселялись по районным центрам, вырастали в нашем Центральном парке культуры и отдыха, в маленьких городских скверах и на площадях небольшого города... Теперь я понимаю, что это, конечно же, были весьма аляповатые цементные времянки, но, даже понимая это, я хочу сказать несколько слов в их защиту. Каждому времени — свои песни, свои книги и своя скульптура. В этих убогих стандартных фигурах жила помимо халтуры и однообразия и некая глубина и правда нашего времени, осознававшего своё величие и спешившего кое-как, наспех хотя бы, это величие зафиксировать. И вот сейчас, глядя на полуразрушенные скульптуры, установленные в те годы, на потемневшие подтёки на цементе и гипсе, на куски железной арматуры, торчащие из какой-нибудь культи, я думал: всё-таки от этих рудиментарных и стандартных останков массового искусства той эпохи веет ещё и аскетизмом, и бедностью, и целомудренностью, и неприхотливостью, и даже мысли о каких-то общественных идеалах, искажённых и не до конца осуществлённых, возникают у меня при виде этих рассыпающихся от времени статуй. Нет ничего более вечного, чем временные сооружения. Я понимаю и условность и правду этого афоризма. Да, цемент разваливается. Но идеи, грубо воплощённые в нём, наверное, останутся вечными. Вот почему в начале 70-х годов я написал:

Да будет вечен этот гипс,
его могучая фактура!
Вот дискобол: плечо и диск,
а между ними арматура...

В те аскетические довоенные и послевоенные времена наша скульптура выражала как бы общие идеи и потому была столь однообразна. Тогда она играла либо украшательско-прикладную роль, либо монументально-

идеологическую. Мы не могли позволить себе (и средств не хватало, да и самосознания такого ещё не было), чтобы какой-нибудь маленький городок решился бы поставить памятник своему знатному земляку, герою, воину, поэту, то есть украсить себя ликом или фигурой, присущими только этому городку, этой малой родине знаменитого человека. Такое время наступило лишь через несколько десятилетий, и лишь поэтому стало возможным создание памятника Николаю Рубцову в маленьком северном городке Тотьма на высоком берегу реки Сухоны...

У Николая Рубцова есть два пророчества: «Я умру в крещенские морозы» и «Мне поставят памятник на селе»... Оба они оправдались.

— Больше стало на Руси ещё одним святым местом! — сказал, выходя у памятника, его создатель, скульптор Вячеслав Клыков.

Это было правдой, потому что вечером, во время литературного праздника, учительница Тотемской средней школы, где учился Рубцов, рассказала, что в Тотьму и Николу уже много лет люди приезжают «к Рубцову», спрашивают земляков о нём, записывают воспоминания, оставляют их в местном музее, пишут картины, снимают любительские кинофильмы о родине поэта.

А профессор Литературного института Михаил Павлович Ерёмин, у которого двадцать лет назад учился Рубцов, произнёс такие слова, от которых зал загудел и взорвался рукоплесканиями:

— Думая о Рубцове, глядя на его памятник, побывав в его деревне, вспоминая его стихи, я сегодня испытываю чувство, которое давно уже не приходило ко мне: я горжусь, что я русский!

Поздно вечером под проливным дождём мы возвращались к теплоходу, чтобы отправиться обратно в Вологду.

Я нёс в руках целую охапку цветов, подаренных школьниками, да ещё друзья прибавили свои букеты, чтобы положить их к подножию монумента, мимо которого мы проходили на пути к пристани... В дождливой тьме, то и дело оступаясь в лужи, я прошёл по дорожке, усыпанной песком, к Рубцову. Огляделся. Под обрывом призрачным сиянием светилась река, над которой угадывалось движение тёмных дождевых облаков. На их фоне с трёх сторон, окружая памятник, чернели силуэты церквей. Вокруг не было ни души... Увязая в мокром тяжёлом песке, я поднялся на земляную насыпь к скульптуре и хотел было опустить цветы к подножию — на землю, но почему-то передумал, выпрямился, вложил их в холодные бронзовые руки и, почувствовав металлический холод, поднял взгляд: на меня из глубоких глазниц смотрел не Коля Рубцов, а кто-то иной, уже легендарный, от прикосновения к которому тревога затекала в душу. «Ну ладно тебе, — одёрнул я себя. — Это же не Медный всадник, не статуя Командора — это твой друг, он сам пригласил тебя двадцать с лишним лет тому назад на свою родину, вот ты и приехал...»

— Здравствуй...

3

Но почему, почему после смерти Рубцова возник и продолжает жить до сих пор настоящий русский, трепетный культ его судьбы и его поэзии? Ведь никогда не был он модным, не стремился к известности, не рвался на эстрадные подмостки — ни на отечественные, ни на международные. Нет ни одной записи, ни одного кадра Рубцова на нашем

телевидении, сохранилась лишь одна короткая радиозапись голоса, и всё равно его поэзия каким-то чудом — естественно, постепенно и властно, без саморекламы, прессы, скандалов, конной милиции, антрепренёров, вопреки глобальной экспансии массовой культуры — выжила, укоренилась и проводит благодатную работу по просветлению душ человеческих... Почему? Да, видимо, потому, что как бы ни соблазнялась человеческая натура потребительством, развлекаловкой, кайфом, — всё равно её лучшая часть, пусть иногда бессознательно, но жаждет идеала, гармонии, цельности, света. А ведь именно этими жизнерождающими стихиями живёт поэзия Рубцова, и в этом его редчайшее значение для нашего времени, полного «тревог великих и разбоя». Несмотря на свою тяжёлую, полную лишений жизнь, он писал неоскорбляемой частью души и думал всегда о высоком. Его муза никогда не впадала, по славам Блока, в публицистическое разгильдяйство, не соблазнялась модными темами сиюминутной фельетонности, мёртво громыхающей гражданственности, картинками социального и бытового распада. Он никогда не потрафлял низменным инстинктам публики, не ласкал её потребительские страсти. Вглядываясь в свою душу, он пытался понять душу человеческую, душу русскую, с её извечной добротой, широтой, милосердием, и несовременное слово «душа», вобравшее в себя как бы суть рубцовой поэзии, вдруг обратила к нему сердца и взоры современников. Иногда кажется, что цель иных современных поэтов — разложить душу и в буквальном, и в переносном смысле слова. Для Рубцова же душа, как бы ни давила на неё жизнь, как бы ни старалась превратить её в «совмещённый санузел», цельна и неразложима.

Ну что ж? Моя грустная лира,
Я тоже простой человек,
Сей образ прекрасного мира
Мы тоже оставим навек.

Русский образ прекрасного мира, который мы создавали веками и который сегодня позволяем разрушать.

Как это перекликается с заветом Александра Блока: «Сотри случайные черты — и ты увидишь: мир прекрасен». Случайные черты никогда не затмевали для Рубцова красоту мира.

«Самоуважение нужно нам, а не самооплевание» — вот одна из последних записей Достоевского в дневнике. И, наверное, Николай Рубцов становится с каждым годом всё дороже и нужнее нам, потому что растит в нас то самоуважение к себе, к русской земле, русской душе, русской истории, то самоуважение, без которого не может жить ни один великий народ...



Николай Рубцов (1936–1971)

*Милый друг мой,
Прощаясь навеки,
В нашей горькой
и смертной судьбе
Всею силой, что есть
в человеке,
Я желаю покоя тебе.
Оставляя покамест
на свете,
Я желаю у этих могил
Чистых снов, тишины
и бессмертья.
И любви.
Ты её заслужил.*
Виктор Коротяев

Николай РУБЦОВ

ОТЧИЗНА И ВОЛЯ

Берёзы

Я люблю, когда шумят берёзы,
Когда листья падают с берёз.
Слушаю — и набегают слёзы
На глаза, отвыкшие от слёз.

Всё очнётся в памяти невольно,
Отзовётся в сердце и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.

Только чаще побеждает проза,
Словно дует ветер хмурых дней.
Ведь шумит такая же берёза
Над могилой матери моей.

На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и с дождём шумел, как улей,
Вот такой же жёлтый листопад...

Русь моя, люблю твои берёзы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слёзы
На глаза, отвыкшие от слёз...

1957

Экспромт

Я уплыву
На пароходе,
Потом поеду
На подводе,
Потом ещё на чём-то вроде,
Потом верхом,
Потом пешком
Пройду по волоку с мешком —
И буду жить в своём народе!

1957

Добрый Филя

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог...
Там в избе деревянной,
Без претензий и льгот,
Так, без газа, без ванной,
Добрый Филя живёт.

Филя любит скотину,
Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду!

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя! Что молчаливый?
— А о чём говорить?

1960

Элегия

Стукнул по карману — не звенит.
Стукнул по другому — не слышать.
В тихий свой, таинственный зенит
Полетели мысли отдыхать.

Но очнись и выйду за порог
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.

Память отбивается от рук,
Молодость уходит из-под ног,
Солнышко описывает круг —
Жизненный отсчитывает срок.

Стукну по карману — не звенит.
Стукну по другому — не слышать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать...

1961

Букет

Я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов.
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Я ей скажу:
— С другим наедине
О наших встречах позабыла ты,
И потому на память обо мне
Возьми вот эти
Скромные цветы! —
Она возьмёт.
Но снова в поздний час,
Когда туман сгущается и грусть,
Она пройдёт,
Не поднимая глаз,
Не улыбнувшись даже...
Ну и пусть.
Я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Я лишь хочу,
Чтобы взяла букет
Та девушка, которую люблю...
1962

Видения на холме

Взбегу на холм
и упаду
в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!
Засвищут стрелы будто наяву,
Блеснёт в глаза кривым ножом монгола!
Пустынный свет на звёздных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг в крови и в жемчугах
Тупой башмак скуластого Батия...

Россия, Русь —
Куда я ни взгляну!
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племён!
Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времён...

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал вышить за доблесть в труде и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом немолкнувшем шуме
Весенние воды, и брёвна неслись по реке...

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, —
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, моё божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Я буду скакать, не нарушив ночное дыхание
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую лёгкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивлённой старухе своей,

Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...

1963

Тихая моя родина

В. Белову

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. —
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травой зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

<1964>

Звезда полей

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не уставая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливо касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

1964

Русский огонёк

Погружены
 в томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенели.
Оцепенели маленькие ели,
И было небо тёмное, без звёзд.
Какая глушь! Я был один живой.
Один живой в бескрайнем мёртвом поле!

Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)
Мелькнул в пустыне,
 как сторожевой...

Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу (последняя надежда!),
И услышал, отряхивая снег:
— Вот печь для вас и тёплая одежда... —
Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде
Жизни было мало,
И, неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала...

Как много жёлтых снимков на Руси
 В такой простой и бережной оправе!
 И вдруг открылся мне
 И поразил
 Сиротский смысл семейных фотографий.
 Огнём, враждой земля полным-полна,
 И близких всех душа не позабудет...
 — Скажи, родимый, будет ли война? —
 И я сказал:
 — Наверное, не будет.
 — Дай Бог, дай Бог... ведь всем не угодишь,
 А от раздора пользы не прибудет... —
 И вдруг опять: — Не будет, говоришь?
 — Нет, — говорю, — наверное, не будет!
 — Дай Бог, дай Бог... —
 И долго на меня
 Она смотрела, как глухонемая,
 И, головы седой не поднимая,
 Опять сидела тихо у огня.
 Что снилось ей? Весь этот белый свет,
 Быть может, встал пред нею в то мгновенье?
 Но я глухим брэнчанием монет
 Прервал её старинные виденья.
 — Господь с тобой! Мы денег не берём.
 — Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья!
 За всё добро расплатимся добром,
 За всю любовь расплатимся любовью...

Спасибо, скромный русский огонёк,
 За то, что ты в предчувствии тревожном
 Горишь для тех, кто в поле бездорожном
 От всех друзей отчаянно далёк,
 За то, что, с доброй верою дружа,
 Среди тревог великих и разбоя
 Горишь, горишь, как добрая душа,
 Горишь во мгле, и нет тебе покоя...

1964

Зимняя песня

В этой деревне огни не погашены.
 Ты мне тоску не пророчь!
 Светлыми звёздами нежно украшена
 Тихая зимняя ночь.

Светятся, тихие, светятся, чудные,
 Слышится шум полыньи...

Были пути мои трудные, трудные.
Где ж вы, печали мои?

Скромная девушка мне улыбается,
Сам я улыбчив и рад!
Трудное, трудное — всё забывается,
Светлые звёзды горят!

Кто мне сказал, что во мгле заметеленной
Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны?
Кто это выдумал, друг?

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь...

<1965>

Прощальная песня

Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.

Мать придёт и уснёт без улыбки...
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.

Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня.

Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеётся во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней...

Не грусти! На знобщем причале
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.

Мы с тобою как разные птицы!
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу...

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Всё мне слышится словно в бреду.

Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.

Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
— Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она...

1965

* * *

Стихи из дома гонят нас,
Как будто вьюга воеет, воеет
На отопленье паровое,
На электричество и газ!

Скажите, знаете ли вы
О вьюгах что-нибудь такое:
Кто может их заставить выть?
Кто может их остановить,
Когда захочется покоя?

А утром солнышко взойдёт, —
Кто может средство отыскать,
Чтоб задержать его восход?
Остановить его закат?

Вот так поэзия, она
Звенит — её не остановишь!
А замолчит — напрасно стонешь!
Она незрима и вольна.

Прославит нас или унизит,
Но всё равно возьмёт своё!
И не она от нас зависит,
А мы зависим от неё...

1965

Родная деревня

Хотя проклинает проезжий
Дороги моих побережий,
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу!

Бывает, что пылкий мальчишка
За гостем приедем по следу
В дорогу торопится слишком:
— Я тоже отсюда уеду!

Среди удивлённых девчонок
Храбрится, едва из пелёнок:
— Ну что по провинции шляться?
В столицу пора отправляться!

Когда ж повзрослеет в столице,
Посмотрит на жизнь за границей,
Тогда он оценит Николу,
Где кончил начальную школу...
<1966>

Ворона

Вот ворона сидит на заборе.
Все амбары давно на запоре.
Все обозы прошли, все подводды,
Наступила пора непогоды.

Суетится она на заборе.
Горе ей. Настоящее горе!
Ведь ни зёрнышка нет у вороны
И от холода нет обороны...
<1966>

* * *

Ветер всхлипывал, словно дитя,
За углом потемневшего дома.
На широком дворе, шелестя,
По земле разлеталась солома...

Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства,
Просто мы у поленицы дров
Целовались от странного чувства.

Разве можно расстаться шутя,
Если так одиноко у дома,
Где лишь плачущий ветер-дитя
Да поленица дров и солома.

Если так потемнели холмы,
И скрипят, не смолкая, ворота,
И дыхание близкой зимы
Всё слышней с ледяного болота...
<1966>

Шумит Катунь

В. Астафьеву

...Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И всё глядел, задумчив и угрюм,

Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев её былинный...

Катунь, Катунь — свирепая река!
Поёт она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы, —
Они топтали эти берега!

И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И чёрный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...

Всё поглотил столетний тёмный зев!
И всё в просторе сказочно-огнистом
Бежит Катунь с рыданием и свистом —
Она не может успокоить гнев!

В горах погаснет солнечный июнь,
Заснут во мгле печальные аилы,
Молчат цветы, безмолвствуют могилы,
И только слышно, как шумит Катунь...
1966

Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!
<1967>

Зелёные цветы

Светлеет грусть, когда цветут цветы,
Когда брожу я многоцветным лугом
Один или с хорошим давним другом,
Который сам не терпит суеты.

За нами шум и пыльные хвосты —
Всё улеглось! Одно осталось ясно —
Что мир устроен грозно и прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы.

Остановившись в медленном пути,
Смотрю, как день, играя, расцветает.
Но даже здесь... чего-то не хватает...
Недостаёт того, что не найти.

Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зелёные цветы...
<1967>

* * *

Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат берёзы.
А весной ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывёт, забытый и унылый,
Разобьётся с треском,
и в потёмки
Уплывут ужасные обломки.
Сам не знаю, что это такое...
Я не верю вечности покоя!
<1970>



«ТАК НЕСТЕРПИМО ЖАЛЬ»

Олег Владимирович Кочетков родился в 1947 году в Коломне. Окончил Литинститут им. А.М. Горького. В 1977 году в столице вышла первая книга молодого поэта — «Время настало», а через год — «Травяная дорога».

Олег Кочетков вступил в Союз писателей, переехал в Москву, но не забыл родной город: более десяти лет руководил в Коломне литобъединением «Зелёные цветы», названным так в честь своего любимого поэта — Николая Рубцова.

Автор восьми книг поэзии. Лауреат Всероссийской литературной премии Союза писателей России «Традиция» и Есенинской премии Московской городской организации Союза писателей России.

Живёт в Москве.

Чтобы рассказать о моём знакомстве с Анатолием Передревым, необходимо начать издалека, с предыстории... Было это в 1966–1968 годах, служил я в ту пору в армии, в Группе советских войск в Германии, в городе Рудольштадте. В нашем военном городке была великолепная библиотека, и я, естественно, всё свободное от службы время не расставался с книгой, и сам только-только начинал что-то корябать на бумаге. Взял однажды в читальне ежегодник «День поэзии» каких-то лет... В советское время «День поэзии» выходил ежегодно с 1945-го по 1991-й, он представлял из себя некий свод современной нашей поэзии, включающий в себя 300–350 поэтов, каждый из которых был представлен в сборнике одним, двумя, тремя стихотворениями (были исключения, когда у кого-то выходили и большие подборки, но — редко). Надо ли говорить о том, что попасть в «День поэзии» было весьма престижно и почётно.

В сборнике были Рождественский и Евтушенко, Вознесенский с Окуджавой, Белла Ахмадулина с Юнной Мориц, Винокуров с Ваншенкиным, Левитанский с Давидом Самойловым. Внимательно и напряжённо вчитываясь в сборник, я выделил несколько имён, которые были наиболее близки мне по мироощущению, в которых увидел родственную душу. Я выделил для себя тех, чьи стихи меня взволновали, заставили размышлять... И каково же было радостное удивление, когда в конце альманаха я прочёл анкету. Нашим ведущим критикам задавался вопрос: «Кого вы считаете самым интересным из нынешних поэтов и на кого возлагаете самые большие надежды?» Почти все назвали те же имена, что от-



Анатолий Передреев

метил и я. Я поразился — попал в десятку! Это были: Николай Рубцов, Анатолий Передреев, Станислав Куняев, Владимир Соколов, Игорь Шкляревский. И что самое удивительное — до сих пор не могу разгадать, уяснить, откуда возникла у меня такая уверенность, абсолютная убежденность, что со всеми вышеназванными я буду лично и близко знаком. Как зародилось такое дерзостное ощущение? Для меня до сих пор это остаётся великой тайной... Помнится, я не единожды говорил тогда сослуживцам-друзьям по дивизиону, что вот, после «дембеля» вернусь в Коломну и буду общаться с этими поэтами, как со старшими братьями. Естественно, это безумное и само-

надежное заявление вызвало всякого рода усмешки и шутки. С той поры прошло почти сорок лет — и всякий раз, вспоминая, недоумеваю — будто заглянул в будущую жизнь. Как я загадывал — так всё в точности и произошло, за одним исключением: не успел застать Николая Рубцова — поэт ушёл из жизни в январе 1971 года, а я начал общаться-крутиться в писательском мире (как это принято говорить) с 1972-го (первые публикации в журналах «Юность», «Смена»). Станислав Куняев напишет предисловие к моей первой книге стихов «Время настало», вышедшей в 1977 году в издательстве «Молодая гвардия», Игорь Шкляревский — ко второй, «Травяной дороге», изданной «Современником» в 1978 году. С Владимиром Соколовым и Анатолием Передреевым я многие годы (до их смерти) дружески, близко общался, особенно в те шесть лет, когда работал ответственным секретарём Московской писательской организации творческого объединения поэтов, а Соколов и Передреев были членами бюро.

Но теперь о Передрееве, моём старшем друге, нежнейшем русском поэте...

Надо сразу сказать о главном: Анатолий Передреев был абсолютный, безусловный авторитет в поэзии 70-х годов, то есть как раз в ту пору, когда не стало Николая Рубцова, когда ярко, сильно творили Куняев, Жигулин, Соколов, Казанцев, Шкляревский, Примеров, Горбовский и, конечно же, Тряпкин; когда на подходе, в «Современнике», была первая московская книжка Юрия Кузнецова и когда у Олега Чухонцева не вышло ещё ни одной — уже жила, ходила среди нас передреевская «Равнина», завораживающая трогательной утренней свежестью, естественностью, пронзительной искренностью и некой щемящей, родной, узнаваемой музыкой простых, свойских понятий и слов. В ту пору всё воспринималось живей и острее. Имя Передреева было воистину окутано легендой. О нём говорили в кулуарах Литинститута и комнатах литобщезития, о его стихах писали тогда, пожалуй, все ведущие критики.

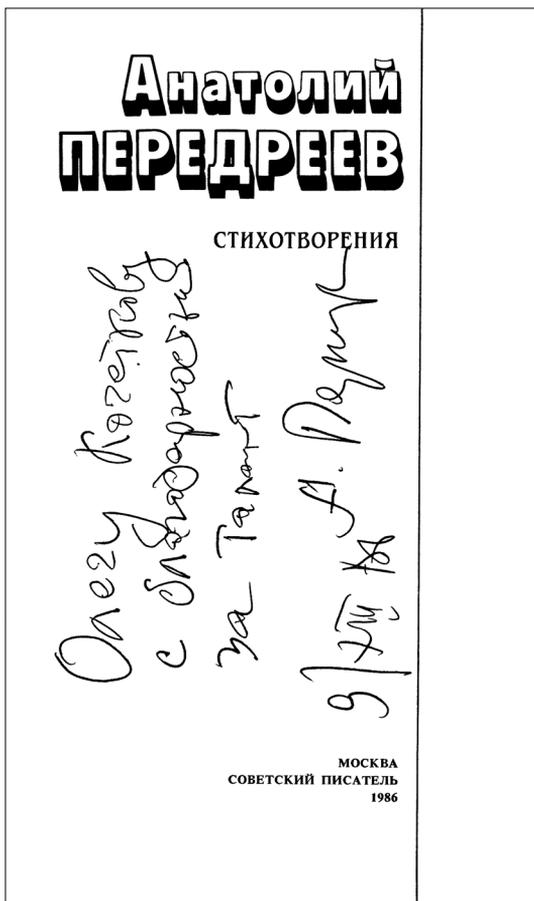
Конечно, мне хотелось увидеть поэта, может, если выпадет счастье — познакомиться. Я отчётливо чувствовал в нём, в его творчестве ранимую, родную, близкую душу...

Произошло это само собой, почти по Розанову: «Русский на русского только взглянет острым глазом — и всё понятно!» Точно за цитату не ручаюсь, но что-то вроде этого. В нижнем буфете ЦДЛ, среди сырых облаков сигаретного дыма, сквозь полупьяные бормотанья одних и тех же «хороших и разных» — его лицо! Голубые, ещё не подёрнутые тогда сероватым туманом глаза, лихая копна волос, прямые спина и шея, нервные, резкие жесты рук. Непринуждённая, гордая осанка. И вместе с тем — сквозящее, нескрываемое одиночество, грустинка во взоре, горькая, какая-то виноватая усмешка... Таким я его увидел впервые, таким он, по сути, и оставался все эти годы. Высокий, длинноногий, внешностью напоминающий ковбоя из американских вестернов.

Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Тютчев, Фет, Блок, А.К. Толстой, Есенин, Кольцов — вот, пожалуй, постоянно живущие в нём, овевающие его дух имена. О них обо всех у него было своё особое, нередко неожиданное мнение, поражающее оригинальностью и глубиной. Как своеобразные человеческие характеристики, объясняющие отношение к пьянству, выпивке, рассматривал строки Блока, Есенина и Мандельштама, читая: «Я пригвождён к трактирной стойке», «Я иду, головою свесясь, переулком в знакомый кабаk», и, мастерски подражая одесскому выговору, продолжал про «маленький подвал», где «такого сброду сроду не видал». В первом случае — у Блока — данность, неизбежность, рок, во втором — у Есенина — повинность, «душа ведёт» и, наконец, в третьем — у Мандельштама — испуг, боязнь замараться, брезгливость.

Многие годы его внешняя жизнь проходила у меня на глазах. Почти ежедневные встречи, разговоры, участие в совместном творческом бюро и поэтических вечерах и, конечно же, самые откровенные и желанные часы — вечерами, а то и ночами за (чуть не написал «доброй») чаркой... Однажды я обратился к Куняеву, что, мол, надо как-то спасти Передреева от этих бесконечных посиделок ночь-заполночь, хотя сам-то, повторюсь, принимал в них нередко самое активное участие. Стас как-то обречённо и глубоко вздохнул, покачав головой...

Теперь, со временем, хорошо понимаю всю нелепость, бессмысленность этого своего призыва «спасать». Как это можно — «спасти»? По-



Обложка стихотворений А.Передреева с его автографом. 1986 год

другому поэт не умел, не мог, да и не хотел жить, вот и всё... Что тут можно было поделывать?

Три последних года на выступлениях он неизменно читал свою замечательную «Баню Белова», и всегда со слезами на глазах: «А всё, что в душе и в судьбе наболело, — привычное дело, привычное дело». Совершенно справедливо во время гражданской панихиды Ф.Кузнецов отметил, что это произведение по праву должно бы украшать все школьные хрестоматии по современной русской литературе для учащихся.

С неизменной теплотой часто вспоминал Рубцова, его строки, что, кстати, отличало его от многих собратьев-сверстников, у которых зачастую проскальзывала нескрываемая зависть: «Что это вы всё с Рубцовым носитесь? Придумали себе!» С нежностью говорил о Вампилове, называя его в своих воспоминаниях не иначе как Саня. Летал, в конце жизни, на дни его памяти в Иркутск. Не раз мне доводилось слышать, как Передреев с горячностью доказывал кому-то, что наш Стрельцов был гениальнее Пеле и что если бы не несчастье, которое с ним произошло, где бы этот бразилец был... Вообще, и это надо особо подчеркнуть, он всегда гордился своей русскостью.

После вечера памяти Николая Рубцова, приуроченного к его 50-летию, который проходил в большом зале ЦДЛ (народ стоял в дверях и проходах!) поехали в мастерскую скульптора Вячеслава Клыкова на Ордынку (Клыков к этому времени поставил памятник поэту на его родине, над рекою Сухонь). Не помню уже с кем, Передреев завёл там разговор о том, что своими «чудиками» Шукшин принизил образ русского человека: мол, все его герои — неполноценные, с «бзиками». Ему пытались возражать, что вот как раз-то Василий Макарович прослеживал, высвечивал в каждом из них какие-то очень добрые, человеческие черты, показывая, что даже в таких, вроде бы маленьких, незаметных, «ущербных» русских людях живёт мечта о красоте и высоте духа, пылливость, ум, забота о ближнем, такт, честность, бесстрашие, сострадание и т.д. Но Передреев стоял на своём, на меньшее, чем на Шаляпина, он не соглашался. И это — при его саднящей любви к Шукшину!

Шёл 1986 год, перестройка набирала обороты, и русская жизнь начала катиться под откос: устоявшееся, стабильное, родное, привычное ухало и появлялось другое — наглое, агрессивное, крикливое, навязчивое, чужое... Горько это говорить, но думается — слава Богу, что Анатолий Передреев не дождался до того позорного дня, когда состоялся первый в нашей стране конкурс красоты. А дело в том, что в этом конкурсе, проходившем в 1988 году, его любимая, единственная дочка, кровиночка, действительно красавица Леночка заняла почётное (с точки зрения организаторов и учредителей этого шоу) третье место, после Маши Калининой и Оксаны Фандеры. Думаю, что пережить подобное ему было бы очень тяжело... Когда выводят на сцену человека, женщину и оценивают, как породистую лошадь или собаку на выставке, по экстерьеру. Он бы глубоко оскорбился, да я совершенно уверен, что он бы не позволил, запретил просто Лене участвовать в подобном безобразном и постыдном действии, настолько душа его не терпела ничего неестественного, наносного, настолько он чурался всяческой фальши в жизни. Вот характерное его стихотворение «Лебедь у дороги».

Рядом с дымной полосой
Воспалённого шоссе

Лебедь летом и весною
Проплывает, как во сне.
Приусадебная заводь,
Досок выгнивший настил...
Кто сиять сюда и плавать
Лебедь белую пустил?
Целый день звенят колёса,
Накаляясь от езды,
Щебень сыплется с откоса,
Доставая до воды.
Ничего она не слышит,
Что-то думает своё,
Жаркий воздух чуть колышет
Отражение её.
То ли спит она под кушей
Ослепительного сна,
То ль дорогою ревущей
Навсегда оглушена.
То ль несёт в краю блаженства
Белоснежное крыло,
Во владенья совершенства
Не пуская никого.

Вот так и поэт «во владенья» своего духовного мира «не пускал никого», а сберегал его, охранял от любого постороннего вмешательства, чужого внимания. Эта тонкая, хрупкая связь мира прекрасного с бытовым всегда очень явственно и характерно прослеживается во всём его творчестве.

Вообще, когда начинаешь размышлять о его поэзии, сразу отличаешь некое, как это ни странно звучит по отношению к его глубоко в лучших русских классических традициях творчеству, своеобразное новаторство, новаторство не формы, а смысловое, духовное. Примечательно в этом плане стихотворение «Окраина».

Околица родная, что случилось,
Окраина, куда нас занесло,
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.
Взрастив свои акации и вишни,
Ушла в себя и думаешь сама,
Зачем ты понастроила жилища,
Которые ни избы, ни дома?
Как будто бы под сенью этих вишен,
Под каждым этим низким потолком
Ты собиралась только выжить, выжить,
А жить потом ты думала, потом.
Окраина, ты вечером темнеешь,
Томясь большим сиянием огней,
А на рассвете так росисто веешь
Воспоминаньем свежести полей.
И тишиной, и речкой, и лесами,
И всем, что было отчею судьбой...
Разбуженная ранними гудками,
Окутанная дымкой голубой!

А ведь это написано за несколько лет до «Граней» Николая Рубцова, до его знаменитой декларации: «Меня всё терзают грани меж горо-

дом и селом», и раньше рассказа Шукшина «Выбираю деревню на жительство». Сюжетные линии — схожие и словно бы подсказанные стихотворением «Окраина», послужившим этим вещам своеобразным предтечей.

Действительно, тема оторванности от родовых своих корней является едва ли не самой главной во всей советской послевоенной литературе, как в поэзии, так и в прозе, да и в драматургии — вспомнить хотя бы того же Александра Вампилова. И Передреев почувствовал эти нравственные и социальные колебания в воздухе родины одним из первых...

Или вот, казалось бы, после великого есенинского стихотворения «Письмо к матери»: «В старомодном, ветхом шушуне», что можно ещё живого, тёплого сказать о самом родном своём человеке? А Передреев находит эти слова и пишет замечательное, проникновенное своё: «Отчий дом».

В этом доме думают, гадают
Обо мне мои отец и мать,
В этом доме ждёт меня годами
Прибранная, чистая кровать.
В чёрных рамках — братьев старших лица
На белёных глиняных стенах...
Не скрипят, не гнутся половицы,
Навсегда забыв об их шагах.
Стар отец, и мать совсем седая...
Глохнут дни под низким потолком...
Год за годом тихо оседает
Под дождями мой саманный дом.
Под весенним — проливным и частым,
Под осенним — медленным дождём...
Почему же всё-таки я счастлив
Всякий раз, как думаю о нём?!
Что ещё не все иссякли силы,
Не погасли два его окна,
И встаёт дымок над крышей синий,
И живёт под крышею луна.

Поэт соединяет образ матери с образом отца и оставшихся на войне братьев (а у него их погибло трое, а четвёртый вернулся без ног).

Лучшие его стихи — это образцы высочайшей, тончайшей лирики. Главные их достоинства: искренность, обнажённость, предельный лаконизм и та удивительная простота, простота глубины, какая-то родниковая, трогательная прозрачность, которая ох как нелегко даётся и которая стоит дорогого...

«Ещё струна натянута до боли, ещё душе так нестерпимо жаль той красоты, рождённой в чистом поле, печали той, которой дышит даль...». Да, его поэтическая «струна» была воистину «натянута до боли»!

Его радостью, болью, торжеством был Есенин. Читать наизусть и говорить о нём он мог сколько угодно и в любом состоянии. Часто в застолье нараспев произносил: «Где златятся рогожи в ряд», как бы призывая окружающих разделить его восторг. За полтора месяца до кончины удивительно, с хрипотцой читал есенинское «Гори, звезда моя, не падай» на Ваганьковском кладбище у могилы поэта, в годовщину его смерти... Словно предвидя свою...

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придётся так же мне.

Есенин написал эти стихи в середине августа 1925 года, за четыре с небольшим месяца до трагедии в «Англетере».

...Было пасмурно, холодно, дул пронзительный ветер, мело, бросали по горсти земли пополам со снегом, стучали лопаты, по кругу — ледяная водка из гранёного стакана. Юрий Кузнецов в чёрном овчинном полушубке, с влагой на ресницах протянул мне антоновку. Я стал разламывать яблоко, и из-под ногтя большого пальца на левой руке выступила кровь...

И — три моих стихотворения памяти Анатолия Передреева. Первое написано через три дня после похорон, два других — в годовщину его смерти.

* * *

Даль надежды на мёртвых устах...
Завлекла и осталась с тобою!
И в каких теперь звёздных полях
Над безмолвием встала судьбою!

На равнину слетается снег
И целует чело ледяное.
Вновь один — в окружении всех,
Но объят уже думой иною...

Ещё дух твой струится на нас,
Так бессильно его осязаем!
Но покамест не пробил наш час —
Ничего мы о нём не узнаем!

Он теперь в запредельном, ином,
Высоко, в глубине занебесной!
Он помечен всевышним перстом
И от нас отделён уже бездной!

Но собой всё равно — тяготит...
И чем далее — тем ощутимей!
Беспредельность меж нами лежит,
Грезит чайнянками твоими!

Передреев

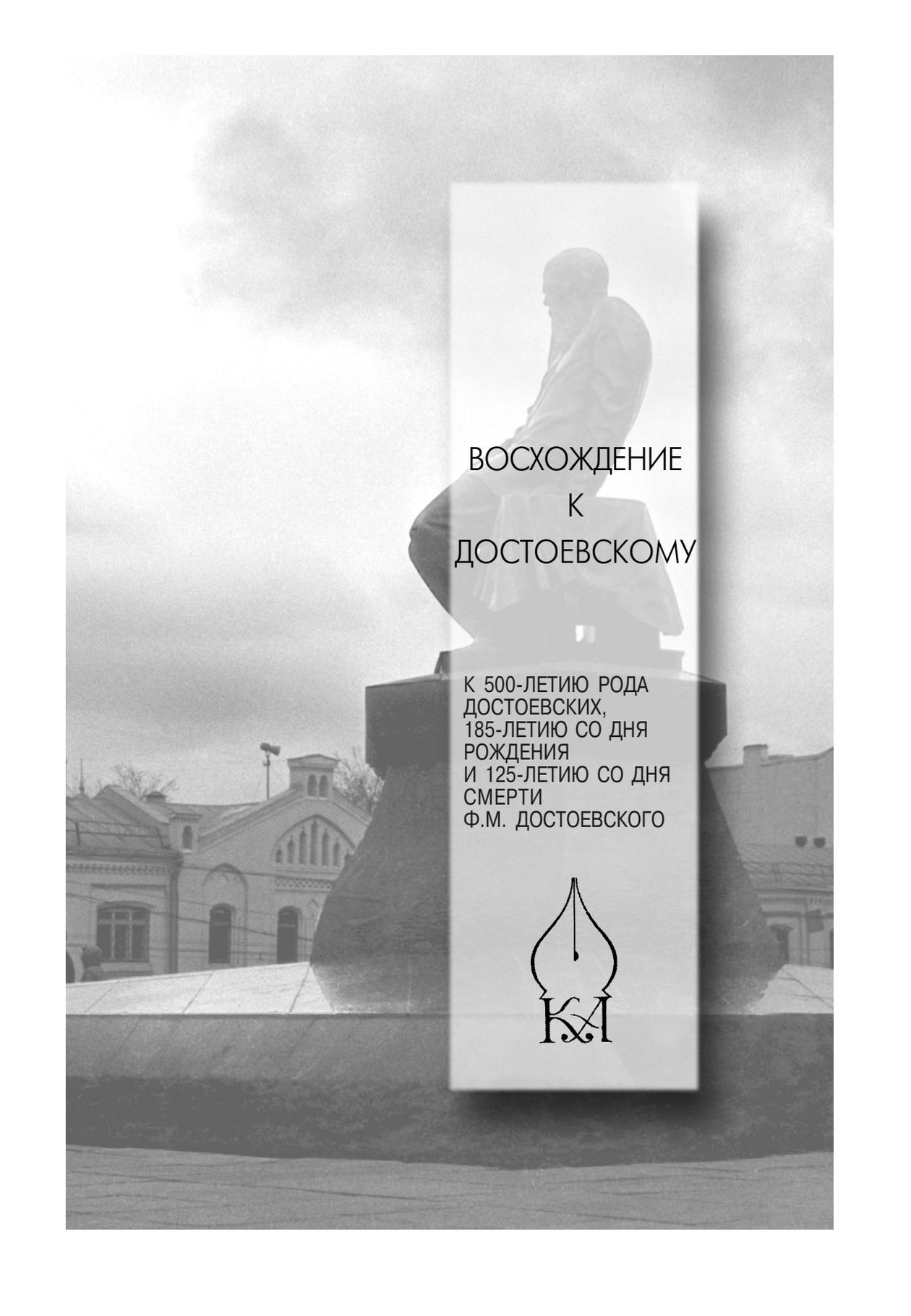
Как ты там — вдохновенный страдалец,
Бесшабашная голова?
Невесёлый, межзвёздный скиталец,
Так ласкавший родные слова.
Как же ей там — в дали леденящей,
Среди тьмы беспросветной светил?
Беспокойной твоей и болящей,

Здесь которую так не шадил,
Ей, душе-то твоей горемычной? —
Теперь волюшки — невпроворот!
В нескончаемой мгле безразличной —
Одиночество так же — гнетёт?
Чаю, маешься там всё равно ты,
Норовишь всё шагнуть за предел:
Надоели сплошные полёты
Невесомых и призрачных тел!
Космос тот равнодушный, постылый.
И тоскуешь сильнее и сильнее:
«Как же всё там — на родине милой,
На земле ненаглядной моей!»

* * *

А.Передреву

Все тревоги твои позади.
И стакан с недопитой водкой...
Хоть немного со мной погоди,
Не спеши своей гордой походкой.
Беспредельность в запасе твоём.
Что тебе — в том знобящем пространстве?
Помолчим, как молчали вдвоём,
О единственном постоянстве
Наших долгих, шемящих равнин,
Исцелявших от хворей столицы.
Этот путь непреложный, один,
Озарит наши хмурые лица.
Это значит — ещё поживём,
Если кровные связи хранятся!
Помолчим, головами качнём —
Выйдем в звёздную полночь прощаться!
Всё. Пора. Холод бездны зовёт...
Но как быть мне с жестокой тоскою:
Кто теперь твои слёзы прольёт
Над есенинской горькой строкою?



ВОСХОЖДЕНИЕ
К
ДОСТОЕВСКОМУ

К 500-ЛЕТИЮ РОДА
ДОСТОЕВСКИХ,
185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
И 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
СМЕРТИ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО





Фото Юрия Колесникова



Галина Борисовна Пономарёва родилась в 1935 г. в Москве. Окончила филологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры РФ; с 1983 года и по сей день — заведующая Домом-музеем Ф.М. Достоевского в Москве. Автор книги «Ф.М. Достоевский: я занимаюсь этой тайной» (2001), путеводителя по дому-музею Ф.М. Достоевского, ряда статей.

Автор музейных экспозиций, выставок, представленных в нашей стране и за рубежом. Участник международных конференций, симпозиумов по творчеству Ф.М. Достоевского, музееведению.

НАРОДНАЯ ПРАВДА В ДУХОВНОЙ СУДЬБЕ ДОСТОЕВСКОГО

Свою духовную судьбу, как и творческую, Достоевский осознал только с народной правдой вместе, с народной правдой, неотделимой от Христа. В 1880 году он высказался об этом, не предвидя, что подводит для себя жизненный итог: «При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен (ибо направление моё истекает из глубины духа народного), — хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему».

В Москве закладывалась его духовная личность, разрешающая всю жизнь «главный вопрос» — «существование Божие», и на этом пути через «горнило сомнений» и испытания ориентиром ему именно и стала народная правда. Москва несла на себе печать пережитого исторического, национального подъёма народа, прежде всего с подвигом Дмитрия Донского и преподобного Сергия Радонежского. Она заключила в себе древнюю идею «Третьего Рима», которой русский народ осветил свою верность Православию и Христу. Вызывая историческую, духовную память, московские памятники, особенно XV—XVI веков, запечатлели народное торжество, явление народу Святой Руси, а не то, что было, когда всё святое на русской земле казалось чужестранным, греческим. Они много значили для юного Достоевского, вспоминавшего: «Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным». В Москве

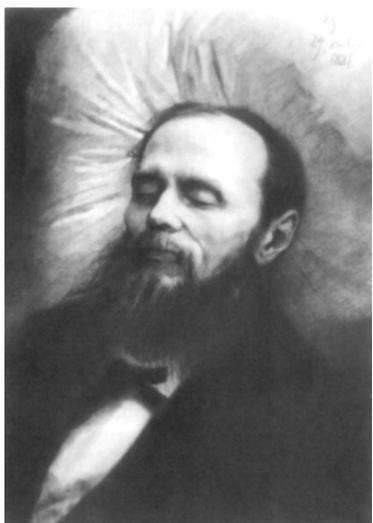


*Родители Ф.М. Достоевского
Михаил Андреевич и Мария Фёдоровна.
С постели Попова. 1823 год*



*Молодой Ф.М. Достоевский.
Рисунок К. Трутовского.
1847 год*

Матери Марии Фёдоровне было свойственно в религиозное воспитание детей вносить настоящую праздничность — такими были паломнические



*Ф.М. Достоевский на смертном одре. Художник И.Н. Крамской.
29 января 1881 года*

ему был «облегчён возврат к народному корню».

В жизнь при больнице для бедных в казённой квартире лекаря М.А. Достоевского входил неповторимый дух первопрестольной, с её нескончаемым перезвоном колоколов от «сорока сороков», с неизменно широким, народным соблюдением всех церковных праздников, ритуалов и обрядов.

поездки в Троице-Сергиеву лавру, этот издревле духовный центр Руси. Религиозная жизнь привычно входила в семейный быт, одомашнивалась. Ортодоксальная религиозность Достоевских не испытывала никаких сторонних и чуждых влияний и вторжений, как это было распространено в Петербурге и реже — в Москве, в то время как ещё в XVIII веке русские аристократические, а позднее и достаточно широкие дворянские круги, стали открыты веяниям и авторитетам французского Просвещения, прежде всего Вольтера и Дидро, сеявших скептические и атеистические настроения. И с другой стороны, Достоевский вынесет из детства представление об идеальном и нравственном начале, ощущаемом человеком из народа религиозно и проявляемом лично и свобод-



Ворота Мариинской больницы в Москве и флигель, в котором жила семья Достоевских (ныне Музей Ф.М. Достоевского, филиал ГЛМ). Фотография А. Сахарова

и настоящем: это была глубинная, органическая слиянность с народной душой.

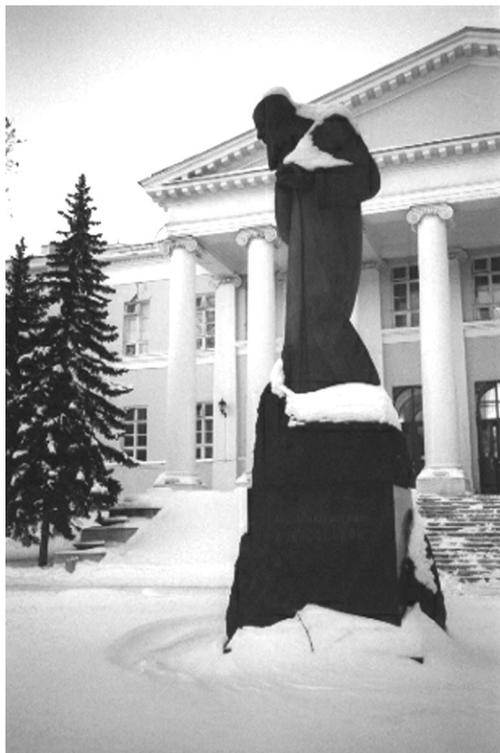
В Петербурге он вступил в новую стадию — начавшейся «борьбы духа», и с тем готовился пройти в будущем испытания веры, идеи Бога в нём самом. Молодой Достоевский переживал тогда неудовлетворённость и разочарованность романтика — миром, который есть «сатира». «Мир принял значение отрицательное», «закон духовной природы нарушен», — писал он брату в 1838 г.; природа человека видится двойственной, в ней небо сведено с землёй, трагическая судьба его — в первоначальном грехе. Но его прежняя вера не подорвана; скорее, это вступление в новую и зрелую духовную фазу («...В этой борьбе духа созревают обыкновенно характеры сильные; туманный взор яснее, а вера в жизнь получает источник более чистый и возвышенный», — в письме брату от августа 1839 г.) Тогда он не переживает мировоззренческий перепад, но лишь находит полное и адекватное времени выражение и развитие своим религиозным верованиям.

Встречи с Белинским были, как вспоминает впоследствии Достоевский, «грустным, роковым» временем для него. Они прошли через мировоззренческие столкновения, взаимовлияние и определённое разрушение с той и другой стороны.

Молодой Достоевский был готов к восприятию и пониманию социализма, из которого Белинский исходил в начале 1840-х годов и

но. Незабываемой стала «уединённая встреча» на пахотном поле с мужиком Мареем, успокоившим и областавшим Фёдора, пережившего испуг — «волк бежит!» («...каким глубоким и просвещённым человеческим чувством и какою тонкою, почти женственной нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика» — «Дневник писателя» за 1876 г.). «Просвещённое человеческое чувство», увиденное тогда в Марее, будет всегда указанием Достоевскому на сердечное знание Христа народом. Оно же явилось ему в нянюшке Алёне Фроловне, предложившей своим господам после пожара в Даровом накопленное жалованье. С тем и пришло к Достоевскому раннее «узнание русской души, признание духа народного».

Самое начало его жизни отмечено ранним опытом страдания и сострадания, естественно для него возникавшим рядом с больницей для бедных. «Страдания — школа христианства», — позже писал он, как писал и о страданиях русского народа в историческом прошлом



*Памятник Ф.М. Достоевскому во дворе
Мариинской больницы в Москве.
Фотография А.Сахарова*

ворили: Христос приходил к людям вернуть отнятый рай здесь, на земле; жертва Христа напрасна, нет смысла в Голгофе, с христианской точки зрения единящей духовно человека с Богом в страдании Богочеловека. По мысли же утопистов, в ней не утверждение Христа, но гибель Его — крушение земного устройства человечества, какое связывали утописты с Его учением, а именно, на принципах любви и братства; дело Христово нуждается в продолжении, земном существовании усилиями людей.

На фоне зреющей революции, обнажающей и несущей европейскому обществу вражду и кровь («драмы», как скоро скажет Достоевский), учение социалистов-утопистов казалось единственным социальным рецептом. «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма... Все эти тогдашние новые нам идеи в Петербурге... казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы ещё задолго до Парижской революции 48-го года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46-ом году был посвящён во всю правду этого грядущего, «обновлённого мира» и во всю святость будущего коммунистического общества ещё Белинским... в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий...». Утопический социализм, используя христианство, давал новую его версию, объявляя его усовершенствованным. И для Достоевского было определяющим имен-

которому был долго привержен. Достоевский уже достаточно представлял этот утопический, в основном французского происхождения, социализм, и один из его литературных источников, проповедовавших новые истины человеческого устройства и общества, был особенно известен ему с недавних лет — романы Ж.Санд.

Социалистические девизы сопровождались у Белинского ещё с начала 1840-х годов пламенной критикой существующего режима в России и мирового устройства: «Социальность, социальность — или смерть! <...> что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможность? <...> Отрицание — мой бог. В истории мои герои — разрушители старого — Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Каин») и др. <...> мне отраднее кошунства Вольтера, чем признание авторитета религии, общества».

Утопические социалисты го-

но его отправление от христианства (об этом он говорил позднее в своём «Дневнике писателя»).

Но его привычные верования остались с ним, и нет никаких свидетельств, что это было не так.

Если в начале 1840-х годов Белинский для себя ещё не решил вопрос с верой, вопрос о Боге, то ко времени встречи с Достоевским к лету 1845 года он уже переходил к атеистическому социализму, склонялся к материалистической и рационалистической этике, в гносеологии предавал «метафизику», «theologie» к «чёрту» (показать «границы ума», «отрывать его навсегда от всего мистического»). Что касается этики, в сфере которой развернулись столь глубоко затягивающие Достоевского споры, то спустя тридцать лет в «Дневнике писателя» позиция Белинского передана так: «...знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведён к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать от человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...».

Белинский в целом уже не остановился перед «неодолимым препятствием», чем была всегда для Достоевского «нравственная недостижимость», «чудесная и чудотворная красота» Богочеловека, хотя воздействие через Достоевского идеала Христа сохранялось очень сильным. И молодой Достоевский уже понимал, что Белинскому надо было прежде всего «низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества», «революция непременно должна начинать с атеизма». И если человек смертен, нет бессмертия души, то нет и абсолютных измерителей нравственности, всё относительно. «Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть Вас» — короткая дошедшая записка, след жарких дебатов между ними.

Однако признание Достоевского через тридцать лет дошло такое: «Я страстно принял всё его учение». Скорее всего, он ведёт речь об утопическом социализме, о новом христианстве, об осуществлении мечты о золотом веке на земле — на новых и разумных началах с рационально достигаемым общественным согласием и гармонией — всему этому Белинский ещё оставался верен, в его мировоззрении сочеталось многое. Для Достоевского это было отклонение в сторону безбожия. В целом же его сознание, сохранявшее свои неизменные нравственно-религиозные ориентиры и не выходявшее к атеистическому исповеданию, не становилось внерелигиозным. Но со времени споров с Белинским его вера стала дилеммой, требующей разрешения и исхода, вызрела критика «не нравившегося лика мира сего». Так всё глубже в его опыте выражалась ситуация века — кризис религиозного сознания. Споры с Белинским могли лишь утвердить молодого Достоевского в их безысходности и неразрешимости логическим путем.

Тогда он говорил о себе и о многих современниках: «...все мы более или менее мечтатели»; и вскоре в фельетоне «Петербургская летопись» (1847 г.) смог дать оценку «мечтательству» как явлению социальному и петербургскому прежде всего: оно вызвано в «распадающейся массе» отпадением личностного сознания от целого, невозможностью «обусловить своё “я” в действительной жизни»; это болезнь неприложимости своих сил, отвлечённости и беспочвенности. Так Достоевский положит начало размышлениям, в творчестве также, в дальнейшем историческим и насущ-

ным: об отрыве от народных корней, вызванном ещё строительством в России цивилизации, где «форма» петровских преобразований была столь антинародна.

Приход в кружок петрашевцев стал органическим продолжением этого «мечтательного» периода. Случайная встреча в Петербурге зимой 1847 года с М.В. Петрашевским, обратившимся с вопросом об идее его будущей повести, привела в итоге к «поездке в Сибирь». Он посещает собрания по пятницам в небольшом доме Петрашевского на окраине Петербурга, в Коломне, где веял дух новых социалистических идей. Вспоминая впоследствии Достоевского-петрашевца видели в нём не столько социалиста, сколько увлечённого читателя социалистических книг.

Известны и его оценки этих идей. Он говорил о «чарующей» душе системе Фурье, с другой стороны, «солнечная» Икарыйская республика у Кабе, организованная на строжайшей регламентации личности, вызвала его полное неприятие и почти отвращение. По воспоминаниям петрашевца И.М. Дебу, Достоевский говорил, что «жизнь в Икарыйской коммуне или фаланстере (Фурье. — Г.П.) представляется ужаснее и противнее всякой каторги». И когда при допросах на следствии старался убедить, что не верил в практическое осуществление этих новых социалистических утопий, то это существенно отражало его действительные взгляды.

Но не приняв по сути ни одной доктрины теоретического социализма, молодой Достоевский склонен был видеть его в перспективе, что из него впоследствии выработается «что-нибудь стройное, благоразумное, благодетельное для общественной пользы, точно так же, как из алхимии выработалась химия, а из астрологии — астрономия». И когда в кружке петрашевцев, созданном С.Дуровым, решено было изучать «современное состояние России» и каждый выбирал какую-либо тему (законодательство, крестьянский вопрос, военное дело), Достоевский взял на себя «изучение социализма». Но и на фоне тогдашних увлечений его приверженность Христу, Евангелию не пресекалась ничем. Доктор Яновский вспоминал, что когда Достоевский, уже в пору участия в собраниях петрашевцев, обращался к политике и социологии, то «всегда на первом плане у него выдавался анализ какого-либо факта или положения, за которым следовал практический вывод, но такой, который *не шёл вразрез с Евангелием*» (курсив С.Яновского. — Г.П.). А Николай Спешнев, как записала А.Г. Достоевская, рассказывал, что на Фёдора Михайловича Петрашевский производил отталкивающее впечатление тем, что был безбожник и глумился над верой. Достоевский был чужд и далёк от ревизии христианства, которую предпринял Петрашевский в его статье «Неохристианизм» в «Карманном словаре иностранных слов» Кириллова (псевдоним М.В. Петрашевского), где подверг христианство поправкам и улучшению сообразно веку цивилизации.

В читанных на «пятницах» рефератах политические, социальные вопросы, касавшиеся Европы и России, всё более обострялись на фоне зреющей революции на Западе. В развёртывающейся там «драме» Достоевский видел прежде всего сословные, гражданские противоречия и вражду человеческого сообщества в европейской цивилизации. Что касается России, то он разделял резкую критику существовавшего режима и жаждал его обновления с введением гласного судопроизводства, с отменой строгостей цензуры и, главное, крепостного состояния; на од-

ном из собраний рассказывал, как фельдфебель Финляндского полка был прогнан сквозь строй. Известно, что крайнее предложение освобождения народа встретило реплику Достоевского: «Хотя бы через восстание»; но он не допускал, чтобы кто-нибудь оказался сторонником русского бунта.

Все требования выдвигались, как Достоевский скажет на следствии, «без посягательств» на монархию и монарха. Но он предполагал сильно воздействовать на общество с целью его критики и распространения проектов обновления. Это привело его в выделившееся радикальное крыло петрашевцев, душой которого стал Н.А. Спешнев; семёрка состояла из прежних «дуровцев». А.Н. Майков вспоминал впоследствии, как его вербовал Достоевский для участия в проекте тайной типографии: «Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастёгнутым воротом, напрягал всё своё красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти Отечество...»

Учреждение тайной типографии следственной комиссией было оставлено в тени намеренно, ввиду участия в этом проекте Н.Мордвинова, сына известного государственного деятеля. Против Достоевского главным обвинением оказались не эти заговорщические проекты, а чтение письма Белинского к Гоголю на общем собрании у Петрашевского 15 апреля 1849 г. (перед тем он читал его дважды в кружке Дурова). Письмо Белинского, заключающее в себе немало от утопического социализма, а также резкую критику всей государственной системы, Церкви, не вызывало у Достоевского осуждения, скорее, было им принято.

Он был арестован в ночь на 23 апреля 1849 г. в доме Шиля на Малой Морской, где были написаны почти все его ранние повести, и препровождён в Петропавловскую крепость, в Алексеевский равелин, предназначенный для особо опасных преступников. На допросах Достоевский отвечал уклончиво, товарищей не выдавал, на сотрудничество со следственной комиссией не шёл, когда генерал Ростовцев склонял его: «Я не могу поверить, чтобы человек, написавший “Бедных людей”, был заодно с этими порочными людьми».

Приговор отставному инженеру-поручику Фёдору Достоевскому (27 лет): «За участие в преступных замыслах, распространение одного частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение к распространению посредством домашней литографии сочинений против правительства».

Заключение генерал-аудитора: «Подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Высочайшая конфирмация: «Лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в крепостях на 4 года и потом определить рядовым».

Экзистенциальные пути его веры шли далее через эшафот, ставший его Голгофой, и каторгу. У вспоминающего предсмертные минуты автора «Идиота» как будто не было прозрения своего бессмертия, как и прояснённых для самого себя религиозных состояний и чувств. («Крест он с жадностью целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное сознавал»). И всё же с углублением в автобиографические страницы романа оказывается: у смертника Достоевского готовность не к концу, а к «новой форме» жизни; очевидна приближённо религиозная символика образов. А в мемуарах петрашевца Н.Ф. Львова значительное свидетельство. Пока шли приготовления к

казни и осуждённые могли переговариваться, Достоевский, подойдя к Н.Спешневу, сказал: «Nous serons avec le Christ» («Мы будем вместе с Христом») «Un peu de poussiere» («Горстью праха»), — ответил с усмешкой тот.

Возвращение к жизни с объявлением отмены казни явилось воскрешением прежних ценностей и верований, но как бы новых после того, как стоял перед лицом смерти. Жизнь представилась в каждой минуте бесконечностью. Это пришло как откровение в тот день, 22 декабря 1849 г., о чём в письме брату из Петропавловской крепости перед отправлением в Сибирь он пишет: «Брат! Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть *человеком* (курсив Достоевского. — Г.П.) между людьми и остаться им навсегда в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чём жизнь, в чём задача её. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою». Он лишён всех прав состояния, прав писательских: «...та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих <...> Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая так же может и любить, и страдать, и жалеть, и помнить, а это всё-таки жизнь <...> Никогда ещё таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь...». И смысл составляет жизнь, оставленная как таковая, она — «дар», «счастье», переживаемая теперь в её трансцендентальном значении. «Я перерожусь к лучшему» — признание, которое можно считать знаком начавшегося уже в Петропавловской крепости его переворота.

Достоевский в кандалах был этапирован в Сибирь, в Омский острог зимой 1849 г. Официальное предписание об обращении с ним гласило: «без снисхождения». На пересыльном, в Тобольске, жёны осуждённых декабристов П.Е. Анненкова и Н.Д. Фонвизина встретили его с Евангелием, ставшим единственной дозволенной ему книгой на каторге. Он сохранил её до конца жизни и предскажет его себе, раскрыв наугад страницу.

Происходившее с Достоевским на каторге не могло быть механической сменой убеждений, чистым и отвлечённым умозрением, Это был глубокий процесс, перестраивающий его личность. «Одиноким душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою <...>, судил себя один неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение» («Записки из Мёртвого дома»). Как видно, этот процесс — борьба и суд над собой. В опыте сибирской каторги переворот продолжился и углубился. Этот опыт — жизнь и люди, пропущенные через себя.

«Жили мы в куче, все вместе, в одной казарме...», — описывал Достоевский острог брату (в письме от 22 февраля 1854 года), описывал как бы без дистанции между собой и его будущими героями. Об этом же писал один из современников: «Он помнил всегда своих героев. Когда в 1876 году я имел случай познакомиться с Фёдором Михайловичем Достоевским в Петербурге и сообщил, что я видел прежнюю его тюрьму, он, внезапно погружённый в воспоминания, спросил: — Ну, а где же теперь они-то, что сидели там? (он разумел каторжных). Что мне было сказать? Прошло 20 лет. Где эти люди — понятно: они погибли под плетьюми и шпицрутенами, пропали в бегах, умерли в тюрьмах. — Да ведь их не может существовать уже, — спохватился Фёдор Михайлович. Но я понял, что он

внутренне был связан с их жизнью и судьбою» (Н.Ядринцев. «Достоевский в Сибири»).

Эта связь с теми, кто стал его героями, тем более не исчезла, когда уже шла работа над романом — в Сибири, в Семипалатинске, где отбывал солдатчину, и в Петербурге, где заканчивал роман; она же сообщала силу производимому «писателем-каторжником», как тогда называли Достоевского, впечатлению, когда публично выступал с чтением своего «Мёртвого дома». Эти чтения, по его словам, были «пыткой».

Впечатляющая достоверность книги вызвана тем, что её автор, оказавшись сам заключённым (в арестантскую № 55 роту), рассказывал по следам свежей памяти, почти с места событий. «Личность моя исчезнет», — говорил Достоевский, видимо, вкладывая в «Записки из Мёртвого дома» значение хроники без видимого сильного субъективного преломления событий и лиц («Сибирская тетрадь», этот единственный творческий документ в Омской каторге, показательна как бы безавторскими записями услышанных там сцен, диалогов, словечек; 200 из 522 записей вошло в роман). Вместе с тем «Записки» феноменальны субъективной подлинностью.

На каторге он оказался, по сути, среди смертников, она обрела у него образ «Мёртвого дома». Ведь каторжники осуждены, лишены свободы и звания человека вынесенным над ними приговором. Тогда Достоевский особенно понял и прочувствовал жесточайшую, смертную суть приговора. Он означает конец и отторгнутость живого от жизни, на каторге не жизнь, а пребывание «в тяжёлом сне». И пробуждение от него, воскрешение из мёртвых, хотя бы на момент, происходит в праздник Рождества Христова, с «благоговением» ожидаемый каждым преступником, когда и осознаёт себя заодно со всеми людьми, и что он не «ломоть отрезанный».

Выше и сильнее людского приговора лишь образ Христа, с которым только и остаётся возможность жизни.

Явилось здесь и сильное впечатление — воспоминание детства об «уединённой встрече» с мужиком Мареем. Достоевский стал глубоко проникаться идеалом Христа в народном воплощении, народ в целом виделся теперь носителем его образа («Этот бритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце» («Дневник писателя» за 1876 г., «Мужик Марей»).

Каторжник Достоевский реально испытал на себе отношение и народную точку зрения на преступника, отношение как к «несчастному», а не отверженцу. Подаяние ему «копеечки» было таким живым участием, а не отторжением его, выражением скрытого в душе народа покаяния за совершаемое в мире зло.

Достоевский осудил в себе прежний разрыв с народом и народной верой, для него начался «возврат к народному корню». Мемуаристы доносят, как он отвечал по поводу духовного значения перенесённой каторги.

«— Какое, однако, несправедливое дело было эта ваша ссылка.

— Нет, — коротко, как всегда, обрезывает Достоевский, — нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ. Это я почувствовал там только, в каторге. И почём вы знаете, — может быть, там, наверху, т.е. Самому Высшему, нужно было меня привести в каторгу, чтоб я там что-нибудь узнал, т.е. узнал самое главное, без чего нельзя жить, иначе люди съедят друг друга, с их материальным развитием; ну-с, и чтобы это самое главное я вынес оттуда, потому что оно пока скрывается только в народе,

хотя он гадок, вор, убийца, пьяница, так чтоб я вынес это оттуда и другим сообщил, и чтоб другие (хоть не все, хоть очень немногие) лучше стали хоть на крошечку — хоть частичку бы приняли, хоть бы поняли, что в бездну стремятся, и этого довольно. И этого уж много. Из-за этого стоило пойти на каторгу».

Итог каторжного опыта был для него очевиден тогда и на всю жизнь; в письме брату (22 февраля 1854 г.) он писал: «Если я узнал не Россию, то народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, немногие знают его».

Он постиг «народную правду», а «узнать» Россию вскоре ему предстоит с тем, как проникнется её призыванием и национальной, «русской» идеей, выведенной из народной правды.

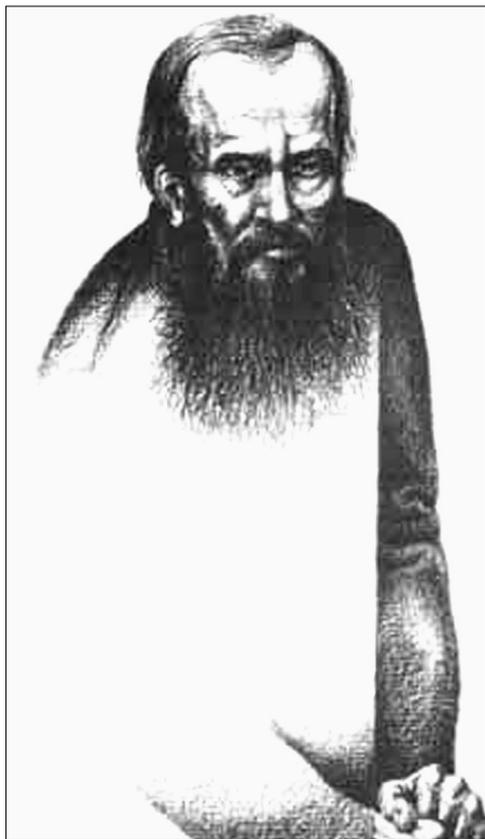
Теперь он шёл к Христу только подлинному, а не подновлённому социалистами-утопистами.

* * *

Но и в нынешнем выражении вера оставалась дилеммой жизни, о чём по возвращении из каторги он писал в 1854 году (январь—февраль) в письме к Н.Д. Фонвизиной, ставшем столь известным, осветившем и последующую жизнь писателя: «Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных <...>. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен, в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, *и действительно* (курсив Достоевского. — Г.П.) было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Здесь не отступление от Христа в религиозном свете и значении, Достоевский ведёт речь не просто о нравственной красоте Христа как человеческой личности, но Богочеловека. Вера здесь переживаема, не только мыслима, и она отстаивается как независимая сама по себе перед допускаемыми рациональными доводами против. В условиях всех решительных духовных перемен, «перерождения убеждений» (что охватило, как сказано в «Дневнике писателя», очень длительный период), принятия народных верований образ Христа в Достоевском жил именно религиозно. Колебание же, диалектическое колебание, было, очевидно, страхом и озабоченностью страстотерпца в вере перед вечным её достижением в себе, а не распадом религиозной личности и сознания.

«Идеи меняются, сердце остается одно», — писал Достоевский А.Майкову ещё из Семипалатинска 18 января 1856 г.; оставался неизменным идеал Христа, а какова его вера — видно из письма к Н.Д. Фонвизиной.

Его духовный, религиозный опыт всё сильнее сказывается в художественном, публицистическом творчестве, тем и определена постановка идеи Христа.



Ю.И. Селивёрстов. Ф.М. Достоевский.
Гравюра из цикла «Из русской думы»

В 1862 году Достоевский впервые едет в Европу, стремясь туда с ранних лет, тогда ещё глубоко соприкоснувшись с её культурой, с её «святыми идеалами», изумившей мир наукой. Но встретившийся тогда в Лондоне с Достоевским А.И. Герцен замечает в нём мысли, больше обращенные к России: «наивный», «верит с энтузиазмом в русский народ». Прежние ожидания великой Европы не сбылись, он видит, как изменил её победивший буржуа, видит здесь не «драму», как в 1840-е годы, а, напротив, установленность порядка, «спокойствие, нужное капиталу». Промышленный прогресс и цивилизация привели в итоге к победе утвердившейся всюду «посредственности», сытого самодовольства. Великолепие всемирной выставки в Лондоне с её хрустальным дворцом для демонстрации всех завоеваний цивилизации как бы выражало окончательность и торжество, увенчанность человеческих усилий и стремлений; тут почти «конец», — заключает писатель (в «Зимних заметках о летних впечатлениях»). И здесь же он видит

всеобщее поклонение и механическое объединение в «стадо» вокруг Ваалова алтаря, новый Вавилон.

Не «конец» там, где живы христианство, христианский дух; религия капитала, социализм — по другую сторону. Именно в эти годы Достоевский задумал статью «Социализм и христианство», разведя их теперь раз и навсегда. «В самом деле, что станет делать лучшего человек, *всё* получивший, *всё* сознавший и всемогущий? <...> Социалисты дальше *брюха* не идут...» (Всюду курсив Достоевского. — Г.П.)

В скитаниях вновь, с конца 1860-х годов, по Европе он всё более убеждался в её духовном закате и угасании, хотя любил по-прежнему её прошлое, её культуру; всё это обратится для него в «дорогие могилы».

Но в те годы Достоевский укрепился в том, что современная цивилизация как никогда далека от того, чтобы «устроить человека нравственно». Он говорил об установленности строя жизни западного общества на экономический её регулятор («мера продуктов») и примитивный рационализм. Эта проблематика была заострена у него, видимо, в связи со спором А.И. Герцена и В.С. Печёрина в их переписке 1853 года, опубликованной Герценом в «Былом и думах» и «Полярной звезде» за 1861 год, которые Достоевский читал за границей. В своих письмах В.С. Печёрин выводит: «тиранство материальной цивилизации» ведёт к

падению духовной жизни современного человечества (забота нравственная и духовная вытесняется заботой о материальном). Герцен же поворачивает проблематику развития современного человечества прежде всего к разрешению общественных противоречий, к материальному прогрессу при наивысшем развитии и накоплении научных и технических знаний. «И чего же бояться? Неужели шума колёс, подвозящих хлеб насущный толпе голодной и полуодетой?» — пишет он. Эта символика узнаваема в рассуждениях Лебедева в «Идиоте», самом апокалиптическом романе Достоевского. И он всё более убеждался, как устанавливается новый взгляд его цивилизованных современников на Иисуса Христа. Отказ видеть в Нём Богочеловека, при полном признании Его «великим реформатором», переоценке Его вероучения «перед достижениями» «позитивных наук» как «мечты», с ними не совместимой, Достоевский находил в столь известной и перечитанной им за границей книге Э.Ренана «Жизнь Иисуса». «Полной безверия» книгой скоро он назовёт её. Известно также, какое впечатление вынес Достоевский от картины Г.Гольбейна Младшего «Мёртвый Христос», предварившей ещё в XVI веке взгляд Ренана.



«Мёртвый Христос». Художник Г.Гольбейн Младший. 1521 год

В нынешней Европе Достоевский во всех сферах жизни сталкивается с главенствующим позитивистским подходом к человеку: он, человек, в видимом, вычисляемом бытии — мера всех вещей. Поэтому цивилизация развивает лишь «многосторонность ощущений». Высочайшим завоеванием почитаются «права человечества», возобладавшие над верой и Христом. Это «конец», утрата духовности и идеала. Письма в Россию А.Н. Майкову, Н.Н. Страхову, С.А. Ивановой наводят на мысль, что он вступил тогда в новый круг своей духовной судьбы. Наивысший накал его высказываний о Европе, цивилизации, России, о русском народе, Христе, современных идейных и политических движениях (на конгрессе Лиги мира и свободы в Женеве в 1867 г.) вызван особой устремлённостью его к идеалу, в соответствии с которым он осмысляет всемирно-исторический процесс.

На Западе Достоевский наблюдает самое драматическое событие — Парижскую коммуну, которая ему представляется едва ли не одной из последних и необратимых утрат современной цивилизации. Он писал тогда из Дрездена Н.Н. Страхову 18 (21) мая 1871 года: «Во весь XIX век это движение или мечтает о рае на земле (и начиная с фаланстеры), или чуть до дела (48 год, 49 — теперь) — высказывает унижительное бессилие сказать хоть что-нибудь положительное. В сущности, всё тот же Руссо и мечта пересоздать вновь мир разумом и опытом (позитивизм). Ведь уж, кажется, достаточно фактов, что их бессилие сказать новое слово — явление не случайное. Они рубят головы, почему? —

Единственно потому, что это всего легче, сказать что-нибудь несравненно труднее. Желание чего-нибудь не есть достижение. Они желают счастья человека и остаются при определениях слова “счастье” Руссо, т.е. на фантазии, не оправданной даже опытом. Пожар Парижа есть чудовищность: “Не удалось, так погибай мир”, ибо коммуна выше счастья мира и Франции. Но ведь им (да и многим) не кажется чудовищностью это бешенство, а напротив, *красотою* (курсив Достоевского. — Г.П.). Итак, эстетическая идея в новом человечестве помутилась, нравственное основание общества (взятое из позитивизма) не только не даёт результатов, но и не может само определить себя, путается в желаниях и идеалах. Неужели, наконец, мало теперь фактов для доказательства, что не так создаётся общество, не те пути ведут к счастью и не оттуда происходит оно, как до сих пор думали! Откуда же? Напишут много книг, а главное упустят. На Западе Христа потеряли (по вине католицизма), и оттого Запад падает, единственно оттого. Идеал переменялся и — как это ясно!»

* * *

По поводу заимствования и пересадки на русскую почву европейской цивилизации Достоевский высказывался В.В. Тимофеевой, исходя из непосредственных своих впечатлений: «Они там пишут о нашем народе: “дик и невежествен... не чета европейскому...” Да наш народ — святой в сравнении с тамошним! Наш народ ещё никогда не доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в Неаполе, мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения — юноши, почти дети. Отвратительные, противоестественные пороки — и открыто для всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы сделать то же у нас! Ведь народ осудил бы, потому что для нашего народа тут смертный грех, а там это — в нравах, простая привычка, — и больше ничего. И эту-то “цивилизацию” хотят теперь прививать народу! Да никогда я с этим не соглашусь! До конца моих дней воевать буду с ними, — не уступлю.

— Но ведь не эту же именно цивилизацию хотят перенести к нам, Фёдор Михайлович! — не вытерпела, помню, вставила я.

— Да непременно всё ту же самую! — с ожесточением подхватил он. — Потому что другой никакой нет. Так было всегда и везде. И так будет и у нас, если начнут искусственно пересаживать к нам Европу. И Рим погиб оттого, что начал пересаживать к себе Грецию... Начинается эта пересадка всегда с рабского подражания, с роскоши, с моды, с разных там наук и искусств, а кончается содомским грехом и всеобщим растлением...»

Помета, слово «цивилизация», относящаяся к апокалиптической «блуднице», появляется на полях его личного Евангелия.

Если опыт сибирской каторги разбил прежние, как назовёт позднее, «розово-райские» увлечения, то в условиях проводимых русских реформ Достоевский опять воодушевляется социально-преобразовательной программой, но уже в свете защищённого, утверждённого для себя незыблемого идеала: соединить образованное верхнее сословие с народом в надежде на единственную силу — религиозной идеи Христа, воспринятой бы «верхом» от народа как её органического носителя.

В полемике с радикальными демократами Чернышевским, Добролюбовым, Антоновичем Достоевский не уходил от этой отправной мысли. Это составило суть «почвенничества», проводимого в издаваемых братьями Достоевскими журналах «Время» и «Эпоха». И позднее с идеей Христа он связывает возможность особого русского «социализма», общественного единения как духовного прежде всего. Эти взгляды находят тем большее развитие, чем острее реагирует Достоевский на состояние европейской цивилизации и на внутрироссийскую ситуацию. А она нагнетается ввиду демонстративного противостояния самодержавию народовольческой оппозиции, в основном из студенческой молодёжи, принявшей на себя роль заступников, преследующих народные интересы, цели. Обе стороны по-своему, в идеологии апеллируют к народу, противодействуют же репрессиями. Исторический прецедент этого противодействия — выстрел Д. Каракозова в Александра II 4 апреля 1866 года. Власть ответила казнью стрелявшего через повешенье. Само же покушение было воспринято Достоевским, по воспоминаниям П.И. Вейнберга, так: Достоевский прибежал к Майкову в крайнем возбуждении.

«Он был страшно бледен, на нём лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке.

— В царя стреляли! — вскричал он, не здороваясь с нами, прерываемым от сильного волнения голосом.

Мы вскочили с мест.

— Убили? — закричал Майков каким-то нечеловеческим, диким голосом.

— Нет... спасли... благополучно... Но стреляли... стреляли... стреляли...».

Не видя ни с какой стороны действительного разрешения кризиса, исходившего бы из духовного стимула жизни народа, в черновиках к «Бесам» писатель упомянул событие с Каракозовым.

«Даже несчастный, слепой самоубийца 4 апреля в то время верил в свою правду <...> Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман».

Следует череда выстрелов и покушений: А. Соловьёва, А. Березовского, В. Засулич, С. Кравчинского, А. Квятковского, А. Преснякова. Под прицелом государь, градоначальник Ф. Трепов, шеф жандармов Н. Мезенцев, министр внутренних дел М. Лорис-Меликов. Во всех случаях у Достоевского — опасения, что «повернут на старую дорогу», к репрессивному решению противостояния, делая его тем самым безысходным. Именно поэтому в конце концов вынесенное судебное оправдание В. Засулич вызвало его одобрение, хотя и не одобрение её действий. В передаче Г.К. Градовского Достоевский, присутствовавший в зале суда, высказался, что «наказание этой девушки неуместно, излишне. Следовало бы выразить: “Иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз”».

За несколько месяцев до смерти Достоевский потрясён казнью Квятковского, Преснякова. В последней своей тетради записывает мысли о путях государства и церкви. Под «церковью» подразумевает «не здания церковные», «не причты, я про наш русский “социализм” говорю». Поясняет, что это «обратно противоположное церкви слово» берёт для раскрытия мысли о всенародной, вселенской церкви, осуществлённой на земле, «поколику земля может вместить её». Достоевский имеет в виду

под «церковью» духовную общность, «церковь — весь народ». И главную ошибку русских интеллигентов-революционеров видит в том, что «они не признают в русском народе церковь». Здесь и возможные пути русского самодержавия, реально, однако, не следовавшего им и нарушившего своё духовное и нравственное назначение в объединении себя с народом (Царь как пастырь перед народом, своими «детьми»; «что-то очень уж долго не верит в это своё назначение», — замечает, однако, Достоевский наедине с собой).

Церковь же, по его убеждению («церковь в параличе с Петра Великого»), как институт в её современном состоянии, также не отвечает этой задаче.

В этих мыслях Достоевскому становится близок молодой Владимир Соловьёв, между ними уже с 70-х годов возникает взаимодействие и взаимовлияние. По свидетельству А.Г. Достоевской, Фёдор Михайлович не пропускал ни одной лекции молодого философа, познакомившись с ним зимой 1873 года, присутствовал в следующем году на его магистерском диспуте в Петербургском университете. Мысли о духовном синтезе и объединении, возможном в «церкви-государстве», изложенные Иваном Карамазовым, — итог пройденного пути автором «Братьев Карамазовых» с Владимиром Соловьёвым в их диалогах, обмене мнениями, спорах и найденном духовном союзе. Философ, в продолжение Достоевского, вскоре ответил защитникам позитивизма и социализма на несостоятельность их притязаний стать высшей нравственной силой в устройении земного общежития и счастья.



Ю.И. Селивёрстов. В.С. Соловьёв.
Гравюра из цикла «Из русской думы»

Духовным событием для обоих стала совместная поездка в Оптиную пустынь летом 1878 года, где Достоевский трижды встречался и беседовал со старцем Амвросием.

Писатель настойчиво выдвигает мысль о необходимости веры и идеала в строительстве общества, без них любые его либеральные усовершенствования будут иметь лишь один результат: «больше громких фраз». Известен эпизод на юбилейном обеде в честь И.С. Тургенева, когда в ответной речи он дал понять о своих ожиданиях от императора конституции для России. Достоевский бросил тогда знаменитому писателю вопрос: «Скажите, в чём ваш идеал?» Сам же Достоевский до конца жизни стремился раскрыть идеал и веру, заключённые в душе народа, в его реальной истории и настоящем при всех его заблуждениях, отклонениях, искушениях (тогда «материализмом» и стяжа-

тельством). В этом смысле «полноту» национального выражения Достоевский видел в Пушкине, почему и назвал его явление «пророческим», то есть несущим в себе глубину, будущее назначение России. Русская идея, пронизавшая речь Достоевского о Пушкине в Москве в июне 1880 года, стала объединяющей, хотя бы на момент, противостоящие и враждующие партии. Писатель тогда показал силу, которой могло объединиться разрозненное общество. Речь признана была «историческим событием», хотя и вызвала вскоре у многих острую критику и полемику.

В русском обществе можно было, однако, наблюдать всепроникающий «нигилизм» («все Фёдоры Павловичи Карамазовы»).

В 70-е годы во внимании писателя «эпидемические» самоубийства среди молодёжи. Об этом ему многие пишут, и он отвечает чаще всего в своём «Дневнике писателя».

Покончившие с собой 17-летняя дочь Герцена, акушерка Писарева, другие, социально далёкие, но обнаружившие общую духовную болезнь. За конкретными мотивами, а часто и отсутствием их, писатель видит одну причину: «тоску», «нет высшей цели», «полное *tabula rasa*». Писарева желала, писал Достоевский, «видеть красоту людей и мира, проявить сама великодушная, но ей возражали: “Великодушная нет, а ступайте в повивальные бабки, будете там полезны”».

В письме П.Потоцкому от июня 1876 г. тоже в связи с самоубийством Писаревой писатель вновь возвращается к духовной цели и идеалу красоты: «Если сказать человеку: нет великодушная, есть стихийная борьба за существование (эгоизм), то это значит отнимать у человека личность и свободу».

268

* * *

У Достоевского постепенно возникла острая потребность вступить в прямой диалог с русским обществом. Формы прежней его публицистики в 60-е годы ему казались недостаточными. И он находит новую, которая с его стороны являлась бы «отчётом» о всём увиденном, услышанном и прочитанном. Это был «Дневник писателя», с которым образовалась живая обратная связь русского общества с Достоевским. А в нём Достоевский по-прежнему будет говорить о народе, «перенесшем во много веков много страданий» и «знающем в горе своём Бога и Христа» («Вникните в православие: это вовсе не одна только церковность и обрядность, это *живое чувство*, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных *живых сил*, без которых не живут нации. В русском христианстве по-настоящему даже и *мистицизма* нет вовсе, в нём одно чело-веколюбие, один Христов образ» (всюду курсив Достоевского. — Г.П.). В «Дневнике» христианская этика живо персоналистична, разрабатывается и ищет воплощение в необозримом множестве индивидуальных личностей, судеб, ситуаций, проблем.

Человек свободен в нравственном выборе, а значит, нравственно ответственен. Это на религиозных, христианских основаниях усиленно утверждается и защищается Достоевским, особенно в 70-е годы. В этом главном пункте он сосредоточивает как бы продолжающиеся вновь свои диалоги с Белинским, к памяти которого он возвращается в «Дневнике писателя», к памяти, не только воскрешающей прошлое, прежние умонастроения, но и вызванной настоящим.

На новой волне радикального общественного движения, особенно, народничества, опять встали вопросы: социализм и атеизм, общество и личность, её свобода. Народнического теоретика Н. Михайловского, откликнувшегося в печати на вышедший в свет роман «Бесы», привлёк взгляд Достоевского на личность (учение о среде в своём крайнем развитии обезличивает и нравственно унижает человека).

Личность, по представлениям народников, способна творить историю независимо от каких бы то ни было законов, по требованиям совести. Каковы эти требования, что их определяет с точки зрения нравственности, не вопрос для них, но это вопрос для Достоевского. Он поднимает его, обратившись к памяти Белинского, которого считает одним из «отцов» современной радикально настроенной и действующей молодёжи. «В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг...».

Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу её; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется под конец усомнился), что социализм не только разрушает свободу личности, а напротив, восстанавливает её в неслыханном величии, но на новых и уже алмазовых основаниях.

Тут оставалась, однако, «сияющая личность самого Христа, с которой всего труднее было бороться».

Прежде всего, гипертрофированная в традициях ренессансного гуманизма, закрывшая собою небеса человеческая личность неприемлема для Достоевского, как способная переступить всё и вся на пути к вседозволенности. И тут встаёт проблема русского характера, который он всегда стремится осознать в самых высоких духовных взлётах, но и не идеализируя; его широта и способность уживаться со многими явлениями и раздвигать совесть «до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как вы думаете?» («...О, иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный народному характеру в самые роковые минуты его жизни»).

Нужны нравственные ориентиры — где они? — «Сияющая личность Христа». Одна из последних записей писателя (записная тетрадь 1880—1881 гг.), полемическая в адрес К. Кавелина, именно об этом, о безотносительных критериях нравственности. «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо ещё непрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же их одна — Христос. Но тут уж не философия, а вера, — это красный цвет <...> Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь *честность* (русский язык богат) (курсив Достоевского. — Г. П.), но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос. Спрашиваю: сжёг ли бы он еретиков, — нет. Ну, так значит сжигание еретиков есть поступок безнравственный <...> Инквизитор уж тем одним безнравственен, что в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сжигать людей».

Жизни конечной противопоставив бесконечную, Достоевский её чувствует и понимает в евангельском свете.

Писательница В.В. Тимофеева (О.Починковская) передаёт такой диалог с ним в 1873 году:

«— Стремитесь всегда к самому высшему идеалу! Разжигайте это стремление в себе как костёр! Чтоб всегда пылал душевный огонь <...> Идея-то ваша какая?

— Идеал один... для того, кто знает Евангелие...

— Но как же вы понимаете Евангелие? Его ведь разное толкуют. Как по-вашему: в чём вся главная суть? <...>

— Осуществление учения Христа на земле, в нашей жизни, в совести нашей...

— И только? — тоном разочарования протянул он. Мне самой показалось этого мало.

— Нет, и ещё... Не всё кончается здесь, на земле. Вся эта жизнь земная — только ступень... в иные существования...

— К мирам иным! — восторженно сказал он, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виднелось тогда такое прекрасное, светлое и прозрачное небо.

— И какая это дивная, хоть и трагическая задача — говорить это людям! — с жаром продолжал он, прикрывая на минуту глаза рукою. — Дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много... много мучений, но зато — сколько величия! Ни с чем не сравнимого... То есть решительно ни с чем! Ни с одним благополучием в мире сравнить нельзя!»

Цель же бытия, о которой писатель так часто говорит в последний период своей жизни, освещается высшей идеей — идеей бессмертия души. Но с усиливающимся индифферентизмом к этой идее возникает

270

ГАЛИНА ПОНОМАРЁВА



Рабочий стол Ф.М. Достоевского

«полное *tabula rasa*» («Вспомните прежних атеистов: утратив веру в одно, они тотчас же начинали страстно верить в другое. Вспомните страстную веру Дидро, Вольтера <...> У наших — полное *tabula rasa*, да и какой тут Вольтер: просто нет денег, чтобы нанять любовницу, и больше ничего»). Здесь источник современных самоубийств, так писатель их видит.

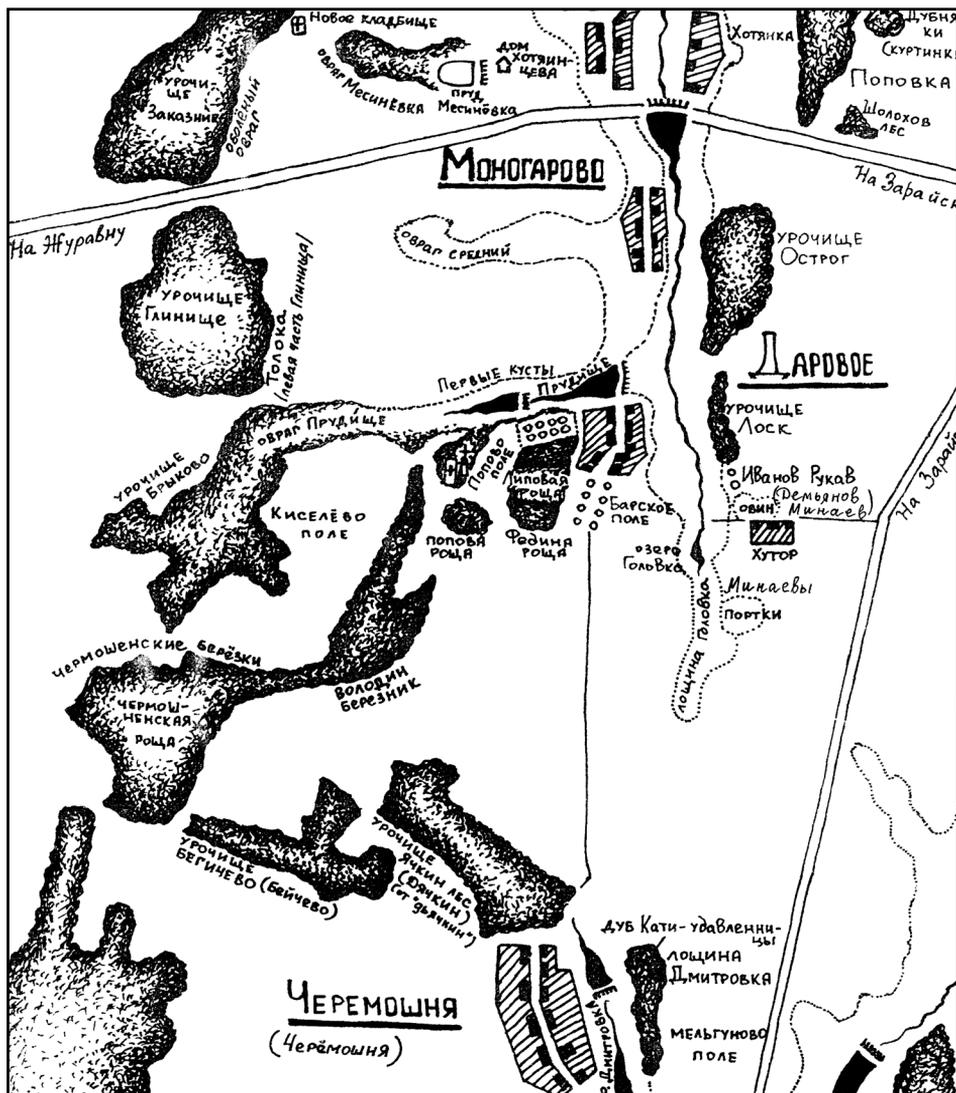
Достоевский выразил собой время начал тотальных катаклизмов, когда отрицание мира в Боге с накопленным уже колоссальным разрушительным опытом могло явиться и явилось с небывалой мощью.

Но у него всегда возникает отторжение цивилизации постольку, поскольку она несёт материализацию и поэтому конечность целей человеческого бытия. Прогресс и технократическая цивилизация, вытеснявшие высочайшую духовную культуру европейских народов, страны «святых чудес» знаменовали, по Достоевскому, «начало конца прежней истории». Россия же остановилась, «колеблясь над бездной», в ней происходят тектонические сдвиги в коренных исторических основаниях государственности и народа с всеобщим «разъединением» и «разложением», нигилизмом, революционным анархизмом, либеральной и демократической оппозицией, со всякого рода разрушительством в умах, что не находит у власти и образованного общества духовной и созидательной силы преодоления и разрешения. Достоевский как никто живёт, особенно в последнее своё десятилетие, апокалиптическими предощущениями — их вызывает современный ему цивилизованный мир со всеми уже видимыми его перспективами.

«— Они и не подозревают, что скоро конец всему... всем ихним “прогрессам” и болтовне! Им и не чудится, что ведь антихрист-то уж родился... и идёт!..» (Из воспоминаний В.В. Тимофеевой). И если в самом Достоевском и его творчестве отпадения от идеи Бога и неотделимых от неё ценностей не произошло, то не могло не быть и великого её испытания.

И каково состояние народа, сохранит ли он свою правду? А без неё, без национальной (русской) идеи нет и народа, есть — население (Достоевский перекликался с Данилевским). Этим писатель особенно озабочен в последние годы своей жизни. Не исключение ли из большинства няня Алёна Фроловна, эта воплощённая религиозная народная душа? — вопрос и раздумье в поздних записях Достоевского. Есть запись с воспоминанием и о Марее: «Марей. Он любит свою кобылёнку и зовет её кормилицей. Если же есть в нём минуты нетерпения и прорывается в нём татарин и начинает он хлестать свою завязшую в грязи с возом кормилицу кнутом по глазам, то вспомните про фельдъегеря, тут: воспитание, привычки, воспоминания, зелено вино...». Ассоциация с фельдъегерем, избивавшим ямщика, а тот лошадь, знаковая: фельдъегерь — «символ» для Достоевского, его «первое личное оскорбление» ещё в юности. Так затуманивается и образ Марей. Но писатель говорит о народе: «зелено вино», то есть не выдержанное, не созревшее, не перебродившее. Народ ещё вполне не воспитан («воспитание, привычки») в своей вере. Вообще Достоевским тогда немало сказано, как народ наш «развратен», «невежественен», как слишком широкая совесть его порой доходит до «роковой безбрежности». Но этот же народ вынашивает свою правду, с нею проходит и «школу бесчисленных страданий», испытания, выдвигает подвижников, вроде солдата Фомы Данилова, замученного за православную веру.

«Я РАЗ ДВАДЦАТЬ ПРОЕЗЖАЛ ЭТОЙ ДОРОГОЙ...»



В десяти верстах от Зарайска расположено родовое имение Достоевских — «сельцо Даровое и деревня Черемошья» — «свыше пятисот десятин земли», куда на всё лето вывозили детей из Москвы. Больше двух суток добирались они в «кибитке, вместительной, как дом»; «проехав Коломну, переезжали реку Оку на пароме» (А.М. Достоевский). «Я раз двадцать проезжал этой дорогой взад и вперёд...» — писал Ф.М. Достоевский зимой 1854 года.

Воспоминания о «деревенском детстве» и местные географические названия всплыли позже во многих книгах писателя. Например, имение старика Карамазова Чермашья — это, конечно же, Черемошья; урочище Брыково — в «Бесах» и других произведениях. Некоторые прототипы его литературных героев — отсюда же, из зарайских мест...



Татьяна Ивановна Кондратова родилась в городе Наро-Фоминске. С 1978 года живёт в Коломне. Окончила филфак КГПИ, работала учителем литературы в школе № 17. Кандидат филологических наук. Интересуется проблемами стиховедения, краеведения, имеет также публикации по проблемам детского чтения. На филфаке КГПИ проводит курсы выразительного чтения, введения в филологию, спецкурсы по анализу лирического произведения, а также курс «Литературная Коломна».

ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ДАРОВОГО

Заметки, предлагаемые вашему вниманию, возникли далеко не случайно. В течение двух лет я была одним из руководителей фольклорной практики студентов-филологов Коломенского пединститута, проходившей в селе Даровом Зарайского района. Однако общение с местными жителями, запись их рассказов стали только небольшой частью нашей работы: студенты очищали пол храма, в котором бывал Ф.М. Достоевский, занимались расчисткой «Фединой» рощи. И всё же, думается, нам удалось собрать и записать материалы, которые будут интересны тем, кто небезразличен к истории родного края, к имени Ф.М. Достоевского.

«Уважение к минувшему» — вот что отличает образованность от дикости, утверждал Александр Сергеевич Пушкин. Горькую глубину этих слов великого поэта особенно остро ощущаешь, когда думаешь о судьбе родной культуры. Не о культуре вообще, а о том «родном пепелище» и «отеческих гробах», которые находятся совсем рядом и по которым мы равнодушно шлёпаем, не желая замечать, что ходим-то по костям наших предков.

В двенадцати километрах от подмосковного города Зарайска находится село Даровое. В «Зарайской энциклопедии», составленной местным краеведом В.И. Полянчевым в 1995 году, читаем: «Даровое (Доровое, Дуровое, Дворовое, Даровая. <...> 2 дома, 3 жителя: 1 мужчина, 2 женщины»¹. Рядом село побольше, с красивым и тревожным названием — Моногарово (местные жители говорят, что было Многогарово, — горело село часто). В сторону от Дарового, в двух километрах — деревенька Черемошня, совсем крохотная — чуть бо-



Дорога к Даровому

лее десятка дворов, удалённая от всех проезжих дорог. Название её производят по-разному: Черемошня, Черёмошня (черёмух было много вокруг), Черемошна, но местные жители — обязательно без второго «е» — Чермошна.

Все эти три «населённых пункта» — часть истории нашей культуры, великой русской литературы. Здесь прошло детство Фёдора Михайловича Достоевского: с 1832 по 1837 год каждое лето семья Достоевских жила в Даровом. Здесь будущий писатель пережил самые светлые, безмятежные чувства от общения с природой, с простым народом, отголоски которых позже зазвучат во многих произведениях, когда герои в воспоминаниях будут переноситься из безрадостных будней в безоблачное детство. Приемы пейзажа Дарового отразились в воспоминаниях детства Вареньки Добросёловой («Бедные люди»), рассказчика повести «Село Степанчиково и его обитатели», Ивана Петровича («Униженные и оскорблённые»), рассказчика «Маленького героя».

«Я помню, у нас в конце сада была роща, густая, зелёная, тенистая, раскидистая, обросшая тучною опушкой. Эта роща была любимым гулянием моим... перебежишь лужайку, как ветер, задыхаясь от быстрого бега, боязливо оглядываясь кругом, и вмиг очутишься в роще, среди обширного, необъятного глазам моря зелени, среди пышных, тучных, широко выросших кустов... осторожно пробираешься в чащу... и мрачнее становится лес, чернее и гуще пестрят гладкие пни дерев, где начинаются овраги, крутые, тёмные, заросшие лесом, глубокие, так что верхушки дерев наравне с краями приходится... Резко напечатлелся в памяти моей этот лес, эти прогулки потихоньку...» — воспоминания Вареньки Добросёловой, бесспорно, питаются очень сильными впечатлениями самого автора.

«Это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где всё полно для меня самыми дорогими воспоминаниями», — писал Достоевский уже в зрелом возрасте².

Здесь же, в Даровом, будущий писатель испытает одно из самых страшных потрясений юности, которое тоже будет изживать в своих произведениях: смерть отца, Михаила Андреевича Достоевского, смерть загадочную, возможно, насильственную. Подросток Достоевский не мог не знать о той драме, которая разыгралась в Даровом после смерти матери: преданно прослужив отечественной медицине 25 лет, потеряв супругу, не имея опыта ведения сельского хозяйства, находясь на грани полного разорения, отец, очевидно, впал в отчаяние. Чем же иным как ни этими юношескими воспоминаниями, этим жгучим сыновним стыдом, рождены образы порочных стариков? Не в них ли истоки образа Фёдора Карамазова?

Казалось бы, совершенно очевидно, что этот «уголок земли» должен быть сохранён, превращён в историко-культурный заповедник, ведь даже местная топонимика до сих пор хранит память о Достоевских: Федин овраг и Фебина роща — очевидно, эти топонимы более позднего происхождения, урочище Острог (этот лесок, расположенный совсем рядом с Даровым, конечно же, был хорошо знаком Достоевскому в детстве), урочище Лоск, на краю которого маленьким мальчиком Достоевский встретился, спасаясь от волка, с мужиком Мареем — этот эпизод детства писатель вспомнит на каторге, и воспоминание это поможет ему пережить, наверное, самое страшное жизненное испытание. Простой мужик, утешивший маленького барина, осенивший его крестом, — для Достоевского этот образ станет символом всего русского народа — народа-богоносца.



Памятник Ф.М. Достоевскому на краю Фединой рощи

Время оказалось не так уж и безжалостно к родовому гнезду Достоевских: сохранилась липовая роща, когда-то окружавшая барскую усадьбу. Да и сам дом стоит на том же месте, пусть только часть строения, без конюшен и хозяйственных построек, пусть перебранный и перестроенный в более позднее время — в доме жила сестра писателя Вера Михайловна Иванова, а потом её дочери, родные племянницы Достоевского, которых до сих пор помнят местные старожилы. Но самый подлинный и древний свидетель детства великого писателя — церковь села Моногарова, построенная в 1763 году, украшенная колокольней в 1822-м. Семья Достоевских ходила на службу в эту церковь, хотя находилась она во владениях соседа — помещика П.П. Хотяинцева. Может быть, эти детские воспоминания потом отразятся на страницах романа «Преступление и наказание», когда маленький Раскольников «почтительно» целует крест?

Моногаровская церковь Сошествия Святого Духа в XX веке разделила общую судьбу русских храмов: закрытая в 30-е годы, она была превращена в производственное помещение. Здесь в разное время размещались клуб, магазин, цех по выпечке хлеба, склад комбикорма, хранилище цемента; в колокольне складировались химические удобрения. За годы цемент окаменел, и им до сих пор «залито» значительное пространство церкви. Из полуметровой глубины мы извлекали остатки лепнины, когда-то украшавшей потолок и стены храма. Под слоем окаменевшего цемента обнаруживали мы следы нашей родной «дикости», которая отличает нас от образованности — огромные железные детали каких-то механизмов, может быть, части бетономешалки; под слоем полуразложившейся мешковины нашли хорошо сохранившийся журнал прихода и расхода комбикорма. Мы докопали до пола, выложенного плиткой (белые и чёрные квадраты), очевидно, так выглядел пол и в XIX веке. Однако темпы нашей работы, увы, невелики, и прогноз получается весьма пессимистический: если храм будет расчищаться силами студентов филфака Коломенского



Дом Достоевского



Моногаровская церковь Сошествия Святого Духа

государственного пединститута, которые будут приезжать сюда раз в год на время летней практики, то работа эта займёт добрый десяток лет. К тому же в той части храма, которая соединена с колокольней и пострадала от времени более всего, работать вовсе не безопасно: здесь уже идёт медленное обрушение кровли.

Непонятно, почему сейчас, когда везде идёт восстановление разрушенных храмов, моногаровская церковь до сих пор зияет пустыми глазницами окон? Может быть, дело в том, что коренных жителей Дарового и Моногарова можно пересчитать по пальцам? А дачники из ближнего и дальнего Подмосковья без стеснения задают приехавшим студентам вопрос: правда, что вы нашу церковь восстановите и ещё и дорогу построите? После предложения помочь вывезти из церкви химические удобрения любопытствующих сразу поубавилось. Но даже в разрушенный храм идут люди. Отец Григорий, священник деревни Журавна, проводит службу в престольные праздники в той части храма, где пол расчищен. Жительница Дарового Валентина Ивановна Ступина, которой уже за семьдесят, окашивает дорогу возле храма. Кстати, в первые дни нашей работы она привела к нам своего внука Максима, ученика третьего класса Зарайской школы, и это был единственный доброволец, ежедневно по шесть часов долбивший цемент со студентами.

А ведь сейчас ещё церковь можно восстановить в том виде, в каком она существовала по крайней мере в начале XX века. Ещё живы люди в окрестных деревнях, которые помнят её до разорения. Восемьдесятидвятилетняя жительница деревни Черемошня Мария Михайловна Ксенофонтова рассказала нам, что её дедушка Иван Васильевич Мелехов был церковным старостой в Моногарове. Она помнит, что вокруг церкви росла сирень, а из внутреннего убранства храма назвала икону «Христос на кресте» (очевидно, распятие), икону Божией Матерью и Николая-

угодника. Конечно, эти три иконы, наверное, можно встретить в любом деревенском храме. И всё же рассказ Ксенофонтовой свидетельствует, что ещё можно собрать и воссоздать какие-то важные детали этой далёкой истории: «Какая-то учительница из Моногарова пожгла иконы из церкви. Ленин запретил, чтобы было много молящихся, но мы всё равно ходили в Струпну (соседняя деревня, где была действующая церковь. — К. Т.)». Мария Михайловна вспомнила ещё одну интересную деталь: «В храме сначала клуб открыли. Ну и баба одна, Маруся Митина, пошла цыганочку плясать и ногу себе сразу сломала. А мы все и сказали: ну и Бог тебя наказал!».

Немного помнит церковь действующей и Валентина Ивановна Ступина (в девичестве Трушина): «Помню, как били колокола. Один звенел громко, на всю округу». У этой женщины с храмом связано много воспоминаний: «Сама помню в войну, когда в церкви пекли хлеб. После войны в церкви работала кладовщиком — здесь было всё для лошадей: сбруи, хомуты, вилы — я всё отпускала. Потом был цемент — строили скотный двор и телятник».

На топонимической карте Зарайского района ещё много белых пятен. Кстати, некоторые из них были заполнены студентами. Нам удалось узнать названия всех частей Моногарова: Фурки (эта часть Моногарова примыкает к Даровому), Поповка, Хотянка и Костюрино. Очевидно, такое разделение восходит к XIX столетию, когда владельцами Моногарова были сразу несколько помещиков. Название «Хотянка» связано с расположением старого помещичьего дома Хотяинцевых, Поповка — район ныне заброшенного дома причта, Костюрино — часть села за моногаровской церковью, в сторону реки Кошейки. Название связано, очевидно, с фамилией помещицы Костюриной, когда-то владевшей частью имения и похороненной у моногаровской церкви. Многие названия сохранили легенды, которые до сих пор бытуют в Даровом — Моногарове — Черемошне. Левая часть урочища Глинище называется Толокой (очень ягодное место, поэтому там много народа толклось), в центре урочища Заказник есть Оболённый овраг (там много обвалившихся глыб, даже днём из оврага можно звёзды увидеть), по пути в Трегубово есть ложбина Грустынка (там даже в самый солнечный день сумрак и «странное сгущение воздуха»), речка Кошейка тоже названа неслучайно (вода «синяя-синяя, холодная, мёртвая, кошеева»), Миленин лес и Миленин пруд (с ними связаны страшные, мистические истории — там жили беглые каторжане, прятались дезертиры) — в этом лесу можно было заблудиться и долго плутать.

За основу мы взяли топонимическую карту, составленную В.И. Полянчевым. Две студенческие экспедиции позволили значительно дополнить её: кроме топонимов, названных выше, на карте появился также Минаев рукав (варианты — Иванов, Демьянов рукав) — лощина (овраг) между урочищем Лоск и прудом Головка. Место, где овраг раздваивался, называлось Минаевы Портки. Последний лес перед поворотом на Даровое имеет очень странное название — Букинские корьки.

Нами были нанесены на карту также куртинка Дубняшки и Шолохов лес, расположенные к востоку от Моногарова (часть Хотянка), Мельгуново поле, расположенное по пути из Черемошни в Назарьево; Первые Кусты — небольшая роща по краю оврага Прудиче, пруд Месинёвка.

Нами было установлено также, что одна и та же местность в разных населённых пунктах обозначается по-разному, расхождения в названиях



Встреча студентов с зарайским краеведом В.И. Полянчевым

встречаются даже в пределах одной местности. Так, Ячкин лес именуется в Черемошне Дячкиным и Дьячкиным лесом, урочище Бегичево чаще всего называется Беичево, одна и та же ложбина зовётся Иванов — Минаев — Демьянов Рукав. В Черемошне Черемошинская роща называется Володин березник.

Это далеко не все из топонимических находок, которые нам удалось собрать за время нашей экспедиции. Вообще, местные жители, и пожилые, и сравнительно молодые, убеждены, что живут они в очень необычном месте. «Места гиблые, мистические, жутко разбойные, — рассказывала нам одна из жительниц Дарового, — раньше мужики ходили на разбой с кистенём на большую дорогу». В Черемошне жителей Моногарова называли не иначе как моногаровские жулики.

Но больше всего легенд связано со смертью Михаила Андреевича Достоевского. Память народная избирательна: вот зацепится в сознании одного человека какая-то деталь — яркая, необычная... и пошло-поехало, сотни вариантов одного такого рассказа будут храниться, украшаться новыми деталями. И никакими фактами этих мифов уже не опровергнуть. Слушая местных жителей, мы часто вспоминали двух гоголевских героинь из «Ночи перед Рождеством», которые вели жаркий спор: повесился кузнец Вакула или утопился?

Можно ли сегодня отделить миф от реальности? Отец писателя, Михаил Андреевич Достоевский, бесспорно, человеком был весьма достойным: он происходил из старого дворянского рода, позже утратившего дворянство. «Он рано покинул отцовский дом, уехал в Москву и поступил, как значится в его “Послужном списке”, “казённым воспитанником” в Медико-хирургическую академию. Он вышел из академии студентом 4-ого курса в 1812 году. <...> Восемь лет военной службы были связаны

с госпиталями (Касимовским, в Бородинском пехотном полку), выездами на борьбу с эпидемиями; наконец, женившись в Москве на Марии Фёдоровне Нечаевой, поступил в московскую больницу для бедных, где прослужил почти до смерти шестнадцать лет»³. Служба Михаила Андреевича была отмечена наградами: «В 1825 г. получил орд. Св. Анны 3 ст. В 1829 г. орд. Св. Владимира 4 ст. В 1832 г. орд. Св. Анны 2 ст. В 1837 г. орд. Св. Станислава 3 ст.»⁴.

По официальной версии причина смерти отца писателя — апоплексический удар. Но есть и неофициальная: смерть насильственная, помещик был убит собственными крестьянами, — хотя удар у Михаила Андреевича был уже не первый.

Михаил Андреевич Достоевский умер в 1839 году, а ровно через сто лет, в 1939-м, выйдет книга В.С. Нечаевой «В семье и усадьбе Достоевских». Её автор записала рассказы крестьян, внуков тех крепостных М.А. Достоевского, которые были якобы причастны к этому страшному событию. Приведём один из них: «Черемошинские мужики задумали с ним (М.А. Достоевским. — Т.К.) кончить. Сговорились между собой — Ефимов, Михайлов, Исаев да Василий Никитин. <...> Петровками, о сю пору, навоз мужики возили. Солнце уже высоко стояло, барин спрашивает, все ли выехали на работу? Ему говорят, что из Черемошни четверо не поехало, сказались больными. “Вот я их вылечу” — велел дрожки заложить. А у него палка вот какая была. Приехал, а мужики уже стояли на улице. “Что не едете?” — “Мочи, — говорят, — нет”. Он их палкой, одного, другого. Они во двор, он за ними. Там Василий Никитин — здоровый, высокий такой был, его сзади за руку схватил, а другие стоят, испугались. Василий им крикнул: “Что же стоите? Зачем сговаривались?”. Мужики бросились, рот барину заткнули, да за нужное место, чтоб следов никаких не было. Потом вывезли, свалив в поле, на дороге из Черемошны в Даровое»⁵.

Вот таким и сохранился образ этого человека в народной памяти. «Плохой, жестокий, жуткий!» В Даровом, Черемошне и Моногарове вам расскажут самые разнообразные версии убийства М.А. Достоевского. Постоянным в них является лишь факт насильственной смерти — место, причины, способ, орудия убийства варьируются.

«Отец Достоевского был жестокий, крестьян бил. Держал, как говорят, на коротком поводке. За это и поплатился. Его повесили в лесу. Он девочек молодых обижал — за это его и наказали. За Черемошней в лесу его и повесили». Нина Терентьевна Чухнина слышала эту историю от своей бабушки — Марины Сергеевны Широковой, которая была экономкой у племянницы Достоевского Марии Александровны Ивановой.

«Барин был жестокий человек. Если крестьянин провинился — на конюшню пороть. Крестьяне ожесточились, сговорились между собой. Оставили в конюшне под крайней кормушкой навоз, а он следил за чистотой — старый барин! Как обычно, приходит на конюшню: “Что такое?” Подбегает старший конюх: “Не вижу!” Тогда барин нагнулся: “Вот, вот...” Старший конюх набросился на барина, начал душить, а барин был жилистый, никак старший конюх с ним не справится. Мужики же боятся подойти. Старший конюх кричит: “Если вы мне не поможете — я сейчас барина удушю и вас всех потом перебью”.

Ну, тут все набросились, барина убили, задушили. Барин посинел. Что делать? Посадили его в коляску, налили ему в рот вина (бабушка не знала: порозовели у него щёки или нет) и отвезли километра за два, на

Черемошинское поле, там и бросили. Старший конюх всем руководил», — эту историю мы слышали от Леонида Ерёмкина, чьё детство прошло в Даровом. Ему её рассказывала бабушка — Евдокия Алексеевна Копцова.

«Отец Достоевского был жестоким, поляк был, порол девушек, сожительствовавал. А крестьяне сговорились, одни из Дарового, другие из Черемошни. Ему в рот насильно влили спирт, горло заткнули и привезли в поле на перекрёсток. А попу сказали, что с барином случился удар. Родственники не стали затевать судебное дело, чтобы не позориться», — этот рассказ мы услышали от старшей жительницы Дарового Клавдии Петровны Романцовой.

Мария Михайловна Ксенофонтова тоже с детства слышала историю смерти барина: «Плохой, жестокий, жуткий! Его наши удавили, давношние, мы уж не помнили их. Они ему чего-то напихали в рот. Был он жестокий-прежестокий. Ловил, когда в лес ходили». Любопытно, но девушка Марии Михайловны Ксенофонтовой, Иван Васильевич Мелехов, в воспоминаниях, вошедших в книгу Нечаевой, рассказывает почти официальную версию смерти барина, которая отличается от рассказов остальных крестьян: «Барин ехал на дрожках по дороге из Дарового в Черемошну, с ним сделался удар, кучер его оставил в поле и поскакал за священником в Моногарово. Приехавшие следователи полмесяца жили в деревне, всех поодиночке опрашивали, детям конфет давали, но ничего подозрительного не нашли»⁶. Нечаева делала эти записи в 20-е годы XIX века, и мы видим, как в пределах одной семьи за неполный век изменилась память об этом уже легендарном событии. Конечно, в послереволюционное время версия об убийстве жестокого барина крестьянами воспринималась как ещё одно доказательство справедливого народного гнева, который кипел веками. И если до появления книги Нечаевой местные жители излагали и официальную, и неофициальную версии (об этом свидетельствуют их опубликованные показания), то после публикации воспоминаний крестьян версия насильственной смерти помещика Достоевского в среде местных жителей стала единственной. И чем моложе человек, рассказывающий эту легенду, тем больше в ней пикантных подробностей, взятых из современных ужастиков.

Получается, что современные легенды о смерти Достоевского имеют отчасти литературное происхождение. Очень уж убедительно объяснены в этой книге причины, по которым даже родным убиенного было невыгодно признать факт насильственной смерти: сошлют всех черемошинских мужиков на каторгу — хозяйство будет совсем разорено. Очевидно, факты такого сокрытия насильственной смерти часто встречались в российской действительности, ведь один из них приведён даже в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души», известной огромной силой художественной типизации. Так, описывая в 9-й главе 1-го тома бунт казённых крестьян Вшивой-спеси, Боровков и Задирайлова тож, автор рассказывает о насильственной смерти некоего Дробяжкина — «земской полиции», который, «имея кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок». А дальше у Гоголя, как в рассказах жителей Дарового и Черемошни: «...дело было тёмно, земскую полицию нашли на дороге... Дело ходило по судам и поступило наконец в палату, где было сначала... рассужено в таком смысле: так как неизвестно, кто из крестьян именно участвовал, а всех их много, Дробяжкин же человек мёртвый, стало быть ему немного в том проку, если бы даже он и выиграл дело, а мужики были ещё живы, стало быть, для них весьма важно решение в их пользу... а умер-

де он, возвращаясь в санях, от апоплексического удара». Вот вам готовое объяснение событий. И написано это спустя три года после смерти М.А. Достоевского, в 1842 году!

Почти все местные жители убеждены, что старый барин (так в Даровом и Моногарове и сейчас называют отца писателя) похоронен на старом Славянском кладбище, которое находится рядом с Поповой рощей. Там когда-то была часовня. Сейчас это окружённая полями роща, совершенно заросшая, дремучая, непролазная. В чащу её можно проникнуть какими-то звериными тропами. Кое-где видны вросшие в землю могильные плиты когда-то белого камня. До XX века это кладбище было Даровским с одной стороны, Комовским — с другой. «Там была деревянная церковь, вроде часовни. Мне об этом рассказывала бабушка Домна Григорьевна Чухнина, — говорит Клавдия Петровна Романцова, — отец Достоевского похоронен там, на старом кладбище». Этой же версии придерживается и зарайский краевед Владимир Иванович Поляничев: «Михаил Андреевич Достоевский, его дочь Вера Михайловна, его внебрачный сын и племянницы писателя похоронены на старом кладбище, которое действовало до 23-го года. Все старожилы были так убеждены. Место расположения часовни можно легко определить. У меня есть план, где отмечены все сохранившиеся могилы».

На новом Моногаровском кладбище, по свидетельству местных жителей, стали хоронить с 20-х годов XX века, и скорее всего там была похоронена последняя хозяйка Дарового — племянница писателя Мария Александровна Иванова, умершая в 1926 году.

Если память народная сохранила негативный облик отца писателя, то о племянницах Ф.М. Достоевского местные жители вспоминают с необыкновенной теплотой. Ольга Александровна Иванова несколько лет жила в Черемошне, где учительствовала. «Такая добрая женщина была, — вспоминает М.М. Ксенофонтова, когда-то посещавшая её занятия, — умница-преумница, таких мало, она всему учила нас. Была подстрижена под мальчика. Простые люди были. У нас школы не было, но тётя Аксюша пускала. Ольга Александровна всегда бедных выручала. У нас магазина не было, чернила и тетради покупали в Алферьеве, а бедным она сама обязательно покупала. Бывало, пойдём в лес, соберём орехи, продадим, а потом на эти деньги что-нибудь купим. У нас много бедных было. И маму нашу выручала, когда денег не было, и других: кому брюки купит, кому рубашку, кому что. Они с Юлией Александровной жили в доме у Гаврилы с Катериной. Наша мама была очень аккуратная, они у неё молоко покупали, маслице. И Марии Александровне мама носила творог, пирожком таким. И мы с ними ходили. Добрые люди были — обязательно накормят. А ещё у Марии Александровны был большой граммофон — нам включали послушать, у нас-то сроду такого не было. Добрые были племянницы. Потом, говорили, что Ольга Александровна уехала в Брянск к падчерице⁷, а Марья Александровна похоронена на старом кладбище рядом с Поповой рощей».

Клавдия Петровна Романцова водила нас на Ново-Моногаровское кладбище и показывала плиту, под которой, по её мнению, покоится прах племянницы великого писателя — Марии Александровны Ивановой, последней владелицы Дарового. «Простые они были — Мария Александровна и Ольга Александровна. Мама моя им пенсию из Зарайска носила, они всегда в дом приглашали, конфетами угощали. Они собирали по вечерам мужиков и учили их грамоте».

Нина Терентьевна Чухнина несколько лет назад подарила музею мебель, доставшуюся ей от матери, которая была крестницей Марии Александровны Ивановой: «Мама в 1925 году выходила замуж, и Мария Александровна дала ей приданое — сундук, гардероб, посуду, шкаф, этажерки. Мне мама приблизительно показывала, где на старом кладбище похоронены отец Достоевского, его внебрачный ребёнок. А Мария Александровна похоронена на новом Моногаровском кладбище, другие же сёстры здесь не похоронены». На вопрос, слышала ли она раньше, что отец Достоевского мог быть похоронен у моногаровской церкви, женщина решительно ответила: «Нет! И мама, и бабушка говорили, что он похоронен на старом кладбище. Даже разговора я такого не слышала. Когда я была маленькой девочкой, мы часто бегали к церкви, там было много надгробий, но про Достоевского мы не слышали».

Почему же так единодушно все местные жители в определении места захоронения отца Достоевского? Почему никто из них даже не обмолвился о возможном захоронении у моногаровской церкви?

А ведь храм Сошествия Святого Духа когда-то был окружён кладбищем, которое тоже было уничтожено, разграблено: могильные плиты использовались жителями Моногарова для хозяйственных нужд. Страшные следы этого кощунства остались до сих пор: в одном из сельских огородов валяется такое надгробие. Кстати, именно у моногаровской церкви мы сделали очень интересную находку, которая заставила нас несколько поининому взглянуть на место захоронения отца писателя — Михаила Андреевича Достоевского.

В «Воспоминаниях» А.М. Достоевского, брата писателя, сообщается, что тело отца «было предано земле в церковном погосте села Моногарова»⁸. На первый взгляд, кажется странным, что помещика села Дарового похоронили на земле соседнего, моногаровского, помещика Хотяинцева, отношения с которым складывались не всегда мирно. Первый директор Зарайского краеведческого музея И.П. Перлов, в 1925 году посетивший Даровое, лично встречавшийся с Марией Александровной Ивановой, племянницей Достоевского, сообщает, что Вера Михайловна Иванова, сестра Достоевского, похоронена «на деревенском кладбище сельца Дарового за “Фединой” рошей»⁹. Обычно члены одной семьи находили последний приют в одном месте, «ближе к милому пределу». Казалось бы, слова Андрея Михайловича Достоевского можно признать ошибочными, ведь писал он по воспоминаниям детства уже во взрослом возрасте.

Однако вернёмся к нашей находке: в овраге за церковью мы нашли прекрасно сохранившееся надгробие из чёрного мрамора с чёткой надписью: «Мельгунов Иван Николаевич (1845—1901)». В окрестностях Дарового, в сторону от Черемошни, есть местность, которую жители до сих пор называют Мельгуново поле. Оно расположено на пути из Черемошни в Назарьево. И вот из рассказа жительницы Черемошни Марии Михайловны Ксенофонтовой мы узнаём, что в Назарьеве жил «добрый барин» Мельгунов. Народная память, очевидно, совершенно произвольно сместила временные границы: женщина сравнивала «барина Достоевского» (отца писателя. — Т.К.) и «барина Мельгунова», жизни которых хронологически не могли совпасть, как «зверя» («плохой, жестокий, жуткий») и «доброго» («лучше не было Мельгунова»). О «доброем» барине Мельгунове нам рассказывали и жительницы деревни Назарьево Анна Варфоломеевна Воробьева и Анастасия Анисимовна Капитонова. От своих предков они слышали, что барин был хороший, платил работникам хорошо, школу зем-

скую построил. «Когда была революция, его дом сожгли, а самого барина не тронули». Здесь мы опять встретились с произвольным смещением целых пластов истории. Приведём продолжение этого рассказа: «Про Достоевского же говорили, что он был жестокий, грубый, и его мужики черемошинские убили. Лес такой есть — Беичево. Там в “голове” (это поляна такая в конце леса) его и убили. А Мельгунов потом уехал в Рязань, там работал в институте. И звали его Владимир Иванович». Бесспорно, речь здесь идёт уже о другом Мельгунове, сыне того, что покоится у моногаровской церкви.

История «барина Мельгунова», закрепившаяся в народном сознании, очень противоречива. Очевидно, она уже превратилась в своеобразную легенду, в силу своей драматической основы: от «доброе барина» Мельгунова удушилась в лесу молодая девушка Катя из деревни Дмитровка. «Мы боялись ходить в этот лес, там до сих пор есть дуб Кати-удавленницы, — вспоминает М.М. Ксенофонтова, — мне про этот дуб мама рассказывала, а она была с 1883 года». Нам пока не удалось проверить достоверность этой легенды, хотя бы приблизительно установить время её возникновения. Если она рождена событиями первой половины или середины XIX века, то ситуация «доброе барина и девочки-удавленницы», встречающаяся в романах Достоевского («Преступление и наказание», «Бесы»), может быть отголоском этих реальных событий.

Вообще, в повседневной жизни Дарового, Моногарова, Черемошни до сих пор встречаются какие-то обычаи, проявления чувств, которые, как нам показалось, хранят память времени детства Достоевского. Ещё одна наша находка не принадлежит к разряду материальных. В Черемошне и Моногарове мы обратили внимание на необычное, с точки зрения современного человека, оформление чувства умиления. Но тем, кто знаком с творчеством Достоевского, странным оно не покажется. Речь идёт о целовании руки. Как тут не вспомнить страницы «Идиота», «Братьев Карамазовых»? Но две пожилые женщины, явно никогда не читавшие Достоевского, совершили это абсолютно произвольно. Жительница Черемошни, растроганная прощанием со студентами, неожиданно сказала: «Дочка, дай я хоть ручку-то твою поцелую!» Спустя несколько дней, уже при совершенно других обстоятельствах (у нас было что-то вроде посиделок, когда студенты вместе со старожилками пели народные песни), другая пожилая женщина из Моногарова тоже в порыве умиления, но уже молча повторила то же самое. Конечно, мы не могли сразу же задавать женщинам какие-то вопросы, пытаться выяснить происхождение этих жестов, которые, может быть, уходят корнями очень глубоко.

Как отличить сказку от были? Мы часто задавались этим вопросом, потому что слышали от местных жителей много историй о чудесных кладах, таинственных захоронениях, мистических видениях. Иногда казалось, что фольклор творится на глазах наших: вот житель средних лет рассказывает нам о странном огне, который часто горит в Миленином лесу: всё вокруг горит, а потом вдруг исчезает этот загадочный огонь! А рядом сидят ребяташки, слушают эти рассказы и потом когда-нибудь повторят их, если зацепятся эти легенды в их памяти. А вот местный старожил объясняет нам происхождение названия реки Кощейки: «На дне её жил царь Кошей, и хранил он несметные богатства, клады». Местные жители убеждены, что деревня их очень древняя. Один из них рассказывал нам, что слышал от бабушки, как ещё до революции нашли в Даровом клад серебряных чешуйчатых монет: «Когда пахали, разбили кувшин, только гор-

льшко осталось, сам он разбился. Соседка ходила по огороду с решетом и собирала монеты». Ходила по деревням легенда, будто какого-то священника погребли с огромным золотым крестом. В Даровом нам рассказали, будто однажды на старом кладбище разрыли старую могилу, «видимо, этот крест искали». В Моногарове мы слышали про усыпальницу священников, которая была под самим храмом: «Одного священника там похоронили с большим золотым крестом...»

Конечно, среди этих рассказов мы встречали и откровенные домыслы: «Помню-помню, стояли надгробия у церкви и среди них огромный памятник, на котором написано — Достоевский!». А кто-то из местных жителей откровенно признавался, что раньше вообще про Достоевского ничего не слышал. Кто-то говорил с сожалением: «Если бы знали раньше, что Достоевский — великий писатель, обязательно бы расспросили бабушек и дедушек о прошлой жизни! Кто ж знал, что теперь все им заинтересуются!»

Это время пришло. Только нужно, чтобы идеей возрождения Дарового заинтересовались не только местные власти, чей бюджет ограничен. Восстановление родового имени Достоевского — дело общероссийское! Только когда же она, власть эта, поймёт, что должны мы «уважать минувшее» и этим уважением отличаться от вековой дикости?

Даровое — удивительное место... Чем-то притягивает эта земля, та мифо-поэтическая атмосфера, которая связана уже не только с несколькими годами пребывания на ней Фёдора Михайловича Достоевского, но и с той памятью, которая хранится уже почти два века. Может быть, поэтому некоторые студенты через год поехали работать в Даровое уже не «за практику», а «за идею». Думаю, каждый из студентов, поработавший в Даровом, не просто понял, а прочувствовал слова Достоевского, посвящённые его родным местам: «...ничего в жизни я так не люблю,



Фотография на память

как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ёжиками и белками, с его, столь любимым мною, сырым запахом перелетевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь»¹⁰.

Р.С. Летом 2005 года в Даровом проходили археологические работы, которые позволили собрать интересный материал об истории имения. В августе того же года около храма Сошествия Святого Духа в Моногарове был поставлен памятный крест и обозначено место предполагаемого захоронения отца великого писателя — Михаила Андреевича Достоевского. Профессор кафедры литературы Владимир Александрович Викторovich нашёл точное подтверждение в архивах брата писателя, Андрея Михайловича Достоевского, факта захоронения его отца на погосте моногаровской церкви. Может быть, с этого и начнётся новая страница жизни Дарового, его превращение в настоящий музей-заповедник, который, бесспорно, станет местом паломничества ценителей творчества Достоевского.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Полянчев В.И. Зарайская энциклопедия. М., 1995. С. 82.

² Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1877.

³ Пономарёва Г. Музей-квартира Ф.М. Достоевского в Москве. М., 2002. С. 61–62.

⁴ Там же. С. 62.

⁵ Нечаева В.С. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939. С. 53–54.

⁶ Там же. С. 52.

⁷ По свидетельству внучатой племянницы О.А. Ивановой, Веры Ивановны Михневич, Ольга Александровна переселилась в Коломну, где и умерла в 1941 году в возрасте 86 лет. См. об этом: Коган Г.Ф. Письма из Коломны // Литературные мелочи прошлого тысячелетия. Коломна, 2001. С. 140.

⁸ Цит. по: Нечаева В.С. В семье и усадьбе Достоевских. С. 60.

⁹ Перлов И.П. Сельцо Даровое в жизни и творчестве Достоевского // Евстафий. Альманах Зарайского исторического общества. № 2. Зарайск, 2003. С. 162.

¹⁰ Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876; Цит. по книге Нечаевой. С. 66.



Вера Алексеевна Торжкова родилась в 1939 г. в г. Зарайске. Педагог, художник. Окончила географический факультет Московского пединститута. Много лет работала учителем в школе № 1 г. Жуковского Московской области. Более тридцати лет вела факультативные занятия по истории театра, искусствоведению, эстетике.

Автор-составитель сборника «Неизвестный Палех» (1991).

Участник ряда городских (г. Жуковский), в том числе двух персональных, и областных выставок. Картины находятся в частных собраниях в России, Германии, Англии.

В течение нескольких лет вместе с мужем С.К. Бетяевым вела рубрику «Восхождение к Достоевскому» в зарайской газете «За новую жизнь».

С 1992 г. — организатор и бессменный президент Вольной академии духовной культуры (г. Жуковский).

Вера ТОРЖКОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ

К 500-ЛЕТИЮ РОДА ДОСТОЕВСКИХ,
185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Мы редко задумываемся о том, что своей жизнью участвуем в истории. Размышляя об этом, выдающийся русский литературовед и историк В.В. Кожин выдвинул тезис: «История семьи — история России».

Многие великие русские писатели сделали эту мысль одной из тем своего творчества («Моя родословная», «Езерский» А.Пушкина, «В горах Шотландии моей...» М.Лермонтова и др.). Им было что сказать о своих выдающихся предках.

Представляет интерес и история рода Ф.М. Достоевского. Хотя в этом роду не было таких крупных государственных и военных деятелей, как в роду А.С. Пушкина, но всё же история эта — пример служения Богу и Отечеству.

Основателем фамилии считается Данила Иванович Иртишев (по другим источникам — Иртиш, Ртищевич, Артищевич), который 6 октября 1506 года получил грамоту от пинского князя Фёдора Ивановича Ярославича на владение селом Достоевым (ныне — в Ивановском районе Брестской области Белоруссии, в селе установлен памятник Фёдору Михайловичу Достоевскому). Таким образом, потомки Данилы Иртищева отныне и навсегда становятся Достоевскими. Представитель четвёртого поколения Пётр Достоевский — маршал Пинского совета и член Главного трибунала Великого княжества Литовского. С XVII века отмечены лица духовного звания. В XVIII веке предки Фёдора Михайловича жили преимущественно

но на Украине, прадед и дед писателя были священниками в Братцлаве на Подолии.

Однако его отец Михаил Андреевич избрал другое поприще и в 1809 году без «денег и протекций» поступил в Московское отделение Медико-хирургической академии. Здесь, в Москве, где Михаил Андреевич остался на службе, и родился Фёдор Михайлович.

Биография великого писателя хорошо известна, а в этой статье пойдёт речь об одной из ветвей его рода, связанной со старинным городом Зарайском.

Как я пришла к Достоевскому

*Не потрясения и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламенённой чьей-нибудь.*

Б. Пастернак

Моя история приобщения к Достоевскому интересна и по-своему драматична. Началась она, к сожалению, с довольно-таки позднего пробуждения сознания: кто я, откуда. Почему трепетное изучение истории искусств и отечественной истории не вызывало интереса к изучению корней ранее, ещё при жизни участников описываемых событий?!

Получив доступ к архивным документам в 1989 году, я узнала, что мой отец, Алексей Михайлович Иванов, принадлежал к большому, известному роду купцов второй гильдии Ивановых. И самое главное — их имена давно занесены в картотеку городского музея «Зарайский кремль». В музее высказали предположение, что эти Ивановы имеют родственное отношение к семье Веры Михайловны Достоевской, родной сестры Фёдора Михайловича. Я легко настроилась на поиск материалов, подтверждающих это предположение. Впоследствии много дополнительных сведений предоставил зарайский краевед В.И. Полянчев. Они укрепили во мне уверенность в необходимости дальнейших поисков.

Живой интерес к этой теме проявила директор музея-квартиры Ф.М. Достоевского в Москве Галина Борисовна Пономарёва. Благодаря её участию состоялось знакомство с родственниками Достоевского: внучатой племянницей Лидией Алексеевной Ивановой-Спивак и её детьми Надеждой Натановной и Владимиром Натановичем. Они приняли меня у себя дома. Лидия Алексеевна оказалась интересной рассказчицей, знающей от своего отца много неизвестных подробностей о жизни Ф.М. Достоевского.

Знакомство с петербургским родственником Ф.М. Достоевского, Дмитрием Андреевичем, тоже по инициативе Галины Борисовны, состоялось в день открытия памятника писателю в Даровом.

В поисках связи купцов Ивановых с Достоевскими большей частью приходится апеллировать к *психоаналитической характеристике* рода Достоевских, данной автором первой истории рода М.В. Волоцким, и к легендам, оставшимся в моей памяти с раннего детства.

Размышляя о родственных и дружеских связях купцов Ивановых с купеческими фамилиями Рязани, Москвы, Петербурга, Пскова и других городов, я сделала вывод об их неизбежном знакомстве и деловых отношениях с рязанскими купцами Куманиными, родственниками Веры Михайловны по материнской линии.



*Нина Александровна Иванова,
племянница Ф.М. Достоевского*

с Зарайском, а имение Даровое находится совсем близко от него. В памяти остался разговор с отцом, которому я в своё время не придала значения, приняв слова отца за шутку. Отец по роду своей деятельности хорошо знал весь Зарайский район и очень гордился этим. Я упрекнула его в том, что он никогда не упоминал название Даровое. Он грустно усмехнулся и бросил шутку: «Когда я бывал пьян, лошади сами привозили меня в Даровое».

Сколько же раз он там бывал? И у кого?

Разве я могла тогда понять смысл его слов или хотя бы задуматься над ними! Конечно, нет. Отлучение было прочным и долгим.

Собирая материал об Ивановых, по рекомендации В.И. Полянцева я как-то забрела к зарайскому художнику М.М. Иванову. Его дом стоит рядом с заброшенным святым колодцем («Свинушки» или «Ендовище»). Михаил Михайлович вдруг сказал, что из этого колодца пил воду сам Фёдор Михайлович. Затеяв разговор о связях Ивановых с Достоевским, я узнала, что отец Михаила Михайловича каждое лето возил их с братом на сенокос в Даровое как в свою деревню.

Ещё один аргумент в пользу своей версии я обнаружила сравнительно недавно. Читая старые (1971 года) газеты «За новую жизнь», посвящённые 150-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, где опубликована статья В.И. Полянцева «Вслед за утраченным», я обнаружила строки,

В памяти с детства остались звучащие в нашей семье географические названия: Ранненбург и Житомир. Первое оказалось связанным с именем Нины Александровны, дочери Веры Михайловны. Сохранилось несколько её писем к сёстрам, в которых она описывает свой быт. Даты написания этих писем совпадают с учёбой моего отца в училище связи Ранненбурга. Позже я узнала, что и другие сёстры Нины Александровны бывали или намеревались побывать в Ранненбурге. Житомир, как я полагаю, является родиной моего прапрадеда Ивана (отчество мне неизвестно), оттуда он прибыл в Зарайск, а также родиной декабриста Ильи Ивановича, брата Лазаря Ивановича Иванова, моего прадеда.

Из книги Волоцкого ясно, что в семье Достоевских признавали родство с Ильёй Ивановичем Ивановым. Ему я посвятила специальную страницу в этой статье, основанную на исторических материалах о декабристах.

Будучи ещё студенткой и прочитав «Белые ночи» и «Преступление и наказание», я была потрясена тем, что имя Достоевского связано



*Святой колодец. Из этого колодца
пил воду Фёдор Михайлович
Достоевский*

му. «Это подарок женщины, — ответил отец, — которой давно уже нет».

У многих родственников Веры Михайловны Ивановой (Достоевской) была любовь к лошадям. Мои предки, «почталыоны», в совершенстве владели искусством управлять тройками лошадей. До революции отец ездил по городу на тройках, которыми, по свидетельству одной знакомой, умело и лихо управлял. А сам он рассказывал, что всегда откликался на просьбу огородников Голубкиных дать им лошадей для работы.

С раннего детства я запомнила нашу красавицу лошадь в дорогой сбруе, впряжённую в бричку на рессорах. За ней ухаживал мальчишка-цыган, любивший её по-родственному.

Два семейных предания

Ключевой личностью, проливающей свет на происхождение Александра Павловича Иванова, мужа сестры писателя, Веры Михайловны, и на интересующие меня связи с родом Ивановых-Достоевских, является его отец Павел Иванович Иванов. У достоевсковедов нет определённой версии о происхождении Павла Ивановича. Все они опираются на тот материал, который дан М.В. Волоцким. Рязанский архив, куда я обратилась с просьбой помочь установить что-либо определённое в отношении Павла Ивановича, ответить не смог. Из музея Достоевского в Старой Руссе прислали письмо, где сообщалось, что знают только то, что написано у Волоцкого.

Два семейных предания, бытовавших у Достоевских, затрагивают обе ветви объединённых родов купцов Ивановых города Зарайска. Поэтому я привожу их полностью из книги Волоцкого.

«Павел Иванович Иванов был побочный сын князя Голицына Д.В. и гувернантки его детей. Голицын очень заботился о своём сыне. Позднее Павел Иванович служил гвардейским офицером и женился на Софье

заставившие меня ещё раз вспомнить своего отца. Речь идёт об опознании предметов Зиновией Владимировной Корнеевой (тогда ей было 74 года), старожилом Дарового. Увидев пепельницу, которую ей показали, она сказала: «Таких раковин под пепельницу у Марии Александровны, племянницы Ф.М. Достоевского, было много, она была любительницей разных безделушек».

У меня сохранилась единственная вещь моего отца — пепельница из раковины. Она уцелела после всех бед в доме. Отец строго следил, чтобы пепельница стояла на определённом месте, и когда кто-то её переставлял, начинались шумные поиски: «Где? Кто взял?» Через некоторое время она вновь появлялась там, где ей положено было быть. Шли годы. Однажды я, взглянув на пепельницу, сказала, что помню её столько, сколько помню себя. В ответ на слова отца: «Я берегу её, как зеницу ока», — спросила, поче-

Волконской. В воспоминаниях М.В. Толстого (друга Александра Павловича) есть указание, что какой-то Д.В. Голицын помогал семье Иванова после самоубийства последнего. (По всей вероятности, это был уже не отец Павла Ивановича, а кто-либо из его родных, считавший своим долгом помочь семье Ивановых в тяжёлые для неё дни. — *В.Т.*) Я полагаю, что это был Лазарь Иванович. Павел Иванович оставил после себя дневник, который хранился у его старшего внука Александра Александровича и пропал после смерти последнего в Харькове. В конце дневника он писал, что денег не растрчивал, а его так подвели сослуживцы и товарищи, что он оказался в положении растратчика».

Второе предание — об Илье Ивановиче Иванове. Как утверждает Юрий Александрович Иванов — сын Александра Павловича, в их роду был декабрист Илья Иванович; о нём сохранились сведения в различных архивных материалах. «По должности он был провиантским чиновником 10-го класса. О происхождении его значит, что он был из “почтальонских детей”. Последнее обстоятельство, на первый взгляд, не вяжется с преданием в семье Ивановых об их предке Голицыне. Однако обе версии не противоречат одна другой, если почтальон в данном случае является отцом лишь номинальным, как легализатор побочной семьи Голицына».

Энергичный Илья Иванович, в начале 1825 года вступив в «Общество соединённых славян», быстро стал его секретарём. После подавления восстания на Сенатской площади следственная комиссия нашла в его бумагах стихи, содержащие «богопротивные и в трепет приводящие мысли». Илья Иванович отрицал авторство стихов, но был осуждён на ссылку и каторжные работы с последующим поселением. Николай I снизил срок каторги с пятнадцати лет до двенадцати, а затем срок сократили ещё на три года. Иванов прибыл на Нерчинские рудники в 1826 году, а в 1832 году «обращён на поселение» в село Верхне-Острожное Иркутского округа. В 1835 г. женился на крестьянской дочери Домне Мигалкиной, а через три года скоропостижно скончался. Его жене и дочери Ольге по манифесту 1856 года были предоставлены прежние права мужа на дворянское звание.

Мать Ильи Ивановича Елена, моя прапрабабушка, жила в своём домике в Житомире. Илья был младшим сыном, родившимся в 1800 году. Старший сын Павел Иванович родился в 1790 году. Князю Голицыну, вернувшемуся к тому времени из-за границы (см. первую легенду), было девятнадцать лет. Мой прадед Лазарь Иванович родился в 1796 году. Дата смерти прапрадеда неизвестна. В шестьдесят три года Елена была уже вдовой после второго брака с унтер-офицером Кармашуковым.

Павел Иванович окончил жизнь самоубийством в 1827 году, когда его старшему сыну, Александру Павловичу, исполнилось четырнадцать лет. У него был ещё младший брат. Кто их мать? Есть версия, что Софья Волконская. В преданиях об этом ничего не говорится.

Таким образом, дети Лазаря Ивановича Иванова, брата Павла Ивановича, являлись двоюродными братьями Александра Павловича.

Семья Веры Михайловны, сестры писателя

Вера Михайловна была любимой сестрой Фёдора Михайловича. Как вспоминает жена писателя Анна Григорьевна, «из всех своих родных Фёдор Михайлович особенно любил сестру Веру Михайловну и всю её семью».

Вера Михайловна Достоевская родилась в 1829 году. Её сестра-близнец Люба умерла в грудном возрасте. Вера Михайловна вышла замуж, когда ей было семнадцать лет, за статского советника Александра Павловича Иванова, последовав совету своих влиятельных родственников, богатых купцов Куманиных. Александр Павлович был старше жены на шестнадцать лет. До свадьбы Вера Михайловна виделась с ним только три раза. Однако впоследствии Достоевская очень полюбила своего мужа, и супруги прожили счастливую жизнь. Фёдор Михайлович в письме к сестре признавался: «Кто же милее и дороже мне (да и Анне Григорьевне, кроме своих) — как не вы и ваше семейство? <...> Теперь на детей твоих смотреть — душа радуется. У вас резво, крикливо, шумно — правда; но на всём лежит печать тесной, хорошей, доброй, согласной семьи». Семейство Захлебниных в повести «Вечный муж» — это семья свояченицы Фёдора Михайловича.

Вера Михайловна приобрела имение Даровое (500 десятин земли и 100 душ крепостных крестьян) за 25 тысяч рублей, доставшихся ей в приданое от Куманиных.

По свидетельству её племянницы Любы, Вера Михайловна «была наименее интеллигентной из всей семьи». Однако её зять Д.Д. Хмыров отмечал, что «она была очень добродушная старуха».

Про Александра Павловича Иванова Достоевский писал: «У этого человека долг и убеждение — были во всём прежде всего...» А вот как характеризует его М.В. Волоцкой: «В отличие

от М.А. Достоевского (отца писателя), А.П. Иванов оставил среди крестьян Дарового самую хорошую память. С тёплым чувством и очень охотно говорят они о на редкость добром и отзывчивом на всякое горе и нужду Александре Павловиче. Из многочисленных эпизодов, иллюстрирующих сердечность Александра Павловича, которые до сих пор живут в памяти старожилов Дарового, приведём хотя бы следующий: Александр Павлович не позволял садовому сторожу грубо обращаться с деревенскими детьми, которые забегали в плодовый сад за яблоками.

— Ты не лови и не пугай их, — учил он сторожа, — а коли увидишь, что ребята забрались в сад, то только иди и потихоньку покашливай, чтоб они тебя издали слышали и слезли с яблонь, а то, если будешь пугать, кто — второпях да с испугу может свалиться с дерева, да ещё в пруд упадёт».

Александр Павлович работал врачом при Константиновском межевом институте, а также преподавал физику и естественную историю в различных учебных заве-



*Софья Александровна Иванова-Хмырова,
племянница Ф.М. Достоевского*

дениях Москвы. Он умер в расцвете сил во время операции от сепсиса. Ученики несли его гроб несколько вёрст на руках до самой могилы.

В основу воспитания своих детей Ивановы положили принцип свободы. В письме к дочери Нине Вера Михайловна писала: «Вряд ли найдётся семья такая, как наша, где так вольно живётся детям. Мы всё, что хотели, то и думали».

Ивановы окончательно поселились в Даровом в 1850-х годах, выплатив другим наследникам причитающиеся доли. Вера Михайловна жила там с детьми до самой смерти в 1896 году. В последние годы жизни её материальное положение было ужасно. Об этом говорят следующие строчки из письма к дочери Юлии: «Я теперь шью по заказу в лавку штаны по 6 коп. за пару и шью по 4 пары». После смерти Веры Михайловны Даровое и Черемошню поделили между собой её дочери, причём Мария, Юлия и Ольга жили там и после революции 1917 года.

Вера Михайловна родила 13 детей. Наиболее известна Софья Александровна Хмырова (Иванова), горячо любимая Фёдором Михайловичем; ей он посвятил роман «Идиот». Другом, сестрой, «дитём моего сердца» называл он Соню. Из заграницы звал её в гости, предлагая «жить одной семьёй». Достоевский полагал, что Софья унаследовала его литературный талант.

После смерти отца Софья Александровна помогала содержать семью и позаботилась о том, чтобы дать братьям и сёстрам законченное образование. Она переводила с английского романы Диккенса, зарабатывая в лучшие времена до двухсот рублей в месяц. Переписка с Фёдором Михайловичем оборвалась вскоре после замужества Софьи. Письма Достоевского к Софье потомки Ивановых сожгли, как порочащие(?) их род. О судьбе писем Софьи к Достоевскому я прочитала в статье Г.В. Коган в пятом выпуске «Коломенского альманаха». Полагаю, что всё-таки письма могут находиться в фондах музея «Зарайский кремль» и ждут обнаружения.

У многих Ивановых проявлялись большие способности к музыке. В «Зарайскую энциклопедию» вошло имя Марии Александровны Ивановой, племянницы Достоевского, любимой ученицы Николая Рубинштейна, директора Московской консерватории, доставлявшей Ф.М. Достоевскому большое удовольствие своей прекрасной игрой. В одном они расходились: Мария Александровна была поклонницей Шопена, между тем как Фёдор Михайлович не особенно жаловал музыку польского композитора, называя её «чахоточной».

Портрет Марии Александровны в старости даёт её сестра Ольга. «М.А. больна ногами, ходит с палкою, на седых волосах её наколка, и от складок старомодного платья пахнет уходящим временем, уходящими людьми, уходящим бытом. Вся жизнь её — здесь, среди этих чистенько прибранных, завешанных рыжими старыми портретами комнат, среди фруктового сада и раскидистых лип. Охрипшая болонка трётся у подола её широчайшей юбки. Сложив на столе жёлтые, со вспухшими венами руки, она говорит о том, что домик приходит в ветхость, что никто не помнит о Достоевском, что в Черемошне нет даже школы имени его».

Судя по нескольким данным из семейной переписки, Марии Александровне, по крайней мере в пожилом возрасте, были свойственны такие черты характера, как неуживчивость, недоверчивость и эгоизм (по архиву О.А. Ивановой).

Ольга Александровна, преподавательница французского языка, хорошо помнила Ф.М. Достоевского. Она всегда боялась его падучей болезни, которая ей почему-то представлялась в виде гонящегося за ней белого привидения. В гимназии учение давалось ей очень легко. Она особенно любила математику, сама придумывала задачи. Умела и любила вышивать. Вот что пишет Мария Александровна о сестре Ольге: «На днях нашла Олин рису-

нок: море, скалы и чайки. Повесила на стену. Очень общительная и веселая. Любит свою педагогическую работу. Бессребреник. Всегда очень любила детей и страстно хотела иметь своего ребёнка. В её комнате ещё задолго до того, как она взяла приёмную дочь, уже красовалась чисто и красиво убранная пустая колыбелька. Обожала свою приёмную дочь Катю, хорошую девочку, впоследствии окончившую гимназию с золотой медалью».

Мария Александровна в письме к сестре Оле пишет о третьей сестре, Юлии: «Оля... о Юле не горюй сильно. Жаль, что мы её больше не увидим, она же только и мечтала, чтобы скорее умереть, ей такая жизнь была невыносима (всю молодость она прожила в деревне, занимаясь хозяйством в семейном имении Ивановых). Она говорила, что признаёт только такую жизнь, как когда вы жили в Брянске: дом полная чаша, хорошая прислуга, Вера. Бывало, как ни придёшь, всё мечтает о смерти».

Я привела характеристики дочерей Александра Павловича и Веры Михайловны, живших в Даровом: Марии, Ольги и Юлии. Но хочется ещё протянуть ниточку к их современным потомкам через сына, Алексея Александровича Иванова. Он учился в Рославльском техническом училище, служил на постройках железных дорог и Батумского порта. Главными чертами его характера были необыкновенная выдержанность и какая-то чрезмерная любовь к семье. Он был общителен, добродушен, весел, любил общество, был знаком с множеством людей. Обладая хорошей музыкальной памятью, сам научился играть на скрипке; хорошо рисовал карандашом и масляными красками, копируя Айвазовского, а в последние годы рисовал крымские виды.

Его страстью были цветы. Когда жили в Житомире, у него была своя оранжерея, и он всё свободное время отдавал ей. Всегда мечтал жить в маленьком провинциальном тихом городке или в имении и заниматься сельским хозяйством.

Я уже упоминала о встрече с его дочерью Лидией Алексеевной. К свиданию с ней я тщательно подготовилась: изучила посвящённые ей семь страниц из упомянутой выше книги Волоцкого, сварила баночку варенья из почти диких яблок, собственноручно сорванных в бывшем фруктовом саду Достоевских (Даровое), составила свою родословную, чтобы попытаться выявить наших общих предков.

Встреча получилась незабываемой. В семье Лидии Алексеевны (у неё двое детей: Надежда и Владимир) чтут память великого предка, они сотрудничают с Московским музеем Достоевского. Хозяйка дома всерьёз и, как мне показалось, одобрительно отнеслась к моей работе над изучением истории семьи Ивановых.



*Мария Александровна Иванова
с гостями в Даровом*

Зарайская земля не только рождала таланты, но и создавала условия для трагедийных событий, художественно поданных Ф.М. Достоевским в его произведениях. В памяти сохранились лица и типы, похожие на героев писателя. Может быть, старцы, тайно приходившие к моему отцу, один из которых исцелил мою мать от тяжёлой болезни, были близки Алёше Карамазову? А отец и братья Карамазовы — зарайские типы?

В письме матери Родиона Раскольникова к сыну Достоевский не описывает среду, а создаёт дух жизни малого города, где истина кроется под гипертрофированным слоем лжи. Желание любой ценой вырваться из этой среды, даже пренебрегая чувством стыда и собственного достоинства, есть у многих, но удаётся это лишь таким, как Свидригайлов, Дуня с матерью, да и сам Родион Раскольников. Герои Достоевского — живые люди.

Род купцов Ивановых в истории и культуре Зарайска

*Есть горечь нежная: в безмолвии ночном
Внимать медлительным шагам воспоминаний.*
Ш. Бодлер

Незримые нити связывают нас с прошлым. Я помню, в детстве любила листать старые тяжёлые альбомы с портретами предков, в большинстве своём — женщин, любовалась их необыкновенной одеждой и красотой, примеряя себя к их лицам, гадала, на какую из них похожа. Не находя собственного ответа, спрашивала родителей, кто это. Молчание и страх в их глазах были непонятным для меня ответом. Родители стали прятать от меня альбомы, а в начале войны они совсем исчезли. Случившийся в 1943 году пожар унёс фотографии, висевшие на стенах дома, и ещё многие красивые старинные вещи. Кое-как восстановленное жильё стало таким, как у всех в те тяжёлые военные времена.

До XVIII века в Писцовых книгах Зарайска фамилии Ивановых нет (только один раз упомянут Иванов-дьячок). Анализируя пристрастия предков к определённым профессиям, роду занятий и некоторым увлечениям, упоминаниям географических объектов, можно сделать вывод о пришлое происхождении предков.

Объединились два рода Ивановых: мой дед Михаил Лазаревич Иванов женился на моей бабушке Клавдии Григорьевне, тоже Ивановой. Соединились умные коммерсанты и предприниматели (дедова линия) с художественно одарёнными романтиками. «Почтари» или «почтальоны», как их называли, имели почтовые станции на территории России. За счёт этого накопился первоначальный капитал. Винное и текстильное производство сделало их купцами 2-й гильдии. Предполагаю, что сфера их деятельности была широкой и разнообразной. Оба рода почитали образование и культуру, чему способствовали ум, музыкальность (у многих был абсолютный слух), чувство прекрасного, способность рисовать. Об этом говорят многие факты, прослеживающиеся в нескольких поколениях Ивановых: одни пели и, не зная нотной грамоты, играли на музыкальных инструментах, другие учились в консерватории. Почти каждый хорошо рисовал.

В нашей семье долго хранился рисунок отца: несущаяся тройка лошадей, а в розвальнях — красивая пара. С раннего детства в памяти осталась мелодия, которая звучала, если отец был в хорошем настроении. Он надувал щёки, создавая впечатление игры на трубе. Так впервые я услышала

«Прощание славянки» Агапкина и «Полонез» Огинского. «Где ты научил-ся так играть?» — спросила я. «В реальном училище у нас был духовой оркестр. А в войсках связи я был ещё и первым трубачом», — похвастался отец. Нередко разные мелодии выстукивал он пальцами по столу. Это уже была тоска по «морзянке», которой он овладел в совершенстве в училище связи. Абсолютный слух помог ему надолго сохранить этот навык.

В доме, где я родилась, часто звучала и другая музыка: граммофонные записи голосов В.Собинова и А.Вяльцевой я никогда ни у кого больше не слышала.

Большинство из Ивановых получило профессиональное или художественное образование. По моему мнению, не случайно, что реальное училище открывалось в доме Ивановых; не случайно, что в новом, построенном специально для учебного заведения здании до сих пор красуется лестница каслинского уральского литья¹, в наше время покрашенная коричневой половой краской.

Некоторые из Ивановых имели дома в Москве. А в Зарайске Ивановы строились в самом центре города, Лазарь Иванович возвёл особняк на Павловской улице (сейчас это улица Карла Маркса, дом № 42), рядом (№ 40) — дом его сына Ивана Лазаревича. Напротив этих домов, между «присутственными местами» и типографией, стоял двухэтажный особняк Петра Лазаревича. Мой отец родился в доме Михаила Лазаревича на углу Натальинской улицы (сейчас там сквер и памятник Пожарскому). В доме моего второго прадеда Григория Ивановича (улица Советская, № 17) в советское время располагался нарсуд, потом — налоговая инспекция, сейчас — управление образованием. Эти дома-особняки выделялись архитектурой среди других купеческих построек города.

Так или иначе связаны с Ивановыми некоторые, оставшиеся в Зарайске памятники гражданской, церковной и художественной культуры. Помещение детской музыкальной школы (по официальным документам принадлежащее купцу Л.И. Иванову) — постройка начала XIX века, образец провинциального классицизма, имитирующий губернскую архитектуру. Расположение внутренних помещений (ныне основательно перестроенных) говорит не только об их бытовом назначении, но и об определённом образе жизни его хозяев. По рассказу Г.П. Тулушевой, родственницы Ивановых, внутри помещения находились парадная лестница, большая зала для приёмов, гостевые комнаты, так называемый «рояльный апартамент» и кабинет хозяина с мебелью, достойной её владельца. Письменный стол под зелёным сукном прекрасной работы находится в Зарайском историко-художественном музее, долгое время в исполкоме городского Совета стояли шкаф и конторка, выполненные в том же стиле. Стены кабинета были украшены портретами вельмож и зарайских купцов-родственников — так было принято в то время.

Архитектурная ценность дома Григория Ивановича Иванова также выходит за рамки принятых стандартов купеческих построек того времени (каменный низ, деревянный верх). Изысканность пропорций, форма каменной кладки оконных проёмов, обрамляющие узкие балкончики металлические решётки, по-видимому, каслинского литья, слабо заметные барельефные украшения были гармонично связаны с общим обликом сооружения. Это был особняк, предназначенный для постоянного активно-

¹ Такое же художественное литьё украшало балконы дома моего прадеда Григория Ивановича. На бывшем винном магазине Ивановых до сих пор сохранилась литая химерка «пьяного веселья».

го участия в бушевавшей вокруг жизни. Дом объединял две улицы: Рязанскую и Благовещенскую, поэтому форма обоих фасадов абсолютно тождественна. Весь второй этаж представлял собой большое помещение с выходом на балкончики как с одного, так и с другого фасада. Третья, западная, сторона, с которой устроен парадный вход, состоит из двух объёмов, соединённых общей кровлей. Четвёртая, северная сторона скрыта от обозрения. К ней примыкает каретный сарай.

Следующее поколение Ивановых — это уже не купцы 2-й гильдии, а в большинстве своём инженеры-технологи, врачи, учителя; были среди них потомственные почётные граждане города; некоторые совсем отходили от сословия купцов, принимая новый статус предпринимателя капиталистического толка.

Дома купеческих детей на Спасской стороне были беднее и проще. Мне известны только два из них: дом Алексея Григорьевича (деда Г.П. Тулушевой) на Пожарской улице и дом художника М.М. Иванова у «святого колодца».

В конце 1980-х годов, прогуливаясь с моей племянницей, архитектором Еленой Григорьевой, возле Ильинской церкви и рассматривая архитектуру храма, обнаружили несовпадение стилей самой церкви и её колокольни. Храм явно соответствовал стилю классицизма (XIX век), а *шатровая* колокольня — псевдорусскому стилю (XVII век). Как выяснилось, современная Ильинская церковь была построена на месте сгоревшей деревянной *дониконовской*, по всей вероятности, шатровой.

Прихожанами храма были многие из купцов Ивановых. Купец 2-й гильдии Павел Михайлович Иванов, на средства которого реставрирована колокольня церкви Ильи Пророка, был удостоен звания «Почётный гражданин города Зарайска». Это был племянник моего прадеда Григория. В этом храме до того, как его закрыли, успели окрестить и меня. На то была Божья Воля.

Настенная роспись, резные позолоченные иконостасы, старинные иконы художественного письма, одеяния священников и церковная утварь — это те ценности, которые вмещает в себя культура православной России.



Дом Лазаря Ивановича Иванова



Дом Григория Ивановича Иванова

В древнем Зарайске всё это было. Осталось немного, и среди этого малого — иконопись палехской школы, украшающая Благовещенскую церковь. Икона «Спас Вседержитель» подписана автором в 1796 году² (в год рождения моего прадеда Лазаря Ивановича) и дарована Благовещенской церкви одним из Ивановых.

Издавна известно, что если человек слеп, то естественную картину мира он узнаёт посредством гиперболизированного слуха, где звучит всё, включая цвет. А если, наоборот, человек глух и, как следствие, нем, зрение открывает ему такие цветовые нюансы, которые обычный глаз не фиксирует. К этому следует добавить обострённое осязание и обоняние, и путь к восприятию общего потока жизни становится шире. В роду Ивановых есть феномен использования патологии глухонемоты в профессиональном художественном творчестве, являющийся примером одарённости и талантливости личности. Имя брата моей бабушки Алексея Григорьевича Иванова, признанного лучшим «золотых дел мастером», часто встречается в зарайских архивах Ильинской, Вознесенской, Спасо-Преображенской и Благовещенской церквей. Я полагаю, что такую популярность создали его профессиональные качества. Чтобы овладеть редким и сложным ремеслом ювелира, нужна была учёба, концентрация силы воли, труда, знаний и таланта. Несомненно, что в становлении мастера сыграла свою роль материальная и моральная помощь родственников, особенно купцов Ивана Григорьевича и Григория Григорьевича Ивановых.

Тридцатилетний Алексей Григорьевич, овладевший сложным художественным ремеслом и тем самым обеспечивший себе материальную независимость, женился на красивой 18-летней девице Евдокии Васильевне Успенской, дочери диакона Вознесенской церкви Василия Васильевича Успенского, о чём есть запись в церковной книге Ильинского храма от 13 февраля 1891 года. «...Жить значит сделать художественное произведение из самого себя» —

² В XIX веке палехские иконы из-за массового выпуска в России уже не подписывались авторами, так как писались артелями.

эти слова Ф.М. Достоевского больше всего подходят к Алексею Григорьевичу, который является родным братом моей бабушки Клавдии Григорьевны.

Ивановы создавали богатство Российского государства в его малом очажке — Зарайске, имея возможность выхода на просторы страны вплоть до Урала и Петербурга, Варшавы и Крыма, не говоря уже о Москве, Рязани и Житомире. В мирное время они приносили красоту и уют, строя прекрасные дома. В военное — участвовали во многих сражениях: прадед по материнской линии — участник Балканской кампании 1877—1879 годов, был в рядах знаменитого 140-го Зарайского полка; близкие родственники моего отца защищали Севастополь в середине XIX века.

Так хочется унаследовать от предков подлинное благородство, которое отличало их жизнь в благополучии и достатке, и то истинное христианское смирение, с каким переносили они все выпадавшие на их долю тяготы и невзгоды.

Мой отец и его семья

*Всё было, было, было...
Свершился дней круговорот.
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернёт.*

А.Блок

Мой отец, Алексей Михайлович Иванов, почтовый чиновник по семейной традиции, доставшейся ему от многочисленных родственников, любивших почтовые станции и ямщицкую удадь, родился в семье зарайских купцов 2-й гильдии в 1887 году. Он был предпоследним ребёнком из

299



В доме Ивана Лазаревича 2 октября 1873 года было открыто реальное училище

девяти братьев и сестёр и рано остался без родителей. Его отец, Михаил Лазаревич, умер в 1891 году, а мать, Клавдия Григорьевна, — годом позже. Осиротевшим Алексея назвать было нельзя, ибо его дальнейшим воспитанием стала заниматься сестра Александра (его крёстная мать) и её муж, помещик села Клишино Алексей Иванович Галкин. Разница в возрасте отца и сестры составляла 17 лет. И пятилетний Алексей рос вместе со своим трёхлетним племянником Володей Галкиным. Имение Клишино стало родным домом и для других детей Ивановых.

Первоначальное образование отец получил в этой семье; для воспитания детей Галкины приглашали учителей из Зарайска и Озёр. Когда пришло время поступать в реальное училище, отец переехал в дом дяди Петра Лазаревича, своего крёстного отца, который оказал самое большое влияние на его духовное и интеллектуальное развитие.

Пётр Лазаревич, человек купеческого звания и сословия, хорошо понимал значение образования для ведения торговых и предпринимательских дел. Имея способности к математике, он окончил коммерческое училище в Москве, чему очень способствовал его отец. Капиталистическая жилка у Петра Лазаревича проявилась в 1880–1890-е годы, когда он начал скупать земли в Зарайске по Пушкарской и Стрелецкой слободам. Из архивных документов известно, что в 1881 году был оплачен крестьянский оброк в 365 рублей. О его личной жизни мало что известно. Но в Рязанском областном архиве и церковных книгах есть сведения о его сыновьях. Они были младшими офицерами: Иван Петрович — корнет драгунского военного Ордена Его Величества Вильгельма I полка, Сергей Петрович — корнет французского полка. Запасный вольноопределяющийся 3-го гренадёрского Прусского короля Фридриха Вильгельма II полка Николай Петрович впоследствии стал

основным компаньоном своего отца по коммерческой деятельности, а после его смерти продолжил дело вместе с моим отцом, скупая леса зарайских селений Алтухово и Мельгуново. Одновременно он управлял имением своей сестры, создавал там прекрасные сады, фрукты из которых вывозились в Москву на продажу. Вынашивались планы строительства перерабатывающих предприятий в Клишине, а также деревообработки на закупленных лесных участках.

Но пришла революция 1917 года. Пришлось спасать свою жизнь бегством в Москву и в другие города, где их никто не знал.

В 1918 году мой отец женился и, купив маленький домик в Зарайске, стал работать по своей основной профессии связиста. Нужно сказать, что он был одним из немногих дипломированных специалистов в этой области. В конце 1920-х и начале 1930-х годов отец



Алексей Михайлович (справа) и Фёдор Михайлович Ивановы. 1910-е годы

работал начальником Зарайской почтовой конторы. Этой должности он лишился по причине «непринадлежности к коммунистической партии».

«Колесо революции» прокатилось по жизни многих родственников, лишив их возможности заниматься любимым делом, разлучив семьи. Одни, спешно покинув Зарайск, перебрались в Москву, другие, бросив всё, оказались ещё дальше — за рубежом.

Как выжили мои родители? Девизом всей их жизни стал девиз: «Молчать!» Не встречаться с переехавшими в Москву родственниками, не писать письма. «Не погуби детей!» — умоляла отца мама, когда тот начинал что-то вспоминать, а чаще — ругать существующие порядки.

Я помню, как до войны в наш дом на ночлег заходили, каждый раз по одному, беглые нищие, в рубищах, с необыкновенно выразительными лицами, седые и бородатые. Они всегда стремились коснуться меня, погладить по голове со словами: «Ангел, ангелочек». На рассвете они исцезали с наполненными хлебом и овощами котомками. После этого отец долго лежал, нервно покашливая, о чём-то думал и ни с кем не разговаривал. От одной такой встречи в памяти осталась фамилия, произнесённая отцом, — Новиков. Только недавно, открывая историю предков, я ещё раз встретилась с этой фамилией. Оказалось, что под Рязанью было село Новиково, и владели им помещики Новиковы, бывшие в родстве с зарайскими купцами Ивановыми. В метрической книге Благовещенской церкви имеется запись от 1 ноября 1906 года: «Сын зарайского купца II гильдии Сергей Михайлович Новиков и дочь купеческого сына Клавдия Григорьевна Иванова вступили в законный брак».

Купцы обычно не впускали в свою среду людей низших сословий. Так и в семье Ивановых крёстными отцами, посажёными родителями на свадьбах становились или родственники, или люди известных в Зарайске и Рязани купеческих династий: Ланины, Бахрушины, Антоновы, Силантьевы, Силины, Бунины, Сосновские. Например, 30 июня 1885 года в Вознесенской церкви Зарайска обвенчались «зарайский мещанин Сергей Петрович Шолохов и дочь купеческого сына Фёдора Петровича Иванова — Екатерина Фёдоровна».

Родственником Ивановых был и военный начальник Зарайска А.А. Марин. Его племянница была замужем за одним из купцов Ивановых. А сам Марин был крёстным отцом своей внучатой племянницы, на крестины которой приезжал старший сын А.С. Пушкина, Александр Александрович, приятель Марина. Среди портретов купцов, хранящихся в зарайском краеведческом музее, есть портреты четы Тепициных, тоже близких родственников Ивановых.

Много интересного о родственных и дружественных связях можно узнать из пожелтевших страниц церковных книг. Иногда они дарят интересные открытия.

Михаила, старшего брата отца и старшего мужчину в семье, в 1877 году крестили Иона Александрович Скавронский и его жена Любовь Григорьевна, родная сестра моей бабушки. После смерти в 1892 году его матери крёстные забрали пятнадцатилетнего Михаила в Москву, где брат Ионы Александровича имел своё дело, и определили на службу. Шли годы. У Михаила явно развивались коммерческие способности и росло богатство. Связь с Зарайском не прерывалась, а наоборот, шло укрепление деловых отношений. Но грянул 1914 год — Первая мировая война. Из Литвы в Москву приезжает семнадцатилетняя племянница Ионы. В нашей родне её звали «беженка» и «католичка». А через два года крестник Скавронских и племянница обвенчались: она осталась католичкой, а он — православным. Договорились, что их дети унаследуют религии родителей: дочь —



*Фёдор Михайлович Иванов (1890–1918).
Зверски убит у «Чугунного моста» при
возвращении с войны*

др.), почётные граждане Санкт-Петербурга. Фамилии Карповские, Богословские, Гофман, Нейле расширяют географию этих связей.

Размышления и вопросы

Не стыдиться своего лица, даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства.

Ф.М. Достоевский

Чувство рода появилось во мне недавно, и теперь мне приятно сознавать, что я являюсь частицей знаменитых в Зарайске купеческих династий. Я горжусь своими предками — они творили историю моего родного города.

В семейных преданиях много вопросов и хронологических загадок. После Октябрьской революции 1917 г. некоторые родственники были репрессированы, оставшиеся в Зарайске тоже ничего не говорили своим детям. В силу этого мои воспоминания обрываются на третьем колене родословной лестницы.

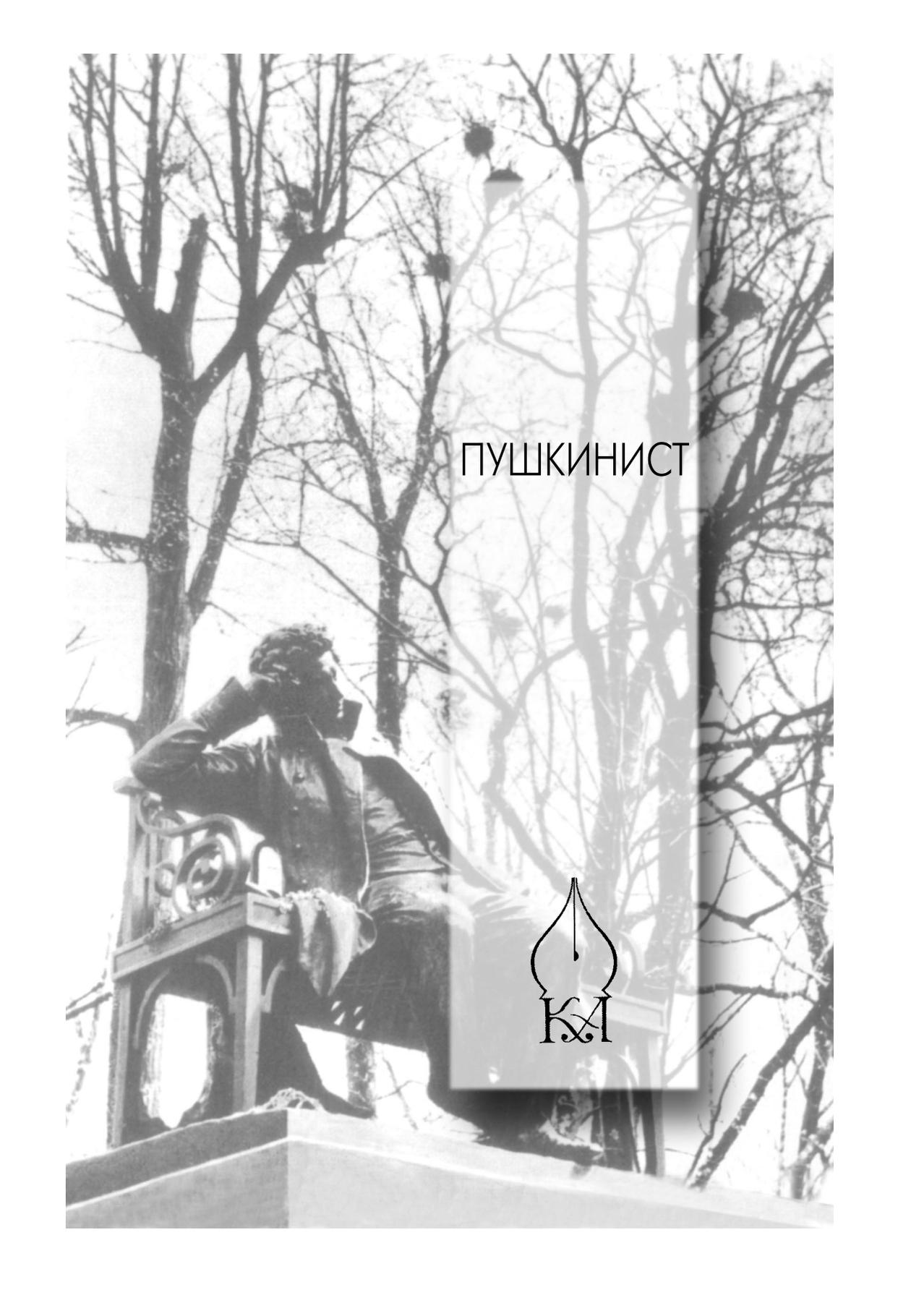
Тайн и легенд осталось немало. И история Зарайска немислима без истории купеческого рода Ивановых.

Выражаю искреннюю благодарность В.И. Полянчеву и его дочери О.В. Полянчевой за ценные советы и пристальное внимание к моей работе, А.Ф. Еманову, директору ЦБС города Жуковского, за бесценный подарок — ксерокопию книги М.В. Волоцкого. Весьма признательна работникам архивного отдела администрации г. Зарайска: Т.Г. Орловой, О.А. Беляевой и О.А. Кулешовой.

материнскую, сын — отца. Так и случилось. Но какая фамилия внедрилась в родословную Ивановых! Жена Петра Великого была литовской крестьянкой Мартой Скавронской.

Имена купцов Ивановых в церковных книгах встречаются часто и повторяются как по линии прадеда Лазаря, так и по линии прадеда Григория. Это Михаилы, Петры, Павлы, Григории, Иваны, Елены, Клавдии, Софьи, Серафимы и др. Я рада, что мне удалось хоть как-то разобраться, кто есть кто.

И ещё. В родстве с Ивановыми, кроме известных в Зарайске купцов, состояли купцы 1-й гильдии Санкт-Петербурга (Иванов), посада Сольцы Псковской губернии (Богословский), Нижнего Тагила (Иванов). В их круг входили титулярные советники, военачальники (уже упомянутый полковник А.А. Марин и



ПУШКИНИСТ







Александр Александрович Сахаров — автор ряда статей об А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, по истории России, опубликованных в журналах «Москва», «Московский журнал», «Сура», научных сборниках. Участник российских и международных пушкинских и лермонтовских конференций, Багратионовских чтений. Член Союза писателей России и Межрегионального объединения «Лермонтовское общество».



Надежда Владимировна Сухова опубликовала ряд материалов по истории России в научных сборниках Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина «Большие Вязёмы — Захарово», печаталась в «Московском журнале». Постоянный участник Багратионовских чтений на Бородинском поле и Голицынских чтений в ГИЛМЗ А.С. Пушкина. Член историко-патриотического объединения «Багратион». Награждена почётными юбилейными знаками Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.

Александр САХАРОВ,
Надежда СУХОВА

ГЕНИЙ ЗЛА... ИЛИ БЛАГА?

А.С. ПУШКИН И А.А. АРАКЧЕЕВ

Как велика власть стереотипов! Они захватывают нас в плен, мешают пристальнее взглянуть на то или иное событие, явление, не дают понять другого человека. Одним из таких стереотипов является усвоенное нами со школьных уроков представление о значении в русской истории тех или иных исторических деятелей.

Возьмём, к примеру, Алексея Андреевича Аракчеева. Что мы помним и знаем о нём? Достаточно задать таким вопросом, как память сама собой услужливо подсказывает ассоциации: муштра, военные поселения, усмирение бунтовщиков, временщик...

Чтобы убедиться в справедливости высказанного выше положения, достаточно посмотреть статью об А.А. Аракчееве в современной Интернет-энциклопедии (автор А.Г. Тартаковский), которая и приводится ниже с незначительными сокращениями.

Аракчеев Алексей Андреевич [23 сентября (4 октября) 1769, Тверская пров. Новгородской губернии — 21 апреля (3 мая) 1834, с. Грузино Тихвинского уезда Новгородской губернии], российский государственный и военный деятель, граф (1799), генерал от артиллерии (1807). В 1808—1810 гг. военный ми-

Предлагаемая вашему вниманию статья является первой в цикле «У русского царя в чертогах есть палата». Персонажи Военной галереи Зимнего дворца в рисунках, письмах, дневниках и произведениях А.С. Пушкина», печатающемся в научных сборниках ГИЛМЗ А.С. Пушкина. Для «Коломенского альманаха» статья существенно доработана и расширена.

нистр, провёл реорганизацию артиллерии; с 1810 г. председатель Департамента военных дел Государственного Совета. В 1815—1825 гг. наиболее доверенное лицо императора Александра I, осуществлял его внутреннюю политику; организатор и главный начальник военных поселений.

А.А. Аракчеев происходил из небогатой дворянской семьи. С детских лет приучался к строгой дисциплине, упорному труду, бережливости, строгому соблюдению религиозных обрядов. В 1783 г. принят в шляхетский артиллерийский и инженерный (впоследствии 2-й Кадетский) корпус, где проявил способности к военно-математическим наукам и по окончании которого (1787) в чине поручика оставлен преподавателем арифметики, геометрии и артиллерийского дела. Ведал также корпусной библиотекой. В 1790 по рекомендации директора корпуса И.Мелиссино поступил репетитором в семью президента Военной коллегии Н.И. Салтыкова, не без содействия которого в 1792 принят в гатчинские войска наследника престола Великого князя Павла Петровича. За короткий срок он привёл гатчинскую артиллерию в образцовый порядок, был назначен инспектором не только артиллерии, но и пехоты, стал управлять хозяйственной частью и фактически гатчинскими войсками. В июле 1796 г. был произведён в чин полковника.

Своей исполнительностью и безмерной личной преданностью он снискал неограниченное доверие Павла и с его воцарением был произведён в генерал-майоры, назначен комендантом Санкт-Петербурга. Аракчееву была пожалована богатая вотчина в Новгородской губернии (село Грузино) — единственный дар, принятый им в течение всей службы. В апреле 1797 г. А.А. Аракчеев был назначен командиром лейб-гвардии Преображенского полка и поставлен во главе свиты императора с определением генерал-квартирмейстером всей русской армии и начальником Главного штаба. В январе 1798 г. он был также назначен инспектором всей русской артиллерии. Аракчеев немало способствовал укреплению боеспособности и наведению порядка в армии, что в войсках, особенно в гвардейских полках, сопровождалось насаждением муштры. Однако даже ему не удалось избежать опалы. В 1798 г. Аракчеев был удалён от службы, а в 1799 г. фактически сослан в своё новгородское имение. Павел I, за несколько дней до своей гибели заподозривший заговор, намеревался вернуть Аракчеева в Санкт-Петербург, что, по мнению некоторых историков, могло бы предотвратить переворот 11 марта 1801 г., но глава заговорщиков П.А. Пален помешал этому. Только спустя два года после вступления на престол нового императора Александра I Аракчеев был восстановлен в должности инспектора всей артиллерии, с чего началось его новое возвышение.

Летом 1807 г. он был произведён в генералы от артиллерии, а в декабре того же года ему было велено состоять при императоре с правом объявлять высочайшие указы по артиллерии. В 1808 г. граф Аракчеев был назначен министром военно-сухопутных сил с подчинением ему Военно-походной канцелярии императора и фельдъегерского корпуса. Одновременно он становится сенатором. Зимой 1809 г. он сыграл важную роль в активизации боевых действий в Финляндской кампании, настояв на переходе русских войск по льду Ботнического залива к шведским берегам.

Аракчеев начал общее переустройство русской армии (комплектование и обучение строевого состава, учреждение рекрутского депо, введение дивизионной организации, должности дежурного генерала и т.д.), но наиболее плодотворными были его преобразования в артиллерии. Сведённая в роты и батареи, артиллерия выделялась в самостоятельный род войск; размер лафетов и калибры орудий уменьшены. Была усовершенствована технология изготовле-



Император Павел I



Император Александр I

Императору Николаю I (24 сентября 1831 г.):

307



Император Николай I

Старинное воспитание, данное мне покойным августейшим вашим родителем (Павлом I. — А.С.), образовало меня так, что ничего для меня нет в свете приятнее, как исполнять волю моего Государя, и никакое во всю мою службу общее мнение публики для меня не было приятно и дорого, кроме мнения обо мне Государя. Следовательно, я награждён уже вполне на всю мою остальную жизнь, когда мой Государь Император, Ваше Императорское Величество признали бывшую доверенность ко мне покойного императора (Александра I. — А.С.), а потому и утешаю себя приятнейшим удовольствием, что изволит заключать во мнении своём, что я её был достоин.

ния оружия, боеприпасов, стала более эффективной деятельность арсеналов. Кроме того, был основан Артиллерийский комитет, стал выходить «Артиллерийский журнал».

Выдвижение на передний план политической жизни М.М. Сперанского и подготовка планов государственных реформ за спиной Аракчеева вынудили его подать в отставку. В 1810 г. он был назначен председателем Военного департамента вновь учреждённого Государственного совета, а его пост военного министра занял М.Б. Барклай де Толли.

Осенью 1812 г. Аракчеев вновь был приближен к императору, что было связано с острым недовольством царя неудачами в войне с Наполеоном и падением императорского престижа в обществе. Аракчееву было поручено формирование ополчения и артиллерийских полков, он вновь получил право объявлять именные указы. Генерал Аракчеев принимал участие в Зарубежном походе русской армии (1813–1814 гг.) в составе свиты императора.

В послевоенное время, когда во внутренней политике Александра I усилились охранительно-реакционные тенденции, Аракчеев стал фактически вторым лицом после императора в управлении страной, сосредоточив в своих руках необъятную власть. С 1815 г. он сумел подчинить себе Государственный совет, Комитет министров, собственную Его Императорского Величества канцелярию. Являясь единственным докладчиком царю по всем текущим вопросам, тем не менее А.А. Аракчеев оставался лишь добросовестным исполнителем воли царя и его самых сокровенных замыслов, будь то создание военных поселений (с 1819 г. Аракчеев — начальник штаба военных поселений, а в 1821–1826 гг. — главный начальник Отдельного корпуса военных поселений) или участие в разработке планов освобождения крестьян. В 1818 г. Аракчеев составил секретный проект выкупа казной помещичьих имений «по добровольно установленным ценам», чтобы «содействовать правительству в уничтожении крепостного состояния людей в России». Проект не получил никакого движения, но предвосхитил идеи, реализованные впоследствии реформой 1861 г.

Смерть Александра I оборвала карьеру Аракчеева. 20 декабря 1825 г. он был освобождён не благоволившим к нему Николаем I от дел Комитета министров и исключён из состава Государственного совета, а в 1826 г. отстранён от начальства над военными поселениями. Аракчеев уехал за границу и самовольно выпустил там издание конфиденциальных писем к нему Александра I, вызвавшее скандал в российском обществе и правительственных кругах. По возвращении в Россию Аракчеев жил в своём имении Грузино, занимаясь его благоустройством.

На окружающих личность Аракчеева производила отталкивающее впечатление крутым нравом, грубым произволом, холопской угодливостью перед престолом в сочетании с высокомерным презрением ко всем нижестоящим. Крупный военный администратор, он не участвовал ни в одном сражении. При скудости образования Аракчеев был наделён здравым практическим умом, находил верные решения в сложных ситуациях, отличался честностью, боролся со взяточничеством, выше всего ставил интересы казны, хотя нередко руководствовался не государственными интересами, а амбициями царедворца. Его непомерное тщеславие находило удовлетворение в безраздельном расположении к нему самодержца, малейшее же возвышение какой-либо иной сановной фигуры воспринималось им со злопамятной ревностью. В глазах современников и потомков Аракчеев олицетворял собой наиболее мрачные стороны александровского царствования.

И хотя в статье показаны и положительные результаты деятельности А.А. Аракчеева, перед нами возникает довольно мрачный исторический персонаж.

Немалую роль в закреплении этих чёрных образов сыграли пушкинские эпиграммы, создав ещё один миф: Пушкин — идейный вождь декабристов, заклеивший «душителей свободы», враг царей и царизма!

Но так ли всё это? Об отношении поэта к царю и царской власти, о его связях с декабристами написано много; вопросы эти рассматриваются теперь, как и следует, не статически, а с учётом неоднозначного отношения к ним самого Пушкина. И дело не только и не столько в изменении его взглядов, скажем, с возрастом (кто в юности не революционер и кто в зрелом возрасте не консерватор!), сколько в чётком понимании подхода Пушкина к оценке людей и событий. Так, воспевая Александра I («Он взял Париж, он основал Лицей»), вспоминая «дней Александровых прекрасное начало», поэт всегда помнил и то, каким образом Александр занял трон, «перешагнув» через цареубийство. Именно поэтому, как известно, Александр не преследовал декабристов, памятуя о собственном грехе. Отношение Пушкина к взошедшему на престол Николаю I было совсем другим (хотя также не однозначным) — это был легитимный император. С этих же позиций надо оценивать и отношения Пушкина с декабристами, со многими из которых он состоял в дружбе, но далеко не всегда разделял их взгляды. Именно об этом свидетельствует ответ только что приехавшего в Москву из ссылки Пушкина на вопрос императора Николая Павловича о том, где был бы поэт 14 декабря.

Но мы отвлеклись от основных вопросов нашей работы: каким в действительности был граф Алексей Андреевич Аракчеев и каково было отношение к нему Александра Сергеевича Пушкина?

Алексей Андреевич Аракчеев родился 23 сентября 1769 г. в семье



Герб графа А.А. Аракчеева

небогатого тверского помещика. Окончив шляхетский корпус, артиллерист по образованию, он сделал блестящую карьеру при гатчинском дворе, а затем при императорских дворах Павла I и Александра I, благодаря своим познаниям, организаторским способностям, а также педантичной исполнительности и личной преданности. Эти качества, сами по себе положительные, тем не менее не принесли ему достойного положения в обществе, так как грубость, деспотизм, жёсткость, доходящая до максимальной жестокости, окончательно погубили его репутацию в обществе, и так с трудом принимавшем его из-за низкого происхождения и малой (как многие писали) односторонней образованности.



Пушкин-лицеист. Рисунок Фаворского

Однако его особое положение при дворе как ближайшего сотрудника Павла I, любимца и «сердечного друга» Александра I (особенно в последние годы царствования), наиболее близкого к царю лица, облечённого его особым доверием, вынуждало окружающих вести себя с известной осторожностью, заигрывать с всесильным временщиком и искать его покровительства и протекции. Недовольство чаще всего выплескивалось на страницах дневников, тайных записок, в анонимных эпиграммах и анекдотах.

В своих «Записках» Ф.Ф. Вигель отметил: «Ещё в ребячестве слышал я, как с омерзением и ужасом говорили о людоеде Аракчееве... Сначала был он употреблён как исправительная мера для артиллерии, потом как наказание для всей армии и под конец как мщение всему русскому народу».

Был ли знаком Александр Сергеевич с Аракчеевым? Документальных свидетельств о личном знакомстве поэта и графа А.А. Аракчеева нам найти не удалось. Однако ещё лицеистом Пушкин мог видеть его в Царском Селе. Поэт отдал дань общественному мнению об Аракчееве в своих свобододолюбивых юношеских стихах. Его перу принадлежит эпиграмма «Всей России притеснитель...» (1817–1820), в которой обыгрывается девиз графа: «Без лести предан», часто переиначиваемый светскими острорословами: «Бес лести предан».

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? *Преданный без лести.*
...грошевой солдат.

Вторая эпиграмма А.С. Пушкина, датируемая 1819–1820 гг., связывается с историей мятежа в военных поселениях в Чугуеве, главную роль в подавлении которого сыграл А.А. Аракчеев:

В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон:
Кинжала Зандова везде достоин он.

По мнению В.Е. Якушкина, эти эпиграммы стали основной причиной высылки поэта из Петербурга в 1820 году. О решающей роли Аракчеева в этом деле говорил и Я.И. Сабуров.



*Дж. Доу. Портрет графа
А.А. Аракчеева.
Военная галерея Зимнего дворца*

ное выражение сурового лица. Таким предстаёт перед нами в последние годы царствования Александра I граф Аракчеев, «без лести преданный, истинно русский неучёный новгородский дворянин», как он сам себя называл, достигший вершины своего могущества и ставший в полном смысле правителем империи. В его руки разочарованный и усталый Александр передал почти всю полноту своей власти. Но по мере того как росли сила и значение «временщика», не умевшего и не желавшего ладить с людьми, росла также и его непопулярность среди всех кругов русского общества, в том числе и среди военных. Всеобщая антипатия, негодование, отвращение и страх, внушаемые Аракчеевым, самым непопулярным человеком в России, стали причиной его постепенного и осторожного отстранения от власти, увольнения из столицы и удаления, несмотря на милостивые рескрипты нового императора Николая I. В своих дневниках 8 марта 1834 г. А.С. Пушкин де-

Но исчерпывается ли этими эпиграммами мнение поэта об А.А. Аракчееве?

Посмотрим на портрет графа А.А. Аракчеева, написанный Дж. Доу в 1824 году для Военной галереи Зимнего дворца. На холсте изображён мужчина неопределённого возраста в подчёркнуто строгом вицмундире, без золотого шитья на воротнике, но с золотыми эполетами. Мундир украшает только звезда ордена Андрея Первозванного и медальон с изображением Александра I. Из-за медальона чуть видна серебряная медаль за боевые действия в 1812 г., хотя Алексей Александрович Аракчеев непосредственно в боевых действиях участия не принимал, находясь при государе в заграничном походе.

Исследователи (В.М. Глинка, например) отмечают, что Дж. Доу несколько смягчил неприятный внешний облик портретируемого: низкий лоб, тяжёлый взгляд небольших мутно-зелёных глаз, грубое холод-



А.С. Пушкин. Автопортрет. 1829 г.

лает запись: «Государь не любит Аракчеева. Это изверг, говорил он в 1825 году...»

Имя смещённого временщика часто упоминается в дневниках Пушкина весной 1834 года. Это связано с распространившимися в столице слухами об ухудшении его здоровья. Современников волновал вопрос о том, как бездетный и очень богатый Аракчеев распорядился своим состоянием (записи 8 марта, 11 марта, 20-е числа апреля, 10 мая).

Видимо, примерно в это же время в бумагах Пушкина появляется и единственное графическое изображение Аракчеева. Рисунок атрибутирован в книге А.Фрумкиной «Рукою поэта».

Изображение выполнено на отдельном листе без текста и расположено в верхнем левом его углу, занимая примерно четверть листа. Портретируемый изображён в профиль. На нём партикулярное платье с высоким воротником и надвинутый на лоб картуз, прикрывающий длинные волосы, спускающиеся на воротник сюртука. При всей сложности сравнения парадного портрета, выполненного профессиональным художником, и беглого наброска, возможно, сделанного по памяти любителем, особенно с учётом разных ракурсов изображений и большого временного разрыва между ними (десять лет), следует отметить их явное сходство. Более того, А.С. Пушкин, обладавший хорошей зрительной памятью и отличавшийся вниманием к деталям, сумел передать возрастные изменения (ввалившийся щелеобразный рот, поредевшие отросшие волосы, сутулые плечи и т.п.), произошедшие в некогда бодром, подтянутом, «застёгнутом на все пуговицы» человеке. Чтобы выполнить подобное изображение, рисовальщик, несомненно, должен был иметь зрительный контакт с портретируемым.

Сделанная зарисовка представляет интерес ещё и потому, что даёт представление о некогда всеильном государственном муже в период полной утраты власти и внимания к нему общества. В дневнике 1834 г. Пушкин записал: «Среда на святой неделе... Также умер Аракчеев, и смерть этого самодержца не произвела никакого впечатления...»

О всеобщем равнодушии, с которым было встречено известие о смерти некогда всеильного временщика, отмеченном А.С. Пушкиным в дневнике, свидетельствуют и другие современники. Так, Н.И. Греч пишет в «Записках»: «Я был в придворной церкви у обедни и при присяге цесаревича. Любопытно было видеть и слышать чистосердечные отзывы об Аракчеве людей, знавших его хорошо. Всех откровеннее и умнее говорил бывший при нём долго Василий Романович Марченко, ненавидящий и презирающий его всеми силами своей души. Некоторые из бывших его клеветников обрадовались



*А.А. Аракчеев и М.М. Сперанский.
Рисунок А.С. Пушкина. 1834(?)*

его смерти: она их уверила, что он не воротится, Борис Яковлевич Княжнин, бывший командир полка графа Аракчеева, узнав в церкви о его кончине, сказал, перекрестясь: “царство ему небесное! себя успокоил и всех успокоил...”»

По случаю смерти Аракчеева Пушкин писал жене 22 апреля 1834 г.: «Аракчеев также умер. Об этом во всей России жалею я один. Не удалось мне с ним свидеться и наговориться...» Это письмо во многом раскрывает причины интереса Пушкина к Аракчееву: это был интерес историка к живому свидетелю волнующих его событий.

А может, и не только историка. Известный пушкинист и знаток русского зарубежья М.Д. Филин убедительно показал (см.: *Филин М.Д.* Люди императорской России. М., 2000), что «слова “свидеться” и “наговориться” принадлежат к той категории слов, которые были для Пушкина словами не нейтральными, но оценочными, которые придавали его текстам особое настроение. Посему логично предположить, что эти глаголы, будучи сведены вместе в пределах единой пушкинской строки, могли только усилить такое настроение, сделать его ещё более умирённым и светлым».

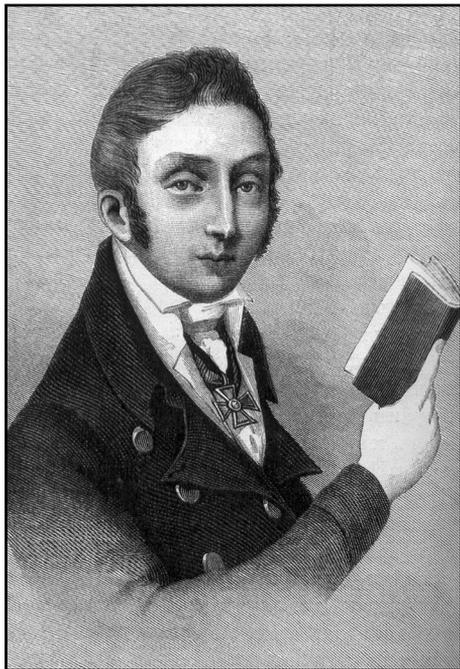
Далее М.Д. Филин отмечает: «У Пушкина был абсолютный семантический слух, он всегда был снайперски точен в выборе слов, и нет оснований думать, что здесь, в письме к жене, поэт изменил своему правилу, своей натуре и выразился небрежно, приблизительно. “Свидеться и наговориться” явно намекает на нечто большее, нежели на банальное интервью с отставным правителем России, — вот в чём загвоздка, изъян традиционного комментария. Однако “нечто большее” как-то плохо сочетается, а вернее, не сочетается вовсе с устоявшимся взглядом на проблему “Пушкин и Аракчеев”: ведь трудно, к примеру, поверить, что поэт мечтал о нескончаемом и “уютном” свидании с человеком, которого он, как нас уверяют, люто ненавидел, почитал за монстра, достойного “кинжала Зандова”, за душителя России и т.д.»

Анализ рисунка и сопоставление его с дневниковыми записями и письмом подтверждают этот интерес.

Рядом с изображением А.А. Аракчеева на листе имеется слабо намеченное профильное изображение М.М. Сперанского (1772–1839). Примерно в это же время в дневниках Пушкин пишет о своих встречах со Сперанским и разговоре с ним «о Пугачёве (“История Пугачёвского бунта” печатается в типографии II отделения — ведомстве Сперанского. — А.С., Н.С.), о Собрании Законов, о первом времени царствования Александра, о Ермолове» и т.д. (1 января 1834 г.). 2 октября 1834 г. Пушкин вспоминает о воскресном обеде у Сперанского, во время которого они обсуждали ссылку Сперанского в 1812 г. (Интересно, что современными исследователями найдены



М.М. Сперанский



М.М. Сперанский. 1806 г.

существенные факты, подтверждающие изменническую деятельность М.М. Сперанского накануне нападения наполеоновских войск, так что, вероятно, его ссылка была отнюдь не столь несправедливой, как это считалось раньше.)

«Сперанский у себя очень любезен. — Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: *Вы и Аракчеев стоите в дверях противоположных этого царствования как Гении Зла и Блага* (выделено Пушкиным. — А.С., Н.С.). Он отвечал комплиментами и советовал мне писать историю моего времени». Эти слова послужили для пушкинистов поводом к полемике об отношении Пушкина к Аракчееву и Сперанскому. Оба они были выходцами из низших слоёв, что не могло не влиять на их положение. Кроме дневниковых записей в черновых набросках Пушкина есть отзыв о Сперанском как «суевливым необразованном (невежествен-

314

ном) поповиче» — *«popovitch turbulent et ignare»*. Как видим, Пушкин солидарен в отношении к Сперанскому с Ф.В. Ростопчиным («завнавшийся попович, выскочка») и Ф.Ф. Вигелем (изменник, революционер).

Таким образом, Пушкин, противопоставляя Аракчеева Сперанскому, выражал общераспространённое суждение о диаметрально противоположной роли их при Александре I. Можно провести, например, известную параллель между этими деятелями, начертанную декабристом Г.С. Батеньковым, лично хорошо и близко знавшим обоих:

«Аракчеев страшен физически, ибо может в жару гнева наделать множество бед; Сперанский страшен морально, ибо прогневить его — значит уже лишиться уважения.

Аракчеев зависим, ибо сам писать не может и не учён; Сперанский холодит тем чувством, что никто ему не кажется нужным.

Аракчеев любит приписывать себе все дела и хвалиться силою у Государя всеми средствами; Сперанский любит критиковать старое, скрывать свою значимость и все дела выставлять лёгкими.

Аракчеев приступен на все просьбы к оказанию строгостей и труден слушать похвалы; всё исполнит, что обещает. Сперанский приступен на все просьбы о добре, охотно обещает, но часто не исполняет, злоречия не любит, а хвалит редко.

Аракчеев с первого взгляда умеет расставить людей сообразно их способностям: ни на что постороннее не смотрит. Сперанский нередко смешивается и увлекается особыми уважениями.

Аракчеев решителен и любит наружный порядок; Сперанский осторожен и часто наружный порядок ставит ни во что.

Аракчеев ни к чему принуждён быть не может; Сперанского характер сильный может заставить исполнять свою волю.



*Граф А.А. Аракчеев. Гравюра
Н.И. Уткина с оригинала И.Ф. Вагнера*

роны, причём обещания свои выполнял неукоснительно, то есть ряд черт его характера явно вызывает симпатию как у самого Батенькова, так и у нас с вами. Кроме того, говоря об односторонней образованности Аракчеева, Батеньков, видимо, следует за общепринятым мнением. Современные историки, подчёркивая глубокие познания графа в артиллерии, говорят о постоянном самообразовании Аракчеева, его широком круге интересов, что подтверждается описью его личной библиотеки.

Но вернёмся к фразе А.С. Пушкина о роли двух исторических деятелей и проанализируем её. Автор брошюры «Сперанский и Аракчеев» (СПб., 1905) Вячеслав Евгеньевич Якушкин также даёт характеристику обоим персонажам, начиная и заканчивая её словами Пушкина о том, что «Сперанский и Аракчеев стоят в двух противоположных концах царствования Александра I, как гении блага и зла». Как видим, при цитировании изменён порядок определений персонажей: у Пушкина — «Вы и Аракчеев стоите в дверях противоположных этого царствования как Гении Зла и Блага».

Впрочем, в примечаниях В.Ф. Садовника и М.Н. Сперанского к «Дневнику» А.С. Пушкина (1923, пе-

Аракчеев в обращении прост, своеволен, говорит без выбора слов, а иногда и неприлично; с подчинённым совершенно искрен и увлекается всеми страстями; Сперанский всегда является в приличии, дорожит каждым словом и кажется неискренним и холодным.

Аракчеев с трудом может переменить вид свой по обстоятельствам; Сперанский при появлении каждого нового лица может легко переменить свой вид.

Аракчеев богомол, но слабой веры; Сперанский набожен и добродетелен, но мало исполняет обряды.

Мне оба они нравились как люди необыкновенные. Сперанского любил душою».

Из этого сопоставления легко видеть, что Аракчеев был хорошим администратором, простым в обращении с подчинёнными, открытым для обращений и просьб с их сто-

315

ГЕНИЙ ЗЛА... ИЛИ БЛАГА?



*Дж. Доу. Портрет графа
А.А. Аракчеева*

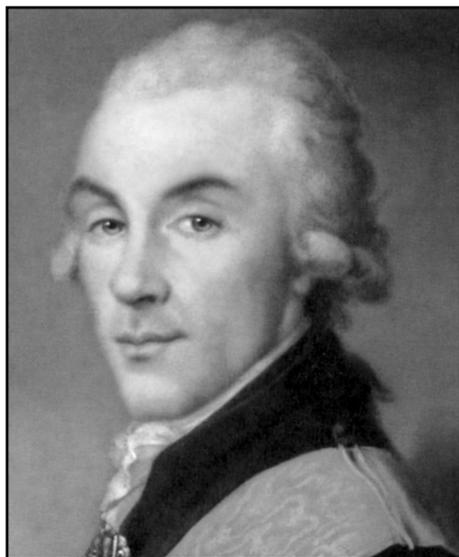
репечатаны в 1997), комментаторы говорят о том, что «в этих словах Пушкина ясно просвечивает его сочувствие к тому порядку идей, представителем которых, в глазах русского общества, был Сперанский. <...> Сперанский, как живое воплощение либеральных веяний эпохи, естественно, вызывал к себе с его стороны интерес и сочувствие. В таком взгляде на Сперанского Пушкин сходил с большинством своих современников, как правого, так и левого лагеря». Причём авторы комментариев отдают себе отчёт в противоречивости двух приведённых выше отзывов Пушкина о Сперанском, относящихся примерно к одному времени. Выход был найден в том, что «эти противоречивые суждения, несомненно, мирно уживались в сознании Пушкина».

Мы несколько отвлеклись на отношение А.С. Пушкина к Сперанскому, но интерпретация данной поэтом сравнительной характеристики обоих исторических персонажей важна для уяснения его отношения к ним обоим. Как видим, комментаторы упорно считают, что характеристика «Гений Блага» относится к Сперанскому, меняя даже ради этого порядок слов в пушкинской записи. Впрочем, современный исследователь В.М. Глинка (в книге «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца») также меняет порядок определений, цитируя фразу Пушкина о «Гениях Зла и Блага», далее пишет: «Отбросив долю светского преувеличения в отношении Сперанского, оставим определение Аракчеева как “Гения Зла”».

Именно так, «Гений Зла», названа одна из глав и в современной биографии А.А. Аракчеева, написанной В.А. Томсиновым (ЖЗЛ), в которой приведено множество фактов, свидетельствующих о совершенно иной оценке деятельности этого выдающегося деятеля.

Такая интерпретация, происходящая, вероятно, от описанной тут же реакции Сперанского на слова Пушкина, конечно, более подходила к Пушкину-революционеру, певцу свободы, другу и «идеологу» декабристов. Но, при анализе этой фразы следует всё же исходить из порядка определений, данного самим Пушкиным: «Вы (то есть Сперанский. — А.С., Н.С.) и Аракчеев... Гении Зла и Блага». Поскольку речь идёт о письменном тексте, записанном самим поэтом, мы вправе полагать, что порядок определений у Пушкина был им выверен. Интересно, что М.Д. Филин, проведя блестящий анализ текста письма А.С. Пушкина к жене и считая Пушкина «снайперски точным» в выборе слов, говоря о рассматриваемой дневниковой записи, не обращает внимания на порядок слов, отмечая, тем не менее, что слова о Гениях Добра и Зла выделены Пушкиным «и, видимо, не случайно».

Следовательно, «Гением Блага» был назван граф А.А. Аракчеев? Но как это мнение Пушкина увязать с его эпиграммами на Аракчеева? Вероятно, следует допустить, что в зрелом возрасте А.С. Пушкин пересмот-



А.А. Аракчеев

рел свои воззрения на политическое устройство общества (это общеизвестно) и, соответственно, на место и роль различных исторических деятелей. Разумеется, это не означает, что поэт всецело одобрял деятельность Аракчеева, но он, вероятно, считал, что деятельность эта в целом направлена на благо государства, в то время как деятельность Сперанского носила в значительной мере разрушительный характер.

Кроме того, Пушкину, вероятно, были известны и такие дела и поступки А.А. Аракчеева, которые он, безусловно, одобрил бы: «В 1817 году Аракчеев внес 86 589 рублей в Государственную комиссию погашения долгов. Проценты с этой суммы в течение десятилетий шли на уплату податей, причитающихся с крестьян его поместья.

Спустя год не кто иной, как Аракчеев составил проект «уничтожения крепостного состояния людей в России», и беспрецедентный проект был одобрен царём. В 1820 году Аракчеев основал Мирской банк для оказания помощи крестьянам и пожертвовал 10 000 рублей в его основной капитал (банк надолго пережил своего благодетеля)» (М.Д. Филлин).

Что касается артиллерийского дела, то напрасно Вигель иронически оценивал деятельность Аракчеева, в том числе и на посту инспектора артиллерии, как «исправительную меру». Современный анализ деятельности Павла и его сподвижника Аракчеева по реорганизации гатчинской артиллерии показывает, что опробованные там нововведения, привитые в последующем всей русской артиллерии, по праву вывели её на ведущее место в мире. Действительно, гатчинская артиллерия создавалась как мобильная, способная быстро менять свои позиции. «Гатчинские артиллеристы были выучены стрелять не только по площадям, но и по конкретным целям. И могли даже соревноваться между собой в меткости стрельбы... Гатчинская артиллерия отличалась от всей остальной тогдашней русской артиллерии быстротой стрельбы... Применительно именно к гатчинской артиллерии впервые была предпринята попытка привести различные детали материальной части к одинаковым параметрам, а калибры одноимённых орудий — к единообразию», — отмечает В.А. Томсинов. Да и жестокость графа в муштре сильно преувеличена; напротив, известны случаи наказания им офицеров, жестоко обращавшихся с солдатами.

А может быть, в толковании этой фразы о Гениях Зла и Блага возможны и другие варианты? (Авторы приносят глубокую благодарность профессору Антонию Глассэ (США) за ряд советов, которые она дала в телефонной беседе одному из нас и которые стали основой нижеизложенной версии.) Давайте ещё раз вспомним слова А.С. Пушкина: «Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: Вы и Аракчеев стоите в дверях противоположных этого царствования как Гении Зла и Блага». Во-первых, эти строки содержат автореминисценцию, сравните: «Дней Александровых прекрасное начало». Следовательно, для понимания смысла эти строк надо проанализировать деятельность обоих персонажей в первые годы Александрова царствования.

Кроме того, надо понять, что имел в виду А.С. Пушкин, говоря о Гениях Зла и Блага. Во времена Пушкина слово «гений» обозначало не только человека, обладающего огромным талантом. Гений, по словарю В.И. Даля, — это и «незримый, бесплотный дух, добрый или злой...». И невольно хочется вместо «стоите в дверях» прочитать «стоите во вратах», то есть возни-



Генерал от артиллерии, военный министр граф А.А. Аракчеев, гравюра И.И. Пожалостина, 1883 г.

кает ассоциация с Вратами Небесными. Нет ли тут переключки с Библией, с Дантовыми «Вратами ада»?..

И не есть ли это общая характеристика обоих персонажей?

В каждый период истории, особенно в трудные годы, не приходится ли ради блага Отечества идти на непопулярные меры, проводить жёсткую политику? И тогда находятся люди, выдающиеся исторические деятели, которые берут на себя весь груз ответственности за эти шаги. Таков был и граф А.А. Аракчеев.

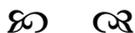
Кредо А.А. Аракчеева можно, вероятно, выразить его же словами: «Мы всё сделаем: от нас, Русских, нужно требовать невозможного, чтобы достичь возможного». Таким же требовательным он был прежде всего к самому себе. Этот принцип позволял Аракчееву вершить невозможное, но он же делал его чрезвычайно непопулярным в обществе.

Сам он сознавал это прекрасно. Д.В. Давыдов приводит в своих «Записках» слова А.А. Аракчеева, сказанные им генералу А.П. Ермолову: «Много ляжет на меня незаслуженных проклятий». Фраза оказалась пророческой.

О значении Аракчеева император Александр I говорил П.А. Клейнмихелю, бывшему тогда адъютантом первого: «Ты не понимаешь, что такое для меня Аракчеев. Всё, что делается дурного, он берёт на себя, всё хорошее приписывает мне».

«Граф Аракчеев прошёл по жизни так, словно был выструган из рукояти памятного петровского кнута, — прошёл ярым, неистовым государственнымником. Государственнымником Аракчеев и по-государственному мыслящий зрелый Пушкин не могли не иметь точек соприкосновения хотя бы здесь, во взглядах на созидание державы, — и они их имели (вот уже и повод «свидетелься и наговориться»). Достаточно прочесть без предубеждения некоторые работы Пушкина, затрагивающие вопросы государственного строительства или, допустим, просвещения народа, чтобы убедиться в этом», — отмечает М.Д. Филин.

Таким образом, вопрос об отношении А.С. Пушкина к А.А. Аракчееву далеко не простой и нуждается в дальнейших исследованиях.



Граф А.А. Аракчеев:

В жизни моей я руководствовался всегда одними правилами... Знаю, что меня многие не любят, потому что я крут — да что делать? Таким меня Бог создал! (Ф.В. Булгарину)

Много ляжет на меня незаслуженных проклятий. (А.П. Ермолову)



Александр Анатольевич Сулов родился 18 января 1948 года в городе Воскресенске. После окончания средней школы (1966 г.) поступил на химико-технологический факультет Политехнического института, который успешно окончил, получив специальность химик-технолог.

С середины 1980 годов увлёкся краеведением. Печатался в областных и районных газетах, альманахах, сборниках, буклетах... В 2004 году вышел первый авторский поэтический сборник «Сундук».

Работает преподавателем в Воскресенском филиале Московского государственного открытого университета. Увлекается фотографией и путешествиями.

НАДПИСЬ НА КАМНЕ

Близ Троицкой, ныне Успенской, церкви села Константинова Воскресенского района, в нескольких шагах от её южного фасада, лежат старинные надгробья. На одном из них, из красного гранита, читаем надпись:

«Под камнем сим лежит действительный статский советник Алексей Михайлович Пушкин. Родился в Москве 1771 года мая 31 дня, скончался 25 мая 1825 года».

Что можно сказать об этом человеке?

Фамилия «Пушкин», несомненно, известна каждому россиянину. Алексей Михайлович, видимо, один из многочисленного рода Пушкиных. Отца его звали Михаилом Пушкиным. Прожил почти полных 54 года, «не дотянув» до собственного дня рождения пяти дней.

И родился, и умер в мае (по старому стилю; по новому, григорианскому, датой его рождения будет 11 июня, смерти — 7 июня). Появился на свет, когда на престоле Российском была «матушка Екатерина» (Вторая), а умер в год, когда скончался её внук, император Александр Первый, и на престол взошёл её второй внук Николай Первый.

Чин имел довольно высокий, 4-й по табели о рангах. По военному ведомству это соответствует генерал-майору. Владелец такого чина должен именоваться «ваше превосходительство».

Москвич. Родился и скончался в Москве, но погребён в селе Константинове, с которым был, видимо, как-то связан. Вот всё, что можно извлечь из пяти строчек, выбитых на гранитном камне.

Государственный переворот

Заговорами, государственными (дворцовыми) переворотами, восстаниями, бунтами, революциями, наконец, путчами Россию не удивишь. Попривыкли.

Именно в результате такого переворота на российский престол взошла «матушка-императрица» Екатерина II 28 июня 1762 года. Вот как описывает Ключевский триумфальный въезд Екатерины: *«Вечером 28 июня Екатерина во главе нескольких полков, верхом, в гвардейском мундире старого петровского покроя и шляпе, украшенной зелёной дубовой веткой, с распущенными длинными волосами, рядом с княгиней Дашковой, тоже верхом и в гвардейском мундире, двинулась в Петергоф...»*

Мундир для юной княгини предоставил один из участников переворота, сержант (а впоследствии поручик) лейб-гвардии Преображенского полка Михаил Алексеевич Пушкин, будущий отец нашего героя.

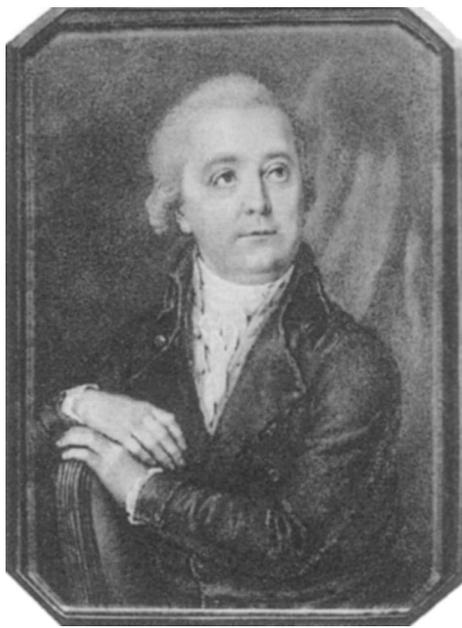
Князь Дашков и Михаил Пушкин были дружны, точнее, как пишет княгиня, между ними *«установились столь привычные и непринуждённые отношения, что их можно было принять за дружбу»*.

Дашкова отмечает, что Михаил Пушкин был очень умён. *«Его утончённая, остроумная беседа пользовалась большими успехами у молодых людей»* (образование Михаил Пушкин получил в Московском Университетском благородном пансионе). Эти его качества впоследствии унаследовал его первенец Алексей Михайлович. Впрочем, до его появления на свет оставалось ещё почти десять лет.

Дашкова рассказывает случай, когда приняла участие в судьбе поручика Пушкина и помогла ему выпутаться из неприятного дела. А дело заключалось в том, что Михаил Пушкин занял в долг у французского купца Гейнбера, а когда тот явился за долгом, поручик Пушкин выгнал его из дома. Купец, обидевшись (естественно), возбудил против поручика дело. Тут и вмешалась княгиня Дашкова, тогда ещё, впрочем, графиня Воронцова. Она упростила французского посла, который бывал у них в доме (а она, надо сказать, росла и воспитывалась в доме своего дяди, великого канцлера Михаила Илларионовича Воронцова), уладить этот скандал.

Денежные дела братьев Пушкиных (Михаил, Сергей, Александр и Фёдор) были весьма неважными, даже «скверными», как замечает Дашкова. Их отец, Алексей Михайлович Пушкин, в последние годы царствования Елизаветы потерял свою должность воронежского губернатора и даже был отдан под суд «за лихоимство». При вступлении на престол Петра III дело прекратили. Однако должность свою он назад не получил и был уволен, хотя и с чином тайного советника. Вследствие всех этих событий он не мог оказывать своим детям (а помимо сыновей была ещё дочь Анна) никакой материальной помощи.

Алексей Пушкин (именно в честь него будет впоследствии назван его внук, наш герой) был в числе тех первых юношей-гардемарин, которых Пётр I, создавший и лелеявший российский флот, отпра-



Михаил Алексеевич Пушкин

вил за границу обучаться морскому делу. Гардемарин Пушкин обучался мореходным тонкостям сначала в Венеции (1716 г.), а затем во Франции (1719 г.). После чего служил в Российском флоте и имел звание подпоручик морского флота. Однако на штатской службе сделал более успешную карьеру. В частности, на дипломатическом поприще был посланником в Стокгольме (1745 г.) и чрезвычайным послом в Копенгагене (1746–1747 гг.). Кроме того, губернаторствовал в Архангельске и Воронеже. Женой его и матерью его детей (и, стало быть, бабушкой нашего героя) была Мария Михайловна Салтыкова, гоф-фрейлина императрицы Анны Иоанновны (мать императрицы, царица Прасковья Фёдоровна, была из рода Салтыковых, так что гоф-фрейлина приходилась ей дальней родственницей). Закончилась же карьера Пушкина-деда весьма плачевно (ещё более плачевно сложится судьба двух его сыновей, о чём речь впереди).

Князь Дашков часто выручал своих сослуживцев, братьев Пушкиных, из затруднений. Михаил же Пушкин, как считает Дашкова, оплатил ему (и ей) за это чёрной неблагодарностью.

Дело в том, что Михаил Пушкин, жаждавший переменить свою судьбу (в лучшую сторону, конечно), искал место при дворе, в окружении молодого князя Павла Петровича (будущего самодержца). Воспитатель Павла, князь Панин, считал, что застенчивость и нелюдимость своего воспитанника можно исправить, окружив того образованными молодыми людьми, знающими иностранную литературу. Среди прочих кандидатов в наперсники наследнику престола Панин назвал и Михаила Пушкина как человека в высшей степени одарённого. Дашкова поддерживала его кандидатуру, но Екатерина (мать Павла) отказала, сославшись на то, что Пушкин недавно оказался замешанным в одном чрезвычайно скандальном деле, «скверной истории, о которой говорят». Опечаленный отказом, Михаил Пушкин стал искать покровительство у фаворита Екатерины Григория Орлова, бывшего к тому же недругом и антагонистом княгини Дашковой.

Оскорблённая Дашкова порвала с Михаилом Пушкиным всякие отношения. И то же посоветовала сделать своему мужу: *«Забудем, мой друг, этого человека. Он даже в детстве был недостойн считаться твоим товарищем»*. Из чего можно заключить, что Дашков и Пушкин были знакомы с детства.

Впрочем, место при великом князе Орлов Пушкину так и не обеспечил, но зато благодаря его покровительству тот стал впоследствии во главе Коммерц-коллегии.

Десять лет спустя

В 1770 году Михаил Пушкин женился на княжне Наталье Абрамовне Волконской, дочери князя



Наталья Абрамовна Пушкина

Абрама Михайловича Волконского и его жены Евдокии Михайловны, урождённой Самариной.

Вскоре после переворота 1762 года Пушкин оставил военную службу и из поручиков Преображенского полка был сразу пожалован в прокуроры Коммерц-коллегии.

Затем (в 1771 году, уже будучи женатым) он перешёл в Мануфактур-коллегию («Министерство лёгкой промышленности»).

В том же году у него родился первенец, наследник, наш герой.

1771 год стал печально известен в России и в Москве эпидемией «моровой язвы», «морового поветрия», то есть чумы. Город почти вымер, в учебных заведениях прекратились занятия, закрылись учреждения. Счёт погибших исчислялся тысячами. В ночь с 15 на 16 сентября отчаявшиеся горожане пошли на приступ Кремля. На что они надеялись? Архиепископ Московский и Калужский Амвросий, пытавшийся увещевать толпу, был ею растерзан. Во время этих событий Михаил Пушкин исполнял должность частного смотрителя города Москвы, то есть был кем-то вроде главы санэпиднадзора.

Кроме того, Михаил Пушкин являлся ещё и опекуном Московского воспитательного дома. Как видим, деятельность его была весьма бурной.

Дело о фальшивых ассигнациях

Первое десятилетие правления «матушки Екатерины», помимо прочих реформ, было ознаменовано перестройкой всей финансовой системы государства. Вводились невиданные дотле в России бумажные деньги.

Новоиспечённые банкноты имели довольно примитивный внешний вид. Рисунок наносился только на одной стороне и состоял из узорчатой рамки, двух овальных тиснений (медальонов) и текста. Всё это было выполнено чёрной краской.

Естественно, тут же нашлись подделыватели.

Екатерина II очень ревностно следила за тем, приживётся ли её нововведение, и попытки фальсификации пресекались сурово и безжалостно.

Но опасности и риск разоблачения не пугали любителей лёгкой наживы.

В заговоре по подделке ассигнаций оказался замешанным и наш герой — член Мануфактур-коллегии, молодой муж и счастливый отец Михаил Пушкин. Инициатором всего мероприятия был, видимо, брат Михаила, Сергей Пушкин. Он не был женат и обладал авантюрным складом характера, о чём красноречиво свидетельствует тот факт, что 1760—1762 годы он провёл в парижской тюрьме за мошенничество. В дальнейшем он служил в Преображенском полку вместе со своим братом и даже имел чин капитана.

Был и третий участник заговора, некий Фёдор Сукин (кстати, родственник Пушкиных). Этот-то Фёдор Сукин всех и выдал. Екатерина была в гневе и сначала решила применить «высшую меру», но затем, остыв, смягчила наказание (видимо, вспомнив участие братьев Пушкиных в перевороте 1762 года и пресловутый мундир Михаила).

Сергея Пушкина после заклеяния буквой «В» заключили в Пустозёрский острог (тот самый, где за век до этого томились протопоп Аввакум, боярыня Морозова и другие «раскольники»). Ныне место, на котором был этот город, в низовьях Печёры, находится на территории Ненецкого

автономного округа). Там ссыльный провёл почти десять лет. В 1781 году его перевели в Соловки, где он содержался до конца своей жизни (1794 год). Михаил же отправился на вечное поселение в Сибирь. Обоим братьев велено было отныне именовать «бывший Пушкин».

Жизнь в Сибири

Алексею Михайловичу во время трагических для его семьи событий был всего год от роду. Его мать, по отзывам современников, женщина с сильным характером и очень властная, к тому же горячо любившая мужа, не раздумывая решила отправиться в ссылку вслед за своим «бывшим Пушкиным». Путь лежал в Енисейск, а потом в Тобольск. Можно представить, какой это был «медвежий угол» в то время. Маленького сына брать с собой Наталья Абрамовна не решилась...

В Тобольске Михаил Пушкин встретился с другим знаменитым изгнанником, Александром Радищевым, попавшим туда за свою крамольную книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», но особенно близко он сошёлся с Панкратием Платоновичем Сумароковым (не путать с известным поэтом Александром Сумароковым), который «загремел» в Сибирь по аналогичному делу («та же статья», как говорили позднее), то есть за изготовление фальшивых ассигнаций. В полку фальшивомонетчиков, как говорится, прибыло...

Этот самый Сумароков, не лишённый литературных склонностей, начал издавать в Тобольске первый сибирский журнал с витиеватым названием «Иртыш, превращающийся в Иппокрену». Иппокрена, если кто забыл, — это источник на древнегреческой горе Геликон, где обитали музы, покровительницы различных искусств. Испившего из Иппокрены осеняло вдохновение, и он начинал творить... Сибирская река Иртыш таким образом приравнивалась к источнику вдохновения.

Михаил Алексеевич Пушкин, также не чуждый литературных и поэтических склонностей, освоившись на своём новом и последнем месте жительства, стал сотрудничать в этом журнале. По некоторым сведениям, и Наталья Абрамовна не чуралась литературной деятельности. Её даже называли первой сибирской журналисткой.

Сибирская жизнь Михаила и Натальи Пушкиных длилась двадцать лет. За это время у них родились две дочери — Варвара и Екатерина. О них известно следующее.

Варвара Михайловна Пушкина родилась 12 мая 1779 года и скончалась 8 августа 1854-го. Похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря. Она имела звание «кавалерственной дамы» и была замужем за обер-гофмаршалом, членом Государственного совета, действительным тайным советником князем Сергеем Ивановичем Гагариным. Замуж она вышла за два месяца до начала Отечественной войны — 29 апреля 1812 года, в качестве приданого за нею было 3000 душ крестьян. Их сын (то есть племянник Алексея Михайловича), князь Иван Сергеевич Гагарин (1814–1882) — иезуит, писатель, организовавший в иезуитском монастыре в Париже Кирилло-Мефодиевский музей.

О Екатерине Михайловне Пушкиной известно лишь, что родилась она 20 сентября 1786 года (то есть была на 15 лет младше своего брата) и умерла рано, на шестнадцатом году жизни, 24 мая 1802 года: похоронена на том же кладбище Новодевичьего монастыря.

Алексей встретился со своими родителями, будучи уже взрослым, в чине офицера, совершив путешествие в Тобольск.

С отцом он виделся в последний раз. А вот с матерью, по её возвращении в Москву, встречался неоднократно. Но отношения их были натянутыми и холодными; между ними не было чувств, связывающих мать и дитя. Да и откуда было взяться этим чувствам! Алексей Михайлович остался без матери в годовалом возрасте. Она не видела первых шагов своего ребёнка, не слышала его детского лепета, первых слов, не переживала его болезней, не радовалась его успехам...

Умерла Наталья Абрамовна 14 апреля 1819 года в возрасте 73 лет (отсюда можно вычислить, что родилась она в 1746 году), погребена на кладбище Донского монастыря в Москве. Под конец жизни она уже почти утратила разум: *«Наталья Абрамовна почти совсем без ума, и Пушкин управляет своим именем»* (Из письма Василия Львовича Пушкина к П.А. Вяземскому от 11 сентября 1818 г.).

Воспитанник Мелиссино

Годовалым младенцем Алексей Михайлович был оставлен матерью на попечение своей московской подруге (по другим сведениям — двоюродной сестре) Прасковье Владимировне Мелиссино и её мужу, Ивану Ивановичу Мелиссино.

Девичья фамилия Прасковьи Владимировны — Долгорукова.

Основателем княжеского рода Долгоруковых считается Владимир Иванович, первый князь Долгоруков, умерший около 1500 года.

Владимир Петрович, отец Прасковьи Владимировны, был князем Долгоруковым в девятом поколении. Мелиссино — известный древний греческий род (по-гречески «мелисса» — пчела; если перевести эту фамилию на русский, будет звучать как «Пчёлкин»).

История рода Мелиссино прослеживается с конца VII века. В начале XVIII века представитель одной из многочисленных семей рода Мелиссино, живший на острове Кефалония (самый большой остров Ионического моря), переселился в Россию. Это было время, когда Пётр I «прорубил окно» в Европу, и в Россию, по его приглашению, хлынули иностранные специалисты — архитекторы, инженеры, врачи... Многие из них так и осели в России навсегда, обзавелись семьями, потомством и стали полноправными россиянами. Лефорт, Брюс, Даль, Беринг, Барклай де Толли, Остерман, Брюллов и великое множество других фамилий стали неотделимы от русской истории, культуры, науки, воинской славы.

Лекарь Иоанн Мелиссино превратился в Ивана Афанасьевича и сделал успешную карьеру придворного врача. В 1712 году женился на дочери одного из приближённых Петра I. Менялись цари и царицы, а Иван Афанасьевич продолжал успешно практиковать при царском дворе. К концу правления Анны Иоанновны он стал уже её личным врачом, а с 1741 года — личным врачом сменившей её на троне (тоже, кстати, с помощью переворота) Елизаветы Петровны. Скончался в 1758 году, оставив двух сыновей — Ивана, родившегося в 1718 году, и его младшего брата, Петра, родившегося в 1726 году (по другим сведениям — в 1724 году).

Свою карьеру Иван Иванович начал, как и положено было в ту пору, на военном поприще. В 1739 году он окончил Корпус шляхетских кадетов, однако военным был недолго. В царствование Елизаветы Петровны, в 1755 году,

был основан Московский университет. В 1757 году государыня назначила Мелиссино, которому не было ещё и сорока лет, директором университета. Иван Иванович оставил по себе в университете самую добрую память. Многие выпускники первых лет обучения отзывались о нём с теплотой. «Старейшим [куратором] оставался Иван Иванович Мелиссино <...> *Управление [университетом] более относилось к Мелиссино [чем к Шувалову]. Он был добр и любил науки. В собраниях, раздавая шпаги, дипломы, награды или когда мы приходим к нему поздравительным обществом, он своё приветствие заключал всегда латинскою сентенцией. Как помню одну (в переводе. — А.С.): “Кто богатеет в науках и скудеет в нравственности, тот больше скудеет, чем богатеет”*; и другую: “Сила без разума гибнет от собственной тяжести”» (Из записки И.Ф. Тимковского, обучавшегося в университете в 1789–1797 гг.).

Свою характеристику Ивану Ивановичу даёт и княгиня Дашкова в своих «Записках»:

«Я ещё раз увидела князя Орлова в Брюсселе <...> тут же были ещё Мелиссино, попечитель Московского университета, его жена с племянниками, фрейлина Протасова и девица Каменская. Всё это общество сразу наводнило мою комнату; из них я была рада свидеться только с Мелиссино, человеком очень образованным, ровного и весёлого характера».

Из Брюсселя Дашкова переехала в Париж: «Я с удовольствием узнала, что Орлов со свитой уже уехали, и была рада, что мой добрый старик Мелиссино с женой остались в Париже».

Иван Иванович был таким человеком, с которым все рады были встречаться, общаться, поддерживать отношения.

В 1763 году, в самом начале царствования Екатерины II, Иван Иванович Мелиссино был назначен ею обер-прокурором Святейшего Синода.

Эту должность занимал человек светский, часто даже военный. Иван Иванович Мелиссино занимал её более пяти лет (с 10 июня 1763 по 24 октября 1768 года). Он пользовался благорасположением и полной поддержкой Екатерины II, был её верным «оком» и «рукой», то есть проводил политику, которая была угодна государыне. Члены Синода обычно безропотно и беспрекословно подчинялись всем приказанием и желаниям императрицы, которые им озвучивал обер-прокурор.

Именно при И.И. Мелиссино был проведён знаменитый указ «об уложении штатов» 1764 года, когда по всей России было закрыто (выведено за штат) множество монастырей (до Указа в центральной части России насчитывалось 954 монастыря, а после упразднения осталось 387, то есть было закрыто 567; в числе их была и наша Зосимо-Савватиевская пустынь в Фаустове).

Супруги Мелиссино не имели детей. К Алексею Михайловичу Пушкину, который с годовалого



*Обер-прокурор Святейшего Синода
И.И. Мелиссино. Гравюра
А.Афанасьева. Первая четверть XIX в.*

возраста был на их попечении, они относились как к собственному ребёнку.

В 1768 году Иван Иванович Мелиссино ушёл в отставку с должности обер-прокурора и стал опекуном московского Воспитательного дома. В 1771 году ушёл в отставку куратор Московского университета В.Е. Адодуров, Иван Иванович занял его место. Должность куратора исполнял до самой своей смерти (1795). Мы можем считать его первым, кто издал столь широко распространённые сегодня «пособия для поступающих» (в университет, институт и т.д.). Это пособие для поступления в Московский университет называлось «Способ учения». В нём нашли своё отражение идеи передовой русской педагогики, главным девизом которой был лозунг: «Учением не истребить охоту к учению».

Военная карьера

В 1790 году, в девятнадцать лет, Алексей Михайлович Пушкин начал действительную службу. В то время шла очередная русско-турецкая война. Надо сказать, что с турками Россия воевала чаще всего. Если считать первой русско-турецкой «кампанией» Прутский поход Петра I 1711 года, а последней — войну за освобождение Болгарии 1877–1878 гг. и иметь в виду, что Крымская война 1853–1856 гг. тоже началась поначалу как русско-турецкая, то получается, что менее чем за два века (за 167 лет) русско-турецких войн было восемь.

Война, в которой довелось немного повоевать Алексею Михайловичу, была четвёртой по счёту (1787–1791) и завершилась Яским мирным договором. Ряд блистательных побед одержал А.В. Суворов, в частности, в битве при Фокшанах и Рымнике; были взяты Аккерман, Бендеры и знаменитая, считавшаяся неприступной крепость Измаил.

Однако во всех этих битвах, сражениях и штурмах Алексей Михайлович не принимал участия. Хотя он и находился в действующей армии в Молдавии, но служил в должности флигель-адъютанта в штабе генерала Ю.В. Долгорукова, младшего брата его приёмной матери, Прасковьи Владимировны, то есть как бы своего дяди.

В 1791 году (ему двадцать лет) он вернулся в Россию в звании секунд-майора (8-й чин в табели о рангах) и занял должность кригс-комиссара «подполковничьего» ранга в главном кригс-комиссариате (то есть военном комиссариате). Звание подполковника Алексей Михайлович получил в 1792 году, а служил в комиссариате до 1795 года.

В этом году умер Иван Иванович Мелиссино, и в этом же году нача-



Князь Юрий Владимирович Долгоруков.
Портрет работы Ф.Кюнеля. 1813 г.

лась вторая война с Персией. Алексей Михайлович отправился в поход в Персию, и вот здесь впервые «понюхал пороха». Воевал в отряде генерала от инфантерии (то есть пехотного) Булгакова и проявил себя в боях при занятии садов и кладбищ под Дербентом (3 марта 1796 года), при Шемахе и Куре (24 ноября того же года). Эта Шемаха, бывшая тогда у всех на слуху, отразилась в «Сказке о золотом петушке» Пушкина в образе загадочной «шемаханской царицы». В 1800 году Алексей Михайлович назначен шефом Нарвского драгунского полка, однако в том же году (19 октября) отставлен от службы, как сказано в формуляре, «за ложный рапорт» и вскоре переведён с тем же званием в другой драгунский полк — Рижский. Что за ложный рапорт — неизвестно.

В 1800 году (в 29 лет!) Алексей Михайлович уже имеет звание генерал-майора. Это четвёртый генеральский класс (третий — генерал-лейтенанты, второй — генералы от инфантерии, кавалерии и т.д., а первый — полный генерал). Драгунским полком он командовал до 1803 года, когда был отставлен «без награждения чином», то есть без присвоения следующего звания.

В 1806 году вышел указ о создании земского войска, или народной милиции. Главкомандующим этим земским войском в Низовой области был назначен «как бы» дядя Алексея Михайловича, князь Ю.В. Долгоруков. Алексей Михайлович снова оказался под его «крылом», став дежурным генералом при командующем.

В 1809 году князь Ю.В. Долгоруков окончательно оставил службу и ушёл на покой (ему 69 лет, впереди почти 25 лет жизни), а вскоре оставил народную милицию и Алексей Михайлович (ему было 38 лет). Однако он не ушёл со службы совсем, а устроился («определился») в Мастерскую Оружейной палаты. Должность его называлась «непременный член». В 1811 году, продолжая служить в палате, из военного ведомства он фактически перешёл в гражданское, генерал-майор стал действительным статским советником. Кроме того, был пожалован в камергеры Двора Его Императорского Величества Александра I.

Это было старшее придворное звание, соответствовавшее его чину.

В Оружейной палате Алексей Михайлович прослужил до 1816 года и в возрасте 45 лет распрощался с госслужбой, всецело отдавшись общественной действительности, своим увлечениям (главным образом театру), семье...

Подводя итог его служебной деятельности, можно сказать: ничем особенным он себя не проявил, особого рвения не выказал и от всех других офицеров и чиновников особенно не отличался.

История любви

Будучи на самой вершине военной карьеры, в 1801 году (по другим сведениям, в 1802) Алексей Михайлович наконец женился. По тогдашним понятиям поздно: ему было 28 или 29 лет. Его избранницей стала Елена Григорьевна Немцова, которая была моложе его на семь лет (родилась в 1788 году). Сложность ситуации заключалась в том, что Елена Григорьевна уже была замужем за генерал-майором Николаем Фёдоровичем Немцовым, то есть Немцова — её фамилия по мужу, а девичья — Воейкова. Она была дочерью Григория Александровича Воейкова и его жены, Евдокии Михайловны, урождённой Ярославовой.

Брак с Немцовым не принёс ей счастья. Бравый генерал фактически вынудил Елену Григорьевну выйти за него замуж. Когда он увидел, что ухаживания не приносят результата, то с досадой пригрозил, что застрелится, если она не даст согласия на брак. В конце концов Елена Григорьевна согласилась, но прожила в браке с генералом всего один год. У них родился сын. И тут она встретила нашего героя (кстати, такого же генерал-майора), молодого «светского льва», блестящего и остроумного. Кончилось тем, что Алексей Михайлович фактически «увёл» её от мужа. Она официально развелась, что по тем временам было весьма не просто, малолетнего сына оставила на попечение родителей бывшего мужа (заметим, что наш герой так же был оставлен матерью в годовалом возрасте, правда, по другой, прямо противоположной, причине).

Второй брак Елены Григорьевны оказался удачен. Они счастливо прожили двадцать пять лет, до самой смерти Алексея Михайловича. Елена Григорьевна пережила его на восемь лет (она скончалась в 1833 году, всего лишь на 55-м году жизни). У супругов родились 12 детей, но половина их умерли ещё в детстве или младенчестве, и лишь пятеро пережили своих родителей. В доме молодых Пушкиных (а домов в Москве у них было два: на Дмитровке, 26, и на Тверской, дом 5) жила и воспитательница его, заменившая ему мать, — Прасковья Владимировна Мелиссино, к тому времени уже овдовевшая. Она посвятила себя уходу и заботе о детях своего воспитанника, заменивших ей внуков, коих не суждено было ей иметь. Тем самым Прасковья Владимировна давала возможность молодым и жизнерадостным супругам всецело отдаваться светской жизни — балам, гостиним, театрам, — которую те очень любили. Это при том, что Елена Григорьевна почти постоянно была беременна.

Из письма Василия Львовича Пушкина к П.А. Вяземскому: *«Я сегодня обедаю у Пушкина. Старуха Мелиссино именинница. Ей, слава Богу, минуло на этих днях 86 лет. Здорова comme le Pont-Neuf, как говорит воспитанник её Алексей Михайлович»* (14 октября 1818 года). Из этого письма можно вычислить год рождения Прасковьи Владимировны: если в 1818 ей исполнилось 86 лет, то родилась она, значит, в 1732 году.

Одну из дочерей Алексей Михайлович назвал в честь своей приёмной матери Прасковьей. Именно она стала впоследствии владелицей села Константинова.

Вот сведения о детях Алексея Михайловича и Елены Григорьевны. Первый ребёнок их, дочь Ольга, родилась ещё до брака, 11 марта 1801 года. По указу от 12.02.1802 года ей дозволено принять фамилию отца и все права по роду его. Впоследствии она вышла замуж (до 1818 года) за полковника греческой службы Герасима Дмитриевича Орфано, участника знаменитого восстания Ипсиланти в Греции (в пушкинском «Выстреле» главный герой, Сильвио, погиб именно во время этого восстания).

Ольга Алексеевна Пушкина-Орфано умерла 2 февраля 1862 года в Москве и похоронена на Ваганьковском кладбище. Погодком Ольги был сын Алексей, но он прожил недолго, родился в 1802 году и умер ещё до 1811 года.

Третьим ребёнком была упомянутая выше Прасковья Алексеевна. Она родилась в 1803 году, умерла 7 августа 1875 года, похоронена была рядом с отцом, на церковном кладбище села Константинова. Надгробие её не сохранилось, — видимо, уничтожено во времена религиозных гонений советского периода. Прасковья Алексеевна одно время была невестой С.И. Тургенева, но замуж так и не вышла. Известно, что она была художницей и, возможно, принимала участие в росписи Троицкой церкви, кото-

рую Прасковья Владимировна Мелиссино выстроила в память своего умершего мужа.

Четвёртым ребёнком был сын Иван, родившийся 14 декабря 1804 года. Он прожил долгую жизнь, более семидесяти лет. Вот некоторые вехи его биографии. В 1823 году (ещё при жизни отца) выпущен из московского учебного заведения для колонновожатых. В XVIII и начале XIX века это был младший чин в русской армии, а в XIX веке колонновожатым называли офицера, ведущего колонну. Иван Алексеевич был определён прапорщиком в свиту его величества «по квартирмантской части», в 1826 году с этой должности уволен гвардии подпоручиком. В 1829 году он — член Московской мануфактурной коллегии (пошёл по стопам своего дяди Михаила Алексеевича). В 1831 году за усердие в прекращении холеры в Москве удостоен чина титулярного советника (это, кстати, та самая холера, которая вынудила Александра Сергеевича Пушкина сидеть в своём имении в Болдино, подарив нам всем «Болдинскую осень»). В 1835–1849 годах Иван Алексеевич — инспектор комиссии для строения в Москве (нечто вроде архитектурного надзора). В 1858 году от Венёвского уезда Тульской губернии, где у него было имение с 404 душами, избран в комитет для обсуждения мер к улучшению быта помещичьих крестьян. В том же году написал «проблемную» статью «О возможности выкупа крестьянских участков без пособия от правительства» (напечатано в «Русском вестнике»). В 1860 году он — член Тульского Губернского по крестьянским делам присутствия. После освобождения крестьян в 1861 году от дел отошёл. Умер 19 августа 1875 года. Был дважды женат. Первая жена — Татьяна Ефимовна Рынкевич (30.10.1804–29.04.1828 года) умерла, можно сказать, в юности. Через два года после её смерти он женился вторично (17.09.1830) на графине Софии Владимировне Васильевой (13.09.1807–14.03.1844). Овдовев вторично, Иван Алексеевич так до конца жизни вдовцом и остался.

Пятым ребёнком четы Пушкиных была дочь Наталья, родившаяся в 1806 году. В 1833 году она вышла замуж за медынского помещика, майора Александра Александровича Челищева.

Шестой ребёнок — дочь Фаина — родилась в 1807 году. Замуж вышла за писателя-экономиста Дмитрия Петровича Скуратова. Он был владельцем имения Нары Фоминской под Москвой. Возможно, именно о ней говорится в письме В.Л. Пушкина к П.А. Вяземскому от 24 июля 1819 года: *«Девушка Миллер или Меллер, дочь Алексея Михайловича Пушкина, идёт замуж за какого-то дворянина. В сентябре будет свадьба. Печать, которую Пушкин получил, теперь почти и не нужна»*. Здесь не ясно, почему невеста названа «девицей Миллер». Возможно, это её второй брак (тогда почему «девица?»), и печать, которую получил Алексей Михайлович, есть свидетельство о разводе?

Последним ребёнком Алексея Михайловича был Дмитрий, умерший малолетним 19 апреля 1819 г; об этом сообщает В.Л. Пушкин Вяземскому: *«У Алексея Пушкина меньшой сын умирает. Елена Григорьевна в отчаянии, а Наталья Абрамовна при последнем конце»* (письмо от 10 апреля 1819 года).

Следующее письмо Василия Львовича от 23 апреля:

«Наталья Абрамовна Пушкина умерла и погребена. На другой день её кончины у Пушкина умер также маленький Митенька, и они, а особенно Елена Григорьевна, в большом горе».

Таким образом, почти одновременно у Алексея Михайловича умерла мать, которой было семьдесят три года, и младший сын Митенька, которому было, по всей видимости, года два-три.

К ранним смертям младенцев, как это ни прискорбно, в семействе Пушкиных почти привыкли. По росписям, у них, кроме упомянутого Дмитрия, умерли в младенчестве ещё пять детей. Представителем мужской линии оставался один Иван. У него родились два наследника — Алексей, первенец (названный в честь деда), и Владимир, но оба, увы, умерли в младенчестве (до 1845 г.), похоронены на Ваганьковском кладбище. Больше сыновей у Ивана Алексеевича не было, только дочери.

Мужская ветвь рода Пушкиных, представителем которой был наш герой, Алексей Михайлович, прервалась, или, как тогда говорили, пресеклась.

Род Пушкиных

Какое родственное отношение имеет наш герой Алексей Михайлович Пушкин к Александру Сергеевичу?

В «Российском Биографическом словаре» утверждается: *«Родственная связь Алексея Михайловича с Александром Сергеевичем следующая: Алексей Михайлович приходится родным племянником М.А. Ганнибал (рождённой Пушкиной) — бабушке поэта и двоюродным братом Н.О. Пушкиной (рождённой Ганнибал) — матери поэта, которому он, таким образом, приходился, по женской линии, двоюродным дядей».*

Это утверждение о «двоюродном дяде» кочевало затем по всем публикациям и материалам. Между тем племянником бабушки Пушкина Марии Алексеевны Ганнибал был Александр **Юрьевич** Пушкин. В то время, когда родился Александр Сергеевич (26 мая ст. ст. 1799 г.), Александр Юрьевич находился в походе в полку. Вскоре он получил от сестры письмо с сообщением о рождении у Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных сына, названного «на память его» Александром.

Так кем же в действительности приходился наш герой Алексей Михайлович Пушкин великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину?

Разберём родословное древо обоих. До седьмого колена их ветвь единая. Общий предок у них — некий Ратша, прибывший «из немец» в Новгород. Из «немец» означало просто из-за границы. Сам Александр Сергеевич упомянул этого Ратшу (или Рачу) в своём стихотворении «Моя родословная»: «Мой предок Рача мышцей бранной / Святому Невскому служил». Вероятно, Ратша — это сокращённое, уменьшительное от таких старинных имён, как Ратибор, Ратмир (так же, как Саша — от Александра).

Правда, святому Александру Невскому служил, видимо, не сам Ратша, а его правнук Гаврила Олексич — витязь, прославившийся в знаменитой Невской битве 15 июля 1240 года; в следующем, 1241 году, Гаврила Олексич был убит, ещё «не старым», как сообщает роспись. У него остался сын, Иван Гаврилович, по прозвищу Морхиня (может быть, от «морх» — моры, космы, непричёсанные волосы, «морховатый» — неопрятно одетый; В.И. Даль). Внуком Ивана Гавриловича Морхини был Григорий Александрович Морхинин, получивший прозвище Пушка. Он и стал родоначальником всех Пушкиных: Мусиных, Кологривовых, Поводовых, Бобрищевых, Шафериковых, Товарковых, Рожновых, Курчевых и многих других. Всё это потомки Григория Ивановича Пушки — то есть Пушкины.

У Григория Александровича было 7 сыновей (сколько дочерей — неизвестно, ибо обычно родословную вели исключительно по мужской линии): старший сын — Александр Григорьевич Пушкин, второй — Ни-

кита Григорьевич, третий — Василий Григорьевич по прозвищу Улита, четвёртый — Фёдор Григорьевич, по прозвищу Товарок (отсюда — Товарковы), пятый — Константин Григорьевич, шестой — Андрей Григорьевич, седьмой — Иван Григорьевич. Двое последних (Андрей и Иван) были бездетны либо умерли рано, а первые пятеро оставили многочисленное потомство.

«Наш» Алексей Михайлович ведёт свою родословную напрямую от Григория Александровича Пушки и его старшего сына Александра Григорьевича, а великий поэт Александр Сергеевич — от того же Григория Пушки, но от его пятого сына, Константина Григорьевича.

До общего предка Григория Пушки от нашего Алексея Михайловича — десять поколений, от Александра Сергеевича — двенадцать. Когда родился Александр Сергеевич, нашему Алексею Михайловичу было 28 лет, он прожил уже больше половины жизни.

Встречались ли Алексей Михайлович и Александр Сергеевич? Можно определенно сказать — да.

В «Летописи жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина», составленной М.А. Цявловской (т. I, 1799–1826), читаем: «1801–1811. Июль, 15. У Пушкиных бывают Василий Львович и Алексей Михайлович Пушкины (именно так, вместе. — А.С.), И.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков...» (Л.: Наука, 1991. С. 22).

Весь цвет русской литературы и поэзии. В числе их и наш Алексей Михайлович. Можно пофантазировать и представить себе, как он брал маленького Сашу, своего тезку (и дальнего-предального родственника) на руки, может быть, забавлялся с ним. В 1801 году у Алексея Михайловича как раз тоже родился первенец, дочь Ольга.

Статская служба

В 1809 году, уйдя из народной милиции, Алексей Михайлович определился, как мы помним, в мастерскую Оружейной палаты, где прослужил до 1816 года; в 1811 он окончательно покончил с военной карьерой.

Одновременно Алексей Михайлович пытался устроить и собственные дела. От матери ему досталось имение в окрестностях Можайска; там он вознамерился открыть суконную фабрику. И дело было наладилось...

«Валять сукна» Алексею Михайловичу пришлось совсем недолго. На Россию надвинулась новая беда — наполеоновское нашествие. Можайское имение вместе с фабрикой оказалось в самом центре кровопролитных боёв. До Бородинского поля было рукой подать. И имение, и фабрику в августе 1812 года уничтожил огонь войны. Сам Алексей Михайлович в войне не участвовал (хотя ему было всего сорок восемь лет) и даже не верил в благоприятный её исход для России. Заметим, что Алексей Михайлович, впрочем, как и большинство высшего дворянства, был большим поклонником всего французского.

Перед самым занятием Москвы Наполеоном он вместе с семьёй бежал в Нижний Новгород в числе многих других москвичей. Если в 1612 году народное ополчение пришло из Нижнего Новгорода освобождать Москву, то ровно двести лет спустя москвичи бежали в Нижний. Здесь была практически вся богатая и вся литературная Москва: Карамзины, Батюшков, А.Ф. Малиновский и «оба Пушкины» — Василий Львович и Алексей Михайлович.



Петр Андреевич Вяземский (1792–1878)
Художник Ю.В. Иванов

Делать в Нижнем было особо нечего, Алексей Михайлович находил-ся в отчаянии от потери имения и всего имущества, от крушения планов. Чтобы отвлечься и забыться, было два способа — игра в карты и попойки.

В.Л. Пушкин — князю Вяземскому: «Алексей Михайлович, однофамилец мой, кричит громче и курит табак более прежнего, он с утра до вечера играет в карты и выиграл уже тысяч до осьми. Прекрасная Елена погружена в какую-то меланхолию, шьёт рубашки для пленных и вздыхает об их участи. У меня с нею бывают часты споры, но мои увещания бесполезны» (14 декабря 1812 года). Батюшков дополняет этот портрет Алексея Михайловича: он «с утра самого искал кого-нибудь, чтобы поспорить, и доказывал с удивительным красноречием, что белое — чёрное, чёрное — белое, который вздохнуть не давал Василию Львовичу и теснил его неотразимой логикой».

332

АЛЕКСАНДР СУСЛОВ

Почти сразу же после того как французы ушли из Москвы, Алексей Михайлович с семьёй уехал из Нижнего в Санкт-Петербург. Василий Львович ещё оставался в Нижнем и спрашивал Вяземского: «Что говорит о нём (о стихотворении Жуковского «Певец во стане русских воинов». — А.С.) Алексей Пушкин? Бываешь ли ты у него, и так ли он весел и смешон? Надеюсь, что и я скоро буду посреди очень мне любезных» (18 ноября 1813 года). В другом письме, уже к поэту К.Батюшкову, Василий Львович писал: «Радуюсь сердечно, что вандал наш А.М. Пушкин очистился, омылся еси, и отстал от Ерофееча (то есть бросил пить. — А.С.). Но чего он ищет на берегах Невы? Стука в стаканы, не простучал бы он и последнего» (20 мая 1813 года).

Но вскоре Алексей Михайлович вернулся в Москву, которая после пожара быстро отстраивалась и возрождалась.

Начали поправляться дела и у нашего героя. Видимо, ему помогли обе его матери: родная, Наталья Абрамовна, и приёмная, Прасковья Владимировна. Последняя и «отказала» ему своё имя — село Константиново Бронницкого уезда (где он в дальнейшем и будет похоронен).

Светский лев

Алексей Михайлович Пушкин оставил о себе память прежде всего как блестящий острослов и завсегда-тай светских балов, собраний, гостиных как Москвы (в основном), так и Санкт-Петербурга. Князь П.А. Вяземский называет его «соблазнительно-обворожительным». Остроумие и находчивость были неистощимы и привлекали к нему всеобщее внимание. Определение

«светский лев» как нельзя более к нему подходило. Кроме того, Алексей Михайлович бравировал своим якобы вольнодумством. Он считал себя последователем итальянского художника Сальваторе Тончи (впрочем, не только художника, но ещё и поэта, певца и музыканта и к тому же ещё и философа). Его, так сказать, философию изложил князь Вяземский в одной из своих знаменитых «Записных книжек».

«Философическое учение итальянца Тончи заключалось в том, что всё в жизни и в мире призрачно, что ничего нет положительного и существенно-действительного. По системе его, человек не что иное, как тень, как призрак, которому всё что-то грезится и мерещится; одним словом, он преподавал, что всё это есть не что иное, как ничего».

Алексей Михайлович заслужил славу даже в некотором роде безбожника (если «ничего нет», то что же тогда сотворил Создатель за шесть дней творения?). Кроме того, он считался призванным остроословом и насмешником и ярым галломаном, то есть приверженцем и поклонником всего французского. Немудрено, что патриоты, такие, как, например, Глинка, поэт и издатель официально патриотического журнала «Русский вестник», крайне неодобрительно относились к нашему герою.

Когда позволяли обстоятельства, Алексей Михайлович блистал в гостиных вместе с женой Еленой Григорьевной. Но она, как мы помним, практически постоянно была «в положении». На балах или домашних концертах Алексей Михайлович часто участвовал в каких-нибудь забавных сценках (бывало, сам их придумывал и «ставил»). А.М. Булгаков в письме к брату описывает такую. 14 января 1820 года у Марии Ивановны Римской-Корсаковой состоялся маскарад, «гвоздём которого была собачья комедия». В ней принимали участие не только мужчины, но и дамы. «Башилов как собачка прыгал через обруч, и чуть не так А.М. Пушкин ну его бичом, а он ну лаять».

Непременной «обязанностью» светского человека была игра в карты. Она являлась одним из главных времяпрепровождений. В карты выигрывали, равно как и проигрывали, целые состояния. Заядлыми игроками были многие, в том числе и А.С. Пушкин. Был им, просто не мог не быть, и наш Алексей Михайлович. Вот свидетельство В.Л. Пушкина из письма к Вяземскому: *«Что делает антагонист мой Алексей Пушкин? Он, я слышу, куёт деньги и играет в квинтич»* (11 января 1812). (Квинтич — название карточной игры.) Прошло шесть лет, и — *«Пушкин играет в квинтич и увозит ежедневно по несколько сот рублей»* (14 октября 1818, Москва). *«Пушкин (А.М.) перестал заниматься русскою историей, он теперь всякий день отвозит деньги в ломбард и около 100 тысяч в выигрыше»* (18 апреля 1818, Москва). Сто тысяч для такого широкого человека, светского льва, были деньгами небольшими. *«Алексей Пушкин приехал в Москву, он жалуется, что ему жить нечем, ему только сто тысяч доходу. Елена Григорьевна всё так же жива, свежа и любезна. У них зимой будут концерты и ужины, а балов по случаю траура (смерть матери. — А.С.) не будет».*

Пока Елена Григорьевна была на сносях, Алексей Михайлович «заводил амур» на стороне. *«Алексей Михайлович Пушкин утопает в удовольствиях. Он теперь свёл знакомства с сестрою бывшей Madam Duportal; и молодая красавица (ей только 18 лет отроду) разъезжает с моим родственником, в мужском платье, и нигде от него не отстаёт»* (23 сентября 1820 года). Самому Алексею Михайловичу, кстати, было на ту пору 49 лет, и «молодая красавица» годилась ему в дочери.

Вяземский замечает (по другому поводу), что *«любовные похождения были в то время в чести и придавали человеку известность и некоторый*

блеск». Таким образом, похождения с молодой красавицей добавили и так блестящему Алексею Михайловичу ещё дополнительного блеску.

В конце XVII — начале XIX века часто возникали различные общества: литературные, театральные, просто дружеские. Вспомним «Арзамас», «Зелёную лампу». Вот одним из таких обществ, возникших в Петербурге в конце XVII века, было общество с названием «Галера». Как пишет Вяземский, «вовсе не тайное, а дружеское и несколько разгульное общество». Общество «золотой молодёжи», как мы бы сейчас сказали. Состояли в нём и оба наших Пушкина — Василий Львович и Алексей Михайлович. Входил туда и известный волокита («ловкий и счастливый», как говорил Вяземский) Хитров. В то же время Хитров был «умён, блистателен и любезен». Вяземский приводит рассказ Алексея Михайловича об этом Хитрове: *«Алексей Пушкин рассказывает, что однажды, на военной сходке, заметил он книжку в гусарской сумке его: это были элегии Парни, только что изданные в Париже. Хитров бросился к Пушкину и говорит ему: “Ради Бога, молчи и не губи меня! Товарищи по полку любят меня потому, что считают меня служакой и гулякой и чуть ли не безграмотным. Как скоро проведает они, что занимаюсь чтением французских книг, я человек пропащий и мне в полку житья не будет”»*.

Подобных историй и случаев Алексей Михайлович знал множество и охотно их рассказывал. Некоторые из них Вяземский запомнил и занёс в свою «Записную книжку».

Вот одна из таких историй.

«В одно из пребываний Александра Павловича (Александра I. — А.С.) в Москве он удостоил частное семейство обещанием быть у него на бале. За несколько дней до бала хозяин дома простудился и совершенно потерял голос. “Само Проведение, — говорит тот же Пушкин, — благоприятствует этому празднику: хозяин не может выговорить ни одного слова, и государь избавился от скуки слушать его”».

Подобные истории именовались в то время «анекдотами» и часто описывали реальные случаи, слегка, может быть, приукрашенные, но бывали и «художественные вымыслы», которые сочиняли сами рассказчики. Предметом анекдотов были удачные выражения, остроты, шутки. Анекдоты о ком-либо свидетельствовали о популярности последнего, придавали ему «блеску».

«При Алексее Михайловиче говорили о деревенском поверии, что тараканы залезают в ухо спящего человека, пробираются до мозга и выедают его. “Как я этому рад, — прервал Пушкин, — теперь не буду говорить про человека, что он глуп, а скажу: обидел его таракан”».

«Алексей Михайлович Пушкин спрашивал путешествующего англичанина: “Правда ли что изобрели в Англии машину, в которую водят живого быка и полтора часа спустя подают из машины выделанные кожи, готовые бифштексы, гребёнки, сапоги и проч.”. — “Не слышал, — просто душно отвечал англичанин, — при мне ещё не было; вот уже два года что я разъезжаю по твердой земле. Может быть, эта машина изобретена без меня”».

Ещё анекдот «от Вяземского»: *«Алексей Михайлович Пушкин рассказывал, что у какой-то провинциальной барыни убежала крепостная девушка. Спустя несколько лет барыня проезжает через какой-то уездный город и отправляется в церковь к обедне. По окончании службы дьячок подносит ей просвиру. Барыня глядится в него и вдруг вскрикивает: “Ах, каналья, Палашка, да это ты?!” Дьячок в ноги: “Не погубите, матушка! Вот уже*

четыре года, что служу здесь церковником. Буду за ваше здравие вечно Бога молить»».

У Александра Сергеевича Пушкина осталась в бумагах запись замысла так и неосуществлённого романа «Папесса Иоанна» — о женщине, переодетшейся в мужскую одежду и в конце концов избранную папой. Основа сюжета та же, что и в приведённом анекдоте, разница лишь в масштабах.

Эти два Пушкина

В число друзей и близких знакомых Алексея Михайловича входили многие известные личности того времени. Прежде всего надо назвать князя П.А. Вяземского (который был близким другом и «главного» нашего Пушкина — Александра Сергеевича). С Алексеем Михайловичем часто соприкасались театрал Ф.Ф. Кокошкин, упомянутый уже художник и «философ» С.Тончи, А.И. Тургенев, граф Фёдор Толстой (по прозвищу Американец), известный своими дарованиями, эксцентрическими выходками и бретёрством; Н.Ф. Хитрово, К.Н. Батюшков, поэт И.И. Дмитриев; Д.В. Дашков, литератор, член «Арзамаса», дипломат, министр юстиции (с 1832 года); Д.Н. Блудов, литератор, член «Арзамаса», и др.

Каждый из них был замечательной личностью и о каждом можно рассказывать отдельно. Наиболее же близко Алексей Михайлович сошёлся со своим «родственником» Василием Львовичем Пушкиным, родным дядей Александра Сергеевича. Считается, что именно Василий Львович «со-

сватал» своего племянника с музами, стал его первым учителем в поэзии. Гениальный племянник называл его «Парнасский мой отец», «Писатель нежный, тонкий, острый / Мой дядюшка...», «Дядя на Парнасе». Наибольшую известность Василию Львовичу принесла его фривольная поэма «Опасный сосед». Кроме того, он — автор многочисленных басен и сказок, посланий, мадригалов, эпиграмм... Его нельзя назвать гениальным: это был среднего уровня «салонный» поэт, можно сказать, даже талантливый. Василий Львович был большим приверженцем французской поэзии, лёгкой и изящной. В то время в литературных кругах происходила яростная полемика между сторонниками Н.М. Карамзина, собственно, и начавшего реформу русского литературного языка (которую блестяще продолжил и завершил Александр Сергеевич Пушкин), и сторонниками А.С. Шишкова, отстаивавшего отечественное, исконное и посконное. В схватках между «шишковистами» и «карамзини-



*Василий Львович Пушкин (1766–1830).
Художник И.О. Вивьен де Шатобрен.
Автолитография, белила. 1823.
Государственный музей
изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина*

стами» Василий Львович был на стороне последних. «Люблю для сердца утешенья / Хвалу я петь Карамзину», — писал он в стихотворении «Люблю и не люблю».

Все без исключения современники отмечают мягкость его характера, добродушие, незлобивость, отзывчивость.

«Наш» Пушкин, Алексей Михайлович, был почти ровесником Василия Львовича, всего на пять лет его младше. Их связывала многолетняя «вражда-дружба», постоянная словесная пикировка, стихотворные «дуэли», взаимные шутки и розыгрыши. За их «пикировкой» следила вся просвещённая Москва, это было одним из развлечений того времени.

Василий Львович называл Алексея Михайловича своим антагонистом.

Алексей Михайлович также не чуждался поэзии (всё-таки фамилия обязывала), но стихотворцем был весьма и весьма скромным. Ему хватало ума понимать свой уровень, и стихов он почти не печатал.

На литературном фронте Алексей Михайлович был также антагонистом Василия Львовича, то есть антикарамзинистом. Известно, что он неодобрительно отзывался об «Истории» Карамзина. Восхищался же Алексей Михайлович талантом князя Шаховского, ныне практически забытого драматурга. «Он почти всякий день бывает с Шаховским, восхищается его умом и талантом» (из письма Василия Львовича Вяземскому, 18 марта 1819 г.).

В своём послании «Графу Ф.Н. Толстому» Василий Львович даёт определение своему «антагонисту»: «...И Пушкин, балагур, стихов моих хулитель — которому Вальтер лишь нравится один...».

И Василий Львович, и Алексей Михайлович настолько привыкли к этой взаимной перепалке, и общество настолько к ней привыкло, что называло их не иначе как «оба Пушкиных». Однажды Алексей Михайлович распустил слух (в шутку!), что Василий Львович скончался. «Скончавшийся» ответил на это стихотворением с длинным названием «На случай шутки А.М. Пушкина, который утверждал что я умер», которое начинается так:

Однофамилец мой, — я слышу, утверждает,
Что я оставил белый свет,
Что думать здесь никто о мёртвом не желает
И что красавицам во мне и нужды нет.

Стихотворение длинное (28 строк), и смысл его в том, что да, я действительно умер — но только «для шума и утех», бессмысленных карточных игр, пустых разговоров и т.д. Заканчивается оно так:

Однофамилец мой, как хочет, рассуждает;
Но вопреки словам его, в душе своей он точно знает,
Что жить ещё хочу и жив я для него.
(1815)

То есть несмотря ни на что он считает «антагониста» своим другом «и жив для него».

Александр Сергеевич, находившийся в ссылке в Михайловском, был в курсе этих перепалок, о которых ему подробно сообщал князь Вяземский и другие корреспонденты.

Когда в начале июня 1825 года он получил от Вяземского письмо с сообщением о смерти Алексея Михайловича (Вяземский отправил его 7 июня из своего имения Остафьево), то первым делом воскликнул (в



*Константин Николаевич Батюшков
(1787–1855)
Художник Ю.В. Иванов*

Талантом поэтическом они действительно были не равны, но кто из них истинный поэт, кто дилетант, кто просто рифмоплёт, рассудит — и рассудило — только время.

На театральном поприще

Главным призванием, главным талантом Алексея Михайловича была не поэзия, а театр.

Его воспитатель, И.И. Мелиссино, сам увлекался театром. Вспомним, что младший брат, П.И. Мелиссино, организовал театральную труппу при сухопутном Кадетском корпусе.

Полностью (или в значительной мере) отдаться театру Алексей Михайлович смог лишь оставив военную службу и перейдя в «статские». Талант к актёрству у него, видимо, был врождённым, отсюда и его известное острословие, дар рассказчика, желание «блистать» и быть в центре внимания.

Всё тот же князь Вяземский дал меткую характеристику его сценической деятельности, таланту: *«На театральных подмостках был он как в комнате, как дома. Вообще он не легко смущался и никогда не рисовался. Публика для него не существовала. Он играл роль свою, как чувствовал, и как понимал её, и всегда чувствовал и понимал её верно, выражался непридуманно. Игра в лице его была мимическая и вне сцены».*

Театр являлся главным развлечением того времени. Ходить в театр было обязанностью светского человека. Процветали также и домашние спектакли, которые устраивались в богатых домах.

ответном письме): *«Как жаль, что умер Алексей Михайлович! И что не видал я дядиной травли!».*

«Травля» Василия Львовича закончилась лишь со смертью «антагониста-однофамильца».

Смерть Алексея Михайловича оказалась уже не шуткой, и его старый друг Василий Львович, надо думать, очень сожалел об этом. Хотя и отказывал «с комической важностью», как пишет Вяземский, Алексею Михайловичу в праве называться поэтом.

В 1817 году К.Батюшков в стихотворении «Запрос Арзамасу» (то есть литературному кружку, где Василий Львович был старостой), в частности, написал:

Три Пушкина в Москве, и все
они — поэты,
Я полагаю, все они имеют леты.
Талантом, может быть, они
и не равны,
Один другого больше пишет...

В этих «благородных» любительских спектаклях и подвизались два талантливых актёра-любителя, два соперника по искусству Мельпомены — Фёдор Фёдорович Кокоскин и Алексей Михайлович Пушкин.

Ф.Ф. Кокоскин (1773—1838), также известный всей Москве персонаж, страстный театрал и актёр-любитель; с 1823 по 1831 год был даже директором (управляющим) Московских императорских театров. Настоящий русский барин, жил пышно и при этом славился хлебосольством и радушием. В театре Апраксина оба театрала заведовали разными сценами: Фёдор Фёдорович, как знаток старинных сценических преданий и обычаев, заведовал русской сценой, а Алексей Михайлович, естественно, французской. Говорят, что Алексей Михайлович был неподражаем в роли Фигаро. Наверное, он и в жизни походил на этого героя...

В 1814 году, по случаю победоносного окончания Отечественной войны и взятия Парижа, в Москве 19 мая было устроено большое празднество, «гвоздём» которого стала пьеса (или, как тогда говорили — пролог) в стихах, сочинённая нашим Алексеем Михайловичем и называвшаяся «Храм Бессмертия». Россия в отсутствие своего государя молит небо о возвращении Александра. Вирши эти сохранились, и мы теперь можем оценить поэтический дар нашего героя.

По свидетельствам очевидцев и хроникёров, праздник прошёл блистательно.

Постановка Пролога стала, видимо, главным театральным триумфом Алексея Михайловича. Хотя в работе над текстом ему помогал князь Вяземский, всё равно получилось излишне пафосно и напыщенно, гладко, но банально.

Тёплый приём, который оказала публика этому действу, можно, наверное, по большей части отнести за счёт хорошеньких и прелестных исполнительниц... Да из-за бурного всплеска радости от победы.

Эпилог

Эпилог любого жизнеописания всегда один — уход из жизни, последняя дата, чёрточкой связанная с датой рождения.

Алексей Михайлович Пушкин не дожил до своего дня рождения пять дней. Он скончался 25 мая 1825 года в возрасте всего лишь 54 лет.

1825 год знаменателен для России известными событиями, которые произойдут в декабре. Алексей Михайлович не дожил до них полгода. Принял ли бы



*Константиново,
Троицкая (Успенская) церковь. 1797 г.*



Могила А.М. Пушкина. Август 1991 года. Фото автора

он в них участие? Вряд ли. Он уже давно оставил военную службу, да и весь склад характера говорит о том, что идеи декабристов были ему чужды.

В последние дни Алексей Михайлович оставался один: Елена Григорьевна, супруга, в это время жила за границей, пытаясь поправить здоровье своей больной дочери. Но до последнего часа с ним был неразлучный князь Вяземский, который затем и описал кончину Алексея Михайловича различным адресатам. В письме к А.И. Тургеневу от 27 мая он писал: *«Добрый и любезный наш Пушкин скончался третьего дня вечером тихо и без страдания. По-настоящему, умер он за десять дней до кончины своей. Сердечно его жаль, и за него лично и за окружающих»*.

В. Жуковский рассказывал, что Вяземский говорил ему о последних часах жизни Алексея Михайловича и твёрдости духа его в те минуты, когда он готовился к близкой кончине своей. Вяземский рассказывал также о некоем видении, которое Алексей Михайлович имел незадолго до смерти. Впоследствии Л.П. Павлищев сочинил и пустил в оборот целую легенду о смерти Алексея Михайловича, основанную, видимо, на представлении о нём как «вольтерьянце», кошунствующем и богохульствующем постоянно. Однако это не более чем легенда.

Вяземский, как мы помним, написал о смерти Алексея Михайловича Александру Сергеевичу в Михайловское, и тот ответил: *«Как жаль, что умер Алексей Михайлович!»*.

Сожаление выражали все, знавшие и соприкасавшиеся с Алексеем Михайловичем. О покойниках принято говорить только хорошее, но об Алексее Михайловиче ничего плохого сказать и нельзя. В чём-то можно, наверное, попрекнуть (ну а кого нельзя?), некоторые отзывы о нём не слишком доброжелательны (но у кого нет противников? — только у пустых людей), в чём-то он, наверное, заблуждался (а кто не заблуждался?).

Каков итог сравнительно короткой, всего пятьдесят четыре года, жизни? На военной службе, хотя и дослужился до генерал-майора, особых

подвигов не совершил. Как стихотворец был весьма слаб. Как переводчик — посредственен. Таким же заурядным чиновником показал себя и на гражданской службе, ничем особым не выделяясь. Современники считали его выдающимся актёром. Зато был счастлив в семейной жизни, выбрав жену по любви. Имел двенадцать детей, но половина из них умерли ещё в детстве и младенчестве. Род его, ветвь рода Пушкиных, вскоре пресечётся.

Был остроумным, жизнерадостным, бескорыстным... Словом, прожил свою жизнь так, как получилось, как сумел, как сложилось. Он слыл одним из немногих широко образованных, истинно культурных людей своего времени. Общество считало его шутником и весёлым собеседником, но общение с ним всё-таки оставило глубокий след в душах окружающих его людей. Круг знакомых и друзей его был весьма широк и разнообразен. Многих мы назвали, многие остались «за кадром». Это были выдающиеся, достойные, интересные и незаурядные люди, люди своего времени.

Похоронили Алексея Михайловича не в Москве, где он родился и прожил большую часть жизни, а на небольшом церковном кладбище села Константинова, бывшего имения его приёмной матери Прасковьи Владимировны Мелиссино, вблизи алтаря Троицкой церкви, сооружённой Прасковьей Владимировной в память своего мужа в 1797 году, на высоком правом берегу Москвы-реки. В советское время, с середины 1930-х годов до 1990 года, храм этот был заброшен и полуразрушен. Ныне он восстановлен и снова действует. Если обойти его справа, то сразу увидишь три старых надгробия. На одном из них, среднем, из красного гранита, выбита надпись, с которой мы начали свою историю.



Валерий Альбертович Ярхо родился в Коломне в 1964 году. Успешно сотрудничает во многих столичных и коломенских изданиях. В его творчестве удачно сочетаются художественная проза, краеведческие исследования и «архивный детектив». Трижды публиковался в «Коломенском альманахе».

ПОКАЗАНИЯ ТАЙНОГО СВИДЕТЕЛЯ

Начала 1887 года культурная общественность России ждала с особым нетерпением — исполнялось 50 лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина и терялось право частной собственности на право печатать его произведения. Откупивший права издатель давно разорился и, «по расстройству в денежных делах, не находил возможности издавать сочинения Пушкина». Казна же предпочитала дожидаться момента, когда пройдёт установленное время. Так минуло полвека, и, хоть в это трудно поверить, но произведения Пушкина, его книги стали в России библиографической редкостью — за них приходилось платить тройную цену букинистам! Теперь же все ждали выхода первого посмертного собрания сочинений великого поэта России.

Ожидалось, что именно в этот день будет точно названо место, где произошла дуэль. Предполагалось, что это совершится после панихиды, которую служили на Чёрной речке, — к четырём часам дня там, в заснеженном поле, собралось до полутора тысяч человек. На панихиду прибыло всё губернское земство во главе с председателем губернской земской управы господином А.И. Горчаковым, директор Александровского лицея Гартман со старшими воспитанниками и, наконец, как самый почётный гость — сын поэта, генерал-майор свиты его величества Александр Александрович Пушкин.

Панихиду служило духовенство окрестных церквей, пели три хора: Исаакиевского собора, Ново-деревенской церкви и женский хор земской школы. Всё было очень чинно, прилично-торжественно и трогательно, но только одно каверзное обстоя-

тельство портило дело: никто так и не смог точно сказать — на том ли месте служат панихиду! Земцы были вынуждены признать, что, производя розыски, они столкнулись с двумя мнениями. По указанию крестьян деревни Коломяги, поединок произошёл за Комендантской дачей, по левой стороне дороги. Член же земской управы Шакеев, основываясь на свидетельстве секунданта Пушкина, Данзаса, утверждал, что дуэль произошла по правой стороне дороги. Но где именно — установить в абсолютной точности не было никакой возможности. Ибо в 40-х годах проложили новую Коломяжскую дорогу, и местность претерпела значительные изменения.

Земцы клялись, что не пожалеют сил, чтобы установить точно, где же всё-таки находится место дуэли, добьются отчуждения этого участка и воздвигнут на нём памятник.

Попытка предпринималась уже не впервой. Ещё в 1880 году, при открытии памятника Пушкину в Москве, предполагалось установить его бюст и на месте дуэли. Но тогда было лишь установлено, что «место дуэли заброшено и даже точно не обозначено». Единственной зацепкой к определению места дуэли служил столбик, появившийся будто бы спустя несколько лет после смерти поэта, с прикреплённой чёрной доской, с надписью белыми буквами: «27-го января против сего места упал смертельно раненный на поединке А.С. Пушкин». Кто установил этот знак, никому не было известно. Он довольно скоро обветшал, и на смену ему появился другой, потом ещё. Но всё это, можно сказать, частная инициатива неизвестных лиц, которые и сами вряд ли располагали точными сведениями о месте дуэли. В самый разгар обсуждения российскими газетами различных версий событий полувековой давности в 31-м номере «Московских ведомостей» за 1887 год появилась статья, написанная бароном Эммануилом Штейннгелем. Барон указывал на прямого свидетеля этих событий, который так и остался неизвестен ни следствию, ни исследователям, ни родственникам поэта.

* * *

Господин барон писал, что отец его зимой 1851–1852 года купил у иностранного подданного Гольца только что отстроенную тем чернореченскую ферму, стоявшую на самом берегу Чёрной речки, за Старокомендантской дачей, по Коломяжской дороге. Самому Эммануилу Штейннгелю тогда было десять лет, и он учился в пансионе. Через несколько месяцев, когда стало теплее, он, живя на ферме, в поисках приключений стал совершать вылазки в окрестные леса и однажды пожелал осмотреть Комендантскую дачу, к высоченному забору которой вышел. Ворота были заперты, но для ловкого мальчика не составило труда перелезть через ограду и спрыгнуть во двор. На его счастье собак на даче не держали, и он, чувствуя себя настоящим разведчиком, обошёл двор и попытался пробраться в дом. Обнаружив, что двери и окна дачи заперты, юный Эммануил пошёл в комендантский сад. Вволю набегавшись, он присел на лавочку, на солнышке его разморило, и он заснул. Там, спящим на лавочке в саду, его и застал дворник Иван, отставной солдат лет пятидесяти от роду. Он разбудил мальчика и стал укорять за то, что тот забрался в чужой сад без спросу. «И что же это из вас, барин, выйдет, ежели вы, уже такой маленький, а законов не уважаете?» — корил Иван. На это юный Эммануил Штейннгель бойко ответил, что он уважает законы, ибо его как раз готовят к поступлению в училище правовередения, где этим самым законам учат.

Также он сообщил, что по окончании училища он непременно станет судьёй, достигнет чина, уж по крайней мере не меньшего, чем у его дяди — коменданта крепости, а увенчает свою карьеру сенаторством. Выслушав ответ столь целеустремлённого ребёнка, дворник лишь закричал, а потом совсем неожиданно задал довольно-таки крамольный вопрос: «А вот скажи мне, барин, коли ты людей собираешься судить: отчего царь позволяет господам убийство, а чёрный народ за то же самое шлёт в каторгу?» «Как ни мал я был, — пишет барон, — а всё же уже знал, что всякое убийство наказывается, и это объяснил дворнику Ивану». Но тот позволил себе усомниться: «Я, барин, сам видал убийство, произошедшее вот возле этой самой дачи, и не слыхал, чтобы убийцу за него судили и наказали!» Теперь пришёл черёд не верить Эммануилу Штейнгелю, но Иван божился и рассказал, как, уже порядочно лет тому назад, однажды зимой, уж под вечер, он сидел в своей дворничкой и глядел в окошко. Темнело. И Иван уж собирался зажечь сальную свечу, когда заметил на Коломяжской дороге господские сани. Из них вышли господа и пошли влево, мимо окон его дворничкой, к лесу. Подивившись и не понимая, что в эту пору да в такую холодную погоду эти господа собирались делать в лесу, он смотрел им вслед, сколько было можно, через окно. Не успели они скрыться из виду, как подоспели другие сани, и из них тоже вышли господа, поспешившие по той же дороге, по которой пошли те, что приехали первыми.

Поразмыслив, Иван решил пойти посмотреть, что там происходит. Он боялся, что за недогляд за порядком ему попадёт. Надев шубу и шапку, он пошёл вслед за странными господами и подобрался довольно близко к тому месту, где был слышен их разговор. Дворник тихонечко встал за кустами и смотрел, вглядываясь сквозь уже сгущавшиеся сумерки в то, что происходило на поляне.

* * *

Приезжие господа стояли двумя кучками, «сажнях в восьми друг от друга», и о чём-то говорили, но о чём именно, он не понял. Потом двое из них почти одновременно выстрелили, причём один из стрелявших, тот, что стоял у дорожной насыпи, упал. К нему подбежали, стали спрашивать; он отвечал, но слов Иван по-прежнему не разбирал. Один из подходивших вернулся к стоявшему отдельно человеку, по словам Ивана, «кажется, офицеру», что-то ему сказал, и оба они пошли прямо на него. Но, не заметив дворника, притаившегося в кустах, вышли на дорогу, сели в свои сани и уехали.

Иван был страшно напуган. Он сообразил, что стал свидетелем убийства, и как всякий русский человек опасался, что теперь его непременно «затаскают» как свидетеля судебные власти. А как с лица должностного вызовет начальство: «Зачем, каналья, допустил смертоубийство возле порученной тебе дачи!?!». Так стоял он за кустами, ни жив ни мёртв, наблюдая, как раненого прислонили к насыпи, как на голову ему надели свалившуюся шапку. Когда его подняли на руки, понесли, Иван бросился к себе в дворничкую и всё боялся, что раненого принесут прямо к нему в дом, и тогда уж ему точно не отвертеться. Но он опасался напрасно — своего подстреленного товарища господа отнесли в сани, и скоро они проехали мимо окон дворничкой.

Всю ночь Иван проворочался, а утром, как стало совсем светло, прихватил со двора лопату, какой он снег на дворе чистил, и пошёл к тому месту, где давеча произошло «смертоубийство». Придя на то место, он увидел

комки окровавленного снега — самой крови на снегу было не много набрызгано, но комки снега, видимо, прикладывали к ране, а напитавшиеся кровью отбрасывали. Иван собрал все их руками и ногами, сгрёб лопатой окровавленный снег в выемку насыпи, утрамбовал его там, натаскал в подоле шубы свежего снега, разбросал его. Срыл лопатой следы сапог, таскал ещё снег, ровнял лопатой и тогда только успокоился, когда не осталось никаких заметных следов вчерашнего происшествия.

Ни того, кто были эти господа, ни что между ними произошло, Иван не знал. Только спустя три недели, вызванный по какому-то делу к коменданту крепости, сидя в кухне его питерского дома, он услышал о том, что на дуэли стрелялись двое господ, и один из них, «учёный писатель», был ранен и умер, а другой куда-то скрылся. К радости Ивана оказалось, что следствие по этому делу уже закончено и суда не будет, а стало быть, свидетели не нужны, и «таскать» его никто не собирается.

* * *

Дворник отвёл молодого барона к тому месту, где произошла дуэль, и в подробностях показал, где кто стоял, где упал раненый, куда его отнесли. «В то время, — писал далее Штейнгель, — я ещё не читал произведений Пушкина, но много слышал о нём и хотел видеть место знаменитой дуэли». Мальчик прибежал домой и рассказал обо всём своему отцу. Тот попросил сына показать, где ранили Александра Сергеевича. На месте Эммануил в лицах повторил рассказ Ивана, и барон Штейнгель-старший, выворотив кол из ближайшей изгороди, воткнул его там, где возле насыпи, по его мнению, лежал Пушкин, а сам мальчик связал из двух сучьев крест и положил его возле того кола. Место, где предположительно стоял Дантес, они поместили, положив булыжник.

По прошествии времени, уже учась в училище правоведения, Эммануил, приезжая со своими товарищами на каникулы в поместье отца, непременно водил их к тому месту возле Комендантской дачи и пересказывал слышанное от дворника Ивана.

По окончании Крымской войны старший барон Штейнгель продал свою ферму на Чёрной речке, пожелав вместо неё купить имение в чернозёмной полосе. В последнее лето Эммануил приехал на ферму погостить со своим кузеном Василием Николаевичем Белавиным-Ланским и товарищем по училищу Виктором Яковлевичем Кроневским. К тому времени они уже зачитывались Пушкиным, находя к тому любую возможность, хотя, как мы помним, это было совсем даже не просто. Придя в очередной раз к месту своего поклонения памяти поэта, сидя под насыпью Коломяжской дороги, они решили установить более заметный знак, нежели кол, воткнутый бароном Штейнгелем в мае 1852 года. Принесли с фермы отёсанный с четырёх сторон столбик — в сажень высотой и трёх вершков толщины. Его они врыли на том месте, где прежде был вбит кол, и с каждой из четырёх сторон написали строки из произведений Пушкина. Как припомнил Эммануил Штейнгель, сам он написал:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа...

По словам барона, эти строки пришли на ум, поскольку именно он и его товарищи были первыми россиянами, которые воздвигли подобие

«рукотворного памятника» любимому поэту, в то время как (тогда им так казалось), всё русское образованное общество совсем забыло Александра Сергеевича Пушкина. «Нам, троем юношам, только что вышедшим из отроческого возраста, простительно было считать себя воздвигателями памятника незабвенному поэту, — писал барон Штейнгель, — и то, что мы гордились нашим сооружением в виде простого столба, тоже извинительно — достойный памятник должен быть поставлен на этом месте от всей России, а не тремя мальчишками». Далее господин барон предлагал свои услуги всякому, кто захочет принять на себя труд с установлением памятника, уверяя, что он, как никто другой, может точно указать место.

* * *

Предложения барона не были услышаны, а его претензии на установку памятного знака и вовсе проигнорировали — до сих пор о столбике, установленном Эммануэлом Штейнгелем и его товарищами, пишут, непременно прибавляя: «Кто установил этот столбик, по сей день является загадкой». Несмотря на всякие клятвы и уверения, земство не выполнило обещания, данного сыну Пушкина в день панихиды, в январе 1887 года. По прошествии нескольких лет, уже в начале 90-х годов, местность на Чёрной речке, занятую огородами, передали в ведомство императорского Скакового общества, которое немедленно приступило к постройке ипподрома со всеми необходимыми службами: трибунами, конюшнями, кузницами и санными сараями. Собственно, именно то, что на месте дуэли Пушкина решили строить конюшни, взбудоражило общественное мнение, и это принудило Скаковое общество заняться благоустройством места дуэли. На деньги общества возвели кирпичный постамент, который оштукатурили и увенчали гипсовым бюстом Пушкина. Недолго простояв, бюст рассыпался, и его заменили новым. Всё это выглядело жалко и нелепо — памятник помещался на скаковом дворе, между забором и изгородями, рядом с конюшнями. Позже, в 1908 году, с началом эры воздушных полётов, ипподром превратили в Комендантский аэродром, и новым хозяевам, устремлённым помыслами в небо, также было не до памятника — к 1921 году он опять развалился. Эпопея с памятником имела продолжение. Но оставим эту тему, поскольку речь идёт не о памятнике, а о месте, на котором он установлен.

* * *

Итак, после заявления барона Штейнгеля можно с уверенностью утверждать, что памятный столбик, по которому наконец-таки была совершена «привязка к месту», изначально был установлен им и его товарищами. По крайней мере, никаких других претендентов на связанное и аргументированное изложение версии с возникновением этого знака не имеется. Но стоит ли кричать «виват» по этому поводу? Кто поручится, что юные Штейнгель, Белавин-Ланской и Кроневский поставили этот столбик именно на месте дуэли Пушкина с Дантесом, а не какой-нибудь другой? Рассказ дворника Ивана ничегошеньки не удостоверяет. Даже если решить, что никакому на свете дворнику так ловко не придумать подобную историю, чтобы рассказать её спустя пятнадцать лет какому-то мальчишке, а посему допустить, что Иван видел чей-то поединок, то кто возьмётся утверждать, чей именно? Ни точной даты, ни даже



Место дуэли А.С. Пушкина. Фото А.Суслова

года Иван не называет. Ни описания наружности, ни даже уверенности в том, что один из стрелявшихся — офицер, в его рассказе нет.

Бог с ним, с Иваном, — он рассказал, как умел, ни разу не назвав имени Пушкина. Самое большее, что он смог, так это упомянуть про «учёного писателя» — так называли умершего после дуэли человека, которого (опять же это предположение Ивана) ранили у него на глазах недалеко от Комендантской дачи. По малолетству Эммануил не знал, что местность в 40-х годах изменилась и проложили новую дорогу. В 1887 году земцы утверждали, что «место» находится меж двух дорог: старой и новой Коломяжских; Штейнгель уверенно показывает под откос насыпи дороги, не говоря, старая она или новая. Кто даст гарантию, что Иван рассказывал ему о со-

бытиях, относящихся к 1837 году, а не о более поздних, произошедших уже после построения новой дороги?

Впрочем, и опровергнуть рассказ Штейнгеля тоже некому. Памятный знак в виде столбика, врытого некогда бароном, указывал место, а другого никто назвать не мог (по нашему обычаю, решили, что тот, кто «застолбил», поди лучше нашего знает), и установили там памятник. Последовала череда возведения и разрушения вариантов памятников, но так получается, что до сегодняшнего дня никто точно не может сказать — вот именно здесь произошла дуэль Пушкина. Ткнув пальцем в землю, бесхитростный дворник Иван указал для него место, и в качестве утешительного рассуждения можно лишь привести латинское изречение, утверждающее, что глас народа — это глас Божий.

CHOPIN
ORTE-WERKE

ŒUVRES DE PIANO

VERLEHRT VON

FRIEDMAN

VII. Etüden E.B. 3817

VIII. Préludes und Rondos. E.B. 3818

IX. Sonaten E.B. 3819

X. Verschiedene Stücke . E.B. 3820

XI. Konzerte E.B. 3821

XII. Konzertstücke E.B. 3822

E.B. 3882 — BAND IX.

СЛОВО
О МУЗЫКЕ





CHOPIN

PIANO-FORTE-WERKE

ŒUVRES DE PIANO

Herausgegeben von

FRIEDMAN

- VII. Etüden E. B. 3817
- VIII. Préludes und Rondos. E. B. 3818
- IX. Sonaten E. B. 3819
- X. Verschiedene Stücke . E. B. 3820
- XI. Konzerte E. B. 3821
- XII. Konzertstücke E. B. 3822

E. B. 3882 — BAND IX



вский мост
Г. б. Морская 1

Фото Юрия Колесникова



Наталья Михайловна Кочеткова — преподаватель-музыковед 1-го Московского областного музыкального училища. Заслуженный работник культуры России.

Родилась на Урале, в Пермской области. Окончила музыкальное училище в Рязани, затем консерваторию в Киеве. Самой интересной сферой своей деятельности считает музыкально-просветительскую.

На протяжении сорока пяти лет в периодических изданиях Коломны, Московской области, зарубежья систематически публиковала материалы о наиболее примечательных концертах и событиях училища, составившие значительную страницу летописи культурной жизни города.

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

Наталья КОЧЕТКОВА

В ОБЕРТОНАХ ВРЕМЕНИ

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ —
И.И. ЛАЖЕЧНИКОВ: «ОПРИЧНИК»

Возвращаясь в родную Коломну из Киева (обычно это бывает в конце лета), всегда радостно удивляюсь похожести пейзажа двух этих равно дорогих моему сердцу городов. Над высоким берегом Коломенки-реки, на фоне утреннего неба изящной чистой линией прописываются контуры церквей и колоколен, так напоминающие абрис крутояра над Днепром Славутичем, где, выступая из могучей зелени деревьев, изумительно сияют купола, ликуют в лучах восхода ажур крестов монастырей, соборов, Лавры. И в собственной моей судьбе нередко возникали параллели, не столько даже событийного характера, сколько творческих профессиональных интересов. В этот раз: Лажечников — Чайковский. Их имена соединила опера «Опричник». Она не стала в ряд наиболее известных и репертуарных, но тем не менее периодически воскрешает интерес к себе. Большой театр ставил «Опричника», к примеру, в 1999 году; фрагменты оперы совсем недавно исполнялись на сцене Государственного музыкального театра в Ростове-на-Дону.

Какие же события, времена и личности причастны были к появлению на свет одной из самых русских опер, сопровождали ее на сценическом пути, старательно способствуя успеху оперы, и сохранили творение для потомков, умеющих ценить отечественное достояние?

I

...Есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере: это то, что только она одна даёт вам средство общаться с массами публики...

П.И. Чайковский

Окончив Петербургскую консерваторию с серебряной медалью с правом на звание свободного художника, Чайковский

принял приглашение Николая Григорьевича Рубинштейна приехать в Москву, где под его руководством открывалась вторая в России консерватория. Молодому музыканту предлагалось в ней место профессора. Произошло это зимой, в январе 1866 года.

Русская столица встретила Чайковского радушно и тепло, с любовью. В кругах литературных, театральных, музыкальных, в Артистическом кружке он стал желанным гостем, располагающим к себе самим уж внешним обликом. «Молодой, с миловидными, почти красивыми чертами лица, с глубоким выразительным взглядом красивых тёмных глаз, с пышными, небрежно зачёсанными волосами, с чудной русой бородкой», с изящной простотой манер и гордым достоинством человека, осознающего где-то в глубине души значительность своего предназначения.

Любовью на любовь ответил Пётр Ильич, нисколько не кривя душою, признаваясь: «Я уж теперь до конца жизни останусь закоренелым москвичом».

Самым сильным источником впечатлений в Москве стал для него Малый театр. «...Таких актёров, я думаю, нет во всём мире, и тот, кто не видел здешнюю труппу, не имеет понятия о том, что значит хорошо сыгранная пьеса». А.Н. Островский определил и лик, и душу Малого театра. Чайковский восторгался произведениями талантливого русского драматурга. У него возникает мечта воссоздать в музыке сюжеты и образы пьес А.Н. Островского. И они появляются: в симфонической увертюре «Гроза», в музыке к весенней сказке «Снегурочка», в опере «Воевода» по мотивам пьесы «Воевода, или Сон на Волге».

Возможно, сам того не замечая, Чайковский сделался духовным пленником театра. Большую долю своего таланта он принесёт на алтарь сценических жанров — балета, оперы; а принцип театральности как таковой получит выражение в захватывающей страстности звучания, подчас в иллюстративности его инструментальных композиций. Однако предпочтение отдаст он опере. Она-то именно и станет властительницей дум его и вдохновенья. Не будет года в его жизни, когда бы Чайковский не был занят сочинением или постановкой оперы, не был захвачен мыслями о новой опере. Более тридцати сюжетов в той или иной степени будут волновать его воображение.

В ряду будущих прославленных шедевров («Евгений Онегин», «Чародейка», «Орлеанская дева», «Пиковая дама») «Опричник» занял место первого в этом жанре профессионального зрелого сочинения, своеобразно оценённого автором как «урок оперного композиторства».

Первые нотные строчки «Опричника» легли на партитурный лист в феврале 1879 года.

Предварительный трёхлетний период заполнен в творческой биографии Петра Ильича поиском сюжета. Он признаётся, что начинает «сильно



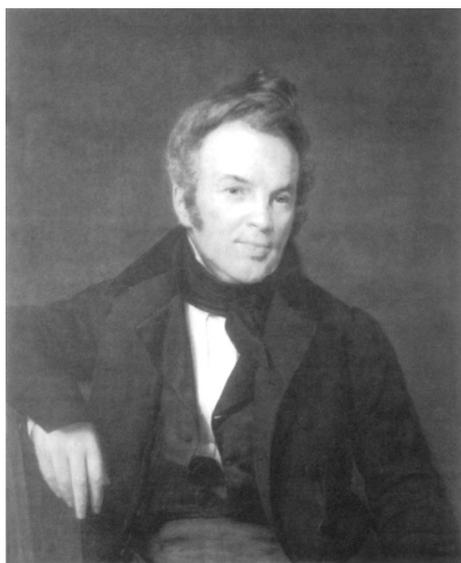
П.И. Чайковский. 1869 г.

подумывать о новой опере». Даёт себя увлечь поочерёдно то романтическим сюжетом, то сказочно-волшебным, а то средневековым, с непременными ужасами и мистикой; в той же очерёдности отказывается от каждого из них. Опыт сочинения «Воеводы» и «Ундины» дал основание композитору определиться в своих требованиях к оперному сюжету. Он желал видеть в нём ярко выраженный мир лирических чувств, динамику развития действия, контрасты эмоциональных состояний главных героев и внутреннюю противоречивость их переживаний. Всё это он находит в трагедии И.И. Лажечникова. Заложник времени, как всякая талантливая личность, он слышал пульс эпохи и был захвачен общим увлечением деятелей искусства 70-х годов — интересом к русской истории, в особенности к её драматическим страницам. В музыке могучее звучание историческая тема обрела и в опере «Псковитянка» Н.А. Римского-Корсакова, и в народной драме «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, и в оркестровой музыкальной картине «Иван Грозный» А.Г. Рубинштейна, и в опере «Князь Игорь», которой А.П. Бородин посвятит свой многолетний труд.

Об исторической драме И.И. Лажечникова из времён Ивана Грозного Чайковский хранил в памяти живое сценическое впечатление. Он видел её в московской постановке Малого театра в октябре 1867 года, о чём поэт Плещеев написал: «На днях шёл “Опричник”; с успехом. На третье повторение уж мест нет. Вызовов было много...» Тогда же пьеса получила одобрение авторитетного критика В.Г. Белинского, который и ранее неоднократно признавал талант автора, его значение в создании русского исторического романа, называя его даже «лучшим романистом пушкинского периода литературы нашей». Именно на ней остановил теперь свой выбор Пётр Ильич Чайковский, взяв на себя ещё и труд написания либретто.

Драматургия его оперы, как и трагедии Лажечникова, строится на столкновении нескольких линий: Морозовы враждуют с Жемчужным и Вязьминским; Андрей Морозов борется за право жениться на Наталье, дочери князя Жемчужного, который не соглашается на этот брак. В центре драмы судьба Андрея: против воли матери и собственных убеждений он вступает в опричнину. К соединению с Андреем — все устремления, поступки, действия Натальи. Народ участвует в происходящих событиях, выражая своё отношение к ним.

Итак, сюжет, либретто, мастерство — все предпосылки к творчеству сопряжены. Однако же процесс создания оперы «лёгким дыханием» не отличался. Дело продвигалось медленно, к тому ж Чайковского нередко посещали минуты слабости: то возникали сомнения в собственных силах, то начинало вдруг казаться, что «сюжет хотя и очень хорош... но как-то... не по душе»... «Муки творчества» воплотились в законченную оперную композицию к 20 марта 1872 года.



*И.И. Лажечников. 1834 г. Художник
А.В. Тыранов. Всероссийский музей
А.С. Пушкина*

В такой момент художник вытирает кисть, скульптор откладывает в сторону резец. С чувством удовлетворения оглядывает завершённое своё творение и ставит мысленно значительную точку. Рождение состоялось! Совсем иначе обстоит всё в музыке. Записанная значками, многим непонятными, она ещё не ожила. Её судьба теперь — сценическая жизнь. И всё будет зависеть от театра, исполнителей, фортуны, наконец; словом, для оперы всё только начинается.

II

...Во всяком случае, я очень рад, что «Опричник» был дан. Я не потерпел фиаско...

П.И. Чайковский

12 апреля 1874 года вся театральная общественность Петербурга, следуя традиции непременно быть на премьере, заполнила партер и ложи Мариинской оперы.

Поднялся занавес, и взору зрителей предстал уютный уголок Москвы XIV века: резное крыльцо княжеского терема, сад и кремль вдали, за кущами деревьев, в покое опустившихся на землю сумерек.

Драматургические нити действия определились чётко уже в первом акте. В начальной сцене князь Жемчужный за чарою вина просватал дочь свою, красавицу Наталью, богатому и знатному боярину Митькову, нисколько не смущаясь преклонными годами жениха. В последней сцене молодой Андрей Морозов, Жемчужным разорённый и изгнанный из собственного дома, не видя средства защитить невесту (с Натальей он помолвлен с юных лет), решается пойти в опричники, которым, знают все, ни в чём «препоны нет, а и запрету».

352

НАТАЛИЯ КОЧЕТКОВА



«Опричник». 1-е действие. Эскиз декорации работы М.А. Шишкова. 1874 г.

Сила впечатления этих сцен — в динамике развития событий. Для композитора задача эта из непростых. Все вокальные партии (речитативные диалоги, ариозные эпизоды), а также хоровые построения, ещё — оркестр, наполненный у Чайковского звучанием образно значимых музыкальных тем, так называемых лейтмотивов, сопровождающих «своих героев» с начальных до последних тактов произведения (к примеру, лейтмотив опричнины, царя), — всё надлежало подчинить компактной и вместе действенной архитектонике, называемой оперной сценой. Их следует признать удачными страницами произведения.

Лирической же доминантой явилась средняя часть акта, сосредоточенная на судьбе и на переживаниях Натальи. Свою печальную девичью долю она оплакивает в Песне, известной под названием «Соловушка», которая станет одним из знаменитых номеров оперы:

Соловушка в дубровушке громко свищет,
А девица в теремочке слёзно плачет.
— Скучно мне, девице, в теремочке,
Утешай меня, соловушко, во кручине,
Прилетай ко мне, соловушко, во светлицу.
Я поставлю тебе клетку золотую...
— Не мила мне твоя клетка золотая,
А мила мне моя воля дорогая.

Этот замечательный текст был написан А.Н. Островским ещё для пьесы «Сон на Волге». Мелодия к нему «нашлась» случайно, во время прогулки Петра Ильича с Ларошем в Кунцево под Москвой. Четырнадцатилетняя девочка, дочь крестьянки, напоившая их чаем, спела песню «Коса ль моя, косынька», поразившую их необычайной трагической интонацией начала, порывистым двойным взлётом мотива.

Ах, как украсила Наталью эта песня в опере русским убором! Она (княжна) бесспорно самый близкий сердцу, любимый персонаж Чайковского в «Опричнике», позволивший раскрыться поистине бесценному лирическому дару композитора. В «Соловухе» уже соединились строй романтических чувств и русская душа Натальи, и в музыке с народной распевностью широкого мотива переплелись эмоционально яркие романсные интонации. Они-то, страстные, порывистые, по ходу действия сильнее станут утверждать себя, сопутствуя всё более решительным поступкам героини, отчаянным или протестующим её душевным излияниям. Мелодией высокого накала чувств, стёбаньем сердца, обнажённой болью будет звучать, к примеру, Ариозо «Ах, ветры буйны, донесите к милу другу весть про горе-кручину, про любовь...»; ещё более драматична её вокальная партия в сценах с Морозовой, матерью Андрея, — «Мне сырая могила милей моей горькой неволи».

Наталья в опере совсем не та, что у Лажечникова. Она отнюдь не робкая, покорная отцовской воле. Наталья в опере — и по либретто, составленному, вспомним, Петром Ильичём, и в музыке самой — натура сильная, с бесстрашной решимостью вступающая в борьбу за счастье, за свою любовь. Такими будут героини последующих опер-драм Чайковского, и открывает этот ряд Наталья Жемчужная.

Понятно, почему столь озабочен был Чайковский тем, кто будет петь Наталью в день премьеры. Он пишет В.В. Бесселю: «Признаюсь тебе по секрету, что мне бы очень хотелось передать роль Наташи г-же Рааб! ...Мне очень нравится Рааб — и как певица и как особа приятной наружности!» На убедительную просьбу композитора солистка Мариинского театра

Вильгельмина Ивановна Рааб ответила согласием и стала первой исполнительницей партии Натальи не только на премьере в Петербурге. (В знак признательности Чайковский позже посвятит ей романс, изысканно прелестный — «Канарейка».) Другие исполнители были достойными партнёрами примы. Андрея Морозова хорошо пел Д.А. Орлов, придав герою своему преимущественно лирическую трактовку. Прекрасное впечатление произвела А.П. Крутикова, она «с необычайною поэтичностью игры, со страстностью своего красивого, звучного голоса выделила обаятельный образ» Морозовой, «выдержав характер роли во всех деталях до конца». («Очаровательной», по признанию самого Чайковского, А.Крутиковой композитор сочинит в дар один из шедевров своей вокальной лирики — романс «Примирение»: «О, засни моё сердце, глубоко...») Партию Вязьминского пел И.А. Мельников, принадлежавший к плеяде замечательных русских оперных артистов.

Хор и оркестр, по мнению рецензентов, отличались превосходной звучностью. Сам композитор бесконечно благодарен был дирижёру Мариинского театра Э.Ф. Направнику, который все два года подготовки и оперных репетиций буквально «лез из кожи», по выражению Чайковского.

Всем, что зависело от исполнителей, автор «Опричника» остался весьма доволен. Это они решили успех театрального рождения оперы. Досадным же моментом оказалось отношение официальных лиц, дирекции Императорских театров, — как всегда небрежное к сочинениям отечественных композиторов, как всегда скупое на средства для декоративного оформления: «постановка была скудная, декорации набирались из других спектаклей (впрочем, Чайковский хвалил декорации)».

В день премьеры «Опричник» был тепло принят петербургской публикой, притом сразу, как только упал занавес по завершении первого действия. Брат композитора, Модест Ильич, писал родным о том, что в Мариинском «опера имела большой успех. После первого акта начались вызовы автора».

Что же до высказываний музыкантов-профессионалов, то мнения их оказались весьма противоречивыми. Николая Дмитриевича Кашкина, общепризнанного музыкального критика, многое покорило в опере Чайковского: «богатство и красота мелодий, роскошная инструментовка, общее, закупающее слушателя изящество, которым опера проникнута с начала до конца, производит впечатление, заставляющее позабыть о... недостатках. Если бы начать перечислять музыкальные красивые нумера оперы, то пришлось бы назвать их все». Цезарь Антонович Кюи охарактеризовал оперу как «бедную идеями и почти сплошь слабую, без единого, заметно выдающегося места, без счастливого вдохновения». (Резкость суждений, впрочем, была вполне в духе Кюи; годом ранее он вынес, можно сказать, уничтожительный приговор опере «Борис Годунов», повергший Мусоргского в переживания глубоко трагические.) Пётр Ильич и сам, с первой репетиции, увидел свои «грубые промахи». Конечно, фиаско он не потерпел, но не мог не признаться, что «получил вместе с тем отличный урок оперного композиторства». В дальнейшем он неоднократно будет возвращаться к мысли о новой редакции оперы, которой не придётся, к сожалению, осуществиться.

Тем временем «Опричник» на Петербургской сцене выдержал четырнадцать представлений в течение трёх сезонов, до 30 ноября 1875 года. Композитор к тому же был удостоен премии в размере 300 рублей ассигнациями.

...Овации были самые лестные, каких я никогда и не ожидал... Я был вполне счастлив.
П.И. Чайковский

В одном из номеров газеты «Киевлянин» за 1867 год можно было прочитать: «Опера занимает первое место среди наших удовольствий». Рождение Киевского оперного театра — а оно состоялось именно в 1867 г. — было событием исключительной значимости для всей земли Малороссийской. «С момента своего появления в Киеве оперный театр обрёл некое эмблематичное значение в жизни города. Он стал не только средоточием культурных устремлений киевлян, но и своеобразным показателем “европейскости” древнего города... обязательно посещаемый высокими гостями наряду с Софией и Лаврой».

Будучи публикой музыкальной (порою это проявлялось даже в курьёзных формах, например, в манере называть скаковых лошадей именами оперных героинь), киевляне обожали свой театр, при этом любили порассуждать о новом, достойном высокого искусства, здании. Иным мечтателям, попавшим якобы в XX век, так грезилось оно: «Перед нами высилось грандиозное здание, залитое целым морем света. Грациозно возносились в пространство окружавшие его стройные колонны. Крылатые гении парили над порталом... Разноцветные стёкла бесчисленных окон казались на тёмном фоне яркими пятнами, отливающими всеми цветами радуги. Весь театр был окружён (сверху донизу) непрерывной цепью балконов, соединявшихся между собой густой сетью лестниц».

Пока же гордость киевлян питали другие, ничуть не менее значительные достижения. «Мы можем поздравить себя и публику с явлением до сих пор небывалым в Киеве, небывалым вообще в провинции, но чрезвычайно отрадным — с русской оперой». «Отраднo видеть у нас при представлении оперы “Жизнь за царя”, кажется десять раз уже **повторённой, театр** всегда полным до последнего места...»

Репертуар русской оперы (сейчас речь не идёт о зарубежной) за семилетний период, предшествующий исполнению «Опричника», на удивление богат и разнообразен. Не сходит с театральных афиш опера «Жизнь за царя» Глинки, а также сцены из «Руслана»; идут здесь также «Русалка» Даргомыжского, «Рогнеда» Серова, «Аскольдова могила» и «Громобой» Верстовского, «Наташа, или Волжские разбойники» Вильбоа.

Нет сомнений, что киевская публика представляла в жанре оперы просвещённую аудиторию, могла иметь своё суждение о композиторских достоинствах, об исполнении оркестра и певцов.

Чайковский выразил желание присутствовать на постановке своего «Опричника»; он прибыл к премьере, которая состоялась 9 декабря 1874 года.

Для Киевской оперы это была пора расцвета, те пять самых ярких лет, которые приходится на время частной антрепризы И.Я. Сетова (заметим: частной антрепризы, не казённого театра). Спектакли были таковы, «что и столица не постыдилась бы». И.Сетов тщательно продумывал общий постановочный план и отработывал с певцами сценический рисунок роли. Не случайно Чайковский, услышав и увидев в киевских спектаклях Д. Орлова (он пел Андрея на петербургской сцене), теперь был потрясён его игрой. Описывая свои впечатления от киевского «Опричника», Пётр Ильич отмечает, что «слышал оперу в настоящем смысле этого слова».

Согласно условиям антрепризы, Сетов мог позволить себе пригласить в театр лучших исполнителей из столицы. Роль Натальи, как и в Мариинском, исполняла так нравившаяся Чайковскому Вильгельмина Рааб; Андрея — упоминавшийся выше Д. Орлов, значительно глубже постигший образ своего героя. Как всегда, удачно выступал солист Петербургского театра Б.Б. Корсов (композитор посвятит ему замечательные романсы: «Ни отзыва, ни слова, ни привета», «На нивы жёлтые...»).

Здесь утверждалась слава Ф.И. Стравинского, тогда ещё только начинающего артиста. По мнению Чайковского, «прекрасный голос и оживлённая игра Стравинского выдвинули не особенно богатую и благодарную роль Вязьминского на первый план». Столичным знаменитостям ни в чём не уступала звезда киевской сцены певица О.А. Пускова. Она исполняла в «Опричнике» роль друга Андрея, молодого Басманова (по оперной традиции, вокальные партии юношей — Вани в «Сусанине», Леля в «Снегурочке» — сочинялись для женского голоса с низким, как говорили, грудным тембром). Чайковский восхищался её «необычайно красивым и сильным контральтовым голосом», притом ценил не только голос: «Роль Басманова была поручена любимице киевской публики г-же Пусковой... она уже своим появлением в числе действующих лиц содействовала общности ансамбля. Эта артистка и в незначительной партии Басманова нашла однако случай блеснуть красотой своего сильного, мощного контральто».

О хоре Киевского оперного театра — отдельный разговор. Чайковский был им просто-таки потрясён: «Хор доведён до высшей степени совершенства. В Москве такого хора никогда не слышали». И что с того, что в опере «Опричник» хор в основном несёт нагрузку фоновых картин. Они сосредоточили в себе всю красоту природы русской, обрядов и обычаев, в них явственно поёт душа народа.

На море утушка купалася,
 На море серая полоскалася.
 Купавшись утушка встрепенулася,
 Встрепенувшись серая да воскрикнула:
 — Как-то мне с синя моря подыматься будет!
 Как-то мне с жёлтым песком расставаться будет!

Проникновенно, нежно, ладно поют девушки, подружки Натальи, и с первых тактов начинает звучать чистая русская струна. Хор этот — как рама для живописного полотна, и было бы несправедливо отводить ему незначительную функцию. (Мне всякий раз в подобной ситуации напоминает картина «Ожидание» художника К.А. Васильева, увиденная мною на выставке в Коломне в 1984 году: в заиндевевшем окне высвечивается лицо молодой женщины с русой косою по плечу, лицо, озарённое пламенем свечи, которую она держит в руке... Но я, однако, о другом: о том, что рама к этому портрету была сколочена из горбылей, совсем как бы не обработанных берёзовых горбылей. Насколько выиграла от того картина! И строгий этот «северный лик» зазвучал глубоким русским аккордом!)

Из каких тайников памяти композитора всплыла эта задумчивая, в душу проникающая, чудная мелодия «Утушки»? Уж не из тех ли лет младенчества, которые провёл он в Алапаевске: «С балкона мы слушали нежные и грустные песни — только они нарушали тишину этих чудных ночей». Конечно, не были забыты ни прогулки на живописную скалу со странным названием «Старик и старуха», с загадочным эхо, вторившим песням крестьянок, льющихся с окрестных полей; ни катание на лодках по реке Нейве

и хоры мужиков. Любовь к народной песне у Чайковского особенная. Ему дано было расслышать самобытную прелесть «первозданных» мотивов; он умел собирать их бережно, как полевые цветы, не стряхнув с них ни росинки. Они определяют смысл его Первой симфонии «Зимние грёзы», заставят петь оркестровую музыку; мелодия же песни «Сидел Ваня на диване», записанная композитором на Украине, в Каменке с голоса плотника и ставшая темой знаменитого *Andante* Первого квартета, меланхоличным и задумчивым своим напевом вызывала слёзы Льва Николаевича Толстого.

Весь «свадебный венок» и Пляски в действии четвёртом сплетает композитор из народных песен, самым им обработанных: «Винный наш колодезь», «Плывёт, всплывает», «Гулял Андрей господин», «Катенька весёлая», «На Иванушке чапан». Обогащенные и оживившие сюжет своим торжественным и светлым настроением, они контрастно оттеняют последующие трагические события финала оперы; а в их звучании достойно заявляет о себе широко разлитая в произведении народность, столь ценимая в отечественном искусстве той поры.

Всё это сердцем и душой тепло было воспринято отзывчивой на красоту мелодий киевской публикой. Как тут не вспомнить Гоголя, который, называя славянскую природу «певучей», к тому же замечал: «Опера принимается у нас очень жадно».

Жест дирижёра, талантливого опытного И.К. Альтани высветил лучшее в опере. Эта театральная постановка доставила истинную радость композитору. «Я ездил в Киев и видел там “Опричника”. Исполнение *великолепное*. Опера имела успех; по крайней мере шумели ужасно и овации были самые лестные, каких я никогда и не ожидал. Огромная толпа студентов провожала меня от театра до гостиницы. Я был вполне счастлив».

IV

*У нас три чуда, — шутили москвичи, —
Царь-пушка, Царь-колокол, Царь-бас.*

Из нескольких московских постановок одна, та самая, что состоялась в 1897 году в частном мамонтовском театре, стала явлением в сценической истории «Опричника». Своею исключительностью эта постановка обязана прежде всего двум гениальным деятелям русской культуры — Мамонтову и Шаляпину. Их встреча, надо полагать, была самой судьбы предначинаньем. Им выпало на долю сделать то, чего так жаждала российская интеллигенция: им удалось обновить театр. «Ничто так сильно не нуждается в освежении, как наши сцены, — писал А.П. Чехов в “Осколках московской жизни”. — Атмосфера свинцовая, гнетущая. Аршинная пыль, туман и скука». И далее: «Большой театр. Тут опера и балет. Нового ни в грош. Артисты все прежние, и манера петь у них прежняя: не по нотам, а по отношениям к циркулярам родной конторы».

«Мечтатель» и «затейник», «московский Медичи» Савва Иванович Мамонтов прославил имя своё в мире искусства как создатель Частной оперы в Москве, сознательно в противовес Императорскому театру с его рутинно постановочными штампами, традиционным поклонением всему заморскому и с откровенным пренебрежением к родным российским дарованиям. Любовь и преданность искусству *русскому*, подобно П.М. Третьякову, артистам труппы МХТ и Малого составили кредо Мамонтова. Вскоре у му-

зыкального критика Н.Д. Кашкина будет право с гордостью написать, что «уже несколько лет, как Москва сделалась центром русской оперы».

Молодого Фёдора Шаляпина Мамонтов услышал, можно сказать, случайно в Петербурге. Он пел Гудала в «Демоне» А.Г. Рубинштейна. Голос, артистическое обаяние, статья! Мамонтов испытал потрясение. Сомнений не было — это гениальный певец! С ним его Частная опера обретёт новую жизнь... Не поскупившись, московский меценат выкупил певца из Мариинского театра, заплатив серьёзную финансовую неустойку, назначил оклад много выше обычного, а главное — ввёл его в круг высокоталантливых творческих личностей: живописцев, скульпторов, артистов, завсегдадаев дома Мамонтова в его усадьбе Абрамцево — чертоге вдохновения и осуществления вольных их художественных «затей».

Всё импонировало Фёдору Шаляпину, певцу-актёру, разделявшему принципиальную установку нового оперного театра — установку на создание «поэтического зрелища». И этот зрелищный спектакль своей волшебною живою кистью творили декораторы — Коровин, Виктор Васнецов, Поленов, Врубель, Левитан...

«Мамонтов хотел, — пишет певица Надежда Салина, — чтобы оперные спектакли были оформлены “по-настоящему”; поэтому он с художниками Поленовым и Васнецовым рылись в образцах материй, выискивая какой-то неразрезной бархат для кафтана князя, парчу для сарафана княгини и т.д. Для моего костюма... заказана была у французской цветочницы необыкновенная гирлянда нениюфаров, которую надевал мне на голову... сам Васнецов».

Опере русской «я отдаю все мои мечты, мои восторги», — постоянно уверял всех Савва Иванович.

Как раз на волне подъёма мамонтовского театра засияла звезда Шаляпина, засверкал замечательный артистический гений великого певца.

В «Опричнике» Шаляпин выступает в роли князя Вязьминского (у Лажечникова он именуется Вяземским).

В драме это, в сущности, эпизодический персонаж, тогда как в опере он прописан несравнимо более психологично, ярко и значительно. Чайковский переносит на него черты характера и образа Ивана Грозного. (В оперном либретто царь как действующее лицо отсутствует, скорее всего, из цензурных соображений.) В драме судьбу главных персонажей решает непосредственно сам Грозный, посылая на плаху послушавшегося, отказавшегося от клятвы и опричнины Андрея, требуя к себе в покои Наталью. В опере князь Вязьминский творит вельенье царское. Он олицетворяет собой образ жестокого, всевластного царя-тирана.



Ф.И. Шаляпин в роли князя Вязьминского в опере П.И. Чайковского «Опричник». Солодовниковский театр, Москва, 1897 г.

Бесценной оказалась для Шаляпина недавно завершённая работа над партией Ивана Грозного в «Псковитянке» Римского-Корсакова, одной из самых сильных, убедительных его ролей в спектаклях Мамонтовского театра. Близкие друзья знали, как серьёзно работал певец-актёр Фёдор Иванович над этой партией, как терпеливо и настойчиво искал жест, интонацию, позу, грим, внимательно прислушиваясь к точным и верным советам художников. Он убеждён, что следует не только изучить во всех деталях партитуру оперы, но надо ещё вникнуть в эпоху, окунуться в прошлое. Сама Москва помогала ему. Русская история окружала его со всех сторон — кремлёвские соборы, площади, улицы, переулки старой Москвы. Часами простаивал он в Третьяковской галерее, постигая глубинную сущность трагической картины И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

Вся мощь актёрского мастерства ещё должна была быть «переплавлена» в пение. Именно здесь, в совершенно особенном оперном исполнении, и скрыта тайна шаляпинского голоса; в пении, где «и драматизм, и сценичность, и всё, что требуется от оперы».

Зрителей охватывало оцепенение от почти мистического ужаса сцены клятвы, в которой жутко, подобно гласу рока, звучали ритуальные реплики Вязьминского: «Во имя Господа и страшных сил Его клянись, клянись, Андрей Морозов!» Их впечатление усиливал оркестр, где в тембрах медных инструментов, в тяжёлых ходах баса прослушивался лейтмотив опричнины, здесь искажённый и вдвое более злоедающий, чем обычно. Весь музыкальный строй, казалось, был пронизан отголосками мрачных церковных песнопений в духе «Со святыми упокой». Великий певец-актёр Шаляпин, как никто другой, «выказал настоящее умение говорить речитативы, внятно, музыкально и выразительно, оставаясь в естественном тоне декламации!..».

И без того жестокий образ Вязьминского Чайковский усугубляет в опере чувством мести (этого нет у Лажечникова), мести за какие-то старые обиды на отца Морозова, перенесённой теперь на сына. Ярость его во всём цинизме, рельефно высвечена и обыграна Шаляпиным в финальном эпизоде. «Рассказывают, что в этой сцене Шаляпин показывал Вязьминского во всей его неприглядности: он подталкивал старуху Морозову к окну, чтоб она видела казнь сына, и после того как она падала мёртвая, с дикой ненавистью опрокидывал свадебный стол, за которым только что сидели новобрачные».

Соединив высокое искусство пения с художественной правдой артистической игры, в естественности, свойственной таланту от Бога, Шаляпин «сделал неслыханное чудо с оперой». По общему восторженному мнению современников, и в их числе артиста Малого театра А.А. Ленского, — «он заставил нас, зрителей, как бы поверить, что есть такая страна, где люди не говорят, а поют».

Неспешно, но сопутствуемый успехом, «Опричник» завоёвывал большие сцены оперных театров в весьма значительном диапазоне: Санкт-Петербург, Москва, Одесса, Киев. (В Одессе оперу давали летом 1874 года с участием уже известных нам артистов петербургских императорских театров. «Это была первая постановка оперы Чайковского в провинции, и композитор стал свидетелем её успеха — исключительного и даже триумфального».)

Насколько это было важно! В те времена, когда Шаляпин сетует: «У нас в России плохо ценят наших отечественных композиторов». А о себе прочувствованно, убеждённо говорит: «Я очень высокого мнения о русской музыке и считаю, что мы, хотя и можем принимать иностранное, но должны взяться за ум и памятовать, что основой должно быть всё наше собственное».

Allegro giusto №1. Опричник. Dr. J. B. Van der

Tutti e Temp.

cresc

Forte e tem.

cresc

*Первая страница рукописи переложения для пения с фортепиано
оперы «Опричник»*

«Опричник» обогащал ларец бесценный русского искусства. И что бы там ни говорили о недочётах оперного (всего лишь третьего по счёту) сочинения Чайковского, но именно с него начинается всероссийская слава великого русского композитора, именно с «Опричника». И в нём в художественном диалоге живую жизнь живут его создатели, два равноправных автора — И.И. Лажечников и П.И. Чайковский. «Единый лавр их дружно обвивает».

СЕРЕБРЯНЫЙ ТЕНОР КОЛОМНЫ



Ирина Глебовна Гришанович родилась в городе Коломне. Учёба в детской хоровой студии «Костёр» (теперь — хоровая школа им. А.В. Свешникова) определила выбор музыкальной профессии. Окончила фортепианный и теоретический отделения 1-го Московского областного музыкального училища, дирижёрско-хоровое отделение Московского государственного университета культуры. Руководитель курса — Ю.М. Уланов (ученик А.В. Свешникова). Работала ведущей-музыковедом в камерном оркестре «Трубадур и менестрели» под руководством П.П. Кедрова. Публиковалась в городских газетах «Коломенская правда», «Ять».

В настоящее время — преподаватель фортепиано, музыкально-эстетического курса, истории искусства в частной школе Москвы.

Наш земляк, всемирно известный «московский» тенор Вячеслав Николаевич Осипов, 5 мая отметил своё 70-летие. И хотя он прожил в Коломне всего десять лет, Вячеслав Николаевич через всю жизнь пронёс в своём сердце нежную привязанность и любовь к этому провинциальному подмосковному городку.

Успех, всемирное признание таланта, слава не вытеснили из души тех чувств. С годами в глубине сознания оформится отчётливая мысль, скорее, желание свершить нечто значительное на благо того единственного места на земле, которое зовётся родиной. И есть прожекты (пока они звучат в сослагательном наклонении). Вячеслав Николаевич мечтает выступить в Коломне с двумя сольными программами: «Итальянские арии» и «Русская песня. Старинный романс»; открыть здесь вокальную Академию для учёбы и поддержки молодых талантливых певцов; создать на собственные деньги и инвестиции привлечённых бизнесменов «Фонд Осипова».

И город будет жить надеждой. Тот город, что всплывает в памяти живой картиной, захлёстывает тёплым чувством, и кажется, минувшее происходило лишь вчера, и каждое воспоминание — наивно-светлое, суровое, смешное — так бесконечно дорого, так мило...

Неторопливый ритм жизни коломчан, крутые берега и мерное течение Оки и «матушки Москвы-реки», колокольный перезвон златоглавых церквей, песни деревенских девушек и парней, неповторимые пейзажи деревушки Запруды, весёлые забавы детворы, катающейся на льдинах в весеннюю распутицу, — счастливые образы детства, наполненные порой трогательными до слёз историями. Как-то зимой пятилетний Слава вернулся домой расстроенный и молчаливый, но о своей беде не рассказал никому. На катке у него сняли валенки и срезали «снегурки» (коньки-полозья, ремнями прикрепляющиеся к обуви). Будучи от рождения богатыр-

ского телосложения, наш герой не привык сносить обиды — на следующий день удивлённая мама увидела в руках сына пять пар валенок и пять «снегурок»! Чуть позже появился разъярённый сосед — дедушка двоих из пострадавших, но, увидев виновного малолеточку, рассмеялся: его внуки были на несколько лет старше!

Сердце ребёнка было открыто красоте природы: его завораживал шум ветра, шелест осенней листвы, разноголосый хор прилетающих с юга птиц, беспокойное завывание вьюги. Всё живое находило отклик в душе. Обычное дело, если у малыша есть четвероногий друг, но Слава «выделился» и здесь. Его любимицей была Машка, поросёнок — ручной, приветливый, позволяющий надевать на себя поводок, выполняющий команды. С ней восьмилетний мальчик почти не расставался, даже ходил на танцплощадку, а Машка преданно сидела и ждала его!

Родители будущего певца были людьми интеллигентными и образованными, имели большую библиотеку, прекрасно пели, в их доме часто звучала музыка. Отец, Николай Александрович (военный, майор артиллерии, в годы Великой Отечественной служил в армии Рокоссовского, после войны работал председателем колхоза), играл на гитаре, мандолине. «Голос у меня — от отца: высокий, звонкий и чистый тенор»¹, — любит повторять Вячеслав Николаевич, зачастую скромно умалчивая об одном интересном факте: старший Осипов учился в Московской консерватории у народной артистки Софьи Преображенской, общался с великим С.Я. Лемешевым.

Правда, не доучился — смерть кормильца семьи, нужда и безденежье заставили искать более хлебную профессию. Поступил в артиллерийское училище в Коломне. Здесь же встретил свою любовь...

Мама, Елизавета Александровна Карпушкина, работала мастером на коломненском патефонном заводе, корректором в одной из газет. Будучи мастером спорта по бегу, передала своим детям (двум сыновьям и дочери) заряд здоровья, оптимизм, душевную доброту, человеческую силу воли, умение добиваться победы вопреки всем обстоятельствам, что не раз помогало им одерживать верх в схватках с судьбой².

В Коломне Вячеслав окончил три класса начальной школы. Но стать баловнем этого города ему было не суждено: в девять лет, когда здесь бушевала страшная эпидемия полиомиелита, он заболел, слёг на долгие шесть месяцев — практически отнялись ноги и руки. Болезнь старшего ребёнка потрясла всех в семье: «Она сделала меня инвалидом, но это скажется позже...». Мучительные три месяца в больнице и три — дома. Прикованный к постели, он прочёл принесённые дядей совсем не детские книги: «Войну и мир» Л.Толстого, «Пиковую даму» и «Евгения Онегина» А.Пушкина.

«Я всегда считал, что всё на свете не случайно. Каждого Судьба ведёт по его жизненным дорогам и путям. Все встречи на земле посылаются нам

¹ Все специально не оговорённые цитаты принадлежат В.Н. Осипову.

² Корни Осиповых по материнской линии предположительно немецкие — Ханзели (до перестройки начала 1990-х годов один из универмагов в старой Коломне народной молвой именовался «Ханзелем»! Думается, это не простое совпадение).

До революции 1917 года Карпушкины держали в Коломне четыре школы: для глухонемых, беспризорников, умственно отсталых и обычную — среднюю. Дед певца, Александр Карпушкин, был директором первой из них. В годы сталинского режима репрессирован, через три месяца пребывания в тюрьме умер.



Родовой дом В.Н. Осипова в Коломне

свыше, все мы ходим под Богом. Я умирал много раз, был в клинической смерти. Тогда, болея полиомиелитом, говорил себе: “Слава, твоя жизнь кончилась!” — и вдруг услышал голос: “Нет! Ты будешь жить! Тебя ждёт красивая, долгая жизнь!..” — и я тогда выздоровел, встал на ноги».

Зимой трудного послевоенного 1948 года повсюду царили голод и холод. Семья Осиповых напряжённо искала путь к выживанию и переехала на родину отца — в село Степановское, поближе к Москве.

Мальчишки начала 50-х сходили с ума от вышедшего тогда на экран фильма «Тарзан». Все хотели походить на смелого и ловкого героя, старались изобразить его боевой, призывный клич. *«Попробовал себя в роли Тарзана и я — нормальные люди стали затыкать уши, говоря: “Ну и голощице!”»*.

Ещё в первом классе на уроке пения Вячеслав стал единственным учеником, пожелавшим по просьбе учительницы исполнить «На просторах Родины чудесной». За что и получил свою первую в жизни пятёрку. Громко, красиво и чисто выводил: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полёт». На долгие годы любовь к пению этим и ограничилась. Конечно, Вячеслав многократно смотрел фильмы «Вернись в Сорренто», «Возраст любви», наслаждаясь прекрасными голосами итальянцев. Принимал участие в художественной самодеятельности, пел на дружеских вечеринках. Любил народные песни, копировал голоса знаменитых певцов, зачастую с иностранным акцентом. Но это было скорее по внутреннему зову души. В средней школе он увлекался точными науками — математикой, физикой, черчением, хотя будущей профессии в них не видел: просто это было хобби его друга. «После окончания десятилетки приятель поступил в МВТУ им. Баумана, я — ни много ни мало — в МИФИ!» И опять — счастливое стечение обстоятельств, что принято называть судьбой: начало новой вехи своей жизни новоиспечённые пер-

вокурсники решили отметить в соседнем селе Петрово-Дальнее, на даче великого русского певца А.П. Иванова (народного артиста СССР, лауреата Сталинских премий, солиста-баритона Большого театра). Конечно, друзья пели. Обратив внимание на мощный, интонационно чистый голос Вячеслава, Алексей Петрович подошёл к роялю и попросил юношу спеть одного. Тот исполнил русскую народную песню «Из-за острова на стрежень», а потом — частушки. Иванов пришёл в восторг: «Рано или поздно ты станешь певцом: твой голос заставит тебя петь!» И тут же написал рекомендательное письмо ректору Московской государственной консерватории А.В. Свешникову: «Послушай этого юношу: тенор настоящий; если всё сложится — будет звездой».

На вступительных экзаменах Вячеслава слушал весь ректорат — явление редкостное! Он не знал нотной грамоты и музыкальной литературы, но единодушным решением комиссии был зачислен на подготовительное отделение консерватории.

«А.В. Свешников открыл мне дорогу вокального исполнительства, убедив, что природа одарила меня голосом, который позволит стать певцом». Но ни великий мэтр хорового искусства, ни будущий солист театров тогда и не догадывались, что родом они из одного города. Как знать: может быть, судьба юноши сложилась бы иначе! А тогда, в 1955 году, Вячеслав заболел, на время потерял голос, и через полгода учёбы из консерватории его отчислили... как профнепригодного. Свешников по разным причинам не вмешался. Тем не менее, спустя несколько лет В.Н. Осипов пел у него в Государственном академическом русском хоре, солируя в песнях «Однозвучно гремит колокольчик», «Степь да степь кругом», «Колокольчики мои, цветики степные»³.

Надо было опять выживать, бороться за «хлеб насущный». *«Спасибо доброй душе, Рахили Львовне Блюман. Она меня, что называется, подобрала и забрала к себе в Мерзляковское училище при Московской консерватории, где была директором (слышала меня при поступлении в консерваторию и запомнила). Родители, конечно, помогали, но денег не хватало — пошёл разгружать вагоны».*

Вячеслав собрал бригаду таких же крепких и сильных парней, как он сам, и с воодушевлением принялся за работу. В «Детском мире» купил пионерский барабанчик. Его звонкая дробь боя повышала и боевой дух и скорость работы грузчиков. Порой ребята пели, солировал Вячеслав. Однажды его услышал завскладом железнодорожной станции Иван. *«Он был потрясён, что я нигде не учусь вокальному искусству. Его реакции на моё пение мне никогда не забыть».* Парадоксально, но «русский Иван» оказался Джованни Бьянколе⁴ — итальянским певцом Римской оперы, знаменитым тенором, лебединой песней которого была сложнейшая партия Рауля в «Гугенотах» Дж. Мейербера! Был знаком с великим Энрико Карузо. Деньгами помогал Л.Троцкому, за что, естественно, и пострадал. Советские органы госбезопасности незаконно арестовали его, привезли в Россию, долго пытали (кому ещё из троцкистов оказывал помощь?) и на долгие двадцать лет сослали в лагерь... Там и стали Джованни звать Иваном, там

³ В начале творческой карьеры В.Осипов познакомился с другим своим земляком, не менее знаменитым — адмиралом С.Г. Горшковым, благодаря которому объездил с концертами всю Балтику: выступал на кораблях, подводных лодках, атомных крейсерах, военных базах, в городах Северодвинске, Североморске и др.

⁴ Полное имя итальянского певца озвучено В.Осиповым для прессы впервые.

он женился на русской. Выйдя на свободу, устроился работать завскладом одной из железнодорожных станций Москвы, имея при этом около ста учеников, которым щедро передавал тайны своего вокального мастерства. Одним из них и стал Вячеслав Осипов. Целых четыре года, без выходных, приходил он к Мастеру, оставляя в конце урока по три рубля.

«Когда мы встретились с Джованни, ему было 89 лет. Красивый, богатырского телосложения, он излучал особый свет жизнеутверждающей силы, несмотря на возраст и многочисленные перипетии и козни судьбы. Он мне дал такую школу, что в вокальном искусстве, не побоюсь сказать это, я — царь».

Год-два Джованни работал только над вокальной техникой — никакого репертуара, арий, романсов. Каждый урок — обязательный комплекс упражнений. Зато он не скупился посвящать в секреты певческого мастерства, и скоро Осипов получит право заявить: *«Я — героический тенор, как раньше говорили — басотенор: низ — басовый, верх — теноровый, но я могу петь разными тембрами, так научил меня итальянец, исполняя, к примеру, партии Ленского, Дубровского, Отелло».*

Параллельно занятиям с итальянцем незаметно пролетели годы учёбы в Мерзляковском училище, на вокальном отделении (класс В.В. Горячкина).

В Гнесинском институте учился у Д.Ф. Тархова.

Получив высшее музыкальное образование, Вячеслав в начале 60-х два года был солистом в Молодёжном хоре В.Г. Соколова, где наконец-то избавился от страха сцены.

С хором впервые выехал за границу. На гастролях в Японии в Осипова влюбилась очаровательная молодая особа, отец которой был русский, а мать — японка: высокая, красивая, жгуче тёмная брюнетка с немного раскосыми глазами. Она повсюду сопровождала коллектив. Вячеслав тоже увлёкся... Но роману не суждено было иметь продолжение. В конце гастролей к нему на сцену поднялась очень высокая худощавая девушка и, протягивая небольшую, красиво упакованный свёрток, сказала почти басом: *«От русских женщин Японии — эмигранту».* Сразу же после концерта Осипова окружили «сопровождающие лица» и повезли в посольство. Коробку вскрыли в присутствии понятых. Там оказались шесть круглых полос чёрного жемчуга: баснословное по тем временам богатство! Заставили написать расписку: *«Дарю посольству».*

Учёба, концерты, поездки, гастроли — всё это дарило красивую, бурную, интересную жизнь, калейдоскоп интересных встреч и впечатлений. Но Вячеслава таинственной силой манил оперный театр, сцена! Как всегда, помог его величество случай.

Шёл 1967 год. На одном из выступлений Москонцерта Осипова услышал директор Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко В.А. Чайковский и пригласил на пробы. Он разыскал певца и буквально снял его с поезда, везущего артиста на гастроли.

Случилось так, что 1967 год не только распахнул для певца двери в оперу, но и подарил судьбоносную встречу с величайшим немецким оперным режиссёром Вальтером Фельзенштейном, приехавшим в Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко для постановки «Кармен» Бизе.

«При всём своём рационализме, — пишет о Фельзенштейне режиссёр Л. Михайлов, — он как-то по-детски умел влюбляться в актёров. Так, буквально вцепился в Вячеслава Осипова — прекрасные данные: заразительность, чертовское обаяние, лиризм. Эмоциональность из него так и бьёт. И Фельзенштейн кричит, что это — гениально, что только он ему и годится, что другого такого Хозе нет нигде в мире!».

Известность пришла сразу после премьеры «Кармен» в 1969 году. В театре Станиславского за дирижёрским пультом стоял Дмитрий Китаенко. Партию Кармен пела Эмма Саркисян, партию Микаэлы — Галина Писаренко. Столичные меломаны за билеты на «Кармен» отдавали билеты на «Спартак» в Большом! В то время это были два самых престижных музыкальных спектакля в столице.

Постановка оперы держалась на сцене театра около пятнадцати лет, параллельно исполняясь в берлинской «Комише опере» (созданной профессором В.Фельзенштейном ещё в 1947 г.). Партию Хозе в течение десяти лет бесменно пел Осипов. «Осипов стал подлинным любимцем публики, — писал в 1972 году репортёр берлинской газеты “Der Morgen”. — Это чистый крестьянский парень, отчаянно противящийся

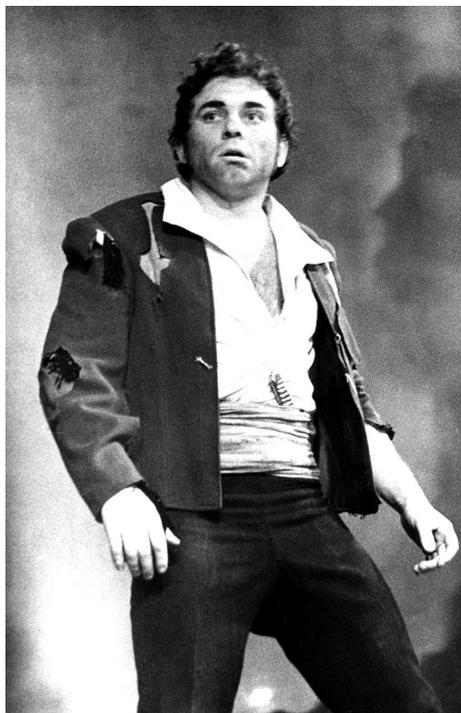


В.Н. Осипов в роли Хозе в опере Ж.Бизе «Кармен». 1969 г. В роли Микаэлы — Г.А. Писаренко

ся любовной магии Кармен, гибнущий в конце концов под её властью, всем своим существом, убедительнейшей человечностью воплощает состояние безмерного счастья любви и безмерного отчаяния. У меня не раз перехватывало горло во время пения светловолосого, голубоглазого Осипова».

Так замечательно всё было на спектакле. И никому не приходила мысль о том, ценой каких усилий был создан артистический образ Хозе. Найти единственно правильное сценическое движение было не просто. «Я у Фельзенштейна сто пятьдесят раз цветок поднимал!.. На репетициях он мог повысить голос из-за технических неувязок, но на актёров — никогда! Любил нас, как родных детей! Спокойно вёл к своей идее, пока актёр сам не поймёт. Фельзенштейн открыл мне тайну и магию театра. Я имел счастье учиться у него целых десять лет».

Вся творческая жизнь, можно сказать, судьба В.Осипова нераз-



В.Н. Осипов в роли Хозе в опере Ж.Бизе «Кармен». 1969 г.

ривно связана с театром на Большой Дмитровке (бывшей Пушкинской). Московский музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, имеющий самое длинное название в мире среди музыкальных театров, мог бы, как шутят многие критики, попасть в Книгу рекордов Гиннеса (в 2004 году он отметил 85-летие). Здесь каждая премьера — событие, яркое и значимое. Сама история хранит этот Дом искусства от суеты и разрушений, от веяний псевдокультуры. Вера в истоки, завещанные его основателями — великими мэтрами театрального искусства, искренность стремлений, чистота воплощения самых дерзновенных помыслов, служение великому искусству позволяют театру сохранять устои и традиции, оставаться Домом Станиславского и Немировича, «младшим братом великого МХАТа» (до сих пор визитной карточкой театра остаётся опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Станиславского). Достоянными преемниками создателей театра в здании бывшего Купеческого клуба стали возглавившие руководство Владимир Чайковский и Владимир Урин, режиссёры Леонид Баратов, Лев Михайлов и Александр Титель, дирижёры Борис Хайкин, Самуил Самосуд, Геннадий Проваторов, Дмитрий Китаенко, Евгений Колобов (с 1977 года — руководитель созданной им «Новой оперы»), Вольф Горелик (нынешний дирижёр). В этой преемственности — некий таинственный генетический код, секрет жизненной силы Первозамысла — то, что построено с умом и любовью, построено на века. Этот замечательный театр и стал творческой колыбелью, мастерской, музыкальным Олимпом Вячеслава Николаевича Осипова.



В.Н. Осипов в роли человека в очках в опере Слонимского «Виринея». 1970 г.

Именно здесь и состоялась одна из первых ролей В.Осипова в театре — «Господин в очках» (опера «Виринея» С.Слонимского по повести Л.Сейфуллиной). Увидев Осипова, режиссёр Л.Д. Михайлов понял — «от этого молодого певца можно получить значительно больше, чем просто правильное вокализирование. И не ошибся». Блестящее исполнение этой роли обозначило характерные черты В.Осипова — певца и актёра, которые позволили ему создать (прежде всего вокально) яркий социальный и человеческий портрет персонажа. Олицетворяя прежнюю Россию, одетый «под Керенского» (на нём краги, английский френч, пенсне), «его „Господин“, — пишет Л.Михайлов, — является зрителю крупным, барственным, самоуверенным и одновременно болезненно нервическим... Партию „господина агитатора“ Вячеслав Осипов исполняет с предельной надрывной экспрессией, кривя губы, с особыми баритональными красками, ревя, как раненый хищник, в лицо толпе: „Частная собственность священна!“».

Именно здесь и состоялась одна из первых ролей В.Осипова в театре — «Господин в очках» (опера «Виринея» С.Слонимского по повести Л.Сейфуллиной). Увидев Осипова, режиссёр Л.Д. Михайлов понял — «от этого молодого певца можно получить значительно больше, чем просто правильное вокализирование. И не ошибся». Блестящее исполнение этой роли обозначило характерные черты В.Осипова — певца и актёра, которые позволили ему создать (прежде всего вокально) яркий социальный и человеческий портрет персонажа. Олицетворяя прежнюю Россию, одетый «под Керенского» (на нём краги, английский френч, пенсне), «его „Господин“, — пишет Л.Михайлов, — является зрителю крупным, барственным, самоуверенным и одновременно болезненно нервическим... Партию „господина агитатора“ Вячеслав Осипов исполняет с предельной надрывной экспрессией, кривя губы, с особыми баритональными красками, ревя, как раненый хищник, в лицо толпе: „Частная собственность священна!“».

Феноменальная актёрская выразительность, некий магнетизм позволяли ему выделяться на сцене среди других, даже в эпизодических ролях, вызывая восторг публики и пристальное внимание к себе режиссёров. «На меня В.Фельзенштейн поставил “Кармен”, Л.Михайлов — “Паяцев”, “Отелло”, “Пиковую даму”; А.Титель — “Эрнани”, “Черевички”. Я горд и счастлив, что судьба свела меня с этими великими режиссёрами», — часто повторяет певец. Их спектакли — поиски новых духовных миров, новой музыкально-сценической образности, новых характеров, новых приёмов. «Либо я ставлю спектакль потому, что нашёл новое решение заинтересовавшего меня произведения, — заявляет Л.Михайлов, — либо потому, что в нашей труппе существуют такие актёрские индивидуальности, которые меня особенно интересуют, и я хочу раскрыть их в моём спектакле».

В Осипове режиссёр находит одержимость театром и предельную музыкальность. Верит в него. Воздвигает перед ним сложнейшие задачи и сам участвует в процессе творчества: «Работа с актёрами, репетиции — это то, ради чего стоит жить. Я должен каждый день будить в них сомнения, желание отвергать не только меня, но и себя, тогда можно надеяться, что они сделают в спектакле что-нибудь интересное. Как только внутри воцаряется безмятежный, устойчивый мир — кончается искусство».

Вот Канио (в «Паяцах» Р.Леонкавалло). Всем хорошо знаком сюжет, укладываемый в формулу «любовного треугольника», где на подмостках балагана разыгрывается **реальная** человеческая драма: Паяц обманут Коломбиной... Театр в театре. И по роли он (Канио) должен, выбелив мукой лицо, идти на сцену играть комедию, «толпу увеселять». Бесспорно, сила оперы Леонкавалло в эмоциях предельного накала, в буквальном смысле в оголённом нерве (кого из нас не потрясла однажды известнейшая ария: «Смейся, паяц, над разбитой любовью! Смейся и плачь...»).

Сюжет сюжетом. Талант в другом. В том, чтоб открыть **второе дно** спектакля, в том, **что актёр играет в роли**. «Во всей драматической линии образа Канио, каким его обрисовывает Осипов, причудливо и неразрывно сплетаются две лейттемы — бережная, нежная влюблённость старого артиста в Недду и в Театр с большой буквы, — писала в 1982 году “Музыкальная жизнь” (№ 4, статья М.Дотлибова). — В.Осипов менее всего играет неистового и оскорблённого мужа. Слово легендарный Пигмалион, сотворивший Галатею, придумал Канио для себя Недду. В Недде для него объединилось всё самое важное — актриса, человек, друг, любимая, ей отдал он всю душу. И когда Недда грубо и беспощадно предаёт Канио, для него рушится вселенная. Не жестокость и подозрительность ревнивца, а душевная незащищённость и ранимость уделён-



В.Н. Осипов в роли Канио в опере Р.Леонкавалло «Паяцы». 1980 г.

ного сединами большого ребёнка стали определяющими чертами героя В.Осипова».

Природа сценического обаяния и сегодня остаётся одной из неразрешённых загадок. У одного актёра хороший голос, прекрасная фигура, интересная фактура, но от него не веет теплом. Другой — может быть, некрасив вовсе, с менее выразительными вокальными данными, но обладает феноменальным притяжением. Возможно, обаяние — это сила проявления личности или вид какой-то духовной энергии. **«Когда на сцену выходит актёр с непререкаемым обаянием, у меня возникает чувство, что он как бы заполняет собой весь зал: своим существом, своей личностью. И зритель-слушатель идёт за ним, “как дитя за цыганской скрипкой”»,** — считал Л.Михайлов, относя к касте избранных и В.Осипова.

Отныне путь певца — калейдоскоп, богатая мозаика прекрасных, неограниченно контрастных партий в неограниченном диапазоне опер.

Конечно же, из зарубежных вершиной станет вердиевский Отелло. Коронная роль. Большую радость принесёт она певцу в конце 80-х годов, когда судьба подарит Осипову знакомство с легендарным Лучано Паваротти. Великий итальянец приезжал в Россию на гастроли в Большой театр. По счастливой случайности, что стала «правилом» на жизненном пути В.Осипова, среди сопровождающих маэстро лиц оказались знакомые Вячеслава Николаевича. Они-то и помогли устроить аудиенцию — прослушивание в Театре оперетты, где русский тенор исполнил арии Хозе и Отелло. Прослушав первую из них, Паваротти не сдержал восторженного крика: «Брависсимо!». После арии Отелло он произнёс: «Если бы это слышал Пласидо Доминго, он не приехал бы в Москву исполнять Отелло».

А за десять лет до этой знаменательной встречи решалась судьба всей дальнейшей жизни актёра-певца. В 1970 году дал о себе знать перенесённый в детстве полиомиелит: стали отказывать ноги. Важно было не просто восстановить опорно-двигательные функции организма, но и не потерять главного, святого — иметь возможность по-прежнему выходить на любимую театральную сцену, дарить публике радость встречи с настоящим Искусством. На карте стояла вся жизнь.

При помощи В.Ростроповича удалось без очереди попасть на приём к доктору-хирургу профессору Елизарову, который успешно провёл сложнейшую операцию, длившуюся шесть часов. *«Я был абсолютно счастлив на этой земле дважды, когда хотелось остановить движение реки времени и воскликнуть: “Мгновение, повремени, ты — прекрасно!”», — после того, как спел партию Хозе у В.Фельзеништейна и когда после труднейшей операции на ноги, которую многие считали безрезультатной и бесполезной, смог ходить».* Не просто ходить, а создавать на оперной сцене свои новые шедевры.

Роль Отелло остаётся кульминацией исполнительского искусства В.Н. Осипова до сих пор. «Верди имел львиную лапу и требовал льва для исполнения своей музыки» — эти слова Марии Каллас как нельзя лучше подходят к Осипову—Отелло, одной из самых ярких его работ в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Из русских образов, конечно, Герман («Пиковая дама» П.И. Чайковского) занял первенствующее положение. В прекрасной галерее созданных артистом, всегда в своей трактовке, оперных характеров Герман Осипова — **явление** неординарного порядка. Как «прометеевский аккорд» в Поэме Скрябина, Герман Вячеслава Осипова — **созвучие** космического ряда, поскольку в нём реальные поступки смешались с мистикой в боль-



*В.Н. Осипов в роли Германа в опере П.И. Чайковского «Пиковая дама». 1976 г.
В роли Томского — Л.Болдин*

ном воображении героя; **созвучие**, в котором каждый голос обретает глубинный, символический, ассоциативный смысл. По замыслу певца и режиссёра (Л.Михайлова), сам Петербург, с которым связаны события, предстаёт как живое существо, расчётливое и холодное, призрачно отражавшееся в воде каналов, зеркалах игорного дома, мистике разразившейся грозы и дождя. Это — больное воображение и сознание Германа, это — туманы и белые ночи Петербурга, воздух героев Достоевского, чьим современником, по мысли режиссёра, является Герман. Так, «В спальне» (кульминационная четвёртая картина оперы), например, Герман—Осипов незнательно задевает платья, висящие на манекенах, и они начинают медленно вращаться... Мощно звучащая тема Рока у медной духовой группы оркестра создаёт ощущение трагического предчувствия. «Когда В.Осипов играет Германа, мне каждый раз кажется, что у него в волосах сверкают молнии. В пространстве образа он умеет нагнетать электрические разряды», — высказывает своё впечатление А.Титель (нынешний режиссёр Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко).

Вспоминая сцену в спальне, Н.Исакова, исполняющая роль Графини, замечает: «...я спиной чувствую надвигающийся сзади энергетический разряд Германа—Осипова, от которого наступает какой-то внутренний паралич...»

Обладая огромной редкостной энергией, веря в Бога и параллельные миры, В.Осипов сам часто в шутку называет себя «марсианином», в мечтах желая, если б это было возможно, встретиться и повести философские беседы с Христом, Воландом, Прометеем. Бывал в Индии в гостях у Святослава Рериха и его жены Ревекки, прошёл знаменитой «тибетской тропой Рериха». «Я очень странный человек, могу целый час не мигать, могу “включать” и “выключать” свою энергетiku, данную мне, как и голос, Природой, Богом. В молодости, когда ещё жил в деревне, мужики, чтоб убедиться

в силе моего взгляда, для эксперимента приводили бродячую корову или кусающуюся лошадь: я подходил тихо, без слов и смотрел в упор, в глаза, без страха — и животное останавливалось, отступало».

Рождённый пятого мая, по знаку зодиака Телец, по году — Восточный тигр, он увлекается кунг-фу, восточными единоборствами. Любит магометанское пение, японское и китайское искусство: «*Меня тянет ко всему восточному. Я чувствую некую связь с этим миром*».

Многолик круг его литературных интересов: от В.Высоцкого до поэтов «серебряного века» и шедевров Ф.Достоевского, М.Булгакова, И.Тургенева, И.Бунина. Любимый персонаж — Павка Корчагин. Кумиры в живописи — Леонардо да Винчи, Марк Шагал. Вокалисты — итальянцы Джино Беки, Тито Гоби; российские теноры И.Козловский и С.Лемешев — с последними Вячеслав Николаевич был знаком. Оба высоко ценили Осипова, приезжали на концерты, поздравляли с творческими дебютами, называли «играющим певцом», отмечая редкость этого явления на оперной сцене.

* * *

Судьба народного артиста России В.Н. Осипова интересна и по-своему уникальна. Он увенчан званием академика Петровской Академии наук и искусства; Академии проблем безопасности и правопорядка (наградившей певца орденом им. М.В. Ломоносова за особые заслуги в области русского искусства и культуры); Академии элиты московского двора. Дополнительно к музыкальному образованию окончил университет эстетики и режиссёрский факультет ГИТИСа у И.Г. Шаруева, получив диплом оперного режиссёра. Поэтому одной его мечтой из многих является создание своей собственной оперной студии.



В.Н. Осипов в роли Пинкертона в опере Дж.Пуччини «Чио-Чио-Сан». 1972 г.

В конце августа 2003 года мэр города Москвы Ю.М. Лужков вручил певцу свидетельство лауреата года в области литературы и искусства. В номинации «Оперное искусство» Осипов оказался в гордом одиночестве. Когда отзвучала традиционно исполняемая во время церемонии фонограмма песни И.Дунаевского «Дорогая моя столица», певец попросил разрешения у мэра спеть её не так, как звучало в динамиках, а как задумывал автор. Мощный голос В.Осипова привёл присутствующих в бурный восторг.

Ещё он — председатель музыкальной секции Центрального дома работников искусства, преподаватель вокала в Университете культуры. Здесь он бескорыстно учит мастерству молодое поколение.

Обладая мировой известностью, певец неоднократно мог бы остаться



*В.Н. Осипов в роли Каварадоси в опере
Дж. Пуччини «Тоска». 1971 г.*

ся за границей. Но все предложения на этот счёт всегда категорически отвергал: *«Без России не мыслю своего существования. Я — глубоко русский человек и русским хочу умереть».*

Приглашали Осипова не однажды и в Академический Большой театр, но перейти туда он отказался, оставаясь верным своему первому театру (правда, много раз под аплодисменты восторженной публики исполнял в Большом партии Пинкертона в «Чио-Чио-Сан», Каварадосси в «Тоске», Хозе в «Кармен», Водемона в «Иоланте»).

«Почти 25 лет, — признался режиссёр Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель, — я внимательно слежу за творчеством Вячеслава Николаевича Осипова. Каждая роль этого артиста, каждый его спектакль подтверждают — на сцене настоящий Мастер, умеющий заставить зрителя забыть обо всём на

свете. Осипов обладает тем, что точнее всего назвать **магией театра**. Его герой никогда не бывает равнодушным — он всегда охвачен борьбой за свой идеал, всегда полон страстей, всегда действует. **Живой артист** — так я определяю индивидуальность Осипова, вкладывая в эти слова глубокий смысл».



РОДИМАЯ
СТОРОНА





Фото Юрия Имханицкого



Вероника Вячеславовна Ушакова родилась в городе Орске Оренбургской области. Выпускница МВТУ им. Н.Э. Баумана. С 1988 года живёт в Коломне. Заведующая отделом городской жизни газеты «Коломенская правда». Печаталась в журналах «Москва», газетах «Красная звезда», «Ежедневные новости. Подмосковье», «Империя книг», «Российский писатель». Член Союза журналистов России.

КОЛОМЕНСКОМУ КРЕМЛЮ —
475 ЛЕТ

Вероника УШАКОВА

КРЕМЛЁВСКИЕ СТЕНЫ

Иван Фёдоров вторую неделю работал на каменоломнях. Как земля оттаяла, только и успел, что вспахать свой клочок земли. Остальные дела легли на плечи жены и отца с матерью. Засеять рожь и гречиху, засадить огород, прополоть, полить, покормить скотину, вычистить клетки. Доля крестьянки и без того нелегка. Но куда деваться? Измучил татарин поганый русскую землю. Нет покоя. Топчет конями пашни. Угоняет в полон молодых ребят и девок. Жжёт избы, оставляя после себя горькое пепелище.

Потому повелел великий московский князь Василий III строить вокруг городов крепости, кремли — не деревянные, а каменные, которые огонь не возьмёт, пилы и топоры отскочат, пушечные ядра урона не нанесут. Надёжной защитой для жителей выросли кремли — московский, нижегородский, тульский. На подступах к Москве стоит Коломна — верный город-стражник, первым принимающий на себя удар врага. Хорошо послужил коломенцам прежний деревянный кремль. Много жизней спас. Но и сам погибал в пламени не единожды.

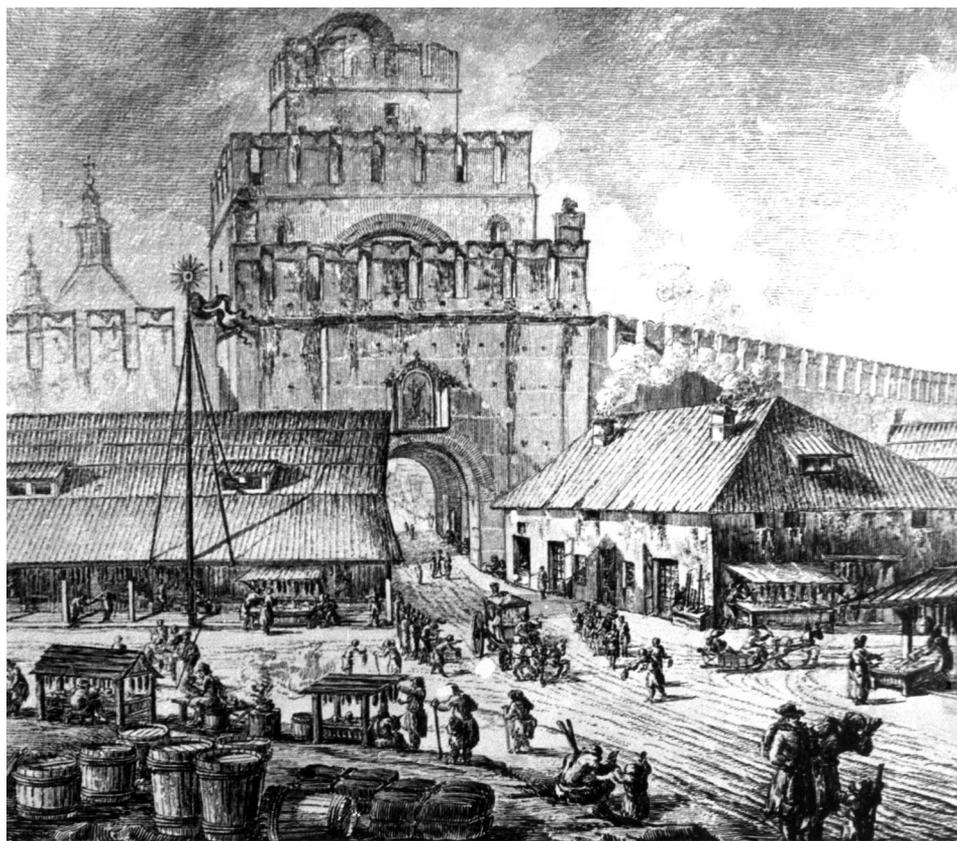
Нужна Василию III Коломна, ох как нужна! Потому в помощь местным жителям отправил он из Москвы мастеровых, — тех, что строили московский кремль, могли помочь советом и делом, организовать строительство, чтобы велось оно насколько можно быстро.

25 мая 1525 года, лишь только закончились самые срочные дела в поле, всему мужскому населению Коломны и окрестностей повелел великий князь отправляться на строительные работы. Многое нужно успеть летом. Хотя и зимой не замолкнет в каменоломнях стук железных кирок, в кузнях — тяжёлых молотов.

Хорошо кирпичникам. Они дома живут, не отходя от горнов, с семьями. Землекопы, что копают огромные ямы под котлован, многие тоже из городских. А лошадное крестьянство отправили в карьеры. Нужно несметное количество глины, бута, известняка. Иван две недели не видел своей Аксиньи. Соскучился. Ему и сотоварищам сказали, что в деревню отпустят, когда придёт пора хлеба косить. Засыплут закрома — и опять на стройку.

Две трудолюбивые пегие лошадки с чёрными чёлками над добрыми глазами, привыкшие ходить с плугом, исправно тянут повозку с камнем, который другие мастера под приглядом чужеземных зодчих будут класть в фундамент, сверху возводить стены, обкладывая их красным кирпичом. Иван покорно терпит неудобное ложе в наспех сложенных для рабочих тесных домишках. Но лошадям вытребовал хорошее стойло с не протекающей от дождей крышей. Не доверяя оставленным на хозяйстве кашеварам, сам поит их нагретой за день водой. В тёплые ночи ночует на лугу, пока кони пасутся, раздвигая спутанными ногами высокую траву.

Возможно, события «старины глубокой» развивались именно так, возможно иначе. Свидетельств о том, как строился кремль, не сохранилось; авторы известных письменных источников не уделили внимания процес-



Коломна. Пятницкие ворота. Фрагмент рисунка М.Казакова

су строительства. На одной из египетских пирамид начертан полный отчёт: было занято столько-то рабочих, их счёт шёл на десятки тысяч, они съели столько-то лука, редьки... О том, как возводился коломенский кремль, кто его строил, какие секреты вложили в его стены и башни средневековые архитекторы, мы, к сожалению, никогда не узнаем. Шесть веков назад население Коломны, включая женщин, детей и стариков, составляло три с половиной тысячи человек. Им потребовалось шесть лет, чтобы обнести каменной стеной 24 гектара земли. Это был громадный, напряжённый труд.

Но он оправдал себя. Татары ни разу не сумели взять каменную твердыню. Защитники города были мужественными, боевой арсенал — богатым. Исчезло единственное уязвимое место — деревянные крепостные стены. При непосредственной угрозе массивные створчатые ворота и железные герсы закрывали проходы и проезды. Выступающие стрельни давали возможность вести огонь в нескольких направлениях. Естественной преградой служил водяной ров. Галереи и башни были связаны между собой множеством переходов, что давало возможность защитникам по мере необходимости перебрасывать силы, подтаскивать провизию и боеприпасы.

Прошли века. Коломенский кремль давно потерял оборонительное значение, но до начала прошлого века оставался средоточием светской и духовной жизни. Впоследствии его разобрали на камни и кирпичи; за исключением семи башен и двух с половиной прясел, ничего не сохранилось. Но он по-прежнему остаётся тайной, будоражит воображение и притягивает пытливые умы любителей русской старины и путешественников.

Московский, тульский кремли в советские годы были превращены в музеи-заповедники, вошли в федеральные программы, откуда выделяются средства на научно-исследовательскую и просветительскую работу. Практически разрушенному коломенскому такая честь не выпала.



Виталий Валентинович Хитров

Казалось бы, в наше очередное смутное время тем более не найти сил и возможностей вдохнуть жизнь в древний город, заставить говорить памятники истории и архитектуры.

Однако именно сейчас сделан первый шаг — создан благотворительный фонд «Коломенский кремль».

Что представляет собой новая организация? Какие цели и задачи перед собой ставит? Каким образом поможет каждому из нас стать участником событий по восстановлению и приумножению исторического наследия? Об этом мы беседуем с **генеральным директором В.В. Хитровым**.

— *Виталий Валентинович, кому принадлежала идея создания фонда?*

— Инициатором стало некоммерческое партнёрство «Лига», единственное масштабное учреждение

культуры, которое располагается на территории кремля. Всё, что здесь происходит, нам виднее, чем многим.

Фонд — некоммерческая организация, которая ставит своей целью осуществление благотворительной деятельности, направленной на поддержку культуры, воссоздание, реставрацию исторических памятников на территории кремля, поддержку инициатив в области культурных проектов, содействующих возрождению и развитию культурно-исторических ценностей.

Создан попечительский совет фонда. В него вошли генеральный директор ОАО ПКФ «ДОММ» Н.Т. Воронин, благочинный Коломенского округа отец Владимир (Пахачев), который получил благословение митрополита Коломенского и Крутицкого Ювеналия, ректор КГПИ профессор А.Б. Мазуров, генеральный директор ООО «Ликъ» И.Г. Лебедев, журналист-краевед А.И. Кузовкин, директор НП «Лига» О.В. Милославская, главный редактор «Радио Коломны» Н.А. Шабалина.

«Лига» осуществляет благотворительную деятельность уже давно. Она практически бесплатно предоставляет залы молодым художникам, скульпторам, музыкантам. Ежемесячно расходуется 40–50 тысяч рублей: на свет, отопление, охрану, заработную плату зрителям. Но наша деятельность — капля в море.

В Коломне есть люди, готовые пожертвовать средства на реставрацию памятников, поддержку деятелей культуры. В их число входят члены Совета директоров Коломны, Коломенского центра развития предпринимательства, Межрегионального союза предпринимателей.

Закон Московской области «О льготном налогообложении в Московской области» даёт возможность предприятиям без дополнительных затрат перечислять благотворительному фонду два процента от налога на прибыль в областной бюджет. Любой любящий свою малую родину человек заинтересован, чтобы деньги оставались в городе.

2006-й год назван годом благотворительности. На волне патриотического подъёма фонд сможет стать инструментом, который объединит и сплотит вокруг себя деятельные силы. То, что мы сегодня сделаем, останется нашим потомкам.

— *Каким Вы видите кремль? Поле деятельности огромно. По большому счёту, даже придумывать ничего не надо, достаточно позаимствовать то, что воплощено в разных уголках страны. Можно создать этнографический музей. Краеведческому предстоит покинуть храм Петра и Павла. Почему бы ему, как в Вильнюсе, не перебраться в одну из сторожевых башен, где завершающей точкой осмотра экспозиции станет смотровая площадка — галерея, идущая по верху крепостной стены?*

— Разработана программа деятельности фонда. Её первый этап рассчитан на пять лет. Задачи — сохранение и реставрация культурных объектов, совершенствование планировочной организации и архитектурного облика старого города (комплексная реконструкция кварталов при сохранении характера среды), насыщение исторической части города общественно-культурными, торговыми и рекреационными объектами, расширение туристической деятельности, развитие народных промыслов и ремёсел, организация производства и продажи сувениров, благоустройство, озеленение и многое другое.

Первый проект, который уже реализуется, — сбор средств на установку памятника Дмитрию Донскому. 625 лет назад великий князь Дмитрий

Иванович собрал в Коломне войска из разных городов и повёл их на Куликово поле. Это был переломный момент в истории России. Момент рождения русского государства. Мы должны отдать дань памяти великому воину, политику и патриоту. Автор памятника — академик Российской академии художеств Александр Рукавишников, архитектор — Сергей Шаров.

Памятник — та точка опоры, с которой начнётся возрождение комплекса «Коломенский кремль». Деньги уже начали поступать. Впоследствии мы предадим список меценатов огласке.

Следующий проект называется «Семь башен». Будет произведена реставрация сохранившихся стен и башен, в них открыты музейно-исторический комплекс, различные объекты туристической инфраструктуры.

В заброшенном современном особняке на Блюдечке планируется создание музея фотографии с постоянной экспозицией и сменными выставками. Там же будет обустроена смотровая площадка. Блюдечко — древнейший очаг культуры на территории кремля — снова станет местом народных гуляний.

Для проведения праздников и фестивалей была бы удобна открытая сцена около Маринкиной башни.

Издательская программа «Коломенский кремль» — это выпуск книг, открыток, фотоальбомов, рассказывающих о прошлом и настоящем Коломны, издание газеты «Коломенский кремль» — некоммерческого культурно-просветительского издания, освещающего новости культуры и искусства Коломенского края.

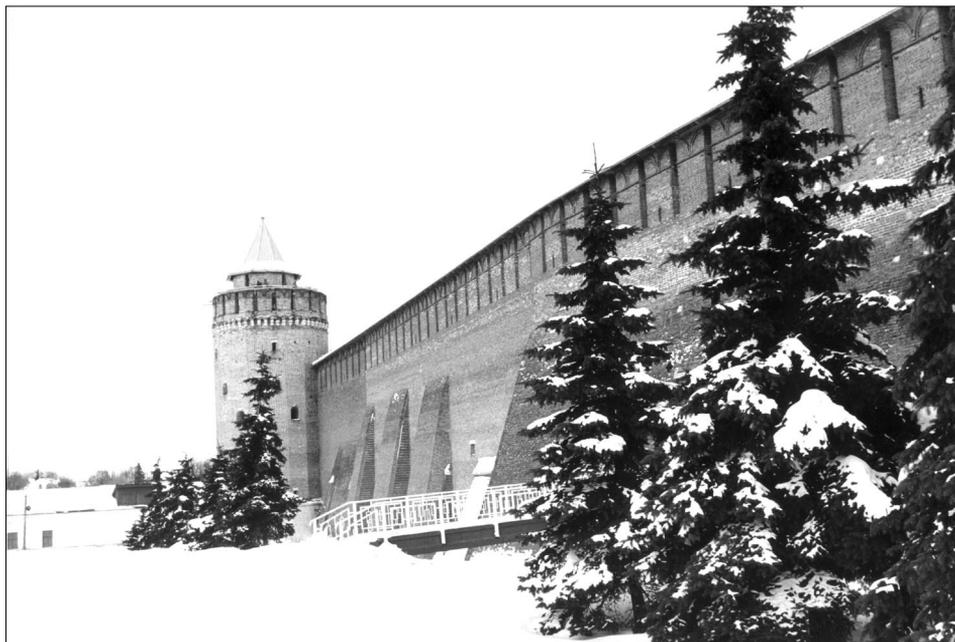
«Кузнечная слобода» — это музей кованых изделий. «Вынужденные вещи» — музей уникальных предметов быта, изобретённых жителями Коломны и входящих в коллекцию известного во всем мире собирателя В.Архипова. В доме № 31 Брусенского переулка разместится картинная галерея народного художника Михаила Абакумова.

Что касается краеведческого музея, ему нужно готовое помещение. Башни же внутри разрушены. Военно-спортивный исторический и культурный комплекс «Коломенский кремль», продолжатель дела «Святого-ра», — бюджетная организация, которая не имеет средств на их восстановление.

Пока планируется использовать только галерею, чтобы посетители посмотрели на город с высоты птичьего полёта, заглянули в старинные бойницы, почувствовали себя древними русичами, обороняющими крепость.

Каждый новый город туристу мало интересен. Должна быть, что называется, начинка. Коломенский кремль не самый большой и не лучшим образом сохранившийся. Всем понятно, что без интересной экскурсионной и развлекательной программы к нам не поедут. Город Мышкин, например, начинал с единственного музея мыши. Но к пристани стали причаливать корабли, привозить экскурсантов. В Коломне гораздо больше возможностей удивить гостей.

Июминка нынешнего года — празднование 475-летия коломенского кремля. Будут и другие юбилеи. Прекрасную зрелищную программу представляет ВСИКК «Коломенский кремль». Её можно расширить, воссоздав перед глазами публики историю XII—XIII веков, Смутное время. Можно предложить гостям самим поучаствовать в событиях «давно минувших дней». Организовать корпоративные игры (вроде «Тайна Марины Мнишек»), одеть в кольчуги, вооружить мечами и арбалетами.



Зимний день. Фото В.Смылова

Главное — не говорить, а действовать.

Сотрудники кремлей имеют возможность встречаться в рамках областной программы «Кремлей Подмосковья», проводимой Центром социальных инициатив при Министерстве культуры Московской области. Проходят семинары. Это даёт возможность обменяться опытом, почерпнуть хорошие идеи и поделиться своими. Уже есть опыт Дмитрова, где собрали средства на реставрацию крепости, которая хоть и меньше нашей, но и остался от неё один вал. Там и город меньше, в нём нет столь мощной промышленной базы. Что нам мешает сделать то же самое?

Коллегам оказался интересен опыт «Лиги». Благодаря издательскому дому, туристическому агентству, багетной мастерской и другим видам деятельности, имеющим прямое отношение к культуре, организация самокупаема. Культура может стать бизнесом.

Фонд — это средство для привлечения широких масс, участия в грантах. Разовыми акциями, публикациями в прессе многого не добьёшься. Нужно вести планомерную, упорную, целеустремлённую работу по пропаганде его деятельности. О ней должен знать весь город. Должны кричать рекламные тумбы и плакаты, в почтовых ящиках — лежать листовки. В местах скопления людей — магазинах, кинотеатрах — стоять урны для сбора денег. Нужно создавать общественное мнение. Заручиться поддержкой администрации города, представителей бизнеса.

— *Виталий Валентинович, в настоящее время кто-то ведёт подсчёт количества туристов, которые приезжают в наш город с автобусами московских и иных турфирм?*

— Цифры есть. И до сих пор не решён вопрос аккредитации, оплаты за использование нашей собственности. Мы теряем деньги. Если заглянуть

в Интернет и набрать в поисковой строке два слова: «Коломенский кремль», появится нескончаемый перечень фирм, предлагающих поездки в Коломну. Большинство из них даже историю нашего города толком не знают, приводят «факты», которых и не было никогда.

— *Вокруг фонда должен сформироваться некий центр, который возьмёт на себя содержание и эксплуатацию кремля. Ему придётся нелегко. Одна из прогнозируемых сложностей — как найти общий язык с владельцами частного сектора, ведь наш кремль уникален тем, что здесь живут. Новые постройки и усовершенствования далеко не всегда гармонируют с обликом средневековой Коломны.*

— *Вопросов больше, чем ответов. На этой территории есть и полуразрушенные здания. Но у города нет средств их восстановить.*

— *Мы всё время говорим о кремле. А коснётся ли деятельность фонда Посада?*

— *Кремль и Посад неразрывны исторически и духовно. В непосредственной близости к стенам крепости размещаются мастерские художников, выставочные залы, красуется куполами уникальная церковь Николая на Посаде. И многое ещё могло бы быть. Кремль ограничен по площади. Туристические автобусы едут по улицам Левшина и Пушкина. Облик и наполнение Посада должны быть единым целым с кремлём.*

— *Виталий Валентинович, что заставляет Вас взять на себя столь нелёгкую ношу?*

— *Мой прадед жил на улице Лазарева. Сейчас этого дома уже нет. Под асфальтом Мемориального парка упокоен прах моих предков, не знаю*

381



Грозное утро. Фото Ю. Колесникова

даже, до какого колена. Я — коренной коломенец, живу в Коломне, дышу ею. Число родственников исчисляется улицами и переулками старого города. Здесь родились мои дети, надеюсь, что и внуки первый раз увидят мир под нашим высоким голубым небом.

«Лига» — это то, что уже останется после меня. Если удастся что-то сделать на посту генерального директора фонда, это войдёт в копилку дел для родного города.

В фонде мы все работаем на общественных началах. С радостью примем энтузиастов, которые своим трудом, любовью к Коломне помогут кремлю возродиться.

Во все века Коломну прославляли не события — люди, которые строили город, отдавали жизнь за его независимость, украшали храмы, трудились на благо будущего. Ведь будущее делается сегодня. Надо только не сидеть сложа руки. Есть ключевые фигуры, которые благодаря силе своего характера и способностям оказались выдвинуты вперед. Есть рядовые исполнители, без которых не были бы возможны ни победа на Куликовом поле, ни полёты в космос.

Коломна всегда была сильна любовью своих горожан. Эту любовь мы пронесли через века.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Георгию Васильевичу Краснову — 85!

Более полувека он преданно служит родной литературе. Рыцарь науки, рыцарь Болдинских чтений, рыцарь Некрасова — как только ни именуют его в литературном мире. Доктор филологических наук, заслуженный деятель наук РФ, профессор Горьковского университета, потом Коломенского пединститута, автор более двух сотен научных работ — регалии этого удивительного человека можно перечислять очень долго.

Коломна гордится тем, что уже три десятилетия жизнь Георгия Васильевича связана с нашим городом. Он привнёс в преподавание литературы на филологическом факультете КГПИ университетский подход. «Птенцы гнезда Краснова» разлетелись по разным городам Подмосковья, они преподают и в школах Коломны.

Дорогой Георгий Васильевич! Со славным юбилеем Вас! Здоровья, долголетия, новых творческих успехов! Именно о таких, как Вы, людях сказал когда-то любимый Вами поэт Некрасов:

Природа-мать! Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...



«Господ винных торговцев в городе Коломне и уезде честь имею уведомить о том, что оптовый винный склад, водочный завод с усовершенствованием новейшего технического приспособления для лучшей очистки и приготовления вин паровым способом мною переведены от Москворецкого моста на торговую площадь, в собственный дом, бывший купца Кротова. Тут же открыт ренсковый погреб для дробной торговли, в котором с 1 февраля 1878 года будут продаваться иностранные вина всех известных фирм. Коломенский 1-й гильдии купец А.С. Озеров».

Валерий ЯРХО

«НОВЫЙ РУССКИЙ» СТАРОГО ВРЕМЕНИ

Это уведомление, появившееся 22 января 1878 года в номере 20-й газеты «Русские ведомости», по сути своей означает начало нового этапа в существовании одной из самых крупных и богатых «новых коломенских фирм». Старые коломенские торговые предприятия к тому времени пришли в окончательный упадок «из-за падения торговли по водным путям», краха, наступившего после проведения железных дорог, изменивших привычные торговые пути, прежде пролежавшие через речной порт Коломны. Кустарная и мелкая промышленность в округе постепенно сходили на нет, будучи не в силах конкурировать с новыми, крупными и технически более современными предприятиями, возникшими в результате экономических реформ, начатых ещё в царствование Александра II. Как говорится, «свято место пусто не бывает». На смену ушедшим фирмам пришли другие, более жизнеспособные и востребованные.

Покупка купцом Алексеем Озеровым огромного дома, принадлежавшего некогда одной из самых почтенных купеческих семей города (фамилии купцов Кротовых), перевод на эту усадьбу своего водочного завода, склада, оптового магазина и розничной торговли стало своего рода символом наступления «новых времён в России»: молодой российский капитализм резво набирал обороты.

Сведения о личности Алексея Семёновича Озерова крайне скудны: что была за семья, в которой он вырос, учился ли он, и если да — то где? Пока на эти вопросы нет ответов. И вообще, в Коломне более известен даже не сам Озеров, а «дом Озерова», который он приобрёл со всеми строениями у наследников Кротова. До

революции газеты в Коломне не издавались, поэтому взять сведения из рубрики «Местные вести» невозможно, в больших газетах о Коломне писали нечасто, и сведения эти отрывочны, да и представляют они собой «взгляд со стороны», часто очень поверхностный. Документы, если и сохранились, пребывают в архивах в большом беспорядке, будучи рассеянными по делам разных учреждений и департаментов. Добавляет трудностей для исследователя и то обстоятельство, что и сам Алексей Семёнович Озеров, и жена его Александра Ивановна в Коломне были люди пришлые, нездешние. Скорее всего, происходил Озеров из Ярославской губернии, из купеческой семьи города Ростова Великого. Жена его была также из купеческого сословия, уроженка Рязани. Об этом свидетельствует запись в книге Старо-Ямской Николаевской церкви Рязани: «Ярославской губернии, города Ростова, купеческий сын Алексей Семёнов Озеров, православного исповедания, 27 лет, венчающийся первым браком, и дочь рязанского купца Ивана Михайловича Денисова, девица Александра Ивановна, 22 лет, православного исповедания, венчающаяся первым браком, повенчаны 3 ноября 1863 года».

До того как стать коломенским купцом, Алексей Семёнович сначала набирался опыта в семейной фирме, состоя в ростовском купечестве. Потом попробовал завести дело в Самарской губернии, в Николаеве и Хвалынске, поступая в тамошнее купечество по 2-й гильдии, хотя и жил здесь, в Коломне. Об этом можно судить по записям, сделанным в метрических книгах коломенских церквей, зафиксировавших факты рождения и крещения его детей. В книге коломенской градской Покровской церкви записано: «1866 года 18 февраля родился Николай, крещён 19 числа того же месяца. Родители — Алексей Семёнов Озеров, Самарской губернии, Николаевский купеческий сын, и законная жена его Александра Ивановна». А двумя годами позднее, в 1868 году, в Воскресенской на Посаде церкви 5 апреля крещена была дочь Александра, родившаяся накануне, 4 апреля. В той записи Озеров указан как состоящий в хвалынском купечестве Самарской губернии. Наконец, в 1869 году он записался в коломенские 2-й гильдии купцы «и находился в той гильдии сряду и непрерывно три года». Здесь дела его, видимо, пошли лучше, нежели где-либо прежде. Появляется завод, винный оптовый склад, разворачивается торговля, и уже через три года, в 1872 году, Алексей Семёнович «объявил капитал по 1-й гильдии» и более уже из таковой не выходил никогда. Жили Озеровы тогда, надо думать, где-то возле Москвы-реки, неподалёку от завода и склада, находившихся «возле Москворецкого моста», вблизи Покровской и Воскресенской церквей.

Алексей Семёнович, не стеснясь, вкладывал деньги в дело, и его предприятие занимало тогда почти целый квартал вокруг нынешнего «дома Озерова». Дело было поставлено не только широко, но и очень грамотно. «Уведомление», помещённое в «Русских ведомостях», не врало: по тем временам завод Озерова был оснащён «по последнему слову техники». Качество водки и других напитков, выпускавшихся им, было высочайшее, об этом свидетельствуют не слова, а дипломы, полученные продукцией завода на различных выставках. Фирма с шиком и гордостью помещала в своих рекламах такого рода перечни:

«От конторы ректификационного водочного завода А.С. Озерова в городе Коломне Московской губернии.

Рекомендуется столовое вино № 1 и 2 (так тогда называли водку), ликёры, наливки, «Нежинская рябина» № 1 и 2, а также из других ягод и фруктов, отпускается высшего качества.



*Дом купца Озерова. Рубеж XVIII–XIX вв.
Ныне в нем находится городской культурный центр*

Произведения нашего завода удостоены в течение 1890 года на выставках и конкурсах следующих наград:

- от всемирной Академии в Брюсселе — золотой медали 1-го класса;
- от Академии Христофора Колумба в Марселе — почётного диплома;
- от Брюссельской международной выставки — почётного диплома (высшая награда);
- от Международной испанской выставки в Мадриде — почётного диплома (высшая награда)».

Справедливости ради следует всё же заметить: настоящих наград в этом перечне две — те, что были с международных выставок. Судя же по «звонким названиям», обе «академии», вероятнее всего, были из тех учреждений, что тогда весьма в большом количестве расплодились в Европе: они награждали своими медалями и дипломами «на коммерческой основе». Делалось это так: группа ловких людей составляла капитал, регистрировала его как «фонд содействия улучшению качества производимой продукции» (или ещё как-нибудь, не менее эффектно), делала требуемые взносы в казну того государства, на территории которого она обосновывалась, и учреждала такую вот «академию». Заказывались геральдические знаки, медали, дипломы, учреждались призы. Потом среди деловых людей через торговую агентуру пускался слух: «Мы готовы рассмотреть любые предложения». И предложения не заставляли себя ждать: коммерсанты, которым нужно было получить «несколько медалей на этикетку», обращались в такую «академию», где их внимательно выслушивали и предлагали сделать взнос в «академический фонд, с целью дальнейшего развития работы Академии». В зависимости от размеров взноса получалась и награда.

Это был такой своего рода «рекламный приём», метод «раскрутки марки товара». Как сейчас бы сказали, создание имиджа фирме-произ-

водителю. С откровенной дрянью «академики» не связывались: блюли репутацию. Но всегда были рады помочь небольшим фирмам, которые с трудом пробивались на большие форумы среди промышленных гигантов. Озеров был тогдашним «новым русским», человеком прогресса, и потому играл по всем правилам тогдашней коммерции. Обе «настоящие» награды — международных выставок в Брюсселе и Мадриде — хоть и нельзя отнести к разряду достижений из ряда вон выходящих, однако это было яркое свидетельство признания «европейского качества продукции завода».

Что же касается двух других наград — достаточно посмотреть на карту Европы, чтобы догадаться о том, как они были приобретены: вероятнее всего, возвращаясь с выставки в Испании, Алексей Семёнович заехал в Марсель, где и прикупил диплом у «Христофоро-Колумбовой академии». А находясь на выставке в Брюсселе, присмотрел тамошнюю «всемирную Академию» и приобрёл у неё медальку на этикетку, видимо, по русскому обычаю полагая, что кашу маслом не испортишь. Такого рода реклама ориентирована была на внутренний рынок, где и вела свою торговлю фирма Озерова.

Для выхода на международную арену у коломенского купца силёнок не хватало. Да и трудно было тогда пробиться с напитками в Европу: там слишком сильны были позиции «старых фирм»: виноделов, производителей коньяков и ликёров из Франции, Италии, Испании, Португалии. Водку же в каждой стране тогда предпочитали пить «свою». Но российскому производителю «хлебного вина» искать иностранных рынков?!

Дела у Озерова шли отлично, и, что ценно, он оставался передовым человеком не только в деле, но и в обыденной жизни. Именно благодаря его «спонсорской поддержке» и попечительству во многом расцвела культурная жизнь в городе: на средства семьи Озеровых в Коломне существовала любительская театральная труппа, в которой актёрами и режиссёрами были дети Алексея Семёновича.

Коломенский «Общественный клуб», долгое время помещавшийся в гостинице Шварова, в 1887 году переехал в отдельное помещение в доме, принадлежавшем семье Фроловых. В этом доме прежде того некая госпожа Лазурина пыталась содержать коломенский любительский театр, но театр этот прогорел, и на его место вселился клуб. При нём был создан «вокально-музыкальный театральный кружок города Коломны», который должен был привлечь «культурную публику», запросы которой простирались дальше картёжной игры, в основном заполнявшей досуг посетителей «Коммерческого клуба». Театрально-музыкальный кружок, завлекая публику на свои спектакли, «поддерживал оскудевшие фонды клуба», но вернее будет сказать: основными «спонсорами» «Общественного клуба» стали несколько активистов театрального кружка, бывшие людьми весьма состоятельными. Главным же среди них был, несомненно, Николай Алексеевич Озеров, сын коломенского купца 1-й гильдии, «водочного короля» Алексея Семёновича Озерова, семейство которого весьма охотно поддерживало увлечение своих детей театром. При клубе сложился вполне приличный творческий коллектив театралов-энтузиастов, поддержанный щедрыми меценатами, и в 90-х годах коломенская любительская труппа «гремела» на всю округу, ставя несколько спектаклей в год.

Озеров состоял попечителем городской больницы, нескольких училищ, городских богаделен, поддерживал молодых людей, проявлявших способ-

ности к учению, но не имевших средств к продолжению образования. В больницы и лечебные учреждения всей округи бесплатно отсылался спирт с его завода.

За своё «общественное служение» он был неоднократно награждён орденами и медалями. Причём благотворительность его не замыкалась в рамках Коломны. В 1883 году он оказал помощь «Братолюбивому обществу снабжения квартирами нищенствующих в Москве», построив при Федосьевском доме вдов и сирот церковь во имя св. Иоанна Предтечи, «на каковой предмет, помимо трудов по наблюдению за постройкой, издержал из собственного капитала более 18 тысяч рублей».

В этом доме проживали более трехсот человек, в основном женщины с малолетними детьми, а также помещалось учебно-воспитательное заведение для слепых детей, и потому «в сооружении при сем доме церкви ощущалась особенная необходимость». За этот свой поступок он 3 февраля 1884 года был награждён орденом св. Анны 3-й степени. В том же 1884 году, 8 октября, вышел Высочайший Указ о причислении Алексея Семёновича Озерова, жены его Александры Ивановны, детей их Николая и Александры к потомственному Почётному гражданству с повелением «пользоваться всеми правами и преимуществами, дарованными этому сословию».

Несмотря на все успехи, Александр Семёнович всё-таки оставался в Коломне «нелюбимым чужаком». Пришлому «водочному королю», ведшему дело «на новую колодку», представители «старых родов» коломенского купечества не могли простить коммерческой успешности и образа жизни. Хотя деловые позиции они утратили, но городское самоуправление продолжали цепко держать в руках, контролируя многие очень важные вопросы. На все выборные должности, умело играя на струне «местного патриотизма», они проводили «своих», «пришлых не пуская». Поэтому случались на фирму Озерова и «налоговые наезды», когда его облагали несусветными поборами, строились различные козни его начинаниям.

Эта нелюбовь передалась по наследству и представителям «новой власти» после революции. В 20-х годах в газете «Коломенский рабочий» Озеровы были своего рода притчей во языцех, о них не раз писали «обличительные материалы», рисуя страшные картинки из жизни «при старом режиме». Но ведь какая вышла штука: брань эта, прозвенев «бубенцом-пустозвоном», сгнула, яд ненависти и завистливой досады, которым были наполнены строки забытого всеми автора, видимо, «имевшего личный счёт» к Озерову-младшему, выветрился за давностью лет. Зато именно из этих «обличительных материалов» мы теперь можем узнать, скажем, о том, какие именно пьесы ставила труппа любительского театра в Коломне, о попытке Озеровых построить обсерваторию в Коломне, о заведённой им ферме породистого молочного скота и о многом другом. У православных это называется «служение зла добру»: это когда по промыслу Божию человек, задумавший злое дело, сам о том не подозревая, делает добро, которым творимое им, может быть, отзовется через годы. По крайней мере, иных свидетельств людей, знавших эту семью, либо не сохранилось вовсе, либо они весьма скудны.

Мы не знаем, когда умер Алексей Семёнович Озеров, где он похоронен и что стало с его семьёй впоследствии, но, к сожалению, это участь слишком многих россиян. Озеровым, можно сказать, ещё повезло: после них остался «дом Озерова», ставший культурным центром города. Он слов-

но памятник бывшим владельцам, и это весьма символично, ибо принадлежал этот дом не просто «фабриканту водки отличного качества», а семейству, умевшему обратить свои «водочные доходы» на добрые дела и пытавшемуся дать людям хотя бы часть того, чем могли и умели наслаждаться в этой жизни: театр, книги, образование, хорошую медицину, возможность реализовать свои способности.

Алексей Семёнович Озеров многое успел, но, к сожалению, поддержать и продолжить его дело ни у кого не достало способностей и сил. Да и времена очень скоро изменились: ещё до революции, с началом Первой мировой войны, в России был введён сухой закон, запрещающий продажу любых алкогольных и спиртосодержащих напитков, потом была революция, Гражданская война... Коломенская водочная фирма, выпускавшая продукцию высшего, европейского качества, умерла и не сумела возродиться.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Художественная культура, в отношении которой принято применять историческую перспективу, на самом деле — живой творческий процесс, окружающий нас делами современников — талантливых писателей, музыкантов, художников. Среди них — наш земляк, художник Евгений Гринин, который всё ярче и убедительнее заявляет о себе на выставках в жанрах портрета и пейзажа.

Многим запомнились работы, выполненные нежной, бархатистой пастелью. «Облако», «Стога», «Март. Пробуждение» — произведения, ставшие программными в его творчестве. После окончания факультета монументальной живописи в 1998 году прошла первая персональная выставка, на которой зрителю был представлен художник широкого творческого диапазона, увлечённо работающий над монументальной росписью и книжной иллюстрацией, владеющий самыми разнообразными живописными техниками.

В этом году Евгению Сергеевичу исполнилось 50 лет. «Коломенский альманах» благодарит художника за сотрудничество с редакцией, за создание эмблемы альманаха, за графические и живописные произведения, ставшие украшением его страниц. Мы поздравляем Евгения Гринина с юбилеем, желаем вдохновенного творчества, в котором «опыт — сын ошибок трудных» и «гений — парадоксов друг» обретут счастливый союз.



Алексей Борисович Вульф родился в Москве в 1963 году. В 1988 году окончил Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу композиции у Н.И. Пейко.

В 1989–1992 годах работал в Союзе композиторов СССР с Г.В. Свиридовым и Б.А. Чайковским, один из организаторов первого Фестиваля отечественной хоровой музыки. Журналист, автор многих музыкальных и публицистических радиопередач.

Неизгладимый след в жизни А.Б. Вульфова оставили работа и общение с великим русским композитором Г.В. Свиридовым. Алексей Борисович — автор книги воспоминаний о Г.В. Свиридове «Теперь лишь вспомнить...».

Один из лидеров в области сохранения старинной железнодорожной техники, имеет опыт работы на локомотивах, председатель Всероссийского общества любителей железных дорог, корреспондент отраслевых транспортных изданий.

Алексей ВУЛЬФОВ

ВСПОМИНАЯ КОЛОМНУ

*Далеко безумная Москва,
Мирно дремлет зимняя Коломна...*
М.Пробатов

Я никогда не бывал в Коломне дольше одного дня, но каждый из таких дней помню очень ярко, хотя времени прошло немало. Этот город всегда был исполнен какого-то особенного, истинно старинного достоинства и некой вальяжной, самобытной значительности.

Первый раз я попал в Коломну весной 1981 года. Мы приехали фотографировать паровозы с моими тогдашними друзьями в паровозное депо Голутвин.

Да, это было именно паровозное депо. Там проходили переконсервацию¹ паровозы с базы запаса Дивово. Если ехать от Москвы на Рязань, с правой стороны возле Дивово рядами стояли совершенно чёрные — в один тон, почти без проглядывающей красноты колёс — заколоченные и густо промазанные паровозы, так называемая база запаса. Была их там сотня, если не больше. Впервые в жизни я увидел такое зрелище именно здесь, между Коломной и Рязанью, мальчиком, по пути на экскурсию в Волгоград в 1972 году, и оно буквально заво-

¹ Переконсервация — ж.д. термин. Паровозы, находившиеся в запасе, сохранялись в стратегических целях. Они считались полностью исправными и готовыми к работе. Раз в год было положено промыть котёл, делать пробную обкатку под паром и заново консервировать. Консервация состояла в тщательной осушке котла, закладывании в него специального влагопоглощающего вещества — силикагеля, жирной смазке основных частей паровоза, снятии деталей движущего механизма и заколачивании деревянной рейкой окон будки. Законсервированный паровоз в чём-то не менее выразителен и романтичен, чем живой.



Паровозы у депо Голутвин. Цветы. Фото автора. Апрель 1981 г.

рожило меня. С тех пор, по словам писателя Сергея Григорьева, я нежно люблю паровозы.

Паровозы с дивовской базы запаса привозили в депо Голутвин и там заправляли². Их всегда стояло у депо по несколько штук, и хотя бы один был непременно горячий. Все паровозы были только угольные. Горы угля лежали у депо и с притягательной загадочностью посвёркивали острыми гранями аспидно-лаковых кусков. Горько пахло свежим паровозным дымом — и как превосходно совпадал этот запах с обликом почтенного вокзала и водонапорной башни на просторной площади!

У меня сохранились слайды: паровоз проходит мимо депо Голутвин, дымя вовсю. Стоят свежеекрашенные после заправки паровозы и прекрасно гармонируют своим обликом с нежными цветами, растущими в деповской клумбе.

Недавно машинисты из Сортировки рассказали, что в депо Голутвин (давно уже бывшем депо) и сейчас стоят два тендера от паровозов серии ИС — «Иосиф Сталин». Уникальная штука эти тендера. Покатались они в своё время с большими скоростями, сцепленные заодно с могучими паровозами, щедро питая их углём и водою, имея позади себя на стяжке поезда курьерские и скорые, литерные и почтовые... А теперь это просто стоячие ёмкости для хранения технических жидкостей — и ведь никакой замены им нет. Удивительно, что даже на краю кончины до сих пор хранят эти тендера гордую устремлённость, ярко-зелёный цвет пассажирской службы и готовность к стремительному передвижению, застывшую в тяжёлых костистых трёхосных тележках.

² Заправка паровоза — это очистка его от консервационного покрытия, развеска деталей движущего и парораспределительного механизма, заправка водой и растопка.

Тогда, в тот далёкий апрель, в депо Голутвин жирно пахло мазутом и густо им пропитанным деповским песком. А ещё пахло весной, натёртыми рельсами, теплом дня в далёком Подмоскowie и сумасбродным апрельским ветром-подростком. Всеми этому с такой радостью отвечало восторженное сумасбродство юности!

После пребывания в депо проехали одну остановку на электричке до платформы Коломна — фотографировать трамвай. Тоже удивительной после Москвы показалась эта картина — старый симпатичный жёлто-красный трамвай идёт по кругу прямо по траве, по открытой земле, а не по асфальтированной линии. А внутри круга растёт картошка! Коломна трамваями была знаменита, это настоящий кладёзь старины, москвичи-любители ездили туда специально, чтобы фотографировать такие вагоны, которых уже нигде не найдёшь. А как внутри приятно пахло ветхой обивкой сидений, ссохшейся краской и тёплым электричеством! Да и по улицам в старом городе трамвай в Коломне идёт очень уютно — такими дореволюционными переулочками, мимо церковей вдоль проспекта на Рязань, близко от старых домов, горками. Конечно, это тоже поэзия своего рода. Любя паровозы, легко было её понять. Трамвай, как и железная дорога — явление повседневности, оно так или иначе очень со многим связано в каждой отдельно взятой человеческой жизни и потому легко пробуждает растроганность, тем более в столь старинном обличье.

Вскоре, осенью 82-го года, мы ехали на электровозе пассажирами в задней кабине, возвращаясь из Кустарёвки со съёмок живого паровоза, который работал там на манёврах. Я был тогда в совершенно поглощавшей, до сумасшествия доходившей железнодорожной страсти. В этот



Коломенский трамвай. Фото Л.Авдеева



Депо Голутвин. Фото автора. Апрель 1981 г.

родной и до безумства любимый мир я нырял как радующаяся рыба в привычную вседостаточную воду. Железкой мы были увлечены без всякого остатка. Вряд ли что-то интересовало в тогдашней жизни больше — даже девушки, быть может, не так влекли. Электровоз ВЛ10, на котором мы ехали от самого Сасово, шёл с грузовым составом — настолько длинным, что, по пояс высунувшись в окно с разбрасывающей искры сигаретой в зубах, не увидеть было хвоста. Шёл наш локомотив достаточно быстро, по-грузовому равнодушно отсчитывая путь, километр за километром, по сумрачной осенней стране, тёмной и отчуждённой в осени, пахнувшей печным дымом и холодной сыростью воздуха и земли... Задумчиво, солидно и угрюмо содрогаюсь своим пространственным телом, он шёл, как всегда задумчиво идёт эта хорошая, надёжная машина. Мы молча курили в полумраке кабины с осенней серостью за окнами, курили по-юношески больше, чем надо бы, рядом лежали наши фуражки кокардами наружу, мотались на крючках поездочные кителя с золотыми пуговицами. Электровоз, пройдя Щурово, вышел на мост через Оку. Мы распахнули окна, сквозь грохот и мелькавшие локти моста любясь на реку и старинный облик её берегов. Мост закончился, и вдруг справа по ходу поплыл ранее невиданный нами Старо-Голутвин монастырь, совершенно пустой и заброшенный, — тогда, конечно, мы не знали его названия. И я хорошо помню, как, увидев его, забыл и о железной дороге, и о том, что еду в локомотиве, обо всём этом состоянии, от которого всякий момент поездки в те времена ощущал осознанное горделивое удовольствие. Разглядев ветхие стены, провалившиеся кровли и обнажённые в изломах треснутые кирпичи, прочувствовал удивительную стройность и красоту, ажурность, «летаещесть» этих едва дышавших башенок, куполов и стен, — до сих пор помню, какими они предстали тогда в окне электровоза. И мы, маль-



Центральная площадь Коломенского завода. Фото из архива В.С. Кузнецова, бывшего заместителя главного инженера завода по тепловозостроению

чишки, долго потом говорили под гул локомотивных колёс про это печальное, пребывавшее в каком-то полунебытии-полусне зрелище, незапное видение застывшей здесь древности, и уже тогда, в ту пору, не ведая ни церкви, ни сознательной веры, активно возмущались по поводу того, что вот есть такая красивая, прекрасная, никому не известная (как мы тогда считали) обитель, такая красота, и никому до неё дела нет. Между прочим, Старо-Голутвин — это один из самых стройных, словно тончайшей кистью прорисованных российских монастырей (особенно угловые его башни); совершенно особенны и место расположения его, и облик...

Милая железка, всему ты открытием была в жизни, да и самую жизнь открывала такой, какая она есть на самом деле, а не в каком-то отвлечённом представлении, — и вместе с ней огромную, то светлую, то тёмную, то вовсе непостижимую родную страну, коренной, глубинный её мир, истинную, нестоличную жизнь... Что есть более верный путь к мудрости и понятию, как не утреннее дыхание новой встреченной земли в витке очередного странствия?..

После, когда мы серьёзнее стали заниматься историей чугунки, начали собирать старинные фотографии паровозов, путь сам собой пролёг на Коломзавод — в эту мекку промышленной старины. Работал там в ОГКЛ³ такой многоопытный старичок Константин Васильевич Ростовский — из тех, из «бывших», всё повидавших и всезнающих, проникательных трудяг-конструкторов дымной поры Лебедянского и Малышева, людей, профессионально не ведающих никаких компромиссов и приблизительно-

³ ОГКЛ — Отдел главного конструктора локомотивов (*Прим. ред.*).



Тепловозсборочный цех. Фото из архива В.С. Кузнецова

стей, наитребовательнейших ко всему на свете, включая себя самого, едких и проникающих в суть, словно полезное химическое вещество. У меня в книжке и сейчас его телефоны записаны... И добр был Константин Васильевич: меня, молодого внештатного корреспондента отраслевого журнала «ЭТТ», принял ласковее, чем мог бы, поразился с дедушкиной улыбкой моему восторгу по поводу паровозных фотографий, пораспросил пристально, терпко, для чего мне эти фотографии нужны, к чему, что за интерес такой, один раз вдруг даже удостоверение попросил, что меня не удивило, — во времена-то какие был воспитан этот человек и где работал всю жизнь! На завод не так просто было пройти: выписываешь пропуск в мрачном бюро пропусков со многими окошками, а дают тебе не пропуск, а жетон. Проходишь через турникеты, какие всегда бывают на «почтовых ящиках», как в метро, мимо стрелка в форме. И идти можно на самой территории завода только в определённое место, куда выписан пропуск, иначе охрана сразу задержит. Нас один раз задержала охрана с Женей Лысым — сыном известного конструктора Коломзавода по электросхемам Бориса Исаевича Лысого. Мы гуляли на путях, рассматривали старую цистерну, стоящую тут Бог знает с каких времён, и тепловоз ТЭП80, который только-только тогда первый сделали (тот самый, который потом, уже при «демократии», ставил громогласные мировые рекорды скорости, — правда, совершенно никому не нужные), он ещё пах мягкой коломенской краской, — и тут к нам подошли. Женя показал пропуск, но охранники недовольны, делают ему замечание — «вы тем более должны знать, раз тут работаете, что по путям ходить не положено». Женя страшно обиделся, начал им дерзить, насилу я уговорил всю компанию помириться, и мы скоренько пошли к Жене в отдел, где стояло множество людей за

классическими чертёжными столами. Впервые побывал я тогда и в сборочном цехе, увидел, как собирают тепловозы ТЭП70, в которые как-то сразу, по наитию, поверил и полюбил их. При мне собирали тогда сто двадцать четвертую машину, на которой вскоре довелось покататься уже на линии с поездами. В том самом цехе, из которого, как из доисторического материнского чрева, вышло столько паровозов, и каких — самых знаменитых! Прошёлся по тому самому пути под деревцами, этакой пуповине, связывающей Коломзавод с общей сетью, — по ней вновь построенные локомотивы незаметно выбирают на станцию Голутвин, сразу привлекая к себе внимание парадным сверканием свежей краски. Тысячи, многие тысячи вышло их по этому пути, машин самого разного назначения и самой разной судьбы — как у людей...

После того как из ОГКЛ звонили куда нужно, можно было идти вглубь территории завода в фотолабораторию, которая находилась в другом корпусе. Там вежливый спокойный человек читал письмо, внимательно изучал резолюции и визы на нём, а потом происходило священнодействие: он залезал по стремянке на некий шкаф и доставал оттуда массивные пыльные коробки, закрытые крышками из плотного казённого картона. Коробки были тяжелы и туго набиты. В них лежали — Боже, какое чудо! — фотопластины размером примерно 15x20 с изображениями локомотивов, в основном паровозов, выпущенных когда-либо в Коломне. На обычном бьющемся стекле.

Качество при печати с этих пластин такое, что, как скажет мой друг, художник Николай Андриянович Ермолаев, «каждая молекула видна». Это коломенский стиль фото — изображение крупно и необычайно, просто серебристо чётко. Наслаждение было большое перебирать эти пластины, заказывая фото, и обретать то из паровозной истории, о чём раньше лишь туманно мечталось. Восхищало, что на этих пластинах вокруг изображения паровозов, особенно когда можно было поотрывать бумажную ретушь, высились мощные кирпичные цеха, трубы, везде лежали скрученные проволоки, остро чертили фабричные заборы — всё это как живое глядело из царского времени. Там было пейзажное фото завода с берега Москвы-реки: силён был завод Струве! Огромный и могучий! Всю Россию полезными железными изделиями обеспечивал. И паровозы, и пароходы, и локомобили, и мосты, и паровые мельницы, и даже сенокосилки строил. Всё это был товар мирового уровня качества.

...Через неделю за готовыми фото можно было приезжать. Я ни с чем не сравню это состояние, когда берёшь в руки свежие снимки, ещё пахнущие реактивами, с великолепными изображениями паровозов, казавшихся почти наяву осязаемыми и вечно живыми. Потом в полном счастье, торопясь, пойти и очень плотно и вкусно пообедать в заводской столовой, и сразу же бежать оттуда на вокзал на электричку (пять минут быстрой ходьбы). В ожидании её можно было глядеть на горячий паровоз, который непременно стоял тут же у депо и парил.

...Зимой 92-го года приезжал в Коломну на завод, — не помню уж, зачем. На обратном пути стоял на платформе, ожидая рязанскую электричку. Пасмурно, февраль, слабый мороз, облака туманные. У депо стоял горячий Эр — строгий и мрачный, совершенно чёрный весь, без следа краски. Глухо шипел, беспокойно цедил паром из трубы. В будку поднялся сурового вида человек в рабочем, недолго думая раскрыл топку — лязг дверец на платформе было слышно, схватил лопату и начал хруст-

ко черпать и бросать в топку уголь под пристальным вниманием всех, кто находился на платформе. Потом, подбросив, он открыл сифон — паровоз обильно задышал, густо зачалил тёмно-бурым, сильно запахло жаром, горечью дыма...

Эта картина была мне послана свыше для прощания навсегда. Скоро паровозную переконсервацию в Голутвине закрыли, все паровозы с базы Дивово либо порезали, либо передали в другое место.

После, по пути в Озёры, 31 мая 1996 года, как сейчас помню, зашли в депо. В совершенно пустом цеху ничто уже не напоминало о недавних паровозных временах, но вдоль стены стоял... учебный разрез паровоза! Латунный! С колёсами и котлом, с переводом парораспределительного механизма, с котельными трубами и связями, раскрашенный — ну просто как на рентгене! И вот никогда не прощу себе, что не удалось организовать его вывоз оттуда (он ведь тяжёлый, килограмм сто пятьдесят, и большой). Такая вещь, поди, пропала! Может быть, всё же нашёлся какой-нибудь добрый человек и сохранил эту штуковину?..

А вот с ТЭП70 действительно сводила потом локомотивная судьба. Как-то сразу полюбились мне эти тепловозы, и я решил получше изучить их, что и было сделано с помощью одного из крупнейших в России знатоков тепловоза Александра Иоффе. В 1988 году ТЭП70 поступали в массовую эксплуатацию. Я тогда только получил удостоверение корреспондента журнала «ЭТТ» (ныне — «Локомотив»), и мне открылись ранее совершенно неслыханные возможности познания железки — служебный проезд и право доступа везде и всюду, за что я до конца дней своих останусь благодарен этому журналу и всем его редакторам — за доверие. Я всегда был поклонником коломенской традиции локомотивостроения — какой-то она представлялась мне (вначале чисто интуитивно) основательной, величавой и разумной, важными и серьёзными выдвинулись за ней инженеры. В принципе, оно так и есть: Коломна трудится ещё от царской старины; а второй, равный ей по силе завод — Луганский — таким большим стал уже при Сталине, когда нужно было где-то массово строить мощные паровозы ФД и ИС («Феликс Дзержинский» и «Иосиф Сталин»). Коломенские инженеры-то были, так сказать, в пенсне да с тросточками, а луганские — с партбилетом в кармане и ощущением полного триумфа над объективными законами бытия... Коломенский локомотивный стиль — это стиль аристократизма. Поэтому и доверяли Коломне всегда охотно проектирование пассажирских машин. Да и числом больше всего спроектировала и построила локомотивов русских именно Коломна; все главные основы сугубо отечественного стиля локомотивостроения закладывались, безусловно, здесь. Ведь и тепловозы, и электровозы первые тоже в Коломне собирались! Коломна — это одиссея российского промышленного дела и важнейшей ветви его — локомотивостроения.

«Обрати внимание, Борисыч, — со страстью истинного служителя своего призвания толковал мне Александр Григорьевич Иоффе. — Они ведь в Коломне все схемы монтируют на тепловозах с индивидуальной укладкой каждого провода. Ручная работа! У них машины, конечно, аккуратные». Мне очень нравились прежние пассажирские красавцы ТЭП60 — это просто эстетическое явление, а не тепловоз, — и как-то легко, по-человечески сразу полюбилась и «семидесятка». Какая-то в ней разглядывалась надёжность, разумность и совершенность. Хотелось с ней общаться, глядеть на неё. Хотя Андрияныч презрительно назвал внешний облик

ТЭП70 «крышка на красном гробе», я никогда с ним не соглашался, находя эту машину устремлённой и изящной. Кстати, в первой серийной партии у них буферные фонари были расположены иначе — вертикально, и это смотрелось приятнее, чем после, когда они стали прямолинейными и пучеглазыми, выглядел тепловоз с ними гармоничнее. Я решил пообщаться с машинистами, собрать в живой эксплуатации замечания по этому тепловозу и передать их на завод для комментариев, а после написать о результатах беседы в журнале «ЭТТ» для прочтения локомотивными бригадами. В то время (горбачёвская перестройка, вдохновенное брожение мыслей, надежды, стремления, открытия, новое начало во всяких отраслях жизни — очень люблю то совсем короткое, но одухотворённое время, которое вскоре затянуло туманом и чернотой полного безвременья) наш журнал «ЭТТ» очень читали, уважали, выписывали, он был почитаем машинистами. Приехав на железную дорогу в провинцию, я тогда пользовался большим вниманием — и как москвич («что там у вас нового в столице, каковы последние политические известия?») и как корреспондент «своего» журнала. Да и на железке было ещё интересно, — она тогда только начинала превращаться из полосы отчуждения и всемогущего всенародного государства в государстве в отчуждённый придаток общественно-промышленной жизни, который теперь весь в серых бетонных столбах, попорченной старине и оголтелой близости...

Это было счастье. Я совсем считал себя локомотивщиком, потому что постоянно ездил с машинистами, да тем более по глубокой, провинциальной России, по сторонним веткам и линиям, где ездится куда романтичнее, чем на главных ходах. «Семидесятки» тогда поступили в депо Бологое на Октябрьскую дорогу и бегали в одну сторону на Старую Руссу, а в другую уходили до самого Иванова с поездами «Текстильный край» и Ленинград—Куйбышев. Я ездил и с бологовскими, и с ярославскими бригадами. Первая же поездка из Бологое состоялась на тепловозе ТЭП70-0124, который виден был мной незадолго до этого в Коломне в состоянии эмбриона. «Семидесятки» стояли у бологовского депо ещё совсем новенькие, лакированные, не покусанные эксплуатацией, блистали прямо. В кабине — чистота и коломенская культура, аккуратность. Светильнички для подсветки расписания, белые(!) панели приборов, чинные тумблера. Всё тонкое, точное. Дрожанье такое мягкое, приятное, дизель за спиной мурлычет, как домашняя кошка (это после «трёшек», гоготавших во всё горло, как жеребцы, и гремучих «шестидесятки» и «луганок»), и совсем дымом и соляровкой не пахнет. Машинист Курнаков Геннадий, отправление из Бологоро с первого пути от вокзала с «Текстильщиком», жаркий взволнованный июль 89-го года... Впереди — дорога до самого Ярославля мимо спящих деревянных вокзалов, сплошь старинных, которые почти все потом при начальнике дороги Комарове были или снесены (пассажиры без вокзалов так по сей день там мёрзнут и мокнут), или превращены в подобие каких-то придорожных кабаков, — а тогда ещё живых, глядевших жёлтыми бессонными окошками...

Серьёзные мужики-инструкторы и замы по эксплуатации в Бологое и Ярославле-Московском мне про «семидесятку» обстоятельно всего наговорили, больше хорошего, болтал с машинистами в «брехаловках», и удовольствием было только что полученную теорию обращать в практику прямо тут же, не отходя от депо, залезая вместе с меняющейся бригадой

по Сонково или Московскому в очередную прибывшую с поездом «семидесятку». И сразу же увидеть всё наяву: и топливомер новой конструкции (как по нему, по открытии краника, таинственно поднимается солярка вдоль мерной шкалы), и тамбур между дизельным помещением и кабиной, благодаря которому в кабине довольно тихо, и рельефные гофры полов, и шкафы с аккуратными релюшками, номера которых дома учились по цветной схеме, напечатанной в нашем же «ЭТТ». Все эти тепловозные премудрости, которые охотно показывали мне тогда ещё искренне интересовавшиеся своим делом машинисты, становились живой явью — мечта любого любителя техники! Подумать только — я когда-то неплохо знал тепловоз! Разве догадались бы те, с кем я ездил, кто я по основной профессии... Я тогда это тщательно, даже чересчур тщательно скрывал и опасался разоблачения буквально как шпион какой-то. Этому всегда очень поражался Александр Григорьевич Иоффе, который восклицал: «Я согласен — поразительно! Конечно, совершенно поразительно! Но что в этом такого?!» Между прочим, когда Женя Лысый рассказал отцу, кто я истинно такой, Борис Исаевич, как сообщил мне Женя, был весьма этой информацией недоволен, но сведения, какие были нужны по ТЭП70, в журнал всё-таки предоставил...

Собрав материал и думая, что знаю про «семидесятку» буквально всё, я решил поехать в Коломну и устроить беседу с конструкторами. Уже тогда я понимал, что не всем замечаниям эксплуатационников надо верить без всяких сомнений, — их трудовое высокомерие в некоторых случаях оказывается выше здравого смысла... В то же время хотелось и обратить внимание конструкторов на замечания рабочих, и сделать эту машину, которую я воспринимал не только познавательно, но и буквально эстетически, лучше. Моё предложение написать такой материал



«Семидесятка». Фото В.Соболева



*Лев Сергеевич Лебедянский.
Фото из архива
В.С. Кузнецова*

поддержали в журнале, и редактор Юрий Кондрахин позвонил на завод с просьбой организовать встречу с корреспондентом А.Б. Вульфовой по вопросам замечаний машинистов по тепловозу ТЭП70.

На заводе были такой просьбой совершенно ошарашены, изумлены и позвонили в отдел новых тепловозов ЦТ МПС: что это такое за встречи, кому всё это нужно, от кого всё это идёт и т.д. Но в министерстве похихикали и сказали: а мы что же? Мы не против. Так что давайте — принимайте гостя и держите ответ по всем позициям⁴.

Вновь утренняя холодная электричка на Голутвине со строгими контролёрами, которые всегда были люты на Казанке, обозрение привычной дороги, очень самобытной, движение по левой колее, узнавание загода известных мест... Быково, Раменское, Виноградово, Воскресенск... Раньше рязанских-то экспрессов не было, вот и едешь на простой, ждёшь, пока секция⁵ пересчитает все столбы, собирая весь свой народный пригород. Ну

да не так уж долго ехать, ведь известно: Коломна-городок — Москвы уголок. Прохватывающий холод в Голутвине, слякотная платформа, пешеходный мост, жетон, заводская проходная, наконец, кабинет главного конструктора Юрия Васильевича Хлебникова. Встречен я был очень насторожённо и напряжённо, тем более что в 26 лет от роду был полон пыла и больше витающих положительных эмоций, чем раздумчивого смысла... Я горой стоял за машинистов и настроился на задавание вопросов в бескомпромиссном стиле борца за светлое будущее. Пресса тогда была очень большой силой, и собравшиеся глядели на меня с усталой тягостностью в глазах, в которых мутно проглядывало сожаление серьёзных занятых людей по поводу того, что вот нельзя просто послать подальше этого пацана-писачу, а придётся терпеть и что-то отвечать на какие-то вопросы ещё неизвестно какого содержания. Однако постепенно всё уладилось, беседа потекла плавнее, и материал дали коломенцы хороший — по делу. Я увидел всё тогдашнее КБ, состоявшее из людей, прекрасно знавших либо, по меньшей мере, прекрасно помнивших Лебедянского. Никогда не забуду участия и поддержки, которую очень тактично оказал мне конструктор Коломзавода Борис Николаевич Морошкин — интеллигентный, порядочный и очень знающий человек.

⁴ Результатом этой беседы стал материал А.Б. Вульфов «Тепловозу ТЭП70 — надежную эксплуатацию» (ЭТТ. 1989. № 9). Когда вышел этот материал, автор уже работал в Союзе композиторов СССР старшим консультантом... (Прим. ред.).

⁵ На жаргоне локомотивщиков электропоезд зовется «секцией», потому что его точное обозначение — моторвагонная секция. Отсюда и машинисты электропоездов зовутся в просторечии секционниками.

«Семидесятки» сейчас — основная пассажирская машина на сети из тепловозов. Всюду заменили они ТЭП60, и везде им рады — экономичные и надежные, живут сами по себе и всё терпят, да и нагрузки на них не столь уж большие, — поезда водят только пассажирские и в основном короткие. Правда, исходная красная краска коломенская оказалась больно нежной для суровых стандартов нашей дикой манеры эксплуатации и всюду теперь на машинах либо закопчена дизельным дымом, либо вовсе пооблетела и покрыта другими слоями красок очередных ремонтов, которых много переживёт на своём веку всякий честный трудяга-локомотив...

В эту пору я почти ничего толком не замечал в жизни, кроме железной дороги. Даже в родном Гнесинском институте на лекциях и на музыкальных занятиях всегда тайком помнил о ней. Но постепенно, благодаря поездкам по многим краям, которые дарила железка, начинал появляться интерес к чему-то иному, окружавшему в жизни, которая словно всё явственнее обнаруживалась за очередным вагонным окном, проступала, словно на печатаемом фото, и открывала некие истинно глубокие интересы и тайны — так сказать, общего назначения, которые всё больше хотелось узнавать. Однажды снежной зимой 88-го года, уезжая из Голутвина, после отправления с платформы Коломна я пристальнее, чем обычно, поглядел из электрички с высоты насыпи на уплывающий город, главы церквей, на всю эту жилую мирную старину, и вдруг (помню это состояние, как сейчас) очень захотел что-то о них важное узнать, и даже забыл про стук колёс, про значение пролетающих сигналов, про атмосферу дороги, словно погружаясь в какой-то иной и не менее значительный мир, чем привычное внутреннее торжество от пребывания на железке. И когда вскоре после той поездки отец нашей сестры по коммуналке, поэт Михаил Пробатов, придя как-то в гости к дочери, показал мне свои стихи, небрежно распечатанные на машинке, первое же попавшееся на глаза стихотворение очень привлекло и тепло взволновало — до состояния радости! И я сразу сочинил на него хор, который потом слышал Георгий Васильевич Свиридов, и у меня даже сохранился черновик нот с небольшой его правкой.

Далеко безумная Москва,
Мирно дремлет зимняя Коломна.
В снежные одета кружева
За сугробами церквушка скромная.
А над нею куполом огромным
Золотое небо Рождества.
Я пройду заснеженной дорожкой,
Поклонюсь старушке на пути,
Постою на паперти немножко:
«Здравствуй, Боже! Можно мне войти?»

Всё это только что я видел в дороге: и зимнюю Коломну, и «церквушку скромную», которая плыла за окном электрички, и бабушек, которые неторопливо брели по городу по заснеженным дорожкам... Музыка сама легла, почти без моего участия. Как будто всегда существовала.

Михаил Александрович Пробатов одно время жил в Коломне и работал корреспондентом районной газеты. Это очень талантливый человек, я люблю его стихи, написал на некоторые из них музыку. Пока — не исполненную...

Однажды, ещё в прошлом тысячелетии, звонит мне Николай Андриянович и говорит: «Слушай, Лёшик, поехали в Коломну. Там, говорят, в городском краеведческом музее тоже есть фото паровозов. И трамваи там ходят *гениальные!*» (это речь у него такая).

А что же? Поехали с Богом. Лето, июнь, год, что ли, 94-й...

Выяснилось, что в краеведческом музее никаких фото паровозов нет, а вот на заводе то, что сегодня сохранилось, оказывается, просто крохи. Раньше там имелось 2000(!) фотопластин с изображениями деталей паровозов и всего завода (в подробностях!) на стекле, их хранили-хранили, а после... выбросили за ненадобностью, когда переезжали из здания в здание. И пацаны, как рассказывают, развлекались тем, что на помойках кидали их и били об стену.

Это они не фото — это они историю нашу об стену разбивали, самую память о ней. Бедная наша страна, бедный народ, потухший от равнодушия!..

Из музея поехали с Андриянычем на трамвае. Пока ждали на тесной улице, по которой проходит линия, когда подъедет немолодой почтенный РВЗ со следами молодости и изящества на боках, обратили внимание на старые столбы, держащие трамвайные провода, — произведения искусства, а не столбы — настоящие фигурные изделия чуть ли не царской эпохи. Ехали новой, типично городской современной многоэтажной Коломной и удивились большой величине этого города, которая, конечно, образовалась от мощи завода, некогда всевластной отрасли тяжёлой индустрии, призрак которой здесь чувствуется на каждом шагу. Недаром есть в Коломне улица Малышева, — это имя многое олицетворяет в истории промышленного развития страны. Неторопливо проехали вдоль главной московской дороги и добрались наконец до кремля, до ярких кирпичей его стены.

Впервые я взгляделся в это дивное старое место, в это чудо. И посмотрел пристально, и оглядел сверху вниз, и подумал: мощь какая! Какое величие — и какая, подумать только, необычайная старина!

Стали бродить. Да, вот уж древность! Всё духом её охвачено, и каким крепким! Незыблемым. Он всё-таки всех и вся пережил — на молитве, труде и силе духовной и душевной настоянный. Посмеялся тогда над собой, пожалел: столько раз бывать до этого в Коломне и даже не знать, сколько тут всего в городе! Никогда никуда не сходить, кроме завода и депо. Издержка любой страсти... Впрочем, как скажет Виктор Петрович Астафьев: всему свой час.

Я тогда уже со Свиридовым⁶ немало общался, и жизнь мне из-за этого шире представлялась, чем раньше, в куда большем диапазоне, и познавать её хотелось тоже шире и глубже. Мало стало одной только железки и привычного течения прочих увлечений и дел.

В Коломенском кремле, как когда-то, проезжая мимо Старо-Голутвина монастыря, испытал силу отзвука древности. Почувствовал то параллельное земному состояние, когда стоишь у её дверей, и что-то словно потустороннее мимолётно оживает и явственно приходит из некоего очень давнишнего, но мистически знакомого далёка...

А когда последний раз бывал в Коломне? (Близкий мой друг Олег Борисович Модин учит меня никогда не говорить «последний», а всегда говорить: крайний раз.) А когда я крайний раз бывал в Коломне?

⁶ Композитор Г.В. Свиридов (*Прим. ред.*).



Ново-Голутвинский женский монастырь. Фото А.Сахарова

Пожалуй, летом, а затем сразу же подряд ранней осенью 99-го года. Мы приезжали всей нашей волждовской⁷ компанией на 130-летие локомотивостроения в Коломне. Вначале были на заводе, где на выставке, на том самом соединительном пути стояли новейшие тепловозы и с ними старенький, но ярко раскрашенный ТЭП60 с тысячным номером, а во главе всего — последний коломенский паровоз серии ПЗ6, выпуском которых паровозостроение здесь 29 июня 1956 года и закончилось. Его специально привезли из Петербурга, из музея, хотели заправить, у него даже уголь лежал в тендере, но почему-то не стали. Машина тёмно-голубого курьерского окраса. Красавец! Вокруг него больше всего людей ходило.

По пути в Коломну в электричке мы с друзьями, Аркашей Ликальтером и Лёней Сватиковым договорились непременно найти могилу Лебедянского⁸. Понятно, что для нас это святой человек. В нём мы всегда уважали не только конструктора паровозов, но и достойного человека, имеющего ореол трудной и даже страдательной жизни, личной порядочности и огромных душевных сил, — иначе он не мог бы существовать на таком посту и создавать такие машины. Мне всегда казалось, что Лебедянский добр — где-то в далёкой глубине себя, добр настолько, насколько можно было быть добрым в такое время и на такой должности. Есть фото, где они со знаменитым машинистом-испытателем Николаем Ошацем чай пьют; я однажды с восторгом получил это

⁷ ВОЛЖД — Всероссийское общество любителей железных дорог (*Прим. ред.*).

⁸ Стыдно мне писать эту сноску в «Коломенском альманахе», но, как поймет читатель из дальнейшего повествования, сделать это придется: Лебедянский Лев Сергеевич (1898—1968) — выдающийся советский конструктор локомотивов, всю жизнь проработавший на Коломенском машиностроительном заводе.



Посад из Кремля

фото в заводском музее, где стоит, кстати, и замечательная модель первой машины 2-4-2. Так вот, глядя на это фото, на благородное и вместе с тем всегда с призвуком трагедии лицо Лебедянского, я всегда уверяюсь, что был он мудр и добр, хотя в Коломне старики конструкторы рассказывали, что бывал и крутенёк (как же без этого в ту пору!). Человек с пустым или злым сердцем не мог создавать такие красивые и надёжные машины; по эстетической внешности этих машин можно судить о душевном совершенстве их создателя.

Визит на могилу Лебедянского воспринимался как какое-то душевное чистилище. Взяли чин чинарём бутылку, закуску, думали — навестим Льва Сергеевича, поклонимся, сколько раз на его паровозах ездили, им и прозвище было дано по его фамилии — «лебедянки», а народ зря никогда такие прозвища не даёт. По-

вспоминаем про дымные перегоны, которых милосердный Господь множество послал. Помянем.

Поехали на кладбище. На заводе долго никто не мог рассказать, где именно находится могила Лебедянского, все как-то смутно отворачивали глаза, но мы решили, что найдём легко, сочтя, что уж Льву-то Серге-

403



Улица в старом городе. Фото Г.Чистякова



Пятницкие ворота. Фото Ю. Колесникова

вичу наверняка и памятник высокий стоит, и ограда, и место огороженное, особенное. Стали ходить по кладбищу — всё под густой высокой листвой, темно, дорожки широкие, длинные. Подошли к служителю: не знает. Стали спрашивать прохожих — кто куда показывает. И говорят, что обычная могила, никакого монумента на ней нет. Ходили-ходили, истоптали всё кладбище и так и не нашли могилу.

Вышли с кладбища и лишний раз громко приложили словесно родное отечество, в котором, как известно, нет ни пророка, ни памяти, ни, последнее время, совести.

Так и не нашли могилу Лебедянского.

Позор. Всей Коломне стыд и позор. Заводу позор. Всё.

Решили в город пойти, погулять, а после уж выпить и закусить на речке. Поехали в кремль. Он к тому времени ещё краше стал. Наконец, добрались по крутой лесенке до Ново-Голутвина женского монастыря, до входа в него — и я поразился прибранности и ухоженности этой обители, нежным и ярким цветам, выметенным дорожкам — и обилию людей, беспрестанно входивших и выходящих из храма, виду суровых и печальных монахинь, явившихся наяву словно живописных полотен столетней давности. Я тогда ещё только приходил к Православию, креститься в присутствии посторонних людей немного стыдился. И вот посещение Ново-Голутвина монастыря памятно в моей жизни тем, что настолько строгой и духовной показалась мне служба в храме, такая сила предстала в его затворном полумраке, чистом тепле и горящих свечах, что я, выйдя на улицу, впервые в жизни крестился истово, не замечая окружающих и друзей, которые не без озорных улыбок поглядывали на меня, стоя в сторонке, и не видел ничего, кроме неба и летящих в нём близко высящихся куполов, и словно понял — без всяких мыслей и словесных выводов, одним только чувством — значение

веры, её необходимую обобщающую силу для жизни. Может быть, тогда я впервые осознал неизбежность крещения, — впрочем, это разговор долгий и отстранённый, его человек должен проводить, по большинству, сам с собой.

Пошли по Старой Коломне. Поразила во многих местах первозданно сохранившаяся старина домов, их весёлая разноцветность, укладность. Под многими кровлями видны таблички ещё царских страховых обществ, — такие, как сказал Лёня, «блюдечки»! Город старинный, с самобытным настроением, отличимый, — все города древнего Подмосковья такие, они и похожи, и не похожи один на другой. Улицы низенькие, улыбчивые выпучины крашенных брёвен, вальжжные узоры наличников, палисадники, побитые неасфальтированные дороги с лужами и булыжниками, колонки — старина!..

Выбрели к какой-то живописной окраине, глядим — на домике мемориальная доска. Кому бы это? Ага! — Борис Пильняк. В таком городе просто не мог когда-нибудь не жить писатель, и не один. Дух у таких мест животворный, потому что древние люди знали, где ставить крепости, церкви и монастыри. При тогдашнем обилии жизненного пространства место выбиралось именно там, где чувствовалось напряжение, особенная сила являлась из земли, где какие-то зримые и незримые ключи били.

Рядом маленькая церковь — зашли. Низенькая, «скромная», замкнутая, с удивительно пронизательным тёмным иконостасом. Близко и горяще горят свечи. Я там впервые понял, какое это чудо — маленький старинный храм. Вот уж воплощение чистоты, вечной молодости духа и радости. В малом храме тепло одинокой душе! С тех пор полюбил небольшие церкви и часовни, и для уединённой молитвы всегда мечтал

405



Утро туманное (Бобренов монастырь). Фото Г.Чистякова

и представлял себе в воображении ту маленькую коломенскую церковь, которой и названия, к сожалению, не запомнил...

После вышли на берег Москвы-реки, с грустью посетили ветхую полузаброшенную «Пристань Коломна», к которой последний раз катер приставал, поди, довольно давно, и поглядели на серую, сосредоточенно бегущую, да, в сущности, довольно грязную воду... Какая уж там чистота может быть после Москвы...

А в сентябре, вскоре спустя, повёз в Зарайск на экскурсию учителей нашей школы и друзей. Решили специально проехать через Коломну, ненадолго остановиться там. Встали сначала у паровоза-памятника Л-0012 с типическим полукруглым тендером типа Вандербильдта. Учительницы и мои близкие друзья — Георгий Дмитриевич Левин, известный в научных кругах философ, и Ирина Борисовна Левина-Домбровская, учительница и поэтесса, направились за мной. Должно быть, я довольно ласково смотрел на паровоз, потому что после краткой экскурсии Георгий Дмитриевич внимательно посмотрел на меня и сказал: «Алексей Борисович, мне жаль вашу супругу...»

Помню, из-за нехватки времени, увидав сверху, за мостом через речку, Бобренёв монастырь, решили туда не идти — «как-нибудь в другой раз, приедем ещё». Вид у этой обители необыкновенно совершенный, так сказать, классический — типичная русская обитель с живописного пейзажного полотна. Законченный образ, законченная архитектурная форма и удивительнейший дух спокойствия и вечности, рождающийся от одного только взгляда издали на эту обитель.

Но — как всегда торопились; как всегда. И быстренько попрыгали в автобус и поехали в Зарайск, в Даровое, в Федину рощу, к новым впечатлениям, по просторному шоссе, в прирязанские, приесенинские поля, в пристепную окраину, в туманные распластанные шири, в говорящий ласковый мир ранней золотистой осени, дорогами, при которых такой радостно-бордовый и спелый лук продавали, такими озорными, торжествующими, яркими живописными косынками, что сразу почувствовалось, что едем на юг с его доброй огородной землёй — в простор едем!..

...Так вот пока и не побывал в Бобренево монастыре, хотя столько стремился, каждую зиму. Непременно — зимой! Думаю — выйду на 113-м, пройду через поле...

Требует такое несуетности. Да Бог милостив — может быть, когда-нибудь и соберусь. Помогите, Господи!

Москва, ноябрь, 2005

ПУБЛИЦИСТИКА



МАГАЗИН №1
ОАО "КОЛОМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"



Фото Юрия Имханицкого

ЭХО РЕФОРМЫ

**Розовые очки —
это удобно**



Дарья Георгиевна Шувалова родилась в 1981 году в городе Коломне. С отличием окончила детскую художественную школу.

После окончания гимназии поступила в Московский энергетический институт на факультет промышленной теплоэнергетики. На пятом курсе начала заниматься научной деятельностью. Сейчас учится в аспирантуре. Во время обучения начала преподавательскую деятельность.

Болезнь нашего общества в том, что мы не представляем картину событий в целом. Почему? Кто-то просто не может — сказывается нехватка образования или воспитания, недостаток кругозора или системности взгляда на жизнь. Сюда же можно отнести и детей, которые пока не доросли до подобных мыслей, да им этого и не надо. Но есть люди, получившие достойное образование, воспитание, имеющие высокое социальное положение. Почему же они не пытаются посмотреть на мир чуть со стороны, издалека? Как художники — сквозь ресницы, чтобы точно определить тёмные места, абстрагировавшись от цвета. Посмотреть на ситуацию, как на чёрно-белую фотографию, которая чётче и яснее выделит достоинства, но и выявит все недостатки и неточности, подчеркнёт блеск в глазах и красоту пропорций лица, но не скроет прыщички и морщины, отразит недостатки и покажет достоинства.

Не могу отвечать за всех, но думаю, что кто-то боится. Боится отчаяться и потерять интерес к жизни. Кто-то не хочет, потому что так легче. У нас на кафедре есть такой сотрудник. Пока её не трогают, она ничего делать не станет. На лекциях — стерильные разговоры, в курилке — просьбы потише и без идей, и полное нежелание понимать, за что она получает деньги. Я не могу смириться с тем, что человек, имеющий два высших образования, учит студентов молчать и подчиняться, закладывает в расчёты проекта проценты на содержание «крыши» и не пытается предотвратить появление подобных мыслей в молодых умах.

Стремление на Запад. Оно опять актуально. Очень многие «универсальные»

или даже «транснациональные» таланты вновь стремятся на Запад. А почему? И кто уезжает? Именно те, кто получил классическое техническое образование у стареющих и уходящих профессоров советской школы. Те, чьи знания пока ещё актуальны, как пока актуальны некоторые технические разработки советских и ранних постсоветских учёных.

По профессии я экономист. Меня очень интересует один вопрос, и соображениями по этому поводу очень хочется поделиться. Он прост: будет ли рост материального состояния наших граждан, о котором мы уже не раз слышали, объективно связан с подъёмом российской экономики и чем объясняется уверенность нашего правительства в успехе реформ?

Рынок образовательных услуг

К экономистам у нас в стране отношение какое? Кто не юрист, тот экономист. «Где ваш сыночек учиться?» — «Ой, мы его на экономический устроили (по большому благу, через банного друга мужа, на платный, по-другому не удалось, в филиал какого-то там нового московского института, который открылся в здании старого техникума; у них Лужков на День знаний выступал). С таким дипломом не пропадёт, а в крайнем случае устрою его к себе в шарашку в бухгалтерию». Теряется и смысл специальности, и суть её исковеркана. Когда каждый менеджер именуется экономистом, автоматически теряется огромная область необходимых, но не полученных знаний. К сожалению, уже даже в дипломах пишется: «Экономист-менеджер». Готова поспорить, что подобная метаморфоза произошла не с одной специальностью. Мы сейчас реформируем всё и всех, начиная с государственного регулирования отраслей до сознания граждан.

А начинается всё ещё со школы. Что такое ЕГЭ и как с его помощью возможно облегчить приём студентов в вуз? Очень просто. Поработала я в приёмной комиссии пару лет, как раз в то время, когда этот самый ЕГЭ появился на нашем «рынке образовательных услуг». У нас всё по традиции — хотели как лучше, получилось как всегда! Всего 100 возможных баллов. Лучшие ребята — те, кто сдал ЕГЭ более чем на 95 баллов, выбирают самые популярные вузы, а вот с остальными разбираться надо. В каждом вузе своя схема пересчёта баллов на оценки вступительных испытаний. И это объективно, поскольку требования к абитуриентам зависят от учебной программы и специализации вуза. У нас, например, «хор.» — от 85 баллов.

Бедные мамочки приходят в комиссию и честно убеждают нас, что им в школе сказали, что оценка их малыша вовсе не 3, а 4, просто мы неправильно считаем, а «проходной» у нас — 8, например, так что по оценкам он (малыш) — уже почти студент. Только вот у нас компьютерная база, которой всё равно, что сказали в школе и какая у них шкала пересчёта. А самое страшное знаете что? Что в течение года действуют результаты этого итогового тестирования, и ребёнок не может второй раз сдавать те экзамены, по которым писал ЕГЭ.

Таким образом, мы очень искусно «отрезали» часть абитуриентов, которые по той или иной причине неудачно написали экзамен по итогам школы, и вуз, и родители, и сам выпускник должны только смириться. Вузы тоже научились выкручиваться! Под ЕГЭ мы выделяем только часть специальностей. Тогда любой претендент может попробовать поступить в институт, но только на выделенные направления.

И ещё одна тонкость. Я точно знаю, что, к примеру, в нашем институте для успешного обучения первокурсник должен владеть умением решать задачи с параметрами, которые обязательно включаются в программу вступительного экзамена. Но не всякий преподаватель и не во всякой школе обучает этому учеников. Когда подобный абитуриент проходит в вуз по результатам ЕГЭ, он должен всячески выкручиваться и доучиваться. При традиционной системе поступления подобного не могло произойти, он просто не поступил бы.

К чему привела реформа? Приём усложнился вдвое, попытки махинаций тоже, отследить их очень трудно, все счастливы — всем есть чем заняться!

Словосочетание «рынок образовательных услуг» уже совсем не коробит слух. Мы шли к рынку, мы пришли к нему с размахом. Мы поделили имущество, раздробили производство, мы делим землю, мы приступили к образованию! Теперь мне хотя бы сказать, что я продаю образовательные услуги. Раздайте, пожалуйста, учителям пособия с краткими определениями того, что такое «образовательные услуги» и «сопутствующие услуги», а то, может, мы что-то не то продаём? И надо, наверное, преysкуранты студентам предложить: ответ на вопрос по теме — 10 рублей, не по теме — 60, проверка контрольной — 100... Не спорю, есть всякое, но когда не брали взятки? Если вы пришли не за знаниями, лучше зайдите в метро и купите диплом, они сейчас такого качества — редко кто отличит от оригинала. Не стоит искушать преподавателей и тратить их и своё время. Нельзя всех стричь под одну гребёнку.

Я не могу сказать, чем конкретно занимаюсь я, мои коллеги и старшие товарищи по профессии, но мы точно не торгуем услугами. Торговля, по моему экономическому мнению, является выгодной только при условии получения прибыли, иначе она перестаёт существовать. Скорее я называю свою работу обменом информацией и служением заложенным ещё в детстве идеалам. Я буду работать в вузе столько, сколько хватит сил. Может, коммерческие вузы и стригут купоны, но я пока не вижу этого у себя на работе. Проиллюстрирую. Знакома с замечательным молодым преподавателем, он очень талантливый теплофизик. Аспирантура, диссертация, кандидат... всё как положено. Так вот, выиграв очередной грант и получив значительное материальное вознаграждение, он купил оборудование на кафедру. А на вопрос: «Зачем?» честно ответил: «У нас здесь работать не на чем». И на кафедре он потому, что все, кто его учил, как ни прискорбно, потихонечку уходят... из жизни. Может, наш институт и динозавр, но вымирать мы пока не собираемся!

Реформирование высшей школы я перетерпела на собственной шкуре. Теперь мы пропагандируем академическую свободу преподавателей и студентов. Долго мы смеялись над этой фразой, записанной в стратегии развития нашего вуза. Ну, с преподавателями понятно, они уже давно академически свободны: где потопаешь — там и полопаешь! (А иначе как семьи кормить?!) А вот со студентами, извините, это как понимать? Не скрою, чем меньше посещаемость — тем легче вести занятия и тем больше плачешь на зачётах. Я не принимаю современную **свободу**, которая ведёт к незнанию. Студент, который сам выбирает лекции, какие следует посетить, и предпочитающий работу обучению — это не студент, а вольный слушатель. Вот и выдавать ему надо не диплом о высшем профессиональном образовании, а справку о прослушанных курсах.

Диплом. Что такое диплом сейчас и кто такой дипломник? Дипломная работа — это некий труд, который отражает профессиональную теорети-

ческую и практическую готовность специалиста к самостоятельной деятельности. Все помнят, что её надо написать и защитить. Сейчас это понятие так исказилось, что диву даёшься! Можно зарабатывать на жизнь написанием дипломов. Три ночи работы без ущерба основному виду деятельности — и можно месяц жить! К чему пришли? Развелось такое количество малограмотных экономистов и бухгалтеров, что мало кто сейчас с уважением относится к этим специальностям. И каждая лекция — это борьба. С невежеством, стереотипами и недоверием.

Я не хочу ругать нашу молодёжь, я сама к ней пока принадлежу. Мои студенты — это в большинстве своём замечательные ребята, и мне очень нравится работать с ними, но что-то вы, дорогие родители, упустили. Может быть, не привили душевность и внимательность. А основные свойства современного молодого человека — эгоизм и эгоцентризм. Мы называем себя свободными? Нет, скорее отсутствует целостность личности и социализации человека, социофобия, если хотите.

Что же сейчас происходит с высшей школой и как теперь получают дипломы? Суть реформы не совсем понимаю, но плоды пожинаю систематически. Что ни семестр, то новость. Больно видеть, как монстры образовательной системы, просуществовавшие не одно десятилетие, дуются мелкими, шустрыми, но богатыми частниками. Деньги решают всё, да это и понятно. Случайное совпадение или злая шутка, но на той же трамвайной остановке, где расположен ведущий в России энергетический институт, удобно расположился образовательный центр РАО «ЕЭС» России. Теперь проблема не только в привлечении достаточного числа хорошо подготовленных абитуриентов, но и в удержании квалифицированных кадров. Преподавателям тоже кушать хочется, и у всех свои дети. Кто не ушёл в бизнес, уходят в коммерческие вузы. Теряются традиции, порой отсутствуют учебные планы и искажается сама идея системного образования как формирования профессиональной картины мира у специалиста.

Поработав в вузе, я поняла, что равенства нет. Нет, быть не может и не должно, но справедливость или трансформированная идея единообразия должна быть. Как много мы теряем времени, сил и материальных ресурсов, принимая на работу человека, диплом которого не соответствует его знаниям? А возможно оценить подобный ущерб в масштабах страны? Понижение требований к качеству знаний, переход от экзаменационной системы к тестовой ведёт к понижению эффективности высшего образования. Замена системы обмена информацией на финансовую схему покупки дипломов приводит к искажению самой идеи образования.

Каждый преподаватель не раз, думаю, слышал фразу, подобную этой: «Всё равно вы мне поставите, я же платник!», и каждый в этот момент решал для себя вопрос взаимоотношений со своей совестью.

Когда я поступала в институт, папа сказал, что сама виновата: уезжаю в чужой город, помочь там мне некому — и что высшее образование не для всех. Жёстко, жестоко и настолько же справедливо! Я преподаю больше трёх лет. Не Бог весть сколько, но действительно ведь: высшее образование не для всех!!! Приходишь в группу и понимаешь, что большинство этой группы сидит здесь зря! А потом выясняется, что они платники, а потом — что они блатные. И тяти, как хочешь.

Я очень боюсь писать, потому что я очень боюсь, что это прочтут и примут меры. Я очень боюсь потерять работу или прослыть предателем, но я почему-то уже и молчать не могу! Это, наверное, генетически мне пере-

данное папино партийное и мамино комсомольское прошлое с неотвратимой страстью к правде!

К чему нас ведёт реформирование высшей школы? Не знаю, как должен выглядеть университет в новом веке. Понятия не имею, каким образом необходимо подавать знания студентам и в каком объёме, но точно знаю, что советская система образования была эффективной, и, слава Богу, я успела получить максимум возможного ещё от той системы средней и высшей школы. Работая, я свято верю, что учебные планы рассчитаны именно на то, чтобы воспитывать специалистов, необходимых в экономически развитой рыночной (если уж мы так верим в рынок) стране.

От отношения к высшей школе и в высшей школе идёт невежество нашего поколения, воспитанного уже на рыночных ценностях. Нет в рыночных отношениях, которые навязываются столь вероломно, ничего человеческого, а при современной моде на отрицание всего, что было до нас, я не знаю, как возможно хоть немного приблизить молодёжь к духовным ценностям. А теряя духовность, мы теряем способность думать, а потом и верить. Теперь мы соображаем и выгадываем.

Потом эти молодые специалисты начинают строить будущее новой России. То, что мы оставим нашим детям и внукам. Производство (или то, что от него осталось), транспорт, добывающие отрасли, строительство, медицина, социальная сфера, сельское хозяйство, то же образование — дошкольное, среднее, высшее — получают реформированных работников.

А самое страшное, что образование — это одна из последних сфер жизни, которая так неопределённо идёт путём реформ. Я работаю в отраслевом вузе, и отрасль наша смело шагает маршрутом перемен: отказываемся от государства и приветствуем капитал.

Учимся рынку... без учебников

Знаете ли вы, что такое естественная монополия? Это некая система организации рынка, при которой потребности общества с наименьшими издержками удовлетворяются одной фирмой. Итак, естественная монополия — это такая система, в которой невозможен или экономически неэффективен рынок в обычном широком смысле. Классический пример рынка естественной монополии — энергетика или железные дороги. Специфика построения российской системы энергоснабжения, унаследованная ещё из Советского Союза, заключается в том, что система была **единой**, что обеспечивает надёжность и экономическую эффективность.

Вся нагрузка распределяется так, чтобы энергопроизводители — станции разного типа, производящие продукцию разной стоимости, так перекрывали друг друга, чтобы обеспечить эффективное функционирование **всей** системы.

Естественно, монополия система энергетической отрасли продиктована не только спецификой производственного процесса, а ещё и обстоятельствами создания топливно-энергетического комплекса СССР, его целями и особенностями. Поэтому очень некорректно проводить сравнение и приводить в пример успешный опыт реформирования энергетики других стран. И масштаб не тот, и всех деталей не учесть. В наследство от Союза нам досталась самая эффективная и **надёжная** система в мире. Но мы пытаемся внедрить рынок туда, где он доказанно неэффективен. Кому это выгодно? Уж конечно не потребителям! Просматривая биржевые свод-

ки и финансовые отчёты, трудно не заметить, что критерием эффективности работы энергоснабжающих компаний стали прибыль и рентабельность, доход по акциям. Страшно подумать, что независимость государства, обороноспособность страны и социальная ситуация полностью зависят от того, какой процент по акции хочет получить господин капиталист.

В Мосэнерго дали премию за прохождение зимнего максимума нагрузки. Пережили ещё одну зиму, дай Бог, не последнюю. Подруга рассказала (работает в отделе телемеханики): среди старейшин ходит шутка: «Как ни расстраивали систему, построенную в советские годы, так до конца развалить не смогли. Пик морозов прошли». Смешно! А раньше эти же люди не доживали с системой, а жили и строили будущее энергетики.

К чему же ведёт нас реформа энергетической отрасли? Отречёмся на миг от всех разговоров о процессе проведения приватизации. Это можно сколько угодно обсуждать, но факт есть факт: приватизация, какой бы она ни была, проведена. И проведена окончательно. Нет сейчас в России такой силы, которая могла бы обратить эту ситуацию, да и живы ещё те люди, которые голодали в начале девяностых в студенческих общагах, не имея ничего: ни прав, ни талонов, а только студенческий билет и благословение родителей. Сейчас они поддержат любую реформу, только бы не повторилась история девяностых годов.

При полной государственной монополии в энергетике все процессы, от составления топливно-энергетического баланса до установления цен на готовую продукцию, были под контролем государства. Именно эта система взаимодействия различных отраслей комплекса позволяла наиболее эффективно удовлетворять потребности государства и в безопасности, и в надёжности. Напомню, что, говоря про энергетику, мы имеем в виду производство такой стратегически важной продукции, как теплоэнергия и электроэнергия, а топливно-энергетический баланс — это документ, в котором отражены все сырьевые ресурсы, необходимые для производства необходимого количества энергии, при этом загрузка мощностей, то есть производителей — станций и котельных — рассчитывалась с учётом оптимального режима для всей **системы**, субъектами которой являются как простые конечные потребители, население, так и сама система энергоснабжения. Стоит также отметить, что от того момента, когда мы получили сырьё, до момента включения лампочки на вашей кухне энергия проходит несколько этапов: генерацию (выработку, производство), транспортировку по магистральным линиям электропередач (сетям высокого напряжения), распределительным линиям электропередач (распределительным сетям).

Даже при приватизации отрасли и образовании монополиста — РАО «ЕЭС» — мы не нарушали единства. Просто прибыль была уже не полностью государственной, а частично распределялась между акционерами. И этот этап вызывал обсуждение и осуждение общественностью, но мы имели ситуацию, при которой сохранялось государственное регулирование всего энергетического производства, регулирование цен-тарифов для всех групп потребителей, как производителей, так и населения.

Тут нас стали пугать страшными словами: «перекрёстное субсидирование», «рынок» и «совершенная конкуренция». Что же это такое?

Проблема перекрёстного субсидирования не нова. Если говорить простым языком, то суть в том, что население за единицу энергии платит тариф в нашем случае меньший, чем предприятия. Таким образом считается, что промышленность «кредитует» население. И чем плоха эта схема для внутренней ситуации в стране? Только тем, что конкурентоспособность продукции умень-

шается — но это не тема нашего разговора. Поднимайте эффективность технологий, в конце-то концов! Я полагаю, что со стороны государства не плоха политика поддержания населения хотя бы таким образом. Понятно, что внутренние цены заметно ниже внешних или мировых. Плохо ли это?

Разрабатываются всевозможные схемы ухода от перекрёстного субсидирования. Предприятия массово отказываются от жилищного фонда, детских садов и других социально важных объектов.

Важно помнить, что перекрёстное субсидирование — не прихоть законодателей, а вынужденная мера социальной политики, и решить эту проблему возможно лишь при условии стабильного роста экономики России, а следовательно, и роста благосостояния граждан. Наличие социально не защищённых и малообеспеченных слоёв населения не позволяет применять реальные, экономически обоснованные тарифы для всех потребителей, поскольку это может повлечь увеличение числа людей, живущих за чертой бедности. Но как предоставить рост промышленности, если предприятия вынуждены частично оплачивать потреблённую населением энергию? Разрешение этого противоречия необходимо для дальнейшего развития как энергетики, так и экономики России в целом.

По поводу всепасающего рынка я уже упоминала. Да, безусловно, эффективнее рыночной системы человеческое сообщество пока ещё ничего не придумало, но научно доказано, что рынок не панацея от всех бед, сдерживающая и контролирующая функции государства необходимы.

Ну а «совершенную конкуренцию» я вообще очень люблю. Знаете почему? Просто потому, что это теоретическая модель, просчитанная экономической наукой как идеальный способ функционирования рынка. **Чистая конкуренция** — конкурентная ситуация на рынке, когда множество фирм продаёт одинаковые товары. Противоположная ей идеальная, а поэтому несуществующая в жизни система — монополия. Итак, мы честно строим то, чего не может быть, ломая то, чего не было.

А знаем ли мы, что за реформа проведена? Даже при самом грубом приближении мы можем точно сказать, что с ростом числа посредников цена готовой продукции только возрастает. К сожалению, я не понимаю, почему люди не обращают на это внимания. Если у нас есть производитель, который хочет, что понятно, а главное — может получать прибыль, сверхприбыль и сверхсверх**прибыль**, то неужели он откажет себе в этом удовольствии? Мы уверенно идём от государственной регулируемой монополии к частной олигополии. Уже однажды пройдя этим путём в газовой отрасли, мы дружно ненавидим олигархов, втайне завидуя им. Ну почему не мы на их месте? Мы имеем только то, за что голосовали и голосуем. Учимся рынку.

Реформирование электроэнергетики, а затем и теплоэнергетики направлено на либерализацию рынка и формирование конкуренции в отрасли. И на вопрос, возможно ли это в принципе и без потери качественных характеристик, однозначный ответ так и не получен. Но вот точно ясно только одно: реформирование деятельности должно опираться на научные исследования в этой области.

Год назад я была на семинаре в очень известном Институте народохозяйственного прогнозирования РАН, где были заявлены две темы: «О перспективах реформирования оптового и розничного рынков электрической энергии» и «О структурных преобразованиях предприятий электроэнергетики и головной компании холдинга РАО «ЕЭС России»». Темы аншлаговые. На представителей вершителей реформы из РАО собралась

посмотреть вся научная элита! Шутка ли, все считают, анализируют, прогнозируют и предполагают, строят научные гипотезы, а тут сами вершители приехали доложить о своих планах и успехах! Вся эта возня похожа на научный тотализатор: умные, образованные люди строят модели и предсказывают, как завтра поведёт себя кучка отлично адресированных менеджеров.

Так оно и было. Можно назвать этот семинар встречей миров. В зал, наполненный огромным количеством представителей науки, точно в срок вошла миловидная молодая женщина, безумно стильно одетая и с прекрасной техникой в руках. Безупречная презентация, заученная до умопомрачения, прозвучала точно по регламенту. За первым выступлением последовало второе, чуть менее стройное, но и докладчик был моложе и менее уверенным. Дальнейшие события более всего походили на посещение океанариума, при этом невозможно было понять, кто на кого смотреть пришёл.

Вы когда-нибудь смотрели на аквариум, где живут большие рыбки? Заглядываешься на них через стекло и не понимаешь, то ли ты на неё смотришь, то ли ты сюда пришёл, чтобы она на тебя посмотрела.

Что можно сказать о ходе реформирования, если на вопрос, а зачем нам конкуренция в энергетике, образованный человек, занимающийся непосредственно этим вопросом в крупной корпорации, говорит, что он просто верит в совершенную конкуренцию! Наверное, после этих слов обычно ожидаются аплодисменты. Никто не захопал. Ведь как только человек начинает верить, он перестаёт думать.

Докладчики оттарабанили свои заученные речи и, встав спиной к спине, отбрёхивались от нескончаемого потока вопросов научного мира. Глупость, которую они несли про веру в конкуренцию, порой было больно слышать. И те и другие остались недовольны встречами. У академиков случались нервные тики, молодые реформаторы не понимали возмущения общественности, но им-то что? Они получают свои «достойные» зарплаты, в том числе и за то, что уверены в правильности намеченного курса и верят в совершенную конкуренцию.

Немного продолжу про участие научного сообщества в процессе реформирования топливно-энергетического комплекса. На семинаре ТЭК России в 2005 году господин Чубайс ясно сказал, что реформа энергетики подходит к своей завершающей стадии, в процессе реформирования отрасли законодательство претерпевало изменения непосредственно в ходе реформ, и энергетика, как отрасль-пионер, создала базу для реформирования всех отраслей естественных монополий в стране. Так о какой просчитанной и научно обоснованной, подготовленной в режиме взаимодействия с органами государственной власти реформе идёт речь, если её штурман и вдохновитель, можно сказать, «лицо» этой реформы, не боится признаться в неподготовленности переделки такой мощной системы, как энергетика?

Что же мы сделали с энергетической отраслью? Разделили крупного монополиста на части. Первое — выделили все непрофильные активы. Расшифровываем: отделили ремонтную составляющую от тех же самых активов, отделили все вспомогательные службы.

Вторым этапом делим всю единую, созданную таковой, оптимизированную систему энергоснабжения на генерацию, передачу и распределение, при этом, естественно, остаётся монопольным бизнесом транспортировка по магистральным сетям — сетям высокого напряжения.

Третьим этапом рынок освобождается от государственного влияния и становится конкурентным! Таким образом, мы имеем значительно больше мелких производителей на каждом этапе производственного цикла. И прелесть здесь не в том, что они начинают конкурировать между собой, а в том, что они стали маленькими, уязвимыми и легко поглощаемыми.

Надо ясно помнить, что какая бы конкуренция ни создавалась в энергетической отрасли на уровне крупных продавцов и покупателей, на уровне потребителей рынок всё равно будет монополизирован. Я с большим трудом могу представить российскую действительность, в которой степень прозрачности системы такова, что я как простой российский гражданин смогу купить самый дешёвый из возможных кВт·ч у любого производителя на самом на Дальнем Востоке. Конечный потребитель будет обращаться к энергоснабжающей организации, и весь мой выбор на рынке будет сводиться именно к выбору этого последнего из четырёх продавцов в цепочке. Имеем ли мы свободную конкуренцию? Ни в коем случае! В лучшем случае это олигополия, рыночная структура, при которой на рынке существует несколько продавцов, каждый из которых реализует одинаковый товар, а это электроэнергия с частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Олигополистическая структура опасна, и вся коварность её заключается в возможности сговора между производителями, когда она начинает функционировать как монополия, но уже нерегулируемая.

Примерно такая ситуация существует на рынке труб большого диаметра. При росте объёмов строительства нефте- и газопроводов цены у разных производителей практически не различаются, а о качестве и конкуренции речь не идёт. Теперь для крупных проектов оценивается перспектива покупки труб в Германии, и страна теряет ещё одну отрасль промышленности.

Итак, мы ушли от государственного регулирования и раздробили энергосистему. Теперь легко и совершенно законно можно покупать слабые, неокрепшие кусочки ещё недавно могущественного монстра в собственность и (а почему бы и нет?) превращать их в выгодный бизнес, приносящий неплохую прибыль. И я, как экономист, двумя руками «за». Теперь я имею часть стабильного бизнеса, актуальность которого на российском рынке всё возрастает с каждым мобильным телефоном и электрическим чайником в моей квартире. Я хочу и буду получать прибыль. Это моя генерация. И, вкладывая капитал в обновление мощностей, я совершенно спокойно подниму цены, поскольку мне нужно вернуть свои деньги с процентами. И мне абсолютно всё равно, что при этом будет кушать бабушка из соседнего подъезда и как будут выкручиваться промышленные потребители.

Вот вам и вся реформа. Освободившись от государственного контроля и не имея никаких ограничений, мы строим аналогичные единой, но чуть менее масштабные частные энергетические компании и получаем столько прибыли, сколько сможем. Капитал и имущество превыше общественного блага и здоровья нации. И никто из нас, потребителей, ничего не заметил, кроме ежегодного роста тарифов, и никто не может сказать, почему он так не любит Чубайса, но каждый точно знает, что именно его-то он и не любит. При этом Анатолий Борисович — умнейший человек, и всё у него есть и будет хорошо!

А состояние в энергетике прямо скажется на всей промышленности страны. Весь рост числа посредников и обновление фондов оплатят ни в коем случае не собственники энергосистемы, а конечные покупатели энер-

гии. И дело не только в тарифах на энергию, а ещё и в общем росте цен на все группы товаров. Весь комплекс отраслей промышленности взаимно завязан и взаимозависим. Регулирование процессов взаимодействия отраслей без участия государства невозможно! Оно должно осуществляться при чётком разграничении их влияния, необходимости удовлетворения интересов предприятий на всех этапах производства, чтобы исключить возможность субсидирования одной отрасли другую. Но кто этим станет заниматься, когда интересы частного капитала превыше всего, а государственные органы молчат.

Жёсткая связь по производственной цепочке позволяет предприятиям-монополистам в значительной мере влиять на ситуацию на рынке. Монопольное положение покупателя или продавца недопустимо, поскольку приводит к неэффективности деятельности того или иного субъекта рынка. Решением подобных противоречий может служить создание вертикально интегрированных компаний. ОАО «Газпром» реализует политику вертикальной интеграции в некоторых регионах страны через покупку долей акций энергетических компаний. Российский газовый монополист активно пытается диверсифицировать — разнообразить — свой бизнес за счёт осуществления инвестиций в различные направления деятельности, не связанные с добычей газа, и стать энергетической компанией в самом широком смысле этого слова. Вертикальная интеграция приводит к ещё большему сближению отраслей, и последствия её для экономики страны могут носить положительный характер.

Но в отраслях топливно-энергетического комплекса наблюдается и тенденция к значительному укрупнению горизонтальной структуры: энергопроизводители объединяются в генерирующие компании, газовый монополист «Газпром» рассматривает возможность приобретения акций нефтяных компаний. Следствием этого является монополизация рынка, как следствие, сокращение конкуренции. Увеличивая монопольную власть, монополист может оказывать значительное воздействие на смежные отрасли и на потребителей.

Теперь нас новая беда ждёт: реформируем газовую отрасль. Реформа опять пройдёт тихо, а знаете почему? Мы будем в этот момент шумно пожинать плоды реформы энергетики, как и делаем это с мая 2005 года. Пропустим мы этот ход, беседуя на лавочке о вредности Рыжего.

Знаете, почему антимонопольное ведомство разрешило сделку по покупке «Газпромом» «Сибнефти»? Они работают в разных отраслях, и никакого криминала для рынка одной продукции тут нет. Но давайте не забывать, что и отрасли конкурировать могут, и горизонтальная интеграция может сделать много зла покупателям.

С какой силой к нам стремятся иностранные инвесторы, которых, как нам рассказывают, здесь очень не хватает. Но с какими инвестициями они идут? С вложениями в производство и основные фонды? С поддержкой обрабатывающих отраслей? Или, может, в социальный сектор? Нет. Иностранный глобальный капитал, приход которого в Россию неизбежен, не стремится вкладывать деньги в затратные мероприятия по разведке и разработке месторождений, а направляет финансовые ресурсы на покупку акций и долговых ценных бумаг, тем самым минимизируя свои риски. Доступ иностранцев планируется ограничить только в отношении специфических месторождений, которые могут составлять основу для развития целой стратегически важной отрасли промышленности. По Восточной Сибири каких-либо ограничений не предусмотрено — этот регион

пока нуждается в геологоразведке, в связи с чем правительство намерено стимулировать приток любого капитала в регион.

Грядёт время капитала. У нас на кафедре в междусобойчике появилась новая формулировка: «корпоративная диссертация». Это когда газ-промовские или еэсовские защищаются. Все знают, что за работа, кто её делал, чем это кончится для населения или для потребителя в общем, но голосуют «за» и поддерживают. Под кого сделана реформа и кто её заказчик — не мне судить, да я думаю, знает это лишь ограниченный круг людей, но этим людям явно не до нас.

В обстановке сужения глобального рынка углеводородов инвесторы всегда будут стремиться в нефтегазовый бизнес, вооружаясь новыми механизмами защиты от возможных политических и правовых рисков, лоббируя нужные законы и поддерживая нужных людей. Для России присутствие иностранного бизнеса в нефтегазовом комплексе имеет свои положительные стороны. Он будет препятствовать формированию закрытой неконкурентной среды, способствовать формированию современной корпоративной культуры. Проблемы коротких горизонтов планирования и разработки инвестиционной стратегии могут быть решены при развитии конкуренции. Ведь теперь мы вынуждены привлекать иностранные корпорации в том числе и для того, чтобы иметь право пользоваться теми технологиями, которых у нас нет. Не поддерживаем мы науку, покупаем технологии в обмен на ресурсы. А в чём специфика ресурсов — они ограничены.

Задача власти — нахождение баланса между геополитическими рисками допуска иностранных компаний в стратегические отрасли и эффективным стимулированием развития отраслей. Пока мы продаём не продукт, а сырьё, и, к сожалению, радуемся профициту нашего бюджета.

Эффективное развитие отраслей ТЭК возможно только при привлечении инвестиций для переоснащения производства. Это обусловлено старением фондов и истощением месторождений. Должна быть пересмотрена и усовершенствована законодательная база.

Есть ли у нас свой капитал для инвестирования? С позиции обывателя могу сказать, что, безусловно, есть, и хранится этот капитал в американских банках. Стабилизационный фонд. Эти деньги ни в коем случае нельзя тратить на социальные потребительские нужды. Нет, если уж мы пользуемся удачной конъюнктурой рынка энергоносителей, то эти финансы должны идти на создание технологической производственной мощи страны!

Единственно возможное решение — это поддержка очагов российской науки и обрабатывающей промышленности.

Изменение цены на газ может существенно повлиять на структуру топливопотребления отраслей, использующих газ как топливо, и на рынок угольной и нефтяной промышленности. При этом влияние на цену, например, энергетической отрасли не будет носить линейный характер. Это обусловлено использованием нескольких видов ресурсов и возможностью их взаимозаменяемости. За какое время окупятся затраты на переналадку или покупку нового оборудования? Эффективность капитальных вложений обеспечивается за счёт внедрения современных технологий и использования потенциала энергомашиностроительных предприятий. В каждом конкретном случае ответ на этот вопрос будет своим.

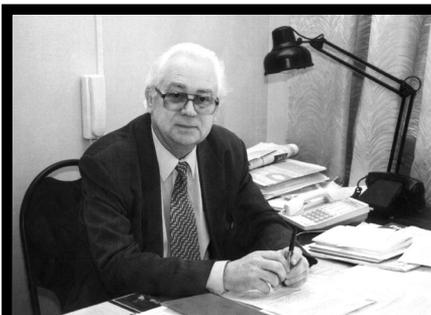
Необходим комплексный подход к решению стратегических задач реформирования экономики. Подход, который учитывал бы интересы не

только корпораций и инвесторов, но и потребителей. Разработка экономически обоснованного подхода к увязке цен на потребительском рынке между газовой и энергетической отраслями должна стать одним из направлений совершенствования взаимодействия отраслевых рынков. Необходимо продумать возможность реализации совместной ценовой политики в рассматриваемых отраслях ТЭК, связанных одной производственной цепочкой, и создания условий нормального экономического развития страны.

Надо ли понимать, что следует за реформами и к чему ведут преобразования? Да, безусловно! И знаете почему? Всегда результаты будут отражаться самым ярким образом на нас — на населении, и необходимо знать, что будет, ведь кто предупреждён — тот вооружён. Ведь гораздо эффективнее повлиять на причину, чем бороться с последствиями.

Почему мы верим прессе, не любим богатых, не доверяем правительству, но упорно не хотим смотреть на первопричины? Ведь реформирование экономики моей страны не может не волновать гражданина и свободного человека.

Я хочу пробудить хоть какую-то активность в читателях. Пусть возмущение, сомнение или негодование, но интерес и реакцию. Если не задумываться вам, читателям литературных журналов, то кому же тогда? Через образование и общение возможно что-то изменить. Я не могу быть равнодушной к стране, где будут жить мои дети.



Грустно расставаться с друзьями, тем более — навсегда. Не стало **ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА КИРОВА**. Не хочется говорить банальностей: мол, 66 лет — не возраст, и мог бы ещё пожить... Да разве дело в сроке жизни? Важно, сколько успел совершить человек.

Киров запомнится многим, прежде всего — как организатор учебного процесса. Директор нескольких школ, заведующий Коломенским городским отделом образования, проректор Коломенского государственного педагогического института... Он основательно помогал альманаху в организационном плане.

Но нам он запомнится своей светлой улыбкой, человеческим теплом, стихами. Юрий Николаевич не был профессиональным поэтом в строгом смысле слова. Он, кажется, даже немного стеснялся своих стихов. Но его искреннее и свежее слово сохранится не только в нашей памяти, но и на страницах «Коломенского альманаха», для которого он сделал столько хорошего.

Редколлегия

Юрий КИРОВ

Серпантин нашей жизни вьётся,
Горных обвалов страх.
Сколько ещё остаётся
Блуждать по дорогам в горах?

Времени преодоленья,
Камни житейских драм.

Вериги земного счастья,
Вяжущие по ногам.

Лучи уходящего солнца,
Горы за кромкой туч.
Дорога всё ещё вьётся,
И светит последний луч.

Сергей СЕРГЕЕВ

ПО ТУ СТОРОНУ КРАСНОГО И БЕЛОГО

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Война на могилах

3 октября ушедшего года мне посчастливилось присутствовать на торжественном перезахоронении праха двух наших выдающихся соотечественников — А.И. Деникина и И.А. Ильина — на кладбище Донского монастыря. Замечательное, долгожданное событие, коему как нельзя лучше соответствовал прекрасный солнечный день классической золотой осени. Но к той огромной радости, которую я испытывал, примешалось раздражение от того, что это действительно знаковое погребение используется некоторыми политиками не для сплочения нации, а наоборот, для её раскола. Ещё на самой церемонии было заявлено, что мы почему-то должны просить прощения у Деникина и Ильина, а сразу же после неё стала активно обсуждаться необходимость выноса останков Ленина из Мавзолея. Левые не замедлили поднять брошенную им перчатку, не придумав ничего лучшего, чем вылить ушаты грязи на светлую память Деникина. «Красные» и «белые» снова принялись сводить между собой счёты, в очередной раз демонстрируя тяжелейшую болезнь русского национального сознания. Трудно даже сказать, какая из сторон более не права — «обе хуже». Если цель перезахоронения военно-политического и идейного вождей Белого движения, как, по крайней мере, декларировалось, — символическое восстановление национального единства, то что может быть более противоположно ей, чем но-



Сергей Михайлович Сергеев родился в 1968 году в Москве. Окончил исторический факультет и аспирантуру Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Кандидат исторических наук. Заведующий сектором научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ), заведующий отделом публицистики журнала «Москва».

Автор более тридцати научных и научно-популярных работ. Готовил к изданию сочинения и переписку К.Н. Леонтьева, Л.А. Тихомирова, Н.В. Устрялова, Р.А. Фадеева, Ю.Ф. Самарина, русских националистов начала XX века. Как публицист печатался в журналах «Москва», «Наш современник», в «Независимой газете».

Живёт в Москве.

вый виток борьбы с ленинской мумией? Всё выглядит так, будто Деникину помогают посмертно выиграть гражданскую войну, проигранную им при жизни. Есть в этом что-то глубоко неблагородное, скажу резче — жульническое, тем паче что новоявленные душеприказчики Белого дела с последним ничего общего не имеют: одни из них делали успешную карьеру в советской политической полиции, другие известны как постановщики кинофильмов о бесстрашных, рыцарственных чекистах и кровожадных зверях из белой контрразведки. Станный способ достижения национального единства — наступать на больную мозоль миллионов людей. Неужели это так срочно, и нельзя подождать лет двадцать—тридцать? Впрочем, нынешние наследники Красной идеи, продолжающие видеть в героях-идеалистах Добровольческой армии «буржуев» и «наемников Антанты», провокаторски провозглашающие, что Россия не исчерпала лимит на революции, ещё менее предпочтительны в качестве общенародных попечителей. Кто-то, наверное, скажет (и не без основания): дескать, всё это политические игры, не имеющие никакого отношения к реальной жизни страны. Однако совершенно очевидно, что в подобные игры не играли бы, не будь социального слоя, искренне на них реагирующего. Этот слой — интеллигенция, внутри которой красно-белый раскол до сих пор не преодолен, а нам по отечественному историческому опыту хорошо известно, что интеллигентские «идеи», вроде бы абсолютно беспочвенные, имеют способность ко вполне материальному воплощению, имеющему чаще всего катастрофические последствия. Поэтому мне кажется, что холодная гражданская война «высоколобых», одним из показательных боёв которой стали недавние кладбищенские страсти, — тема, нуждающаяся в самом серьёзном обсуждении. Предлагаемые беглые заметки нисколько не претендуют на её исчерпание, а, напротив, приглашают к дискуссии.

Существует ли формула национального духа?

Начнём, как и положено, с определений. Кто такие сегодня «белые»? Люди, принципиально отрицающие советский период истории России, но не с либерально-демократических, а с государственно-патриотических позиций и видящие будущее нашего Отечества в реставрации основ (а иногда и внешних форм) дореволюционной жизни. Кто такие сегодня «красные»? Люди, считающие советскую эпоху вершинным достижением русской цивилизации и уверенные в том, что Россия имеет будущее только в рамках социалистического строя. Скажу честно: эмоционально «белые» мне ближе, и моё несогласие с идеей скорейшего освобождения Мавзолея от его многолетнего постояльца проистекает не из каких-либо особо теплых чувств к последнему, а из банального здравого смысла. Никогда не числил в учителях Маркса и Энгельса, со студенческой скамьи властители моих дум — Достоевский, Константин Леонтьев, Розанов, философы русского религиозного ренессанса. Но именно исходя из логики их мысли, ложной мне представляется не только «красная», но и «белая» идеология.

Существует ли некая окончательная формула национального духа, вне которой бытие нации невозможно? Наиболее ясно и чётко по этому вопросу высказался П.Б. Струве в замечательной статье 1901 года «В чём же

истинный национализм?»: «Формальная идея национального духа выражает бесконечный — с точки зрения отдельных личностей и поколений — процесс, содержание которого постоянно течёт, в котором всё, как бы оно ни строилось основательно, столь же основательно разрушается и перестраивается. Нет никакого определённого психического содержания, которое могло бы заявлять и поддерживать претензию на монопольное обладание формой национального духа. Сегодня ты, завтра я — так может сказать одно содержание, течение, направление другому. Коллективный дух стихийным процессом одно отберёт, другое отбросит и так далее, до бесконечности. Никакая мысль, никакая форма — государственная или общественная — не может быть неприкосновенна перед этим могущественным сверхиндивидуальным или соборным творчеством, за исключением тех условий, которые обеспечивают свободный ход и богатство великого творческого процесса». Любовь к родине, размышляет Струве, обычно сравнивают с любовью к матери, это верно, но «родина нам не только мать. Она в такой же мере — наше дитя. Мы в сознательной и бессознательной жизни, духовно и материально, одно поколение за другим, творим и растим нашу родину... Мы творим её живую и вечно меняющуюся ткань». Национальный дух слагается как из воспоминания, так и из пророчества, равно важны как оглядка на прошлое, так и стремление к будущему. Между тем, иронизирует Пётр Бернгардович, «нашлись люди... которые уверили себя и других, что им удалось узреть национальный дух и снять с него даже не одну фотографию в разных позах... Эти изображения они предлагают всем и каждому, по ним они желают лепить (или коверкать?) живое лицо народа».

Наши современные «белые» и «красные» как раз представляют собой описанных выше «фотографов» национального духа, заявивших монополию на обладание единственно верной формулой последнего. К сожалению, это не новость для русского самосознания: в прошлом его разрывали на фрагменты западники и славянофилы, народники и марксисты, и все претендовали на истину в последней инстанции. Не избежали подобного соблазна даже такие независимые и сильные умы, как Герцен и Леонтьев, да и тот же Струве, отождествивший в цитированной выше статье национальный дух с либерализмом, вполне годится в объекты собственной критики. Что ж, считать правильным то, что тебе нравится, — заблуждение общечеловеческое, перед ним не устоял величайший из великих диалектиков Гегель, узревший окончательное вместилище Мирового духа в Прусском королевстве. Но в отечественном варианте это заблуждение выглядит особенно радикально.

Русский ум, усвоивший западный секулярный рационализм лишь в его внешних приёмах, был и остаётся преимущественно умом религиозным, догматическим, воспринимающим каждое мнение, им защищаемое, как объект веры. На православное его воспитание весьма органично наложилось советское, также определявшееся скорее координатами «вера—неверие», чем рациональным рассуждением. В этом на самом деле много духовно-нравственных плюсов, но, чисто интеллектуально, «верующий» стиль мышления сильно уязвим. Ещё Достоевский писал о том, что русскому человеку присуще ясно видеть лишь находящееся у него *прямо* перед глазами, повернуть же шею направо или налево ему не приходит в голову, он может повернуться только всем телом, и тогда у него появится новый предмет созерцания, опять-таки без учёта того, что расположено по сторонам. Поэтому-то, добавлю от себя, в России пламенные западники легко превращаются в не менее пламенных славянофилов, а твердокамен-

ные марксисты— в ещё более твердокаменных монархистов, по классическому образцу тургеневского Михалевича («Новым чувствам всем сердцем отдался, / Как ребёнок, душою я стал: / И я сжѐг всё, чему поклонялся, / Поклонился всему, что сжигал»), но зато так редки стремления смотреть не только перед собой, но и по сторонам, — попытки осознания реальности поверх схем и доктрин путѐм выявления и снятия противоречий, поиски *синтеза*. Недогматических умов в истории русской мысли чрезвычайно мало, но они есть, и как лекарство от догматизма русскому интеллектуалу необходимо прописывать постоянное обращение к духовным мирам Пушкина, Аполлона Григорьева, Розанова с их беспредельной свободой, с их природной диалектичностью.

Современные «белые» и «красные» — типичные русские догматики, непреклонно отстаивающие свои противоположные символы веры, без всякого желания сверить их с «опытами быстротекущей жизни».

Белые грѐзы

О «белых» мне говорить проще, ибо я сам долгое время пребывал под обаянием ретроспективной утопии возрождения дореволюционной России. Акцентирование связи современности с тысячелетним опытом предков в противовес нелепому лозунгу: «Все мы родом из Октября!» — представляет собой положительную сторону «белой» идеологии, и этот её элемент неизбежно будет востребован любой политической силой, собирающейся править нашей страной «всерьѐз и надолго». Но беда в том, что «белые» пропагандируют не только связь с прошлым, но и его реставрацию. Между тем мировая история Нового времени не знает ни одного случая удачной и прочной реставрации уничтоженного социальной революцией «старого порядка», и нет никаких оснований считать Россию каким-то счастливым исключением из правила. Более того, отечественная ситуация гораздо сложнее, чем английская или французская, где временной разрыв между революцией и реставрацией сравнительно невелик (одиннадцать лет в первом случае, двадцать три года — во втором) и, следовательно, восстанавливать разрушенное было несравненно легче, но это, как известно, не помогло. Наши же «реставраторы» «Россию, которую мы потеряли», никогда не видели воочию, она возникла в их воображении как прекрасная грѐза, противопоставляемая сначала советской казарме, а теперь — «демократическому» кабаку. Что поделать, иллюзии воздействуют на людей не менее сильно, чем действительность. По большому счёту «белая идея», в том виде, в каком она сформировалась внутри СССР, стала одной из форм диссидентства, своеобразии которой — в попытке оправдать традиционное интеллигентское «государственное отщепенство» патриотизмом, ибо как же можно служить «антирусскому государству»? Кстати, эта логика у многих «белых» распространяется и на нынешний правящий режим, так что их диссидентство перманентно, они готовы присягнуть только России своих снов.

Современные «белые» вычитали свою идеологию из книг, причѐм чтение это весьма выборочно. Основой их представлений явился, конечно, миф о досоветской России, созданный белой (без кавычек!) эмиграцией. Но если для последней сей миф имел всё-таки определённую жизненную основу (и, кроме того, она выстрадала на него право), то советские и постсоветские «белые» взяли его уже в готовом виде, без учёта мировоз-

зренческой эволюции творцов этой воистину восхитительной по своим поэтическим красотам легенды (достаточно сравнить дореволюционную и эмигрантскую прозу Бунина, Куприна, Шмелеёва, вспоминая пушкинское: «Что пройдёт, то будет мило»), с простодушной беззастенчивостью облачившись в чужой костюм. Новых «белых» почему-то не удивило, что у классиков первого ряда (Гоголя, Достоевского, Толстого, Лескова, Чехова, не говоря уже о наблюдательных «бытовиках» вроде Писемского, Г.Успенского, Эртеля) образ России далеко не идиллический, они, в сущности, предпочли Достоевскому Шмелёва. Пристальное и непредубеждённое чтение русской классики как раз подводит к мысли о неизбежности в недалёком будущем «великих потрясений», а никак не навевает «сон золотой». Мой друг, историк и публицист Александр Ефремов любит цитировать следующее наблюдение, сделанное Фёдором Михайловичем в «Записках из Мёртвого дома»: заключённые презирали гуманных начальников, уважение же их вызывали свирепые усачи, обвешанные медалями, — не правда ли, сразу же возникают определённые исторические ассоциации?

«Белые», как правило, монархисты (в отличие от участников гражданской войны, бывших в основном «непредреженцами»), не предполагающие для нашего Отечества иного государственного строя, кроме самодержавия. Для них опять-таки мировой исторический опыт не указ, их нимало не смущает, что монархия давно уже существует исключительно в декоративных формах. Они не хотят видеть, что падение самодержавия явилось не только плодом деятельности антихристианских сил, но и — главным образом — следствием его вырождения. Напротив, в сочинениях «белых» идеологов творится ещё один миф — о последнем российском императоре как чуть ли не величайшем русском монархе. Страстотерпец Николай Александрович заслуженно причислен к лику святых, но должно ли это означать *политическую канонизацию* государя, в нарушение своего долга отрекшегося от престола? В оправдание этого кричащего факта либо приводят очевидные софизмы, либо разводят туманную историософию, в коей царственный мученик выступает исполнителем Замысла Божьего о России. Кто уполномочил вполне светских людей говорить не за себя, а за Бога? Плоды мистических озарений не могут быть предметом дискуссий, почвой для последних являются только логика и факты. И то и другое неизбежно показывает нам, что Николай II, при всех возможных оговорках, — отечественный аналог Людовика XVI, так его называли внимательные наблюдатели ещё в 1905 году, ту же параллель убедительно проводит А.И. Солженицын в статье «Черты двух революций». Я много работал с перепиской и дневниками русских монархистов начала прошлого века (К.П. Победоносцева, Л.А. Тихомирова, А.А. Киреева, Б.В. Никольского и др.) и с удивлением обнаружил там почти единодушное осуждение последнего Романова как правителя. Разумеется, нынешние поборники самодержавия легко нам докажут, что те монархисты не настоящие, не обладающие подлинным монархическим сознанием, недостаточно православные и т.д. (сами-то они, само собой, от этих недостатков свободны). Но пусть зададут сами себе вопрос: а можно ли вообразить отрекающегося от престола Александра III, Николая I, Петра I? Нет, эти государи дрались бы до последнего вздоха за то, что, по их убеждению, было им поручено свыше. Они являли собой подлинных людей власти, от них исходила сила, а сила — бог политики. Георгий Катков в своей известной книге о Февральской революции сравнивает Николая II с князем

Мышкиным. Перечитайте «Идиота», и вы обнаружите, насколько многозначительно это сходство. Как Мышкин не смог спасти Настасью Филипповну, так и царь Николай Александрович не удержал от гибели свою империю. Бессильная доброта никого не может защитить. Глубоко символично, что современный монархизм поднял на щит именно Николая II; движение, изначально обреченное на поражение, видимо, и не могло избрать себе другого знамени.

Другой важнейший идейный изъян «белой» идеологии — тотальное отрицание советской эпохи. Вполне понимаю, что последняя может не нравиться, но как не видеть её органичности, её ярко выраженного национального характера? Тысячами нитей связана она с предшествующей русской историей, и (если мы считаем великую поэзию выражением народной души) что-то же значит тот факт, что все крупнейшие наши поэты XX века — Блок, Есенин и Маяковский — приняли и воспели Октябрьскую революцию; как бы потом они в ней ни разочаровывались, стихи с «реставрационным» настроением в их творчестве отсутствуют: «К старому возврата больше нет». Список можно продолжить: Белый, Брюсов, Клюев, Хлебников... Да и у кумиров наших либералов — Мандельштама, Пастернака, Цветаевой — антибольшевистские филиппики соседствуют с просоветскими одами (вполне искренними, по уверениям исследователей их творчества). Кроме того, зачёркивая коммунистический период, мы забываем, что во многом существуем за счёт его достижений — без ядерного щита, созданного именно тогда, наша национальная независимость была бы явно проблематичной, и верх неблагодарности об этом забывать. Самое же главное: если мы стремимся к целостному, а не травмированному национальному самосознанию, то не должны вырывать из нашей истории советское семидесятилетие как якобы уродливое отклонение от её магистрального пути; подобную вивисекцию нетрудно совершить с любой другой эпохой (например, с петербургским периодом за его «западничество» — такого рода идеи встречаются в патриотической печати). Мы должны поместить его в контекст «большого времени» (сопрягая, скажем, с правлениями Ивана Грозного и Петра Великого), где оно будет восприниматься как, безусловно, трагическая, но и великая неудачная попытка России предложить миру цивилизационный проект, альтернативный западному. Только тогда оно перестанет быть бесконечно кровоточащей раной нашего прошлого, а следовательно, и настоящего с будущим.

Длительное пребывание в мире грёз не может не сказываться определённым образом ни на отдельном человеке, ни тем более на целом направлении общественной мысли. «Страшно далеки они от народа» — как не вспомнить эти хрестоматийные слова, глядя на наших «белых», оставшихся в жизни страны образцовыми маргиналами? Им не удалось создать ни одного влиятельного, массового общественного или политического движения, что, конечно же, весьма симптоматично. С грустью смотрел я на толпу ряженных «белогвардейцев» во время перезахоронения Деникина и Ильина, одетых в не принадлежащие им мундиры, носящих не принадлежащие им ордена.

Красная ностальгия

В отличие от их оппонентов, у нынешних «красных» под ногами есть какая-никакая почва: всего-то четырнадцать лет прошло с момента рас-

пада СССР, большинство россиян прекрасно помнят время «развитого социализма», более того, отдельные фрагменты советской цивилизации сохранили своё бытие и по сей день. Но всё же это «Русь уходящая», время работает против неё, коммунистический электорат стареет и неминуемо сокращается за счёт естественной (или, точнее, не вполне естественной) убыли населения. Поэтому понятно, почему господствующим настроением «красных» является ностальгия по безвозвратно ушедшему прошлому. То есть, подобно «белым», они живут в своём воображаемом мире, противопоставляя его как подлинную реальность призрачной, ложной, с их точки зрения, современности. В принципе и грёзы, и ностальгия могут быть творческими состояниями духа, прежде всего в искусстве, но в качестве политической программы это декаданс и неизбежный проигрыш по совершенно очевидной и простой причине: у новых поколений, которые вскоре будут определять жизнь страны, совсем иной настрой, у них «сердце будущим живёт».

В мышлении красных идеологов поражает полнейшее отсутствие диалектики и наивный (прямо-таки религиозный) телеологизм. Их историческая схема проста: Россия расширялась, вела войны, творила культурные ценности ради того только, чтобы родился наконец советский строй — пик и цель всего её тысячелетнего развития. Да, семьдесят лет — немалый срок, но в рамках «большого времени» (которое, надеюсь, для нашего Отечества не закончилось) это лишь мгновение, и неизвестно, сколько ещё превращений претерпит русская цивилизация в будущем. В прошлом же она столетиями как-то умела обходиться без «направляющей и руководящей роли КПСС», создав великую империю и великую культуру, и ни ту, ни другую в советский период не удалось превзойти. Даже революция у нас была (петровские преобразования) за двести лет до большевистской — не менее грандиозная, но гораздо более успешная и значительно менее кровавая. «Красные», видимо, чувствуют свою уязвимость по этому пункту и всячески стараются преуменьшить достижения царской и императорской России. Они, как и «белые», разрывают целостность русского исторического бытия и сознания, абсолютизируя коммунистический опыт, оставаясь, к сожалению, не русскими, а лишь советскими патриотами. Поэтому-то в сочинениях их теоретиков можно прочесть кощунственные высказывания, вроде того, что Столыпин — Чубайс своего времени, поэтому-то, несмотря на все громкие декларации, они продолжают быть равнодушными, а иногда и враждебными по отношению к Православию, поэтому-то они готовы оправдать любое преступное деяние большевиков. И, конечно, никогда наследники Ленина не смогут осознать себя наследниками Минина и Пожарского, а потому никогда не признают своим новым общенациональным праздником 4 ноября.

Но самым болезненным вопросом для «красных» остаётся проблема стремительной деградации коммунистической элиты. Перефразируя Максимилиана Волошина, можно сказать, что компартия после 1917 года стала новым дворянством. Давайте теперь сравним: дворянство, созданное Петром Великим, худо-бедно два века управляло Российской империей без всяких «чисток», а красная аристократия выродилась, несмотря на сталинские «прополки», за несколько десятилетий, и с удивительной лёгкостью, в массовом порядке, отреклась от своего символа веры. В чём здесь дело? В низком качестве человеческого материала? А быть может, в том, что «красная идея» не могла дать подлинной духовной основы, вдохновляющей на службу «без страха и упрёка»?

Ностальгия — не то чувство, которое способно пробудить устойчивый политический энтузиазм. Не приходится поэтому удивляться тому, что современные коммунисты напрочь лишены той бешеной энергетики, той несгибаемой воли к власти, которые буквально бурлили в отцах-основателях большевизма. Про нынешнюю компартию хочется сказать: «В ней жизни нет». Политическая маргинализация в очень скором будущем — её несомненный удел.

Впрочем, у «красных» может появиться шанс на реанимацию, только воспользоваться им вряд ли сумеет КПРФ, а скорее какая-нибудь из радикальных левых группировок (вроде лимоновских нацболов), способных привлечь молодёжь боевым стилем своих лозунгов. Шанс этот им даёт социальная политика правящего режима, — если она не будет в ближайшее время скорректирована, число приверженцев «красной идеи» существенно возрастет. Соответствующая промывка мозгов идёт уже давно, чуть ли не каждый номер «Завтра» и «Лимонки» пестрит призывами к социальной и национальной революции. Появляются уже священники, которым явно не дают спать сомнительные лавры Гапона. К сожалению, революционная чесотка заражает и солидные издания, — на страницах одного из самых уважаемых патриотических журналов, много сделавшего в своё время для разоблачения левого радикализма, находим такие вот вирши: «В каждый джип — гранату! / В каждый банк — снаряд! / Классовой расплаты / Красный мы отряд. /... Нету рифмы проще / Той, что под курком: / Буржую — пулю, / Стране — ревком!» Конечно же, перед нами эпатаж, думаю, автор этих строк террорист только на бумаге (кстати, на джипах ездят не только олигархи, но и редакторы оппозиционно-патриотических газет), но публиковать подобное по меньшей мере легкомысленно (неужели же так хочется, «задрать штаны, бежать за комсомолом»?). Пока ещё революционные призывы не более чем литература (на опасность такого рода литературы ещё несколько лет назад в серии статей, опубликованных в газете «Десятина», справедливо обращал внимание священник Александр Шумский), но их пропагандисты явно стремятся поставить дело на серьёзную основу, наводят мосты с опальными олигархами, одного из которых печатно провозглашают «святым Себастьяном» и «национальным героем». *И никто из патриархов нашей патриотики публично не осудил этот антигосударственный альянс!* Ну, находить общий язык с «буржуями», когда им это нужно, коммунисты всегда умели, ради осуществления своих целей вступая в союз даже и с прямыми врагами России. Неужели действительно история никого ничему не учит?

Путём синтеза

Законы, по которым развивается исторический процесс, вещь чрезвычайно таинственная. Но по крайней мере один из них не трудно определить: в политических битвах побеждает только тот, кто чувствует дух времени, кто правильно угадывает направление, по которому стихийно движется живая жизнь, приспособившись к нему, а затем незаметно начиная его регулировать. Лобовое же противостояние жизненному потоку — бессмысленно. Что поделывать, становящаяся новая жизнь часто кажется неприглядной, отталкивающей в своём первозданном варварстве. Невольно хочется успокоиться на чём-то устоявшемся, оформленном, на том, что свойственно прошедшему, всегда эстетически более привлекательному,

чем настоящее. Но жить прошлым можно только в грёзах и воспоминаниях. В романе Брюсова «Алтарь победы», действие которого происходит в IV веке, христианский проповедник спорящему с ним главному герою, адепту римского язычества: «Не говори мне о том, что ваше учение мудро и прекрасно, я не буду с этим спорить, но оно умерло, это я знаю и вижу. <...> С кем быть: с красивым мертвецом или с живым, хотя бы и не достигшим зрелости учением — вот какой выбор стоит теперь перед каждым... Выбирай и ты: останешься ли хоронить тело почившей древности или покоришься духу нового времени и станешь в ряды тех, кто служит жизни!» Мне кажется, что и непримиримые «красные», и ортодоксальные «белые» сделали выбор в пользу верности «красивым мертвецам», жизнь же ушла и от тех, и от других, предоставив, по словам Вечной Книги, мертвым хоронить своих мертвецов...

Будущая Россия, созидающаяся на наших глазах, очевидно, не станет ни «красной», ни «белой», ни в чистом виде либерально-демократической, в то же время все эти элементы в ней так или иначе будут присутствовать. Но если делать ставку исключительно на один из них, неизбежно превратишься в политического сектанта, а *истинный патриот не может быть сектантом*. Напротив, он обязан связывать в единое целое разнородные направления общественной мысли. Патриотическая идеология должна вобрать в себя и «белую», и «красную» правду, и даже ту часть правды, что содержится в либерализме, как диалектические моменты становящегося синтеза. Патриотическая мысль должна быть динамичной, мгновенно реагирующей на вызовы времени, только тогда она будет востребована обществом.

Жизнь в конечном счёте сама найдёт себе дорогу, и без всяких идеологий, последние могут лишь помогать или мешать её движению. И если наша патриотика так и останется в «красных» или «белых» шорах, её незавидным жребием будет медленное, но неумолимое умирание.

Есть такое загадочное слово — ноосфера... Это некая духовная оболочка Земли, созданная силою человеческого разума. В масштабах планеты она ничтожно тонка, почти неразличима. Но именно она придаёт смысл всей Вселенной.

И у Коломны есть своя ноосфера. Она создана трудами давно ушедших писателей, художников, музыкантов. Её приумножают и ныне живущие мастера. Но в наше время культурная и созидательная жизнь города невозможна без поддержки меценатов.

В нынешнем году поддержка «Коломенского альманаха» важна вдвойне. Во-первых, этот выпуск — десятый, юбилейный. Во-вторых, 475 лет назад было завершено строительство Коломенского кремля — выдающегося памятника русского оборонного зодчества. И для коломенских писателей и учёных этот юбилей особенно символичен.

НАШИ МЕЦЕНАТЫ

Валерий Иванович ШУВАЛОВ,

глава города Коломны

Алексей Борисович МАЗУРОВ,

ректор Коломенского государственного педагогического института

Валерий Николаевич НИЛОВ,

генеральный директор ООО концерна «ЮГ»

Валерий Михайлович КАШИН,

начальник — главный конструктор Коломенского Бюро машиностроения

Николай Николаевич СИДЕЛЁВ,

директор автоколонны № 1417 ГУП «Мострансавто»

Николай Тимофеевич ВОРОНИН,

генеральный директор ООО ПКФ «ДОММ»

Валерий Семёнович КОССОВ,

директор ФГУП «ВНИКТИ»
МПС России

Игорь Викторович ЧИРКОВ,

индивидуальный предприниматель

Георгий Савельевич ШУВАЛОВ,

житель города Коломны

Сергей Сергеевич СЕРГЕЕВ,

директор научно-производственной ассоциации «ТЕХНО-АС»

Юрий Михайлович УГОЛЕВ,

директор экономической научно-производственной фирмы
«Новатор»

Евгений Владимирович ЗАХАРЧЕНКО,

директор ООО «Теплогарант — Плюс»

Марина Николаевна МАЛИЦКАЯ,

директор салона штор «Эники»

Михаил Яковлевич АРЕНЗОН,

главный редактор еженедельной газеты «Ять»

Эдуард Насибуллович ТУМЕРКИН,

директор ООО «Ракурс»

Наталья Николаевна ДРАНЕЕВА,

заместитель председателя правления Коломенской городской
организации общества «Знание»

Людмила Платоновна РЫБАЛКА,

индивидуальный предприниматель

Сергей Анатольевич АСТАПОВ,

руководитель Аккредитованного Коломенского учебного
компьютерного Центра общества «Знание» России

Наш альманах — тоже кремль, только эта крепость — духовная. И её строители — искусные мастера слова. И как необходима поддержка этого невидимого строительства!

Вот уже десять лет с нами наши неизменные меценаты: Л.П. Рыбалка, Э.Н. Тумеркин, М.Я. Арензон, С.А. Астапов, Н.Н. Дранеева.

А всех добрых людей, которые жертвовали на альманах, и перечислить трудно.

Редколлегия благодарит добрых и мудрых горожан, оказавших финансовую помощь в издании юбилейного номера.

Мир вам, славные земляки!

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
«КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В.С. МЕЛЬНИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Р.В. СЛАВАЦКИЙ
В.В. УШАКОВА
О.В. КОЧЕТКОВ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
А.Г. ВАСИЛЬЕВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ

М.Г. Абакумов, А.П. Ауэр, С.А. Астапов, Т.Ф. Башкирова,
А.М. Дудкин, Ю.Н. Киров, А.И. Кузовкин,
О.В. Лапа, В.Н. Леонов, Е.А. Новикова, С.И. Патрикеев,
И.Е. Ракша (Москва), А.А. Сахаров (Воскресенск),
М.М. Сигал, О.Ю. Шилов

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ

М.Н. Алексеев — писатель, Герой Социалистического Труда
Л.И. Бородин — главный редактор журнала «Москва»
В.Н. Ганичев — председатель Союза писателей России
В.Н. Крупин — писатель
С.Ю. Куняев — главный редактор журнала «Наш современник»
В.В. Личутин — писатель
А.Б. Мазуров — ректор Коломенского государственного педагогического института
Н.В. Маркелова — председатель Комитета по культуре администрации г. Коломны
С.М. Харламов — народный художник России
Л.И. Хитяева — народная артистка СССР
В.И. Шувалов — глава города Коломны
Е.Ю. Юшин — главный редактор журнала «Молодая гвардия»

В оформлении обложки использован фотоэтиюд Юрия Колесникова
Фотопортреты авторов выполнены Юрием Имханицким и Львом Авдеевым
Редакторы А.Г. Васильева, В.В. Ушакова
Художник О.В. Лапа
Компьютерная вёрстка Е.Ю. Ерофеева
Корректор И.И. Кирьянова

Свидетельство о регистрации ПИ № 1-50294 от 26 апреля 2002 года Министерства
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
140402, Московская область, г. Коломна, ул. Калинина, д. 49. Тел. (26) 13-31-78.
E-mail: glago@inbox.ru

Подписано в печать 19.06.06. Формат 70x100/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 27. Вклейка п.л. Тираж 1000 экз. Заказ
Издательство журнала «Москва». 121918, Москва, ул. Арбат, 20.
Тел. (495) 291-83-91, 291-71-10. Факс (495) 291-07-32.
Типография ОАО «Астра-Полиграфия», 119019, Москва, Филипповский пер., 13.